ISSN 0130–6545

8.1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Пейзаж

Цветные иллюстрации номера —
работы румынского художника Николае Григореску
(1838-1907)

Иностранная литература

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 август 1982

Содержание

Из поэзии Никарагуа

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ. ГАСПАР ГАРСИА ЛАВИАНА. ДАЙСИ САМОРА. ХАИМЕ БУИТРАГО ХИЛЬ *(Перевод с испанского Павла Грушко)* 3

ЖОРЖИ АМАДУ — Военный китель, академический мундир, ночная рубашка *(Роман. Перевод с португальского Юрия Калугина)* 13

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ — Воспоминания о старом доме *(Фрагменты книги. Вступление и перевод с болгарского А. Крузенштерна)* 72

ШУНИЛ ГАНГОПАДХАЙЯ — Рассказы *(Перевод с бенгали С. Цырина)* 88

ДЖЕЙМС ДЖОНС — Только позови *(Роман. Продолжение. Перевод с английского Г. Злобина)* 113

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Иржи Кршенек, Герд Фукс, Эрскин Колдуэлл, Педро Корреа Васкес, Гюнтер де Бройн, Кэндзабуро Оэ)* 183

Идеологическая борьба и литература

Я. ЗАСУРСКИЙ — О некоторых формах идеологического воздействия на литературу в США 188

С. АВЕРИНЦЕВ — Две тысячи лет с Вергилием *(Перечитывая классику)* 193

Наш календарь

АНХЕЛЬ АУХЬЕР — «Чистый, прозрачный, живой голос надежды...» *(К восьмидесятилетию Николаса Гильена. Перевод с испанского Вероники Спасской)* 202

Культура и современность

Т. Ротенберг — Гений и злодейство ✦ К. Мялo — Тяжелее свинца 207

Публицистика

Чем живет писатель. Французские зарисовки: интервью нашего специального корреспондента ЕВГЕНИИ СТОЯНОВСКОЙ *(Андре Вюрмсер, Натали Саррот, Мадлен Риффо, Пьер Мустье)* 215

Антирубрика

СИЛЬВИЯ ТАУНСЕНД УОРНЕР — Как мы праздновали коронацию. Как я покинула флот *(Перевод с английского Инны Левидовой)* ✦ ХУАН ХОСЕ АРРЕОЛА — Истинно говорю вам... *(Перевод с испанского Ростислава Рыбкина)* 234

Среди книг

Издано в СССР

В. Турбин — Чужестранец в России 240

Издано за рубежом

Владимир Бээкман — Необычная антология ✦ Олег Малевич — Роман о мужестве и любви ✦ Н. Попова — Детство, окрашенное войной 244

Советская литература за рубежом 201, 233

Из месяца в месяц 249

На 1-й и 4-й страницах обложки — работы румынского художника НИКОЛАЕ ГРИГОРЕСКУ «Крестьянка из Мусчела» и «Бретонка за работой».

© «Иностранная литература», 1982.

Из поэзии Никарагуа

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ

Сомоса открывает памятник Сомосе на стадионе Сомосы

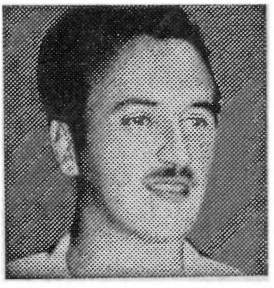
Не то чтобы я не верил, будто эту статую воздвиг народ,—
я ведь лучше вас знаю, что ее заказал я сам,
и не то чтобы я желал с ее помощью пролезть в будущее,—
я ведь знаю, что народ ее все равно низвергнет,
и вовсе не потому я ее воздвиг при жизни, что не надеюсь
на ее воздвижение после смерти,— а воздвиг я
эту статую именно потому, что вы ее ненавидите.

Эпитафия

На могилу Адольфо Баэса Боне

Тебя убили и не сказали,
где зарыто твое тело,
с тех пор твоя могила —
вся страна,
а вернее, в любом уголке страны,
где нет твоего тела,—
место твоего воскрешения.

Они думали, что убили тебя, крикнув «Пли!».
Думали, что зарыли тебя, а на деле
зарыли зерно.



Адольфо Баэс Бонэ — патриот, боровшийся против диктатуры Сомосы, был убит в 1954 году после зверских пыток, проводившихся лично сыном диктатора, Тачито.

ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ — ERNESTO CARDENAL (род. в 1925 г.). Никарагуанский поэт; священник. Его литературные труды включают исторические поэмы, лирические стихи, исследования в области фольклора латиноамериканских индейцев. Участвовал в антидиктаторском движении. После победы революции — министр культуры правительства Национального возрождения Никарагуа. Автор многих поэтических сборников: «Час Ноль» («La hora O», 1960), «Эпиграммы» («Epigramas», 1961), «Псалмы» («Salmos», 1964), «Жизнь в любви» («Vida en el amor», 1970), «Евангелие Солентинаме» («El Evangelio en Solentiname», 1973), «Песнь нарождающейся стране» («Canto a un país que nace», 1978) и др. В «Иностранной литературе» был напечатан цикл его стихов (1969, № 6) и фрагменты поэмы «Час Ноль» (1970, № 3). Публикуемые стихи взяты из антологии «Эрнесто Карденаль. Поэзия» («Poesía. Ernesto Cardenal»), изданной на Кубе в 1979 г.

Крестьянки из Куа

Я расскажу вам о криках в Куа́
о женских криках словно при ро̀дах
Мария Венансия 90 лет глухая
похожая на труп кричит
национальным гвардейцам
ребята не видела я никого
Аманда Агилар 50 лет
с дочерьми Петроной и Эрлиндой
ребята не видела я никого
словно при родах
Три месяца заключения в казарме
Анхела Гарсиа 25 лет с семью детьми
Кандида 16 лет кормит грудью дочку
очень маленькую и недокормленную
Многие слышали крики в Куа
стоны Родины словно при родах
Мать четырех детей Луиса Гарсиа
выйдя из казармы родила
Она вынуждена была отдать детей
в батраки Эмелина Эрнандес 16 лет
щеки блестят от слез
косы мокры от слез
Их схватили в Тасуа на пути из Васлалы
когда цвел маис Патрули врывались
в дома и уводили мужчин
Эстебана посадили в вертолет
и вскоре возвратились без него
Хуана Эрнандеса однажды ночью
увели и больше он не вернулся
В следующую ночь увели Сатурнино
и больше его не видели
Чико Гонсалеса увели тоже
и так каждую ночь
в час когда кричат совы
и еше других которых мы не знали
Матильда выкинула
когда нас целую ночь допрашивали
допытываясь где партизаны
Кандиду подозвал гвардеец
поди-ка выстирай мне штаны
но позвал он ее совсем для другого
(Сомоса ухмылялся на портрете
как на рекламе таблеток Алка-зельцер)
Нагрянули на военном грузовике
почише тех прежних
через три дня родила Кандида
Такова история о криках в Куа
печальная как плач совы
ее рассказывают крестьянки из Куа
и рассказывая плачут
словно видят сквозь слезы
тюрьму
и над ней вертолет
и едва различимых в тумане бородачей
быстрых
перепрыгивающих ручей
вот они прячутся в маисе
целятся

(вкрадчивые как пумы)
выскальзывают из жнивья
обрушиваются на гвардейцев
заглядывают в лачуги
(грязные и такие славные)
Кандида Аманда и Эмелинда
их видят каждую ночь во сне
с рюкзаками
они карабкаются в гору
поют
И Мария Венансия 90 лет
их видит каждую ночь во сне
в странных горах
видит этих ребят
воочию
ночь за ночью

ГАСПАР ГАРСИА ЛАВИАНА

Озеро и народ

Народ
умолк,
все омертвело,
и только озеро
ревело.
Что это было — я могу
вам объяснить: у края вод,
простертый ниц, на берегу
страдал народ...

Куплет

У риса и у крестьян
корень один в глубине.
Страшно видеть, как рис
сохнет в нашей стране!

Искренность

Мне парень встречный поведал
историю своих бед.
Парень был пьян.
Я — нет.

ГАСПАР ГАРСИА ЛАВИАНА — GASPAR GARCÍA LAVIANA (1941—1978). Родился в шахтерской семье в Астурии. Переехав в Никарагуа, был священником, участвовал в подпольном движении, а затем в боевых действиях Сандинистского фронта Национального освобождения. Погиб в бою в декабре 1978 г. Стихи взяты из третьего (посмертного) издания его книги «Песни любви и войны» («Cantos de amor y guerra», Managua, 1981) с предисловием Эрнесто Карденаля.

Его любимая с кем-то
сбежала, простыл и след.
Парень любил.
Я — нет.

Хотел он, чтобы об этом
ведал весь белый свет.
Он искренним был.
Я — нет.

ДАЙСИ САМОРА

Из книги «Вспененный поток»

Деду Висенте
с января до его смерти

(Отрывок)

IV

Ты умер, отныне самое страшное —
прийти домой и не застать тебя.
Упрямство пустоты —
как ни старайся,
она останется, и главное —
ты бессильна ее пересилить...

V

Вернулся дождь, тот же самый.
Земля зеленая, дорога в грязи.
Все как всегда, но заново,—
Как прежде и непохоже.

А это древний дождь возвращается,
как ты, ушедший и живущий во мне
(ведь можно быть и без бытия).
А ты был всегда, а ты — навсегда,
как дождь — вчерашний, завтрашний
и всегдашний, без конца и начала,—
кто знает, когда был первый дождь.

ДАЙСИ САМОРА — DAYSI ZAMORA (род. в 1950 г.). Никарагуанская поэтесса. Ее стихи и статьи публиковались в периодической печати стран Центральной Америки, Мексики и Кубы. Лауреат поэтической премии «Мариано Фиальос Хиль». Участвовала в революционном движении, входила в руководство подпольного Сандинистского радио. В настоящее время Дайси Самора — заместитель министра культуры Никарагуа. Публикуемые стихи взяты из ее книги «Вспененный поток» («La violenta espuma. Poesía 1968—1978» Managua, 1981).

Пейзаж

I

Море,
грозящее уйти,—
уходит
в момент своего возвращения
и вновь начинает
тот же рассказ.

II

Курочка
нервно семенит
между волной и пляжем,
между пляжем и пеной,
суетливая,
упрямая,
быстрая — как раз
чтобы увернуться
от смертоносной волны.

Манагуа

(После землетрясения)

Гора громоздится между домов,
поток несет обломки по улицам.
Наши воспоминания
утратили старый фон...

Город, твой удел и впрямь страшен.
Твои непогребенные останки
умножили число стервятников.

Когда поутру ты уходишь

Когда поутру ты уходишь,
мне остается немало: твоя тень
в сонных складках простыни,
прерывистое безмолвие твоего сна
и легкий,
рассеянный,
невесомый след твоего
поцелуя.

Приглашение

Я устлала землю циновкой
из свежих листьев
для твоего усталого тела.

Твои ноги кровоточат,
а руки в ссадинах и грязи.

Я укрою тебя в тени своего тела
в жаркий полдень,
а ночью зажгу сердце,
чтобы тебя согреть.

Послание Марте

Вечер, проскользнув между гардин,
положил мне на руку золотой нож.

Я давно хочу тебе написать,
мы столько не виделись, но я
не знаю, что сказать.

Верно ли, что тиран убирается вон?
Пусть утащит все, что хочет,
но в придачу — и свою семейку.
Не хватит всех дней года,
чтобы вволю напеться.

С чужбины

Прерывистое
ноябрьское солнце
между последними листьями осени.

Пересекаю дорогу и оглядываю
пейзаж чужбины.
(Где ты, слепящее солнце,
кричащая зелень, лазурное небо?!)

Команданте

Дора Мария Тельес
22 лет.
Маленькая, бледная,
в башмаках, черном берете,
военной форме,
слишком просторной.

Я смотрю на нее сквозь ограду:
она беседует с ребятами.
Под беретом
по-мальчишески остриженный затылок.
Мы обнялись на прощанье.
Дора Мария,
обстрелянная девушка,
заставившая содрогаться от злобы
сердце тирана.

Дора Мария Тельес

Товарищу Бласу Реалю Эспиналесу

Его подпольная кличка была
Сальвадор (Спаситель). Я узнала его
в Гондурасе. Он пришел с Лаурой,
я видела его лишь в тот раз.
Худой. Яркие
и странно нежные глаза.

(Вскоре он вернулся в Никарагуа
и пал в бою под Чинандегой.)

Я ничего для него не сделала
        и все еще вижу
его добрые, очень живые,
        скорбные и открытые смерти
глаза.

Придет время

Придет время — и любовь
        станет всеобщим языком.
Мы останемся одни, как братья,
будем слушать глухой пульс земли.

Мы все будем, как дети,—
одеты лишь в собственную кожу,
потому что нельзя будет иначе.

Порою мы вспомним старое барахло,
его власть и засмеемся, наверно.
Но искать его не станет никто.

Песня надежды

Однажды поля станут вечнозелеными,
земля — черной, нежной и влажной.
Высокими вырастут наши дети
и дети наших детей...

И будут они свободными,
как в горах деревья и птицы,

просыпаясь счастливыми
оттого, что владеют жизнью,
зная, что земля завоевана для них.

Однажды...

А сегодня мы пашем сухие поля,
и каждая борозда полита кровью.

ХАИМЕ БУИТРАГО ХИЛЬ

Из книги «Не снимая башмаков»

Усталые и грязные

Мы возвращались,
промокнув до нитки.
Люди выходили на порог,
чтоб на нас поглядеть.

Все утро шел дождь.
Вернувшись в казарму,
мокрое и усталое войско
уселось на пол.
Мы увидели,
какие мы грязные,
и стали смеяться.

Луна

Ночью луна
отмечает время, как солнце.

Тень часового движется,
пересчитывая камни мостовой,
в соседнем доме
ребенок плачет
всю ночь.

Ночь не досчиталась одного голоса

Этой ночью мы стояли
вдвоем на посту.
Мы не были с тобой знакомы,
Хотя и виделись раньше.
Поговорили о тебе,
немного обо мне —
и на заре
уже были друзьями.

На следующий день я узнал,
что ты ушел в бой.
С той поры
я ничего о тебе не знаю.

ХАИМЕ БУИТРАГО ХИЛЬ — JAIME BUITRAGO GIL (род. в 1953 г.). Никарагуанский поэт. Стихи взяты из его сборника «Не снимая башмаков» («Con las botas puestas»), вышедшего в серии «Ветер народа» («El viento del pueblo») в 1980 г., в издании одной из поэтических мастерских, организованных Министерством культуры после победы революции.

Завтрак

Рис, бананы —
вот и вся пища отряда
на протяжении долгих дней.

Однажды наши девушки
удивили нас
цыпленком на завтрак.
Мы смаковали его мясо,
как заморское яство.
(Ночью многие заметили,
что не слышно
привычного крика совы...)

Атака

Отовсюду выстрелы,
разрывы бомб и мин,
лопаются барабанные перепонки,
продвигаться трудно,
у нас несколько раненых.

Любовь на войне

Передо мной белели
твои бедра и длинные ноги.
Мы лежали в траве,
пригнув головы, вдыхая
весь аромат поля,
но пули и бомбы убили
мое желание.

Только народ спасет народ

С вертолета сбрасывают бочку
с горящим маслом,
взрыва нет —
только пламя.

Весь квартал выбегает из убежища —
гасить огонь
одеялами, песком и водой.

Геноцид

Самолеты не прилетели —
сегодня облачно.

Диктатор выбирает
ясное утро
с ясно-синей лазурью,
чтобы бомбить народ.

Вдова

У Клаудии короткая стрижка,
она славно готовит,
хорошо командует.
У нее милая фигурка
и военная выправка.
Ее муж убит гвардейцем,
детей у них не было.

Линия огня

Весь день мы подносили
боеприпасы к линии огня.

Прижимаясь к земле,
мы ползали в кустарнике,
камни и упавшие стволы
укрывали от пуль.

С наступлением вечера
пришла усталость,
мы спали два часа,
не снимая башмаков.

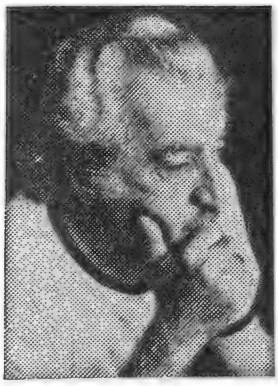
Теперь мы опять на ногах,
но усталость не отпускает.

Послевоенное

Война прошла,
но детская трещотка
рождает
воспоминания о войне.

■

ГРУШКО ПАВЕЛ МОИСЕЕВИЧ (род. в 1931 г.). Советский поэт и переводчик. Публиковались его переводы из поэзии Луиса де Гонгоры, Лопе де Веги, Хосе Эспронседы, Антонио Мачадо, Хуана Рамона Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Пабло Неруды, Сесара Вальехо, Николаса Гильена, Элисео Диего и других испанских и латиноамериканских поэтов. Автор статей по проблемам художественного перевода и творчества писателей Латинской Америки.



ЖОРЖИ АМАДУ

Военный китель, академический мундир, ночная рубашка

Повествование во имя надежды

РОМАН

Перевод с португальского ЮРИЯ КАЛУГИНА

«...Слава, которая утверждает, восхваляет, возвеличивает и утешает».
(Машадо де Ассиз[1] о Бразильской академии литературы)

«Какая подлость — война!»
(Жак Превер. «Барбара»)

«Хайль Гитлер!»
(Фашистское приветствие)

«Но пасаран!» — «Они не пройдут!»
(Лозунг Пасионарии во время национально-революционной войны в Испании, подхваченный старым академиком Эвандро Нунесом дос Сантосом)

История эта повествует о том, как два престарелых литератора, либеральных академика, вступили в борьбу против нацизма, диктатуры и угнетения. Возможное сходство с отдельными лицами, организациями, академиями, классами и кастами, деятелями и событиями реальной жизни — чистое и простое совпадение, ибо повествование представляет собой исключительно плод воображения и познаний автора. Подлинными являются лишь диктатура Нового государства[2] с его «законом о безопасности», репрессивным аппаратом, переполненными тюрьмами, камерами пыток и мракобесием, а также развязанная фашизмом вторая мировая война в ее самый тяжелый период, когда казалось, что все потеряно и надежда угасла.

I

КОНЧИНА ПОЭТА АНТОНИО БРУНО, ЯВИВШАЯСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПАДЕНИЯ ПАРИЖА В ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Сонет, который не был написан

Поэт Антонио Бруно скоропостижно скончался, став жертвой инфаркта — второго за короткий срок,— случившегося 25 сентября 1940 года. Ясное утро, чистый воздух и тепло навеяли воспоминание о другом, подобном же прозрачном утре, проник-

[1] Жоакин Мариа Машадо де Ассиз (1839—1908) — бразильский писатель, первый президент Бразильской академии литературы, основанной в 1896 году. *(Здесь и далее прим. ред.)*

[2] Новое государство — диктаторский режим 1937—1945 гг., провозглашенный Жетулио Варгасом, президентом Бразилии в 1930—1945 и в 1951—1954 гг.

© Jorge Amado, 1979.

ЖОРЖИ АМАДУ — JORGE AMADO (род. в 1912 г.). Бразильский писатель, академик, лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». В нашей стране произведения Жоржи Амаду издавались многократно на русском и других языках народов СССР. В «Иностранной литературе» напечатаны его повесть «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода» (1963, № 5); романы «Мы пасли ночь» (1966, № 2—3), «Лавка чудес» (1972 № 2—4), «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1975, № 11—12), «Возвращение блудной дочери» (1980, № 7—10). Роман «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка», который мы печатаем в журнальном варианте, вышел в Рио-де-Жанейро в 1979 г. («Farda Fardão Camisola de Dormir». Rio de Janeiro, R.J., Editora Record, 1979).

шем через слуховое окно в его парижскую студию и облившем солнечным светом обнаженное тело спящей женщины, как бы накинув на нее прозрачную розовую ночную рубашку. Зрелище, достойное сонета, подумал он, но не написал его — женщина проснулась и раскрыла объятья.

При воспоминании об этом он взял бумагу и ручку и красивым, каллиграфическим почерком словно нарисовал вверху страницы слова, которые, несомненно, должны были стать названием поэмы о любви: «Ночная рубашка». Воспоминание принесло горечь, поэта охватила неизбывная тоска — увы, никогда больше! Не успел он написать ни одной строки: поднес руку к груди, уронил голову на бумагу и... в Бразильской академии открылась вакансия.

Первый инфаркт случился с ним три месяца назад, когда он услышал по радио известие о падении Парижа.

Ожесточенная и кровопролитная битва

Битва, да еще какая битва! — утверждал несколько лет спустя маэстро Афранио Портела, который с возрастом приобрел решительность в своих высказываниях. Описываемые события он объяснял мировым характером войны: в нее мы вовлечены все, говорил он, и поле битвы не имеет границ — ни географических, ни военных; любое оружие пригодно, малейшая победа пробуждает надежду.

С течением времени у восьмидесятилетнего писателя, снискавшего известность увлекательной и соблазнительной прозой, пишущего свободным, раскованным языком, несравненного собеседника, выявилась тенденция преувеличивать значение происходящих событий и приобретенного им опыта, он даже стал то в шутку, то всерьез выдавать себя за активного участника французского Сопротивления, за одного из маки, за партизанского командира. И как будто бы так он и вел себя.

Так вели себя и они, иными словами Афранио Портела и рассудительный профессор Эвандро Нунес дос Сантос, его соучастник по тайному сговору, а по свидетельству самого Афранио, профессор действовал наиболее отважно и беспощадно на втором этапе боевых операций.

— Я было почувствовал себя удовлетворенным, считая, что мы достигли цели, но Эвандро не отступал — ему нужно все или ничего.

Маэстро Афранио Портела не забывал добавить, что эта битва, в которой потерпели поражение международные силы фашизма и отечественные силы реакции и произвола, была не только ожесточенной, но и кровопролитной.

Историческое происшествие

Битва или просто выборы? Дискуссии насчет этого, кроме всего прочего, велись в рамках весьма малочисленной корпорации выборщиков — числом в тридцать девять человек, тридцать девять здравствующих академиков.

Не желая принижать значение и важность выборов нового члена Бразильской академии литературы, выборов, вызвавших живейшие отклики в печати и в кругах интеллигенции благодаря неоспоримому, хотя и оспариваемому авторитету этого учреждения, следует все же признать, что речь шла о факте не столь значительном на фоне огромных и ужасных исторических событий, поскольку выборы должны были состояться в разгар второй мировой войны, в 1940 году, то есть тогда, когда вышгрывавший сражения вермахт овладел Францией, а люфтваффе сравнивала с землей города и селения Англии. Для многих, возможно и для большинства, поражение демократических наций представлялось неизбежным, полный разгром должен был вот-вот произойти — вопрос совсем недолгого времени. Гитлер предвещал тысячелетие нацистского господства, и мы уже вступали в эту эпоху. Время страха и отчаяния.

Тысяча лет, сколько же это поколений рабов? Гитлеровские самолеты затмили небо Лондона, не прекращая бомбардировки, танки захватчиков давили землю стран Западной Европы. Польша исчезла с карты континента, смолкли венские вальсы, и достославное название Австрии уже не произносилось, на древней башне Праги развевался флаг со свастикой, а на груди евреев расцветали кровавым цветком шестиконечные звезды Давида. Кровь и грязь, террор и подлость, протекторaты и протекторы, СА и СС, концентрационные лагеря, газовые камеры, бесчестье и смерть. Время страха и отчаяния. Время безысходности.

В Бразилии под тоталитарной конституцией Нового государства, в условиях военного положения, как следствия побед держав «оси», жесточайшие репрессии дос-

тигли небывалого размаха. Идиллия с нацистской Германией определяла правительственную политику: строжайшая цензура печати, пресловутый «закон о безопасности» с его трибуналами, никаких гражданских прав, вообще никаких прав, никакой свободы, безграничный произвол полиции. В тюрьмах, исправительных колониях, подвалах полицейских управлений — политические заключенные, пытки.

В тот самый час, когда взволнованный академик Лизандро Лейте позвонил полковнику Агналдо Сампайо Перейре, чтобы сообщить прискорбное известие о кончине поэта Бруно — телефонный звонок, послуживший началом бурных происшествий,— железнодорожник Элиас, известный в подполье под кличкой Пророк, был подвешен к потолку в застенке специальной полиции. Столпы режима старались разузнать у Пророка, арестованного два дня назад, имена, адреса, связи. Любопытно, что некоторые строфы поэмы, недавно прочтенной им в грязной ротированной копии, помогли заключенному хранить молчание, поддерживали его в страшных испытаниях. Не поддержали они только поэта Бруно, который их написал, не прибавили ему сил, чтобы побороть упадок духа и отчаяние.

Как можно принимать всерьез простые академические выборы на фоне столь потрясающих сцен, придавать выборам иное значение, чем интрига или обычная пустая болтовня. Выбиравшие были, конечно, выдающимися личностями в культурной жизни страны; бессмертие имени, титул, парадный мундир — все это способствует тому, что оспаривание вакансии в Бразильской академии литературы становится фактом, вызывающим национальный резонанс, дающим иной раз повод для острого соперничества. Но от этого соперничества и до беспощадной схватки между побеждавшим нацизмом и подорванными силами демократии дистанция была огромна.

Однако события и здесь развертывались чрезвычайно бурно. Маэстро Афранио Пюртела не солгал, не впал в преувеличение, говоря о битве и угасшей надежде. Что же касается другого старого литератора, автора неких фундаментальных произведений о бразильской действительности и людях нашей страны — трудов, отличающихся знанием предмета, оригинальностью мышления и смелостью утверждений, то Эвандро Нунес дос Сантос, будучи исключительным индивидуалистом, довел битву до крайности. Он питал отвращение к любому виду произвола и проявления власти, вплоть до того, что избегал носить академический мундир, предпочитая появляться на торжественных заседаниях в пиджаке. Пиджак удачно соответствовал его гражданскому сознанию и физическому облику высокого, худого семидесятилетнего человека с костлявыми руками и густыми бровями.

Профиль героического полковника

Неприятно даже было видеть, как полковник, начав перелистывать корректуру, вышел из себя. До тех пор беседа проходила в тяжелой, но все же сносной атмосфере, да и не требовалось сердечной обстановки, обмена вежливыми фразами, любезностями и улыбками на встрече начальника управления безопасности Нового государства с мелким журналистом, подозреваемым в принадлежности к коммунистической партии и внешне похожим на еврея.

Лицо, искаженное гневом, в глазах одержимого фанатика сверкают желтые молнии — вид полковника был угрожающ, трудно было предугадать его действия. Он потрясал зажатыми в кулак листками верстки перед худым лицом испуганного человека, сидевшего по другую сторону стола. По другую сторону окопа — поскольку кабинет полковника представлял собой поле сражения. Пронзительный голос взорвался фальцетом:

— Циник! Вы еще осмеливаетесь утверждать, что этот пасквиль не дело рук коммунистов! За кого вы меня принимаете? За дурака? — удар по столу, бомба или граната.

Хорошо поставленный голос полковника обычно звучал декламационно и повелительно. Бывало, что его слова в полемическом запале хлестали противника по лицу с резкостью пощечин. И снова умеренный тон, солидные жесты, поза лидера. Случалось, однако, что полковник терял контроль над собой и как не бывало командующего, смелого и самоуверенного, непоколебимого и не терпящего возражений. Героического, твердокаменного полковника Агналдо Сампайо Перейры, знаменитого (и прославленного) полковника Сампайо Перейры.

Человек действия и мысли, испытанный в борьбе (в войне, поправлял он, в непрерывной войне с врагами отечества), популярный автор десятка с лишним книг,

хорошо сохранившийся пятидесятилетний мужчина, смуглый, слегка загорелый. Несколько раньше, услыхав, как он возглашал превосходство арийской расы: «Мы, арийцы, взнуздаем вселенную и поскачем на ней...» — журналист Самуэл Ледерман, несмотря на сложное положение, в котором сам находился, вместо того чтобы восхищаться и аплодировать яркости и энергичности фразы, не мог удержаться от неуважительной и дерзкой мысли: какой процент негритянской крови течет в голубых жилах благородного всадника, оседлавшего вселенную? Что касается его носа, мощного, но крючковатого, и фамилии Перейра, то не являются ли они случайно отличительными признаками родовитого семита, обращенного в христианство огнем и мечом святой инквизиции? («Ты извращенец, Сами»,— говаривала ему Да, сидя у него на коленях.) Нелепое оскорбление, к счастью, поскольку оспаривание присущих полковнику черт арийца все равно бы ни к чему не привело.

Несмотря на то что Сампайо Перейра явно был потомственным бразильцем, в котором смешались многие и разные крови, полковник утверждал, что он все же ариец, и делал это с абсолютной убежденностью. Он написал нашумевшую книгу «За арийскую цивилизацию в тропиках. Очерки бразилизма», которая расхваливалась правыми газетами и признание которой в государственных учебных заведениях, а также профессорами этики и гражданского воспитания гарантировало ему неоднократные переиздания и крупные гонорары.

Некоторые женщины находили его красивым, восхищаясь широкими плечами, твердой походкой, черными, тщательно приглаженными, блестящими от брильянтина волосами, мужественным профилем, безукоризненным видом. С первого взгляда он напоминал некоего американского актера, популярного в то время. Признаться, у него действительно было что-то от актера, ибо в прославленной позе непреклонного командира, обладающего живым умом, проницательного, непримиримого и даже — если необходимо — жестокого в отстаивании своих убеждений, были несомненно элементы игры, проявлявшиеся в интонациях, в ораторской манере подчеркивать самые банальные фразы, в инквизиторском взгляде, способном разгадывать затаенные мысли подчиненных. Такой взгляд стоил ему немалого усилия, постоянного напряжения пары обычно невыразительных, туповатых, безжизненных круглых глаз.

Некоторые газеты, упоминая его имя, награждали его броскими эпитетами — бравый, дерзкий, безудержный. Особенно начиная с того дня, когда бывший в ту пору подполковником Сампайо Перейра во главе батальонов специальной полиции и отрядов Управления политического и социального порядка вступил в сражение и одержал победу на улицах Рио-де-Жанейро, столицы республики, над улюлюкавшей и угрожавшей толпой вооруженных до зубов агитаторов, под злостными лозунгами и выкриками выступивших с протестом против передачи бразильским министерством иностранных дел собственности посольства Чехословакии властям нацистской Германии после Мюнхенского соглашения и оккупации Праги. Историческое поражение подрывных сил привело к прекращению на долгое время такого рода массовых выступлений.

Он был человеком действия и в то же время мыслящим человеком, автором большой теоретической работы, завоевавшей ему титулы и похвалы на литературном поприще: «один из самых активных и влиятельных писателей своего поколения», «плодовитый политический мыслитель», «литератор высокого класса» и так далее. Его книги восхваляли и пропагандировали режим сильной руки, вскрывали упадок и разложение демократических сил, разоблачали коммунистическую опасность.

Первые труды он написал, еще будучи рьяным активистом Интегралистского действия [1]. Когда в результате переворота 1937 года были распущены политические партии, он распрощался с интегрализмом, утверждая в статье: «Новое государство на практике применяет доктрины интегралистских идей, делая ненужным существование особой партийной структуры, строго говоря, двойственной и провокационной». Во время попытки государственного переворота в 1938 году Сампайо Перейра остался верен правительству и без колебания приказал арестовать своих бывших соратников. Последние опубликованные им книги были предназначены служить идеологической базой для Нового государства, поскольку чистоте его тоталитарных принципов и железной дисциплине угрожала доказанная неспособность бразильского народа на деле осуществить великие идеи и признать великих людей — такого рода объяснение им было дано журналисту Самуэлу в начале беседы:

[1] Фашистская организация, существовавшая в Бразилии, формально распущенная после провала подготовленного ею путча в 1938 году.

— ...Слабость, безнравственность, бесхарактерность — этими бедами мы обязаны смешению рас...— К метисации он питал глубокое отвращение.

Младшим лейтенантом, только что закончившим военную школу, он писал романтические стихи, которые тиснул в тощей книжице. Не отрицая наличия у начинающего поэта известных способностей, критики того времени игнорировали этот сборничек, а то и открыто издевались над ним. Даже маэстро Жоан Рибейро, столь великодушно относившийся к дебютантам, в своей еженедельной статье в газете на целый подвал не сумел найти на страницах книжки ничего, кроме «дешевых рифм и грубых чувств». Вместе с тем несколько лет спустя, когда Сампайо Перейра бросил поэзию и перешел к публикациям на политические темы, тот же старый критик выразил сожаление: «...прежде он настаивал на том, чтобы истреблять размер и рифму, а сейчас в прозе угрожает нации и народу, свободе и будущему».

Как видно, наряду со столькими безусловными и услужливыми поклонниками у полковника были и противники, не прощавшие ему ни его политической деятельности, ни выступлений на ниве литературы. Его клеймили могильщиком демократии и прав человека, подчеркивали, что он унижает военный китель, став на службу полицейской реакции, помогая шефу «пятой колонны» в стране, руководя репрессивным аппаратом, приказывая пытать политических заключенных, приглашая специалистов из гестапо; называли его кандидатом на пост гаулейтера Гитлера в Бразилии.

Полковник гордился как одобрением, так и нападками. Его засыпали похвалами и венчали лаврами «проверенные патриоты, являющиеся мозгом новой Бразилии»; оскорбления же и выпады исходили, по его словам, от «либеральной и коммунистической шайки».

Приказы свыше

— Приказы свыше, мой дорогой, от меня ничего не зависит, что поделаешь...

Когда директор департамента печати и пропаганды (ДПП) сообщил ему о закрытии журнала и выразил сожаление, что не может ничем помочь, дополнив объяснение многозначительным жестом, Самуэл Ледерман все же не признал себя побежденным и решил обратиться непосредственно к полковнику Сампайо Перейре. Ведь приказ исходил от последнего, поэтому он и попытается убедить полковника изменить свое мнение. («Ты неудачник, Сами, так и умрешь, слепо веря в чудеса»,— Да покачивала головкой, обрамленной курчавыми каштановыми волосами.)

«Наш бразильский Геббельс — бестия»,— отзывался о полковнике директор ДПП и добавлял, отдавая ему должное и проявляя крайнее опасение: «Кровожадная бестия. Надо быть осторожным, иначе попадешь в тюрьму». Самуэл вспомнил дни, проведенные в подвалах политической полиции во время прошлогоднего налета, когда сотни людей были арестованы в связи с протестами против вступления в Прагу германских войск. Он оказался вместе с пятью десятками арестованных в камере, где едва умещалось бы человек двадцать, без умывальника, без коек — они чередовались, чтобы поспать на мокром полу,— отвратительная еда раз в день, невыносимая вонь, парашей служила банка из-под керосина. Нечего уж говорить о постоянно доносившихся сюда криках истязуемых во время допросов. Но даже эти тяжелые воспоминания не остановили его: все-таки он был политическим обозревателем крупной газеты, располагавшей влиятельными связями, он доберется до полковника.

— Не забудьте, при нынешнем положении нелегко будет вытащить вас из тюрьмы... — заключил директор ДПП.

Следует подчеркнуть также политическое двуличие этого типа. Служа правительству на столь важном посту, он питал хоть и подсознательные, но явные симпатии к Англии и Франции, оказывал протекцию таким скомпрометированным личностям, как этот Самуэл Ледерман, главный редактор ежемесячника «Перспективас», нерегулярно выходившего в свет, последнего из зарегистрированных в ДПП органов печати, отличавшегося некоторой левизной и вот в конце концов запрещенного.

Полковник разворачивает тотальную войну и устанавливает критерии в области искусства

Его политическое двуличие свидетельствовало о том, что Новое государство не являлось монолитным блоком, поставленным на службу нацизму, о чем мечтал полковник Сампайо Перейра; остатки гнилого либерализма разъедали государственный

аппарат. Однако недалек был день, когда в правительстве окажутся только пылкие приверженцы тоталитаризма, безупречные арийцы. Прекрасен и близок день окончательной победы: покатятся головы, прольется кровь очищения. Стоя у черной доски, на которой висит карта Европы, полковник вдохновенно провозглашает:

— Мы уничтожим всех врагов, до последнего. Без всякой жалости! — Он устремляет на журналиста пронзительный взгляд. — Жалость свойственна слабым, она унизительна. — Агрессивный полковник переставляет булавки с цветными головками ближе и ближе к границе Франции с Пиренейским полуостровом. — Мы завершили первую фазу войны с полным успехом, вся Европа принадлежит нам. Фюрер с присущей ему гениальностью водрузил флаги со свастикой на вершины Пиренеев. В Испании с нами прославленный генералиссимус Франко; в Португалии — наш мудрейший доктор Салазар, одна голова его стоит всего золота мира.

Такой баланс он подвел в первой части беседы. Главный редактор «Перспектива» по-прежнему оптимистичен. Прежде чем взглянуть на верстку, столь безобидную, уверял себя Самуэл, полковник хотел показать бесполезность какой-либо оппозиции нацизму и развернул картину тотальной войны, блицкрига. Однако, несмотря на войска, танки, истребители, бомбардировщики, несмотря на убитых, пленных, трудовые лагеря и лагеря смерти, нагло развевающиеся знамена со свастикой, журналист еще не потерял надежды на благоприятное решение — на фоне грандиозных сцен войны какую опасность может представлять маленький журнал, ограничивающийся публикацией кое-каких репортажей, осторожно написанных международных обзоров, скажем о «Новом курсе», провозглашенном Рузвельтом, стихотворений и рассказов? Журналист слушает, не возражая против утверждений полковника, который, охваченный энтузиазмом, переходит к предсказаниям того, что произойдет в ближайшие дни: неминуемая капитуляция Англии, а потом... Наступает пауза, чтобы придать еще большую торжественность сообщению, исходящему, как знать, не от германского ли верховного командования?

— Потом... наступит очередь коммунистической России. Для наших бронетанковых дивизий... — Он сказал «наших» с абсолютной естественностью (разве Бразилия не была союзником третьего рейха в Южной Америке?) —...прогулка по степям в течение одной-двух недель — максимум... Россия исчезнет, и коммунизм будет стерт с лица земли!

Так, завоевав Советский Союз и очистив мир от коммунизма, полковник снова уселся, бравый и в высшей степени довольный собой. Он бросил победоносный взгляд по другую сторону стола, точнее сказать — окопа, чтобы насладиться зрелищем поверженного противника, обнаружив, однако, с удивлением, что еврей не уничтожен. Он поразился тому, что на его наглых губах играет насмешливая улыбка и в голосе слышится нотка превосходства:

— За одну неделю, полковник? Смотрите, ведь надо будет пройти огромную территорию... Наполеон...

— Заткнитесь!

Острый взгляд полон досады и недоверия, полковник нахмурился. Самуэл спохватился, но было уже поздно. («Ах, твой характер, Сами, доставит тебе столько неприятностей»,— предсказывала Да, целуя его глаза.) После напряженной минуты молчания полковник схватил пачку страниц типографской верстки и, бегло перелистав, тотчас же вскипел:

— Вы циник! Каждая строка здесь источает яд... — Он стал просматривать заголовки материалов, фотографии, пробежал взглядом по строчкам: — Латифундии, остатки феодализма, ограбление... марксистская проповедь, вы еще осмеливаетесь отрицать? Фотографии фавел и негров... Разве в Рио нет приличного района, достойного того, чтобы быть сфотографированным? Что, и белых уже вовсе нет?

— Репортаж о самбе... — пытается объяснить Самуэл.

— Заткнитесь, я уже вам сказал. Современное искусство! Непристойности, дегенеративное искусство! Фюрер со своей гениальностью запретил подобную тошнотворную гадость. Такие вещи подрывают мораль нации, вот потому-то во Франции все проституировано.

Вид обнаженных женских фигур оскорбляет эстетические чувства ретивого полковника. Он их отвергает с неподдельным отвращением, выступает против естественной красоты. Полковник признает женскую натуру лишь по-своему.

Самуэл использует неожиданную вспышку критики искусства, пытаясь оправиться от испуга, надеясь возобновить диалог. Но ему не удается и слова вымолвить, полковник совершенно теряет голову и кричит, увидев фотографию президента Соединенных Штатов Франклина Делано Рузвельта на целую полосу:

— Только этого не хватало! Верх всего!

— Но, полковник, он же президент...

— Президент... Еврей на содержании у международного коммунизма, вот он кто! Делано — еврейское имя, вы что, не знаете? Мы-то знаем!

Вне себя, он отшвыривает страницу, с которой улыбается ненавистный президент, хватает последнюю пачку листков, но не успевает возмутиться «Песнью любви к оккупированному городу» поэта Антонио Бруно: помешал телефонный звонок. Прямая линия, известная лишь немногим лицам,— только для важных и срочных дел. Полковник отложил бумаги, взял трубку, все еще взбудораженный, с горящими глазами, охрипший. Однако вскоре он старается взять себя в руки, голос изменился, стал не только сдержанным, спокойным, но и вежливым. почтительным, чуть ли не льстивым. Должно быть, звонит по меньшей мере военный министр, мелькнула мысль у журналиста.

Академик Лизандро Лейте,
известный юрист и великодушный друг

Он ошибся. Звонил не министр и не заместитель министра, даже не военный. Полковника вызвал по телефону толстый и потливый, с львиной шевелюрой академик. Высшему судебному чиновнику — дезембаргадору и профессору Лизандро Лейте, носителю бесчисленных титулов, с большим трудом удалось разузнать номер прямого телефона Сампайо Перейры.

— Антонио Бруно скончался сегодня утром, полковник. Я в это время был в трибунале, только что узнал...

Полковник выслушал печальное (и многообещающее) известие и не сумел справиться с волнением, удержаться от улыбки. Но тотчас же пришел в себя, стер улыбку радости, заговорил сокрушенным и сдержанным тоном, которого требовало прискорбное (отличное, великолепное!) сообщение:

— Поэт Антонио Бруно? Умер?!

— У нас появилась вакансия, полковник.

— Большая потеря для национальной литературы. Вдохновенный бард...

— Без сомнения, без сомнения, он был превосходный поэт. — Лизандро Лейте прервал красноречивую эпитафию полковника. В конце концов, ведь не для того же дезембаргадор проявил настойчивость перед грубыми отказами капралов и сержантов, которые не соглашались предоставить ему прямую связь с полковником, не затем же он перетряхнул полмира, пока не получил секретного номера, чтобы теперь выслушивать банальную болтовню, ведь еще не наступил час ответной речи на церемонии вступления в Академию.— Приберегите эти красивые слова для вашего выступления, полковник.

— Что вы сказали? Выступления?

— У нас же вакансия, полковник! — Он сообщил известие с гордостью человека, который предлагает редкий, бесценный подарок. Да, он приложил столько сил лишь для того, чтобы сообщить о смерти поэта, коллеги по Академии. Преданный и великодушный, он преподнес своему выдающемуся собрату и другу, полковнику Агналдо Сампайо Перейре, открывшуюся вакансию с титулом «бессмертного». Но полковнику необходимо действовать моментально, нельзя терять ни минуты, надо приступить к делу немедленно.— Немедленно! — повторил он.

Академик с более чем десятилетним стажем, Лизандро Лейте, «выдающийся авторитет в области юридической литературы», считался специалистом по выборам в Академию; он прибегал к хитростям, манипуляциям, применял стратегические и тактические ходы, которые могли бы привести его фаворитов к победе. Прозорливый покровитель кандидатов, он из каждых выборов извлекал ту или иную выгоду. Злопыхатели, которые имеются повсюду, в том числе и в академиях, утверждали, что ученый профессор коммерческого права был в значительной степени обязан своей карьерой на юридическом поприще именно этим вакансиям, которых так домогаются претенденты, «поднимаясь в жизни за счет умерших». Если подобные комментарии и доходили до его слуха, то они ему не досаждали, он невозмутимо продолжал следовать

своим путем. Мягко, но настойчиво он намечал линию поведения, которой должен был придерживаться кандидат:

— Нужно, чтобы академики были незамедлительно оповещены о вашей кандидатуре и знали, что эта вакансия предназначается именно моему выдающемуся другу.

Полковника, бесстрашного, отважного во главе отрядов, осуществлявших репрессии против злобного и коварного, по его мнению, внутреннего врага, в этот момент, в решительный час, когда начинается борьба за титул «бессмертного», охватывает неожиданная радость. Он покашливает, обуреваемый сомнениями:

— Податься в Академию сразу? В ближайшие же часы? Но ведь тело отнесут туда? Хм... не знаю... Не лучше ли подождать, пока не состоится погребение? Не кажется ли вам это более подходящим?

Круглые, наивные глаза полковника уставились на журналиста, о котором он совершенно забыл,— на малоприятного свидетеля разговора. Прикрыв рукою телефонную трубку, он приказывает:

— Убирайтесь вон!

Самуэл Ледерман, Самука — для друзей, Сами — для Да, его жены, еще пытается настаивать, правда, без особой уверенности, но долг — увы! — нужно выполнить до конца.

— А журнал, полковник? Не будет закрыт? («Чемпион по безнадежным делам, вот ты кто, Сами»,— взрывается голос Да.)

Глаза у полковника сверкают, эти сверлящие глаза.

— Что? Вы еще осмеливаетесь... убирайтесь, пока я не передумал и не засадил вас в камеру.

Потерпев поражение, журналист забирает верстку, беседа не принесла ожидаемых результатов; запрет на выход «Перспективас» остался в силе, и его главный редактор лишь случайно избежал тюрьмы,— Самука никогда больше не допустит, чтобы в его присутствии отзывались дурно об Академии, этом почитаемом учреждении.

Шагая по темным коридорам, засунув бесполезные теперь страницы верстки в карманы пиджака, униженный журналист Самуэл Ледерман сожалеет о смерти поэта Антонио Бруно, с которым он разговаривал единственный раз и чья ода, посвященная оккупированному немцами Парижу, песнь борьбы и надежды, окажется неопубликованной. Как и многие другие люди, Самука знал на память целые отрывки поэмы и сейчас вспоминал их. Он мало-помалу приходил в себя после понесенного поражения. Ведь мечта, которую мы лелеем, всегда сильнее: днем раньше, днем позже, приносящий лишь убытки, преследуемый, осужденный журнал превратится в ежедневную газету, активную, живую, с важными репортажами, с известными сотрудниками, отечественными и иностранными, со свободным обменом идеями — нечто небывалое для прессы страны. Когда Париж будет освобожден и воцарится демократия в Бразилии... («Ты неисправим, Сами...»)

Оптимистические перспективы и восклицание по-латыни

— Повторите, пожалуйста, дезембаргадор, я толком не расслышал. Вы сказали, что...

Освободившись от зловредного еврейского шпиона, располагая возможностью уже не скрывать охватившее его волнение, полковник возбужденно слушает. Он кивает головой в знак согласия с утверждениями опытного специалиста по выборам. «Сейчас не время соблюдать протокольные нормы, прославленный друг, сейчас необходимо атаковать. Главное — не потерять время, перейти в наступление, занять прочную позицию, воспрепятствовать появлению другого кандидата, заручиться голосами выборщиков. Претендентов ведь много...»

Наверняка с целью придать больший вес своему усердию и своим советам, навязывая полковнику собственное руководство его избирательной кампанией, Лизандро Лейте прежде всего охарактеризовал предстоящую битву, ожесточенную, хотя и без кровопролития. «Выступить как можно раньше, друг мой,— это лучшая тактика, надо подготовить все для блистательной победы. Alea jacta est!» [1]

Полковник не спорит, твердит:

— Я доверяю вам, дорогой друг, согласен с вашими доводами. Поступлю, как вы советуете, отдаю себя полностью в ваши руки.

---

[1] Жребий брошен! *(лат.).*

Энергичный юрист не хочет ничего иного, как привести полковника к триумфу. Задача эта, впрочем, нетрудная. Нельзя найти кандидата, обладающего большим престижем, который опирается на поддержку самых могущественных персонажей режима и перед которым открывается свободный путь... Такой ли уж свободный? Возможно, и найдется кто-то, кто захочет поспорить, наморщить нос, оперируя ссылками на политические позиции кандидата, но никто не рискнет пойти дальше ворчания, все кончится тем, что академики проглотят пилюлю и отдадут ему свои голоса. Избрание, несомненно, гарантировано. А уж потом будет торжественная церемония, облачат его в парадный академический мундир, не поскупятся на дифирамбы в официальной приветственной речи... Да, было бы невероятной глупостью, если бы речь была произнесена по поводу другого кандидата. А тут — зал, заполненный генералами, министрами, быть может даже во главе с президентом; послы, великосветские дамы, элегантные туалеты, декольте, драгоценности, ордена, ленты, царство роскоши, красоты (не говоря о фотографиях), а затем...

Ах! Затем предстоит получить заслуженное вознаграждение: занять первую вакансию в Верховном федеральном трибунале, ибо, как известно, рука руку моет. Возьмите Академию, полковник, дайте взамен Верховный трибунал.

Лизандро Лейте развивает по телефону идеи, подсказывает новые мотивировки, пот стекает по его лицу. «Потрясающий болтун»,— отзываются о нем коллеги по профессии. Он намечает перспективы, открывает горизонты — голос у него медоточивый, убеждающий. Полковника охватывает энтузиазм.

— Конечно, да. Моя кандидатура получит полную поддержку армии. Полную. Министр? Он сделает все необходимое, все. Как вы говорите? Да, именно так, вы совершенно правы: моя кандидатура будет предложена армией, не имеющей в настоящее время своего представителя в Академии. Это поистине абсурд. Уважаемый друг высказался очень точно: таково требование класса.

Профессор продолжает: напоминая об истории Академии, он выдвигает решающий, неоспоримый довод. Какая голова! Полковник чувствует себя практически избранным:

— Точно, дезембаргадор, абсолютно точно. Я ведь и не подумал об этом...

— Так вот, именно так, мой благородный друг, кресло это принадлежит армии, всегда принадлежало ей. Покровитель Академии, первый среди академиков... Ваше избрание будет означать восстановление традиции, нарушенной избранием Бруно.

«Традиция» — приятное слово для полковника. Он чувствует себя в благодушном настроении. Лизандро Лейте заключает многообещающими словами.

— Единственный кандидат? — повторяет полковник. — Вы считаете это возможным, дорогой друг?

— Ну, мой бравый полковник, не будьте наивны. В условиях нынешней внутренней и международной обстановки кто в стране осмелится соперничать с всемогущим патроном сил безопасности?

«Безумие само по себе имеет границы»,— думает Лизандро Лейте, вытирая пот, улыбаясь, и затем обещает:

— Я, со своей стороны, сделаю все возможное и невозможное, чтобы было именно так. Единственный кандидат и единогласное избрание, мой благородный полковник.

Совершенно необходимые соображения

Есть ли более могучее чувство, овладевающее сердцами людей, чем тщеславие? Маэстро Афранио Портела утверждает, что нет, и доказал это в ходе выборов.

Занять место в прославленной компании, стать одним из сорока «бессмертных», облачиться в парадный мундир с золотым шитьем, расположиться в бархатном кресле, рука покоится на эфесе шпаги, треуголка под мышкой, боже, чтобы достичь этого, самые уважаемые граждане, самые могущественные личности изощряются, стараясь выглядеть как можно лучше: грубиян становится вежливым, нахал представляется скромником, жадюга — расточительным, разоряющимся на цветы и подарки. Со слов в это трудно поверить, это надо видеть. Вот пища для весьма забавных анекдотов. К сожалению, у нас нет здесь места и времени, чтобы рассказать их.

Возьмите в качестве примера полковника Агналдо Сампайо Перейру: имея в своем распоряжении войска и полицию, командуя направо и налево, будучи по сути неограниченным властелином, перед которым трепещут даже министры, он не считает

что его чаяния осуществлены полностью,— ему, видите ли, не хватает Академии. Давняя амбиция, времен первых (и отвергнутых) стихов, мечта, которую он лелеет в течение всей своей жизни.

Однажды он признался в этом Лизандро Лейте, своему заботливому земляку. «Надо дождаться подходящего случая»,— пояснил юрист, подчеркивая трудности, стоящие на пути осуществления мечты полковника. Время от времени они обменивались мнениями по этому вопросу. «Зреет»,— сообщил как-то академик, имея в виду кандидатуру полковника. Полгода назад он объявил: «Условия сейчас отличные, у нас все козыри. Не хватает лишь вакансии». Они подвели итог возрасту и здоровью «бессмертных» и получили положительное сальдо: некоторым из них осталось недолго пользоваться «бессмертием». Великий Персио Менезес, к слову сказать, болен раком.

Член Бразильской академии — окаменевшая химера. И это подтверждается тем, что даже военачальник, стойкий ариец в разгар битвы за овладение миром, может лелеять мечту с таким же жаром, как и ничтожный подрывной элемент, журналист-еврей.

Оживленное бдение у гроба

О неисправимый Бруно, возмутитель спокойствия женщин, во что ты превратил значительность смерти, строгую сдержанность печального молчания, предписанное страдание?

Академики, выходя из автомобилей, хоть и принимали подобающий случаю скорбный вид, однако кто же мог оставаться сокрушенным и серьезным, когда надо было целовать ручки очаровательным дамам, беседовать на фривольные темы, выслушивать пикантные истории, вспоминать пылкие стихи в окружении такого блеска и изящества?

Бдение у гроба? Катафалк с телом усопшего, правда, возвышался в вестибюле Академии. Однако покойник, удивительно привлекательный, даже с видом весьма легкомысленным, несмотря на достоинство парадного мундира, не был на высоте своей мрачной роли, а выглядел скорее соучастником, если не заводилой, царящих тут беззаботности и непочтительности. Да, такая издевка была предсказана и предложена самим поэтом, как явствует из «Завещания о бдении у гроба некоего Антонио Бруно, Трубадура и Бродяги, трижды умиравшего от избытка любви» — стихов давно написанных, но сохранивших свое значение и поныне, стихов, в которых поэт высмеивает смерть, предлагая устроить праздник вместо траура на прощании со своими останками.

Так и случилось. Смех и слезы, больше смеха, чем слез,— просил он в своей поэме. Красивые, сумасбродные женщины: «хочу слышать хрустальные раскаты вашего смеха». Праздничные платья: «хочу увидеть нежность груди в декольте». Женщины, находившиеся здесь, знали поэму строфа за строфой, кое-кто выучил ее наизусть. «Придите все — и та, что заставила меня страдать, и та, что лишь на улице мне улыбнулась...» Пришли все, и во вздохах их была, как он просил, «музыка любовных стонов в праздничный рассвет».

Полный вестибюль. Академики, писатели, несколько представителей власти, деятели театра и радио, дипломаты, художники и скульпторы, люди из народа — просто читатели. Дезембаргадор Лизандро Лейте, приехав, позировал перед фотографами подле гроба, произнес несколько (лапидарных) фраз перед микрофоном одной радиостанции и сразу же вышел через дверь секретариата, увлекая с собой президента, что-то нашептывая ему.

В изяществе женщин исчезала притворная сокрушенность, фальшивая маска сострадания. Лишь подлинные чувства остались неприкосновенными — любовь, красота, уважение коллег, некоторые из них были его близкими друзьями, восхищение читателей, многих и большей частью молодых. Даже роковой запах увядших и помятых цветов, неизбежный при всех бдениях у гроба, предвестие близкого разложения, был изгнан изысканными, возбуждающими духами.

Еще одно рассуждение о поэзии

Поэзия Антонио Бруно заслужила разные оценки критики. Но звание, которое сопровождало его с первой же книги, повторяемое печатью и публикой, звание, дорогое его сердцу, было — «поэт влюбленных». Все влюбленные читают его стихи; «в восемнадцать лет все мы его читатели, но женщины — его читательницы на протяже-

нии всей своей жизни»,— отметил один эссеист в пространном и хвалебном отзыве на выход в свет «Избранной поэзии». Некоторые критики, не жалующие народные произведения и народных поэтов, обвиняли его поэзию в ветренности и случайности тематики, однако читатели открывали в ней мир реальный и вместе с тем волшебный, где будничное, встречающееся изо дня в день, внешне незначительное,— скажем, переулок или цвет неба, кот в окне или расцветший кактус — приобретало особый смысл, было овеяно дыханием тайны.

Внезапное и волнующее открытие: улица и дождик, облака и сумерки, необъятность ночи, пейзажи, предметы, чувства. Жадные губы, тяжелое дыхание, бесстыдная география обнаженного тела, страстное желание, порыв, сладость любви. Поэзия с ароматом и вкусом женщины и в то же время насыщенная Бразилией, он славил деревья и птиц, реки и море, животных, бразильские обычаи. Но любовь была душой его песен, в сердце поэта не было ненависти.

Журналист, сотрудник министерства юстиции, он никогда не копил денег, не имел недвижимости, тратил он столько, сколько получал, впрочем почти всегда больше. Еще будучи девятнадцатилетним юношей, он вместе с коллегами по факультету отправился во время каникул в Европу. Ему показалось абсурдом пробыть в Париже неделю, он прожил там три года. Чтобы заставить его вернуться, отец урезал ему ежемесячное содержание, но он пережил это, счастливый, восторгавшийся всем, что открыл ему Париж. Он признавался друзьям, что выполнял, между прочим, почетную и прибыльную миссию жиголо, танцора на содержании у старых миллионерш, «очаровательных старушек». Завсегдатай литературных кафе, постоянный посетитель букинистов Сены, он изучил все тонкости вин и сыров и, вернувшись, привез в чемодане рукопись книги, которой он дебютировал,— «Танцовщик и цветок», имевшей потрясающий успех.

Он снова и снова бывал в Париже, всякий раз когда ему это удавалось. Уже сорокалетним он ухитрился остаться там еще на два года по протекции министра иностранных дел, его однокашника, который устроил ему в бразильском посольстве в Париже должность с весьма неопределенными обязанностями по вопросам культуры. Прежнее очарование Парижем возросло еще больше. Для поэта Париж был высшим завоеванием человека, несравненным городом, колыбелью гуманизма, красоты, свободы. По возвращении домой он посвятил ему целый том «Париж — Любовь — Париж», открывавшийся эпиграфом Жака Превера, с которым он был знаком и подружился: "Tant pis pour ceux que n'aiment ni les chiens ni la boue"[1].

Один критик, считавшийся эрудированной личностью, назвал его «бразильским Превером», но определение это было поспешным, так как Бруно не проявлял в своих стихах достаточного интереса к социальным и политическим проблемам, что присуще творчеству француза. Он никогда не ввязывался в политику: однажды губернатор его родного штата, желая нажиться на популярности поэта, предложил выдвинуть его кандидатом в депутаты федерального конгресса, он отказался, воздерживаясь от каких бы то ни было обязанностей. Установление в 1937 году диктатуры Нового государства он не одобрял, но и не протестовал против него. Тогда Бруно был занят сочинением речи, которую ему предстояло произнести при вступлении в Академию. Он был избран несколько месяцев назад, победив парламентария с пылким красноречием и врача с литературными наклонностями и солидной репутацией ученого, придя на смену старому генералу — страстному исследователю сертана, автору сухих, однако отличных исследований о языке и обычаях бразильских индейцев.

Левые интеллектуалы не раз критиковали поэта Антонио Бруно за его недостаточно определенную позицию в этом раздираемом противоречиями, несправедливом и беспокойном мире, где другие поэты тосковали в изгнании или погибали под пулями.

Поэт спускается с хрустальной башни, чтобы быть казненным в Париже

Однако, когда нацисты развязали войну, поэт Бруно выбрался из кокона, ощутив наконец, что его мир, цивилизация, свобода — все, что он любил, находится в опасности. «Я спустился с хрустальной башни, хрусталь потускнел, мешая видеть мир»,— произнес он, как бы критикуя самого себя в речи при вступлении в Академию. Он стал следить за событиями со все нарастающей страстностью, сопереживая и страдая.

[1] Тем хуже для тех, кто не любит ни собак, ни грязь *(франц.)*.

Ни на мгновение он не усомнился в том, что союзные войска победят. Даже когда вермахт вторгся во Францию, он продолжал утверждать, что французские солдаты непобедимы. Поражение застало его врасплох, он не был к нему готов. Это было ужасно, все рушилось вокруг, надежды и энтузиазм сменились всеобщим унижением, он увидел себя окруженным развалинами, внезапно утратил всю свою уверенность и любовь к жизни. Падение Парижа обернулось для него инфарктом.

Еще в больнице он написал едкую поэму. В первый и единственный раз нежная сага любви уступила место боевой песне, строфам из огня и крови, оскорблений и проклятий, анафемы Гитлеру и его приверженцам. Измученный унижением и страданиями горячо любимого города, родины цивилизации и гуманизма, раздавленной нацистским сапогом, поэт Бруно все же поднялся неожиданно с больничной койки и, превозмогая отчаяние и отвращение к жизни, предсказал день освобождения, когда Париж, радость и любовь вновь воскреснут.

Так «Песнь любви к оккупированному городу» завершилась горячим призывом к продолжению борьбы до победного конца. Удивительное вдохновение, необъяснимый энтузиазм человека, который перестал было верить в жизнь.

Заключительная часть поэмы, правда, была написана совершенно заново. В первоначальном варианте поэт прощался с жизнью, собираясь покончить с собой, он отказывался жить в столь чудовищном мире. Но когда он увидел слезы на глазах той, что рискнула своей честью и тайком посетила его, осветив мрак, отвергая страдание и смерть, Антонио Бруно, который ни в чем не мог ей отказать, сделал вид, будто разделяет ее веру, зачеркнул ужасные строки отчаяния и разочарования, сочинил новые строки — сопротивления и победы. Он был автором этих героических стихов, но вдохновила его слабая и бесстрашная посетительница, с очаровательным заморским акцентом. Бруно доверил ей рукопись поэмы, и она тайком отпечатала на машинке первые экземпляры.

Когда он хотел опубликовать поэму в литературном приложении одной из крупных газет Рио, цензура запретила ее, сочтя «оскорбительной для главы дружественной нации». Несмотря на это, несколько дней спустя поэма была широко распространена, приобрела большую популярность. Она переходила из рук в руки в ротированных копиях; напечатанная в виде листовок, она быстро достигла самых отдаленных уголков страны.

Но даже и успех «Песни любви к оккупированному городу» не поддержал поэта. Надежда и мужество, которыми были проникнуты строки поэмы, не укрепили его истерзанное сердце. Когда главный редактор «Перспективас», журнала, о существовании которого поэт до сих пор не знал, пришел попросить разрешения опубликовать поэму, он лишь пожал плечами:

— Что могут сделать стихи против пушек и зверств? Публикуйте, если хотите, если позволят. Поэзии нет больше места в мире. И не будет впредь.

Десять дней спустя прозрачным утром — солнце освещало запущенную парижскую студию — поэт испустил последний вздох.

Вздох, роза, поцелуй, дама в черном, полковник
и, наконец, смерть.

— Если была бы музыка, можно было бы потанцевать...— заметил с легкой улыбкой Афранио.

Молчаливая слушательница, немолодая сеньора со следами былой красоты, вздохнула при воспоминании о давнем бале-маскараде. Важный и уверенный Эвандро Нунес дос Сантос подтвердил хриплым голосом заядлого курильщика:

— Меня бы не удивило, если бы Бруно встал и распорядился подать всем шампанское. Так, я видел, он не раз поступал в Париже...

Два старых взволнованных эрудита. У гроба, где покоились останки поэта и легенда о нем, несравненном представителе богемы, неотразимом соблазнителе, собрались взволнованные женщины. Их было много. Блондинки, шатенки, одна рыжая с веснушками, элегантные сорокалетние дамы и девушки в расцвете лет, девчонки в школьной форме со стихами, переписанными в тетрадь по математике, знаменитая актриса и молоденькая модистка с розой в руке.

Робкая модистка подошла и положила розу на парчу парадного мундира — медную розу, медовую розу, милую розу. Знаменитая актриса нагнулась, со слезами на глазах поцеловала холодный лоб, взглянула в последний раз на романтический про-

филь, «романтический профиль бедуина» — поэт выдавал себя за потомка шейхов пустыни, впрочем, в его жилах действительно текла темная кровь. Дед по материнской линии Фуад Малуф, когда откладывал в сторону метр и ножницы, сочинял стихи на арабском языке. Воспоминания о прошлом, о другом прощании вынудили диву тяжко вздохнуть, и она удалилась, ее сжигал огонь первой страсти, как знать — может быть, единственной настоящей в ее весьма бурной любовной жизни.

Вокруг двух друзей столпились слушатели. Эвандро Нунес дос Сантос вынул платок, протер пенсне, воспаленные глаза. Он рассказывал о том, что было всего несколько лет назад, однако это относилось как бы к далекому прошлому.

— Он получал какие-то доллары в посольстве, даже не считался прилежным чиновником, но все относились к нему как если бы он был послом. Я провел тогда в Париже три месяца, и мы ежедневно прогуливались с ним вместе. Мне кажется, я не знал никого, кто бы так любил какой-нибудь город. Париж принадлежал ему. Самый очаровательный друг...

Все еще не оправившаяся от волнения знаменитая актриса присоединилась к группе:

— Я обязана ему своей карьерой. Ведь это он привел меня на сцену, он был самым великодушным человеком...— Она была обязана ему значительно большим; если бы можно было, она с удовольствием поведала бы о всех подробностях.

Маэстро Афранио подтвердил:

— Он был примерным другом...— улыбка погасла на дрожащих губах.— Его убила война, Гитлер. Только в среду он получил известие от своих друзей, от одной французской четы. Те были в отчаянии: единственного сына, двадцати лет, взятого заложником, гитлеровцы в конце концов расстреляли. Бруно мне сказал: «Я больше не вынесу».

Маэстро умолк, размышляя о том, как стала горька и убога жизнь. Он обвел собравшихся печальным взором и в этот момент увидел, как подходит она, вся в черном, с лицом, наполовину прикрытым траурной вуалью, никогда она не была так прекрасна — пришла, несмотря ни на что, презрев его советы. Держась холодно и замкнуто, она подошла к катафалку. Маэстро Афранио наблюдал за ней: строгая, сжимает скрещенные руки с длинными тонкими бледными пальцами, тут же ускользнувшие под накидку. «Это богиня, маэстро Афранио, она спустилась с Олимпа, я не заслуживаю ее, я всего лишь безумный фигляр».

Дезембаргадор Лизандро Лейте появился из помещения секретариата потный, взволнованный, прошел через вестибюль к входной двери, чтобы выглянуть на улицу. Президент Академии Эрмано до Кармо присоединился к группе и поддержал восхваления покойного. Тогда среди стоявшего вокруг шума отчетливо послышался выразительный, чистый голос знаменитой актрисы, начавшей декламировать под сурдинку стихи Бруно, стихи, возможно посвященные ей самой. Лизандро Лейте остановился послушать, но, не дождавшись окончания строфы, устремился к двери.

Донесшиеся твердые, размеренные, гулкие шаги были несравнимы, ни один штатский не смог бы так ступать. Полковник Агналдо Сампайо Перейра, при полном траурном параде, подошел к гробу, громко щелкнул каблуками, стал во фронт перед мертвым академиком, отдал ему честь (потом повторил все для фотографов).

— Боже мой...— простонал Афранио Портела.

Внезапно воцарилась тишина, мертвое молчание. Умолк голос актрисы. Недвижно, по стойке «смирно», полковник пробыл в этом положении бесконечную минуту. Потом сделал пол-оборота и, повернувшись, обратился к президенту: «Большая потеря для бразильской литературы» повторил эти слова для академиков, приветствовал некоторых известных лиц. Рядом с ним — торжествующий покровитель кандидатов, блистательный дезембаргадор Лизандро Лейте.

Подчинясь повторному знаку юриста, несколько раздосадованный, президент пригласил полковника подняться на второй этаж. Они направились к лифту, Лизандро Лейте позвал по пути двух сеньоров академиков. Остальные колебались, пойти или нет. «У нас есть кандидат»,— сказал один из них, другой дополнил: «И какой кандидат!»

— Боже мой! — повторил маэстро Афранио.

Эвандро Нунес дос Сантос снова водрузил на нос пенсне:

— Не может быть! — Это было не столько отрицание, сколько тревога.

Дама в черном вышла из своего убежища и, отбросив всякое стеснение, напра-

вилась к двум друзьям, пораженная и возмущенная: что означает присутствие этого типа на бдении у гроба? Уж не претендует ли он случайно на что-нибудь?

В вестибюле уже исчезла оживленная, почти праздничная атмосфера, которую требовал поэт, атмосфера, где страдание и тоска были подлинными, а не случайными, фальшивыми чувствами. Прекратился взволнованный шум, уже не было слышно смеха, не раздавались возбужденные голоса, несдерживаемые вздохи, шепотом произнесенные стихи о любви. В гробу, от которого отдалился безумный фигляр, теперь остался лишь труп академика, приготовленный к отправке на кладбище. Взвешенные слова, торжественные фразы, сокрушенные лица, гнилостный запах свечей и цветов, холодная тишина — вступил в силу похоронный ритуал.

II

БИТВА ЗА МАЛЫЙ ТРИАНОН

Краткое сообщение об обеде с настоящим виноградным вином

Выбрать меню обеда полковник предоставил выдающемуся знатоку юридической литературы, почтенному обжоре, завсегдатаю ресторанов — тот любил вкусно и сытно поесть, особенно за чужой счет. Но настоял на том, чтобы вино заказать по своему вкусу — красное из штата Рио-Гранде-до-Сул.

— Это настоящее виноградное вино, прелесть.

Учитывая идейные и географические соображения, Лизандро Лейте лелеял надежду осушить несколько бутылок настоящего рейнвейна, вина благородного германского происхождения. Соглашаясь с полковником, он поднял бокал с «настоящим виноградным вином» юга Бразилии:

— За успех вашей кандидатуры!

— Спасибо. А вино каково?

— Нектар! («Сок дикого винограда, страшное дерьмо...»)

Полковник в штатском костюме, казалось, стал меньше ростом и потерял свою представительность. Лизандро Лейте, однако, не позволил себя обмануть: простая видимость, одежда не умаляет могущества радушного хозяина. Достаточно взглянуть на соседний стол, за которым расположились мощные атлеты, его телохранители. Юрист смог оценить вес и прочность этого могущества и в аллеях кладбища, наблюдая реакцию академиков на сообщение о кандидатуре. Ни один не осмелился поднять голос против притязаний полковника, хотя некоторые не сумели скрыть неудовольствие, с трудом проглотив пилюлю: шайка либеральничающих типов. Нужно позаботиться, чтобы никто не воздержался при голосовании, иначе будет скомпрометировано торжество победы.

— Вы будете единственным кандидатом, наверняка. Что касается единогласия, я буду бороться за то, чтобы обеспечить его, наставляя на путь истинный колеблющихся, эту шайку Би-Би-Си...

— Какую шайку?

— Ну тех, которые, приклеившись к радиоприемникам, слушают лондонское Би-Би-Си. Не скрою, что Академия скомпрометирована ими. Однако престиж дорогого друга и мой опыт...

Он докладывает между глотками вина о результатах (положительных) первых контактов. Сампайо Перейра отложил столовый прибор, чтобы вволю насладиться похвалами и прогнозами, собранными другом по пути через кладбище.

— А президент? Мне показалось, что он что-то недоговаривает.

— Помня о статусе президента, Эрмано должен держаться осторожно, он не может объявлять во всеуслышание о своем предпочтении того или иного кандидата. Я долго беседовал с ним до вашего прибытия. «В самом деле, Академии нужно иметь представителя армии»,— сказал он, когда я сообщил ему о своем намерении. Тот факт, что он пригласил вас подняться на второй этаж вместе с академиками, означает практически публичное представление вашей кандидатуры под покровительством президента. Это все работенка вашего друга... И заметьте, что на бдении у гроба были по меньшей мере три соискателя, и никто из них не заслужил такого внимания. Даже Раул Лимейра...

— Ректор?

— О нем поговаривают довольно давно. Могущественных кандидатов в члены Академии у нас хватает. Но предоставьте мне расчистку дороги. Я договорюсь с Лимейрой, пообещаю ему выдвижение его кандидатуры, когда откроется следующая

вакансия. Персио, бедняга, еле жив, долго не протянет...— Он понизил голос: — Рак легких.— Лизандро располагал точными данными о возможных вакансиях, было нечто мрачное в этом бюллетене здоровья академиков. Он закончил доклад утверждением:— Сам Афранио Портела согласился со мной, что ваша кандидатура бесспорна. Даже он, непоколебимый противник существующего режима, не особенно симпатизирующий моему другу.

— Я никогда не смогу отблагодарить вас, дезембаргадор. Но знайте, что я не забываю о сделанных мне одолжениях... те, с которыми я близок...

Если говорить о близости участников «роскошного и великолепного банкета» (по компетентной классификации юриста), то они порешили — кандидат и его покровитель — отбросить церемонное обхождение на «вы», не упоминать чины и титулы, а просто обращаться по имени — Агналдо и Лизандро. Что же касается благодарности — академик снова подтвердил полную бескорыстность своей поддержки, основанной лишь на чистейшем и искреннем восхищении творчеством писателя и абсолютной солидарностью с деятельностью патриота.

Вакансия в Верховном трибунале откроется лишь в середине будущего года по предположению министра Пайвы, также его коллеги по Академии и хорошего друга. Как он подсчитал, это случится как раз тогда, когда он, Лизандро, будет произносить речь, восхваляющую нового «бессмертного» на торжественной церемонии приема его в члены Академии.

На бдении у гроба и на кладбище он почувствовал глухие, скрытые протесты при упоминании имени полковника; на то, чтобы добиться его избрания, потребуется больше труда, чем он предполагал. Главная задача — воспрепятствовать выдвижению другого кандидата. Чтобы полковник был благодарен ему настолько, насколько это необходимо, нужно, чтобы он не просто был принят в Академию, а был бы внесен на руках.

— В следующий четверг состоится поминальное собрание, на котором мы воздадим хвалу покойному, после чего президент объявит вакансию открытой. Вы должны будете отправить письмо, объявив себя кандидатом, сразу же, на следующий день. Я хочу, чтобы ваша кандидатура, дорогой Агналдо, прошла подлинно триумфальным маршем.

Они еще раз чокнулись бокалами с красным вином из Рио-Гранде.

— Чистый виноград...

— Нектар!

За соседним столом питались — за счет сметы по борьбе с коммунизмом — геркулесы-охранники. Лизандро Лейте отвел взор, даже для него эти атлетического сложения создания не представляли приятного зрелища. В дальнейшем надо будет тактично посоветовать полковнику позаботиться о том, чтобы его телохранители вели себя более скромно. При деловых визитах к академикам и возможных посещениях академического Малого Трианона лучше будет оставлять этих горячих ребят на улице. В тот вечер на бдении у гроба они перед входом в лифт грубо толкнули президента, а посол Франселино Алмейда, самый старый член прославленной компании, единственный оставшийся в живых из сорока ее основателей, слабый старик, получил такой удар от одного из хамов, что ему пришлось улечься в постель. А его голос в пользу полковника Лизандро считал верным.

Внуки и дед

Тяжело опираясь на трость, Эвандро Нунес дос Сантос медленно прошел среди фруктовых деревьев маленького парка, уселся на скамью под манговым деревом. Здесь, на холме Санта-Терезы, звезды ярче сверкали на бездонном чистом небе. Но даже величественная красота ночи не смягчила сердца старого литератора. Не утешало и присутствие внуков.

— Сегодня я впервые пожалел о том, что столько прожил.

Он говорит и ведет себя как дряхлый старец, думает Педро, встревоженный. Изабел берет руку деда, нежно целует ее. Она садится на траву у его ног, прислоняет голову к костлявым коленям, пытается улыбнуться, к чему слова? Прячась в тени, Педро с грустью смотрит на согбенные плечи, склоненную голову, седые волосы; печальная фраза болезненно отзывается в молодом человеке, привыкшем к бодрости того, кто отказывался стареть. Внуки могут понять страдание, гнетущее его,— они тоже любили поэта Антонио Бруно. На кладбище Изабел, его крестнице, пришлось опереться на руку брата.

Педро вспоминает, как дед привел их, когда Педро было семь, ей — пять лет, для поцелуя прощания с родителями, Алваро и Барбарой, погибшими в нелепой автомобильной катастрофе. Получив в то утро останки единственного сына и дорогой невестки, Анита, супруга Эвандро («жена, сестра, мать и любовница») умерла для радостей жизни и если и протянула несколько лет, то лишь благодаря поддержке мужа: «Нам нужно жить ради детей». Она прожила до тех пор, пока не увидела их повзрослевшими, Педро в шестнадцать лет, Изабел в четырнадцать. Перестала чувствовать себя необходимой, считая свою тяжелую задачу выполненной. Анита сдалась жестокой болезни. «Я умру, мой милый»,— сказала она мужу.

Хотя Эвандро и знал, что болезнь ее неизлечима, что она обречена, все-таки умолял ее: «Я не хочу, чтобы ты ушла раньше меня, не хочу остаться бесприютным стариком. Нет ничего более жалкого, чем бродячий пес без хозяина, дожидающийся ласкового слова или жеста. Что говорить тогда о старике без подруги?» Анита напомнила ему, что внуки уже не нуждаются в ней, но еще зависят от него. «Ты никогда не будешь один, у тебя есть дети и друзья».

Анита оказалась права, он не остался ненужным и никчемным стариком, одиноким псом. Помимо внуков и друзей была еще работа. Мелким почерком (он никогда не писал на машинке) заполнял он страницы и страницы, анализируя формирование и эволюцию бразильской нации. В последние годы он опубликовал три книги, явившиеся завершением всего его весьма значительного творчества. Он отверг прежние взгляды, отказался от предрассудков, набрался смелости и революционизировал социологические и исторические исследования. Не примкнув ни к какой идеологии, обрел свободный, почти анархистский дух в своем видении жизни. Держась самоуверенно, будучи зачастую бестактным, он обрел неотразимую силу убеждения и умение командовать; те, кто не восхищался им и даже не любил его, побаивались поэта. «Никогда нельзя знать, что он может придумать и выкинуть»,— говорили про него.

В тишине сада в эту звездную ночь после похорон поэта Педро и Изабел старались ободрить деда. Взволнованный голос Педро донесся из темноты:

— Бруно огорчился бы, увидев тебя таким, дедушка...

— Это верно, дорогой,— Изабел называла его так со дня смерти Аниты, как если бы получила от нее деда в наследство.

— Это не потому, что он мертв, я уже подготовился к его смерти со времени первого инфаркта. Меня угнетает другое...

— Что же, дедушка?

— Вы знаете, сколько страданий принесла ему эта война, с каким отвращением относился он к нацизму. Потеряв надежду, он умер. А знаете, кто заменит его в Академии?

— Уже появился кандидат?

— Сампайо Перейра, этот нацистский полковник...

— Кто? Полковник Агналдо? Король «пятой колонны»? Это ужасно, дедушка, не может быть.

— Это он займет место Бруно. Надо же мне было дожить, чтобы видеть этот позор.

В темном небе скатилась звезда, послышался голос Изабел:

— Он, возможно, и стремится к этому, но ведь вы не допустите, не так ли, дорогой? Вы не позволите, чтобы так поступили с моим крестным отцом.

Педро улыбнулся, он снова обретал спокойствие:

— Конечно, дед постарается что-то предпринять.

Нет, он не остался бесприютным стариком, покинутым и одиноким псом, покорно ожидающим смерти. Он вскинул голову, в то время как Изабел повторила:

— Надо что-то предпринять, дорогой.

«Мы ничего не можем сделать, человек этот — один из хозяев Бразилии,— сказал ему доверительно президент на кладбище,— кто осмелится вступить с ним в борьбу, пойти против него?» Эвандро Нунес дос Сантос ушел с похорон подавленный, чувствуя себя никчемным, несчастным. Педро громко воскликнул:

— Ты никогда не избегал драки, дед.

Он никогда не избегал драк, даже был зачинщиком некоторых из них. Так что же, ничего нельзя поделать, только потому, что не найдется человека, который бы набрался смелости? Ошибаетесь, господин президент, найдутся люди, которые воспротивятся этой позорной кандидатуре, будут бороться против подобного оскорбления

Академии и памяти Бруно. Он поднялся, даже не опираясь на трость, высокий, худой, величественный.

— Вы правы, нужно что-то предпринять. Я сейчас же позвоню Афранио.

Изабел встает, чтобы предложить деду руку, но тот опередил ее. Педро видит, как он твердо шагает среди темных силуэтов деревьев; и как мог он представлять его немощным стариком? Педро подбирает оставленную трость.

Маэстро Афранио подумывает покинуть Академию

Богато убранная зала, хрустальные люстры, фарфоровые безделушки, опаловые вазы, картины мастеров Школы изящных искусств, все явно хорошего вкуса, но несколько старомодно. Служанка убрала приборы после обеда. Молчаливый, уставившись неподвижным взглядом в окно, за которым мелькали огни автомобилей на набережной Фламенго, Афранио Портела едва дотронулся до еды. Озабоченная дона Розариньо — Мария до Розарио Синтра де Магальяэс Портела — не решалась предложить ему лекарство. За сорок лет супружеской жизни она редко видела мужа таким подавленным и мрачным.

Антонио Бруно был ему больше чем другом. Когда Антонио уезжал в Рио учиться в университете — подросток, увлеченный литературой,— он появился у них однажды вечером без приглашения, в неурочное время, чтобы показать земляку, уже прославленному писателю, некоторые стихи и рассказы. Стихотворения были хорошими, рассказы плохими, высказал свое мнение Афранио, пока дона Розариньо распоряжалась поставить на стол еще один прибор. С того дня в течение тридцати лет дом этот был пристанищем Бруно. Бездетная семья как бы усыновила дерзкого ученика поэта. Дона Розариньо не решилась пойти на бдение у гроба и тем более на кладбище. Она предпочитала представлять его здесь, за столом, рассказывающим о Париже, славящим свою последнюю любовь.

— Не хочешь, чтобы я тебе...

— Велите подать мне коньяку, это то, что мне нужно.

Он начал неторопливо и подробно рассказывать, как проходили бдение и похороны. По общему мнению, во всем Рио не было более увлекательной прозы. «Он был бы необыкновенным романистом, если бы писал с таким же вкусом и остроумием, как говорит»,— проворчал однажды его коллега с острым язычком. Чистое злословие, ибо новеллистика Афранио Портелы — хотя она оказалась в последние годы несколько в тени из-за большой шумихи, поднятой в связи с модернистским движением[1] и столкновением романистов поколения тридцатых годов,— заслужила аплодисменты критики, которая признала и приветствовала создателя «Аделии», проницательного и смелого летописца рио-де-жанейровского общества двадцатых годов. В эпоху, бедную художественными произведениями, его творчество выделялось психологической заостренностью, ясностью языка, интересным показом нравов так называемой элиты. Он был первым в Бразилии, кто прибег к психоанализу в исследовании чувств своих героев или, скорее, героинь, изображая женщин, которые мечутся между инстинктом и предрассудками.

Лишь в единственной книге — в первом своем романе — он воссоздал картину алмазных копей и образы жителей тех мест, где родился; драму примитивных, однако реально существующих чувств, свободной любви и суровой земли, и книга эта выделялась среди пикантных и легкомысленных сочинений на тему городской жизни. Закутанная в лохмотья, невинная и бесстыдная Малукинья постепенно завоевала уважение читателей, в то время как девять прочих романов с их утонченными и изысканными героинями служили всего лишь альковным чтением.

Появление последнего романа «Женщина в зеркале», изданного в 1928 году, совпало с публикацией в Параибе в грубом провинциальном издании «Подонков общества» малоизвестного автора Жозе Америко де Алмейды[2]. Не послужил ли этот факт тому, что Афранио Портела бросил писать художественные произведения, обратившись к очеркам и к истории литературы? Смелое утверждение самонадеянного критика! Наиболее вероятно, что это было лишь совпадением: а вот северо-восточные романисты, появившиеся вслед за параибским писателем, действительно получили горячее

[1] Имеется в виду начавшееся в 1922 году движение творческой интеллигенции Бразилии за прогрессивное народное искусство против консервативных академических традиций.

[2] Жозе Америко де Алмейда (род. в 1887 г.) — бразильский романист, политический деятель, был губернатором штата Параиба, министром диктатуры Варгаса.

одобрение и поддержку от автора «Набережной Фламенго». Том о Кастро Алвесе, исследования о Грегорио де Матосе и Томасе Антонио Гонзаге[1] прославили имя Афранио Портелы. «Маэстро Афранио»—стали называть его с уважением коллеги и читатели.

Дона Розариньо слушает яркое, острое повествование. Она знает, что под этой личиной утонченного интеллектуала скрывается непреклонность обитателя засушливого края — сертана. После паузы она слышит:

— Приготовься теперь к весьма неприятному известию.

Дону Розариньо удивляет интонация в обычно сердечном голосе мужа. Что-то случилось, еще более усугубившее настроение, и так тяжкое в связи с неожиданной кончиной Бруно. Маэстро Афранио продолжает, и впечатлительная сеньора уже слышит размеренные шаги, щелкание каблуков в воинском приветствии, представляет позирование перед фотографами. Живя жизнью мужа, дона Розариньо знает обо всех академических интригах, она была заочной участницей каждых выборов и даже оказывала влияние на некоторые из них.

— Кандидат? Ты думаешь? Неужели он осмелится...

— Точно, кандидат. Бесспорный, как сказал мне Лизандро Лейте на кладбище, и он прав. Ты представляешь себе Перейру Сампайо восхваляющим Бруно, автора «Песни любви к оккупированному городу»?

— Какой ужас! Этот... — Она не находила подходящего слова.— Он способен надеть сапоги к парадному мундиру.— Она внимательно смотрела на оскорбленное лицо маэстро Афранио: — А ты, что ты думаешь делать?

— Воздержусь при голосовании, нас будет трое или четверо, наверняка. Не пойду на церемонию, думаю, что вообще не вернусь в Академию после таких выборов. Это слишком для меня...

Дона Розариньо не успела высказать свое мнение. Прислуга сообщила, что пришла сеньора Мария Мануэла и спрашивает, сможет ли доктор Портела принять ее.

— Пойдешь со мной?

— Нет. Она будет чувствовать себя свободнее без меня. Ты забываешь, что я не должна ничего знать!

Необычная гостья

В просторном кабинете, заставленном по стенам книжными полками,— дона Мария Мануэла, бледная, тяжело дышит. Воспаленными глазами она смотрит на старого друга Бруно, надежного друга, который всегда в курсе всех событий. Утром, по телефону, он слышал ее рыдания и не сумел утешить, не найдя нужных слов. Он подождал, пока она успокоится, чтобы посоветовать ей быть более осторожной. Рисковать теперь, после случившегося, уже не имело смысла. Он обещал вскоре повидать ее, чтобы вместе вспомнить смех, остроумие, стихи Бруно.

— Я пришла умолять вас... Обещайте, что вы не позволите. Я не смогла помешать ему умереть... но вы можете воспрепятствовать тому, чтобы обесчестили его память... — В ее прерывающемся, дрожащем от волнения голосе было заметно лиссабонское произношение: — Я иностранка, знаю, но границы исчезли, война одна.— Она гордо подняла голову, «богиня, спустившаяся с Олимпа», молодая женщина в расцвете своих тридцати лет. Мольба перешла в решительное требование: — Фашист не может получить наследие, которое принадлежит нам. Я пришла, чтобы услышать от вас, что этого не случится. Палач народа, нацист, наследующий в Академии место Антонио...— Она с усилием сдержала рыдание.— Это означало бы убить его еще раз.

Боже мой! А ведь он написал десять книг, анализирующих чувства женщин...

— Как вы узнали?

— Я услыхала на бдении, не поверила, хотела даже поговорить с вами. Но только что передавали по радио. Я ничего не могу изменить, но вы можете.

За обедом маэстро Портела сказал доне Розариньо, что ноги его не будет в Академии, если этого типа изберут, а похоже, все идет к тому. Ему казалось, что таким образом он выразит решительный протест. Теперь здесь, в кабинете, слушая Марию Мануэлу, он понял, что занял лишь удобную для себя, пассивную позицию, которая ни к чему не приведет. Его охватило чувство вины. Как мог он предать память друга?!

---

[1] Антонио де Кастро Алвес (1847—1871) — бразильский поэт, революционный романтик; Грегорио де Матос (1633—1696) — бразильский поэт-сатирик; Томас Антонио Гонзага (1744—1810) — бразильский поэт, участник национально-освободительной борьбы.

— Я не знаю, сумею ли, но обещаю, что сделаю все возможное...

— И невозможное...

— Ну что ж, и невозможное.

Молодая сеньора, «девушка Мануэла», подошла к старому литератору, поцеловала его в щеку и направилась к двери. Маэстро Афранио проводил ее до вестибюля. Абсурдный, удивительный мир — кто бы мог вообразить, что жена советника посольства Португалии, дочь салазаровского[1] министра, принадлежащая семье банкиров, самая богатая и влиятельная, станет противницей режима, проявит симпатии к социализму, что заслуживает тюрьмы, концентрационного лагеря. «Я думаю, что она наполовину коммунистка,— заявил Бруно в самом начале приключения с ней.— Коммунистка или нет, однако она совершенно очаровательна и безумно любит рисковать. Мне стоило большого труда убедить ее не бросать мужа ради того, чтобы остаться со мной. Ты представляешь, какой был бы скандал, сеу[2] Афранио? Подумай, в какой переплет я бы попал!»

Возвратившись в залу, маэстро Афранио сказал доне Розариньо, которая уселась перед радиоприемником, чтобы послушать информационный выпуск Би-Би-Си:

— Она пришла просить меня...

— ...О том же, о чем только что просила тебя я. Чтобы ты не допустил избрания этого кровожадного типа. Я не намерена отказываться от посещений торжеств в Академии, я их очень люблю. Теперь звони Эвандро, который хочет переговорить с тобой как раз по этому поводу.

Она улыбнулась мужу прежней улыбкой сообщницы с давних времен, когда была влюблена в него, когда родители-миллионеры противились браку дочери с простолюдином-литератором, у которого за душой не было и медяка.

Старик бродит по улице

Безрассудный старик, думал про себя самого маэстро Афранио Портела на пути в Академию. Он шел туда, чтобы встретиться с другим сумасбродом, Эвандро Нунесом дос Сантосом. Кто осмелился бы выступить против департамента печати и пропаганды, против тайной и всякой прочей полиции, против всемогущего начальника национальной безопасности — кандидата «здоровых сил страны», против установленного порядка, диктатуры Нового государства, против тех, кто с триумфаторами на полях сражений в Европе?

Безрассудный старик, однако, шел по улице, распрямив плечи, с блеском в усталых глазах, с лукавой улыбкой. «Видать, доволен жизнью этот старикан»,— заметил про себя шедший ему навстречу прохожий.

Козыри... и благоразумие

В то время как Афранио Портела направлялся к Эвандро Нунесу дос Сантосу, с которым условился о встрече у президента Академии, как раз с последним Эвандро вел долгую и напряженную беседу, приводя доводы против кандидатуры Сампайо Перейры, излагая причины политического и морального порядка, которые делают ее неприемлемой:

— Это же оскорбление для Академии, возмутительное дело!

— Вы полагаете, я изобрел эту кандидатуру или заинтересован в ней, принимаю ее с удовольствием? — президент Эрмано до Кармо вспоминает вчерашний неприятный случай, когда охранники, толкаясь, влезли в лифт, но не упоминает об этом, чтобы не подливать масла в огонь.— Что я могу сделать, чтобы не допустить этого?

Вопрос повис в воздухе. Эвандро Нунес бормочет, что надо что-то делать, во что бы то ни стало. Президент продолжает:

— Регламент требует, чтобы кандидат опубликовал одну книгу; он опубликовал их несколько, в том числе сборник стихотворений, вам это известно. Я намекнул Лизандро, что некоторые академики подумывали о Фелисиано, считая, что идеальным кандидатом для замены Бруно был бы другой большой поэт. В ответ он напомнил название сборника стихов и заверил меня, что если на место поэта должен быть избран поэт, то предложенный им кандидат ничем не уступит Фелисиано или Бруно.

[1] Антониу ди Оливейра Салазар с тридцатых годов был основателем португальской реакционной партии «Национальный союз», председателем совета министров, фактическим диктатором Португалии.

[2] Сеу — сокращение от «сеньор».

Кажется, это были романтические стихи, написанные им в молодости. Даже этот козырь у него есть.

— Самый дешевый козырь...

— Но зато другие... Нужно было только видеть, как Лизандро вытаскивал их, один за одним, из кармана жилета: кандидат, поддерживаемый армией, одна из самых значительных фигур в правительстве, огромный престиж — нешуточное дело. Другой веский аргумент: это место должно принадлежать вооруженным силам, это кресло всегда принадлежало им вплоть до предпоследнего академика, традиция должна быть восстановлена. И так далее... Я не вижу выхода, старина. Если вы найдете какой-нибудь, скажите мне. Я не вижу никакого...

— Так вот этот... Вы же сами сказали: выдвинуть Фелисиано.

— И вы верите, что он согласится стать кандидатом против Сампайо Перейры? Сомневаюсь. Должен вам сказать, что довод о том, что это место принадлежит армии,— достаточно веский аргумент. В принципе я за кандидатуру представителя вооруженных сил, вам известно, что Академия всегда рассчитывала и продолжает рассчитывать иметь в своем составе представителей различных слоев.

— В вопросе о представительстве...

— Решение зависит от точки зрения каждого, не так ли? — Президент не намерен связывать себя, высказав определенное мнение.

Эвандро Нунес дос Сантос проглатывает остаток кофе, ставит пустую чашку. Афранио Портела где-то задерживается, и ему, Эвандро, нелегко распутать узел. Наконец он решается заявить:

— Если этот негодяй и попадет в Академию, то без моего голоса.

Заговор за чашкой чая

Появившиеся с разных сторон Афранио Портела и Лизандро Лейте столкнулись у подъезда Малого Трианона. Полное лицо юриста светится удовлетворением:

— Известие о кандидатуре Агналдо уже появилось в прессе и передано по радио.

Торжествующий голос, фамильярное упоминание имени полковника — доказательство завидной близости. Он не открывает источника информации, но писатель догадывается о нем без труда: так же, как и он, Лизандро не теряет времени в делах.

Они направляются к кабинету президента, дезембаргадор сразу же опускается в кресло, а маэстро Афранио вовремя подхватывает под руку костлявого Эвандро Нунеса дос Сантоса и отводит его, чтобы разгневанный литератор не успел высказать «правду этому надутому подлизе».

— Пойдем выпить чаю в «Коломбо», там мы будем чувствовать себя свободнее и сможем доверительно побеседовать, подальше от Лизандро, вблизи красивых женщин, что порадует ваш беспокойный взор.

Завсегдатай «Коломбо» обычно в компании с Антонио Бруно, Афранио невольно приписал теперь Эвандро привычки и вкусы покойного. Трогательный флирт поэта с красивой модисточкой, сидящей у окна мастерской на третьем этаже дома напротив, вдохновил Афранио Портелу написать «Пятичасовой чай» — веселый сердещипательный рассказ, единственное обращение писателя к художественной прозе более чем через десять лет после опубликования «Женщины в зеркале».

За столиком кондитерской Эвандро, пребывая все еще в плохом настроении, начал с возмущением критиковать президента, который «даже не сохранил в тайне свое благоволение к кандидатуре полковника».

— Благоволение? Несмотря на вчерашний инцидент?

— Инцидент? Это что за история?

— Немного погодя расскажу. Сначала я хочу знать в точности, что сказал Эрмано.

— Что он относится вполне благосклонно к кандидату армии. Чтобы восстановить традицию.

— Он говорил вообще о кандидате армии или упомянул конкретно полковника Сампайо Перейру? Этого Агналдо, как называет его Лизандро.

— Он говорил вообще.

— Это большая разница, кум,— Афранио и Розариньо были крестными родителями Алваро, сына Эвандро,— хочу признаться: я тоже благоприятно отношусь к представителю армии... — Он лукаво улыбнулся.

Время от времени другу и куму случалось эпатировать старого Эвандро, особенно по поводу вакансий в Академии. Поддерживая почти всегда одних и тех же кандидатов, они ведут себя диаметрально противоположно во время кампании. Эвандро открыто рекламирует достоинства своего кандидата, аргументируя, споря, тогда как Афранио держится скромно, действует мягко, строит козни в кулуарах — его считают самым опасным из прославленной компании, закулисным организатором выборов. Вот и сейчас перед угрозой кандидатуры Агналдо Перейры (сам полковник, комментируя статью, заверил, что он с честью и гордостью принимает прозвище «бразильский Геббельс», которым враги родины рассчитывали унизить и оскорбить его) Афранио не проявляет возмущения. Напротив, он, похоже, развлекается, потирает руки от удовольствия. Эвандро требует нетерпеливо:

— Объясни мне сразу, что́ у тебя на уме, у меня нет ничего, кроме злости.

Маэстро Афранио подчиняется и дает полный отчет, сообщая в подробностях о своей энергичной деятельности. Время от времени он прерывает излияния, чтобы приветствовать знакомых или обратить внимание кума на одну из идущих по улице женщин, стоящую того, чтобы ею полюбоваться. Он не терял времени (ни он, ни Лизандро). Накануне, сразу же после разговора с Эвандро, он позвонил нескольким академикам, чтобы обменяться мнениями. Привыкнув вставать едва ли не на рассвете, он рано вышел из дома и посетил утром по меньшей мере четырех коллег, позавтракал с пятым, Родриго Инасио Фильо. Он опоздал с визитом к Эвандро из-за того, что побывал на квартире у бедного Франселино — еще одной жертвы эпизода в лифте. Благодаря телефонным разговорам и посещению коллег он узнал несколько мнений и сделал вывод:

— Против кандидатуры Сампайо Перейры — многие.

— Единодушно... — Эвандро тоже провел рекогносцировку.

— Не надо преувеличивать, кум, будем реалистами. Существуют возражения, некоторые из них серьезны, атмосфера неприятная, к субъекту относятся плохо, у него очень дурная слава. Ему даже Христос подозрителен. Родриго мне рассказал, что цензура на страстной неделе запретила публикацию в «Ревиста дос сабадос» текста Нагорной проповеди. Редактор журнала Жил Костело обратился в департамент информации и пропаганды, убежденный, что запрет наложен из-за рисунка Портинари[1], сделанного в модернистском духе. Он был ошеломлен, узнав, что запрет был вызван библейским текстом. Чиновник, желая оправдаться, раскрыл, откуда поступило распоряжение: от Сампайо Перейры. Родриго услышал об этом из уст самого Жила.

— Кто будет голосовать за такого типа?

— Не заблуждайся. Несмотря на все это, его изберут, если мы не будем действовать с умом. Проголосуют — зажимая нос, с отвращением, как сказал мне Алкантара, но проголосуют. Козыри Лизандро — не блеф, и сам он не дурак. Как только я узнал об инциденте с Франселино, тут же побежал на квартиру к старичку. Первое, что я увидел там, была огромная корзина фруктов: яблоки, груши, виноград — и льстивая визитная карточка, подписанная именем полковника Агналдо Сампайо Перейры, только почерк-то был нашего Лизандро... — Он снова улыбнулся.— Чтобы выиграть в этом рискованном предприятии, нужна, сеу Эвандро, чертовская ловкость. Чертовская! — повторил он, теперь уже серьезно.— Нам следует найти своего кандидата...

— У нас есть Фелисиано, лучшего не может быть. Поэт, которому все рукоплещут, признанный старшими и молодежью, красавец мужчина.

— Этого недостаточно, кум. Нам нужен кандидат, за которого академики могли бы проголосовать без опасений. Не боясь репрессий. Кандидат, который мог бы противостоять попытке реванша со стороны Сампайо Перейры, личности могущественной и злобной. Он уберет со своего пути любое гражданское лицо, кем бы оно ни являлось. Нам нужно выйти с кандидатурой военного, сеу Эвандро. Военного чином выше его, то есть генерала.

Сугубо штатский человек, автор книги о вреде милитаризма в истории стран Латинской Америки, вызвавшей резонанс на всем континенте, старый Эвандро возмущенно реагирует:

— Не повторяй чепухи о том, что это место в Академии резервировано...

[1] Кандидо Портинари — видный бразильский художник, один из основоположников реалистического искусства.

— Речь не о том...— Тон Афранио более серьезен. Нельзя допустить, чтобы тип, связанный с нацизмом и со всем, что означает нацизм,— с пытками политических заключенных, с реакционной цензурой, преследующей писателей и журналистов,— полная противоположность Бруно, который умер, не вынеся подобных ужасов, пришел бы на смену ему, уселся бы в его кресло среди нас на пленарном заседании Академии, став моим и твоим коллегой.

В молчании Эвандро переваривал слова писателя. Он покачал головой:

— Это так... Конечно, ты прав.

— Прав, да. Для гражданского кандидата я гарантирую не больше четырех-пяти голосов... наши, голос Родриго, голоса... — Он привел еще два имени.— А с генералом, если хорошо поработаем, мы сможем выиграть битву. Нам нужно срочно найти генерала, автора по крайней мере одной книги, противника нацизма и Нового государства, который решился бы вступить в единоборство с Сампайо Перейрой. Согласен?

— Согласен. Трудность заключается в том, чтобы найти такого, который обладал бы всеми этими данными...

— Найдем, ты, кум, любишь преувеличивать. По-твоему, человек надел форму — и все кончено. Среди военных ведь есть и много хороших, серьезных людей, демократов, их большинство. Теперь послушай, что был за инцидент...— и прежде чем рассказать, он не мог не рассмеяться. Маэстро Афранио развлекался от души, беря от жизни все лучшее, что она могла ему предложить.

Генерал в ожидании телефонного звонка

С раздражением генерал Валдомиро Морейра отбрасывает газету и смотрит на часы, он поднимается с кресла-качалки, проходит через сад к двери гостиной и убеждается в строптивости дочери. Как он и думал, Сесилия опять занимает телефон болтовней с тем типом. Проклятый дантист! Словно и без него мало неприятностей.

— Ой! Не говори... — девушка кокетливо смеется.

— Сесилия!

Генеральский окрик прерывает смех. Закрыв рукою телефонную трубку, непослушная дочь умоляет:

— Только минутку, папа.

— Положи трубку немедленно!

— Сию секунду, папа.

Уважаемый Сабенса обещал позвонить, как только переговорит с доктором Феликсом Линьяресом и получит необходимое согласие. Встреча была назначена до завтрака в архиепископстве, где плодовитый автор романов на темы Ветхого Завета выполняет некоторые медицинские обязанности и занимается делами, касающимися Литературной академии Рио-де-Жанейро, которую он возглавляет, будучи переизбранным в пятый раз и единогласно. За утренним кофе генерал запретил пользоваться телефоном после десяти часов утра. Жена и дочь имеют обыкновение часами болтать по телефону: дона Консейсан, жалуясь на дороговизну жизни; Сесилия, увлекаясь объяснениями в любви.

Поклонник литературной деятельности генерала, в особенности его кампании за чистоту родного языка, Клаудинор Сабенса, составитель «Антологии португало-бразильской литературы», «Сборника произведений писателей Рио-де-Жанейро» и двух дидактических книг по грамматике (для первого, второго и третьего курсов), с явным успехом осуществляет полезную работу по обольщению коллег-академиков. Обстановка складывалась в пользу генерала, в частности, потому, что другой претендент, Франсиско Ладейра, был обязан славой не столько спорной ценности своих парнасских сонетов, сколько языку, подобному змеиному жалу. Безжалостно обливая грязью коллег в джунглях сублитературы, он все же претендовал на то, чтобы быть избранным, да еще вербовал с самой невинной физиономией голоса. Но окончательное слово оставалось за президентом.

Доктор Феликс Линьярес как врач пользовался большим престижем среди богатой и влиятельной клиентуры, это гарантирует субсидии, льготы и ассигнования, которые облегчают существование людям из его компании, обеспечивая и ему самому, помимо участия в заседаниях, место в государственном аппарате, издание (правда, с всегдашними задержками, однако бесплатно) журнала, брошюр и даже книг академиков в правительственной типографии, как, например, «Сборника» Клаудинора Сабенсы. Мы уже не говорим о двух государственных служащих, предоставленных в его распоряжение:

посыльного и секретарши, собирающейся замуж, хорошенькой и очень дельной. Для людей, занимающих мелкие административные должности, представляются вожделенными вакансии в Литературной академии Рио-де-Жанейро с ограниченной пределами штата «бессмертностью» и все же не менее желанной.

Нервозность и раздражительность генерала были результатом сложившейся обстановки неустойчивости и неуверенности. Помимо того, что Франсиско Ладейра был весьма ядовитым и скверным поэтом, он еще выказывал себя осведомленным человеком. Говорил ужасные вещи о многих, однако ни разу не открыл рта, чтобы покритиковать библейские персонажи доктора Линьяреса (столь заслуживающие того!),— позиция, которая наверняка устраивает президента. Чувствуя зависимость от тайных сговоров и сделок, генерал нервничает.

Телефонный аппарат наконец-то свободен, он ожидает звонка в кресле-качалке под сенью деревьев. В начале 1937 года он чуть было не стал кандидатом; тот же преданный Сабенса уже начал действовать, но помешали более высокие политико-военные интересы, которые полностью завладели временем и планами генерала. Он принял такое активное участие в избирательной кампании Армандо Салеса де Оливейры[1], кандидата на пост президента республики, занимался всеми связанными с этим событием делами с таким рвением, что пресса неоднократно упоминала его в качестве будущего военного министра в случае победы оппозиционного кандидата. Дона Консейсан, одолеваемая призрачной надеждой, в течение нескольких месяцев упивалась престижем, который дарила ей эта блестящая перспектива. Увы! — очень недолго, так как в результате государственного переворота была установлена диктатура Нового государства, были распущены парламент и политические партии, отменены выборы, и в результате генерал Валдомиро Морейра переместился с поста будущего министра в оплачиваемый запас, обрядился в традиционную пижаму и навсегда вернулся к мирной деятельности на поприще литературы.

Его подпись стала появляться под еженедельной колонкой «В защиту португальского языка», публикуемой газетой «Коррейо до Рио», которая была запрещена в период кампании Армандо Салеса. Закончил он составление третьего, очередного тома «Историй из истории Бразилии», содержавшего рассказы о военных подвигах; издание его совпало с открытием вакансии в Литературной академии Рио-де-Жанейро и заставило друга Сабенсу снова начать действовать с надеждами на успех, если бы все зависело только от академиков. Назначенная на это утро встреча руководителя выборами с президентом Линьяресом должна была решить судьбу честолюбивого кандидата — победа или поражение.

Звон церковного колокола возвестил час полудня, конец утра. Почему Сабенса не позвонил? Простая отсрочка встречи или?.. Как знать, осторожный Линьярес мог принять решение и в пользу Франсиско Ладейры, чтобы спастись от эпиграмм и насмешек. Генерал боится за свое сердце, кардиолог рекомендовал ему избегать сильных волнений.

Ему показалось, что звонит телефон, и он едва удержался, чтобы не побежать. Дона Консейсан объявила с порога гостиной:

— Тебя к телефону, Морейра,— она всегда обращалась к мужу по фамилии, с уважением и преданностью.— Назвал себя академиком...

— Это Сабенса, я знаю... — Он уже был на ногах.

— Нет, не он...

— Не Сабенса? Тогда кто же?

— Говорит, что доктор Родриго Инасио Фильо из Бразильской академии. Хочет, чтобы ты назначил час, когда сможешь принять делегацию академиков...

Генерал Валдомиро Морейра колеблется, он обеспокоен. Должно быть, это розыгрыш, шутка коварного Ладейры, любящего выходки дурного вкуса.

— Человек ждет, Морейра.

Розыгрыш, наверняка. С замкнутым лицом генерал подходит к телефону. Ну, если розыгрыш, то пусть этот развратник Ладейра побережется, он дорого за это заплатит. Нельзя безнаказанно насмехаться над генералом, даже если он в отставке и отстранен от политической жизни.

---

[1] Армандо Салес де Оливейра — буржуазный политический деятель, бывший губернатор штата Сан-Пауло, был выдвинут в 1937 году кандидатом на пост президента; после государственного переворота, совершенного Жетулио Варгасом в ноябре этого же года, был арестован, по освобождении эмигрировал из Бразилии.

Избрание с коньяком «Наполеон»

Имя генерала Валдомиро Морейры вспомнил Родриго Инасио Фильо, введенный в курс дела. Оно пришло ему на ум, когда маэстро Афранио приготовился признать себя побежденным и принял довод кума Эвандро: нелегкая это миссия — найти генерала, у которого есть опубликованная книга, который был бы откровенным антинацистом, не имел бы обязательств по отношению к Новому государству и был бы готов вступить в единоборство с Сампайо Перейрой. Антинацистов много, их большинство; против диктатуры кое-кто и выступает, но между строк, не открыто; имеющих опубликованную книгу мало, и многие ли среди них согласятся противопоставить свою кандидатуру могуществу и ярости полковника? В кабинете писателя, прихлебывая коньяк (знаменитый французский «Наполеон»), два кума отводят кандидатов:

— Пожалуйста, Афранио,— книга по математике... не годится.

— Этот никогда не согласится соперничать с Сампайо Перейрой...

— Это хорошее имя, если бы он был генералом, а не майором.

Приглашенный Родриго Инасио Фильо, один из миролюбивейших на земле, появляется с улыбкой на лице, демонстрируя розетку ордена Почетного легиона в петлице — награду за участие в Сопротивлении. Он целует аристократическую ручку доны Розариньо.

— Рекрут к услугам вашего супруга, моя генеральша. Все это абсурд, но понравилось бы Бруно.

— Абсурд? Почему? Абсурд — это война,— возражает Эвандро.

Дона Розариньо берет бутылку, наливает только что пришедшему академику.

— Суньте руку в карман жилета и вытащите оттуда генерала, Родриго. Вы знаете требования...

— Подчиняюсь вашим распоряжениям, Розариньо. Предлагаю генерала Валдомиро Морейру.

— Валдомиро Морейру? Мне что-то знакомо это имя...— Маэстро Афранио напрягает память.— Откуда, боже мой?

Родриго получил на днях новую книгу генерала Морейры, автора полудюжины солидных томов. Генерал отнюдь не был неизвестен, он пользовался определенным политическим влиянием, не говоря уж о литературе, его имя часто появлялось в газетах во время кампании Армандо Салеса, тогда Родриго и был ему представлен. Они бывали вместе дважды или трижды на банкете в честь очередного кандидата, сидели рядом и беседовали о литературе и политике. Генерал не жаловал современных писателей, критикуя их за незнание и несоблюдение правил литературного языка, но был закаленным демократом на полях сражений, за что Новое государство и перевело его в резерв. Антинацист, сторонник союзников — достаточно было прочитать комментарии о войне, которые он писал в «Коррейо до Рио» и в которых поносил Гитлера, «сумасшедшего, дегенерата».

— Морейра настолько убежден, что не желает принимать в расчет победы нацистов, отрицает очевидность.

— Остается выяснить, согласится ли он выставить свою кандидатуру.

Уполномоченный добыть более полные сведения, маэстро Афранио через день возвращается с победоносным видом:

— Нет сомнения: это наш человек!

В том же самом кабинете, смакуя тот же «Наполеон», он излагает факты и перечисляет достоинства генерала: конституционалистская революция[1], кампания Армандо Салеса, уволен диктатурой в резерв. Пять опубликованных книг: трилогия исторических рассказов, том полемических заметок по лингвистическим проблемам, плюс брошюра (полностью распроданная) об аспектах военной кампании 1932 года в штате Минас-Жераис. Слывет человеком слова, достаточно мужественным, несколько самонадеян и своеволен. Смельчак.

— Для данных обстоятельств это достоинство.

— Вы полагаете, что он примет приглашение вступить в борьбу? — спрашивает Эвандро.

— Уверен, что да... — Маэстро Афранио смотрит на товарищей по заговору с при-

[1] Имеется в виду попытка вооруженного переворота в июле — сентябре 1932 года против Варгаса, захватившего в 1930 году власть в стране. Выступление проводилось под лозунгом принятия новой конституции.

сущим ему лукавством.— Я сомневаюсь, что вы догадаетесь, каково его нынешнее стремление... кажется, он намеревается...— пауза, глоток коньяка,— выставить свою кандидатуру всего лишь в Литературную академию Рио-де-Жанейро.

— Быть не может! Ты шутишь.

— Чистая правда. Представляешь, что будет, когда мы предложим ему выставить свою кандидатуру в Бразильскую? Он потеряет голову. К тому же Сампайо Перейра бессилен против него; что могли мы сделать ему дурного, уже сделали. Это наш человек. Родриго точно попал в цель.

— А книги? — Эвандро понизил голос, задавая вопрос: — Книги, как с ними?

Еще одно доказательство преданности делу — Родриго перелистал недавно полученный том.

— Она написана человеком самовлюбленным, но читается. Пишет он правильно, грамматика — одна из его догм. Стиль гладкий.

— Гладкий, хм? Правильный?

— Точно. Ему бы лучше было в Литературной академии Рио-де-Жанейро, но кроме него я не вижу никого подходящего для нас.

— Я тоже,— подтвердил маэстро Афранио.— Я посвящу остаток дня его книгам, мне удалось уже достать четыре, Карлос Рибейро взялся добыть те, которые уже распроданы. Это Карлиньос снабдил меня большей частью сведений о генерале.

Он имел в виду знаменитого книготорговца из Рио, «старого торговца книгами», как тот себя называл. Книжный магазин на улице Сан-Жозе посещало множество народу — ученые, художники, литераторы самого разного толка, принадлежащие к различным школам и группировкам, выразители разных тенденций. Более информированного человека, чем Карлиньос Рибейро, нельзя было найти.

— К тому же,— на лице у маэстро Афранио заиграла довольная улыбка,— я купил по два экземпляра каждой книги — для себя и для вас, кум. Нам нужно досконально знать творчество нашего кандидата, чтобы иметь возможность хвалить его.

Старый Эвандро не выразил особого удовольствия:

— Хвалить я похвалю, если нужно. На войне все имеет значение, не время проявлять щепетильность. А вот еще читать... нет, это уж вы просите слишком многого. Самолюбование, гладкий стиль... Я знаю этот жанр. Чем меньше прочитаю, тем больше смогу похвалить.

Художественная литература — бальзам

Развеялись иллюзии относительно министерского поста. Уволенный в запас, генерал Валдомиро Морейра решил вернуться исключительно к литературной работе, завоевать славу на этой ниве, скромной, однако достойной. Но страсти еще не улеглись, и он чувствовал себя достаточно скверно.

Полемическая колонка, посвященная защите лингвистических канонов, приносила ему скудную корреспонденцию и сердечное отношение других фанатиков в области языка, встревоженных пренебрежением к самым элементарным правилам грамматики, объединенных нелюбовью к современной литературе, которая пишется «на языке наго, кабинда, кимбундо». Он занимался переработкой третьего тома «Историй из истории Бразилии», когда в Европе разразилась война, и воинственные страсти генерала взыграли вновь.

Генерал имел авторитет не только в вопросах языка («компетентный филолог», по просвещенному мнению Ривадавии Понтеса, автора «Грамматических заметок»), но и в военных науках. Достойный ученик, увенчанный лаврами его наставниками из французской военной миссии, непобедимый в военных маневрах, Морейра в той же газете «Коррейо до Рио», где он по воскресеньям учил, как правильно писать, стал ежедневно комментировать ход второй мировой войны под рубрикой «Война день за днем. Анализ и предсказания», подписываясь инициалами — Ген. В. М.

Великий стратег не достиг на этом поприще того же успеха, что в грамматике. В то время как он окопался за непреодолимой линией Мажино, бронированные дивизии Гитлера стерли в порошок его авторитетные знания.

В полном пренебрежении к правилам военной науки фронтовые сводки каждый вечер опровергали утренние анализы и предсказания комментатора. Ген. В. М. начинал терять позиции вместе с Гамеленом и терпеть поражения с Вейганом, от поражения к поражению,— наконец к катастрофе. Разочарованный, он воспользовался как предло-

гом сокращениями цензурой эпитетов, которыми мстил фюреру, и отказался от сочинения комментариев, к немалому облегчению редактора газеты.

Он снова посвятил себя художественной литературе и был вознагражден хорошим приемом книги «Историй из истории Бразилии», заслужившей положительные отзывы критики. Верный Сабенса написал длинную хвалебную статью, а известный писатель, член Бразильской академии Алтино Алкантара поблагодарил «уважаемого коллегу за то, что он прислал ему свою новую книгу, которая отличается не только безукоризненным языком, но и подлинным патриотизмом в подробном описании памятных подвигов». Эта фраза появилась в «Жорнал да манья» в разделе «Книги и авторы», редактором которого был многообещающий писатель Мауро Мейра.

Труднее оказалось преодолеть семейные неполадки из-за легкомыслия Сесилии, которая бросила мужа в Куритибе, порядочного и корректного капитана, чтобы приехать болтать языком в Рио, где для этого имелись широкие возможности. Человек слова и чести, генерал был возмущен (но не удивлен).

Вакансия в Литературной академии Рио-де-Жанейро и возможность завоевать ее явились бальзамом, пролившимся на генеральские раны. Последние отголоски шумихи вокруг военных комментариев, собранные тут и там («...со смеху умереть...» — и хохотали до упаду в кабинете полковника Сампайо Перейры, читая вслух обзоры «Война день за днем»), в конце концов стихли. Эти неприятности сгладились. Что же касается любовных приключений Сесилии — любовных? Генерал предпочитал не употреблять более точное слово,— он их предоставил заботам матери, доны Консейсан до Прадо Морейра, крепкой сеньоры, на которой он женился, когда тридцатилетним бездетным вдовцом, служа в Мато-Гроссо, не смог выдержать одиночества.

Дона Консейсан тоже происходила из потомственной семьи военных. Тирания мужа не умалила ее авторитета, она была привычна к подобному обращению. Еще раньше она страдала от самоуправства брата, в доме которого жила до благословенной встречи с Морейрой. Замужество не только освободило ее от помыканий брата, но и избавило от дурного нрава невестки. Что же касается Сесилии, то та ушла от мужа, упрямая, настойчивая, глухая к доводам и угрозам. Но поскольку генерал был честен, а дона Консейсан отличалась умеренностью, от кого же дочь унаследовала свою страстность, постыдную чувственность, невоздержанность? Одному богу известно.

Если бы, как было договорено, Сабенса позвонил и сообщил добрую весть о согласии президента, генерал мог бы позавтракать спокойно, растянуться на время сиесты в шезлонге с легким и радостным сердцем. Он пригласил бы друга прийти к вечеру, и они вместе обсудили бы подробности выборов и вступления в Академию. Внезапно все изменилось. Вместо члена Литературной академии Рио-де-Жанейро Клаудинора Сабенсы, автора антологии и дидактических трудов, ему позвонил известный писатель Родриго Инасио Фильо, автор бестселлера «Чужие мемуары», член Бразильской академии.

Сердце генерала сжалось от сильной боли. Дона Консейсан принесла ему пилюлю и стакан воды.

— Почему бы тебе не прилечь немного, Морейра, пока завтрак не будет готов?

Даже завтрак, подаваемый ровно в половине первого, опоздал в этот день.

Гипотезы несостоятельные и абсурдные

Депутация членов Бразильской академии литературы! В разговоре по телефону доктор Родриго держался официально: попросил дорогого генерала Морейру безотлагательно назначить день и час, чтобы принять депутацию академиков. Сначала он напомнил о встрече на последнем банкете, о темах разговора, чтобы рассеять возможное подозрение о розыгрыше. Но он ничего не сказал о цели посещения, а генералу показалось неудобным поинтересоваться. Ответил, что готов принять их в любой день и час, и не преминул упомянуть о высокой чести.

— Депутация Бразильской академии? Что ты думаешь, Консейсан? Какого черта их несет сюда?

Дав ему таблетку, дона Консейсан пытается успокоить его:

— Почему ты не приляжешь, пока не будет подан завтрак?

Лечь? Будто это возможно! Он отказывается от постели, кресла, шезлонга. Телефонный звонок,— должно быть, какая-то ошибка. Но какая? А если это не ошибка?

Как знать, уж не собираются ли выдвинуть его на премию Машадо де Ассиза, почетную награду, присуждаемую ежегодно Академией, венчающую собрание творений писателя. Так случалось, если сталкивались два равно достойных автора, тогда решали в пользу третьего. Хорошо информированный о закулисной стороне литературной жизни, генерал знал правила и обычаи прославленной компании. Ему известно, что, когда решается вопрос о премии Машадо де Ассиза, кандидатуру избранника из тактических соображений предварительно втайне обсуждают, получая сведения о нем с понятной осторожностью через одного из академиков, имеющих с ним связь. Но он никогда не слышал о том, чтобы комиссия отправлялась домой к коллеге узнать, примет ли он желанную награду — высокую почесть с солидной денежной суммой в придачу. Если же не премия Машадо де Ассиза, то что бы это могло быть? Загадка, способная свести с ума самого уравновешенного человека. У генерала впереди целые сутки волнения и неизвестности: доктор Родриго предложил встретиться на следующий день в шесть вечера. Двадцать девять часов — если быть точным — душевных переживаний.

Генерал вышагивает по гостиной взад-вперед — большой, коренастый, с красноватым лицом, аккуратно причесанный. Даже пижама не скрывает военной выправки, заметной в каждой его черте, в каждом его жесте, в его властном виде. За каким чертом собирается к нему домой делегация членов Бразильской академии литературы?

Он знает о смерти поэта Антонио Бруно и об открывшейся в связи с этим вакансии, но не позволяет себе даже предположить, какую связь может иметь условленный визит с траурным событием, открывшим приятную возможность. Ему и в голову не могла прийти такая невероятная фантазия. Но хотел бы он того или нет, все эти волнующие перспективы заставляют его глубоко задуматься. Сесилия, узнав о телефонном звонке и о предстоящей встрече, появляется в гостиной:

— Они тебя выдвинут, отец, на место того, кто умер.

Сердце у генерала сжалось.

— Не говори глупостей.

— Тогда они придут с подписным листом, будут просить денег на бюст одного из них. Они всюду устанавливают бюсты.

— Бюст! Ты не знаешь, что говоришь.

Дона Консейсан приглашает к завтраку с получасовым опозданием — какой день, боже мой! Генерал Морейра недовольно смотрит на диетическую еду, он потерял аппетит.

Бросает вилку, чтобы подойти к телефону — это звонит опоздавший Сабенса, просит извинения за задержку и сообщает об отсрочке встречи с доктором Линьяресом. Прикованный к изголовью одного больного, президент не появится в архиепископстве. Но пусть дорогой друг не беспокоится, через сутки его кандидатура будет официально объявлена и необходимая поддержка ему обеспечена. Генерал старается скрыть свое волнение, благодарит с неестественной горячностью.

За столом дона Консейсан спорит с Сесилией по поводу того, что подать важным господам, членам Бразильской академии, настоящим «бессмертным» с правом на парадный мундир и жетон. В незабываемом 1937 году блестящий генерал Валдомиро Морейра и его превосходительнейшая сеньора получили приглашение на торжество по случаю избрания в Академию доктора Алкантары, политического деятеля из Сан-Пауло.

— Потрясающее впечатление, дочка. Было похоже на прием при дворе короля. Бразильская академия — вот это да! Стоило бы потратить время и усилия, оспаривая вакансию, но это не для Морейры, который обречен на то, чтобы клянчить поддержку для вступления в какую-то ерундовую академийку в Нитерое[1], без парадного мундира, без жетона, без портрета в газетах. Такие мысли приходят на ум доне Консейсан, но она держит их при себе: Морейра сегодня в плохом настроении, а Сесилия — ветреная голова. Он увидит, что она права: клянченье, вымогательство денег на бюст умершему поэту, который волочился за всеми юбками, как ей говорили. На кладбище собралась скандальная компания женщин, плакавших у гроба. Хорошо еще, что Сесилия его не знала.

— Что мне подать? Пиво, прохладительное? Может быть, пирожки или курицу?

— Лучше ничего не подавать. Пиво, где это видано? — резко обрывает генерал.

[1] Главный город тогдашнего штата Рио-де-Жанейро, неподалеку от бывшей столицы Бразилии.

— Ну хоть фруктовый ликер. Или чай? Разве чай они не пьют там, в Академии?

— Почему, мама, не подать просто кофе?

Генерал согласен с дочерью. За чашкой кофе и с надеждой, пробужденной словами: «Они тебя выдвинут, отец, на место того, кто умер».

Двадцать девять часов ожидания, включая полубессонную ночь; если сердце выдержит, будет ясно, что кардиолог — не более как шарлатан.

Бал кандидата

На следующий день в одиннадцать утра генерал Валдомиро Морейра оформил официально свою кандидатуру в Литературную академию штата Рио-де-Жанейро. Письмо с просьбой о выдвижении его кандидатуры было передано преданному Клаудинору Сабенсе, который, получив в девять часов согласие президента Линьяреса в архиепископстве, отправился трамваем на квартиру к генералу в Гражау с доброй вестью. Ради этого он отказал себе в удовольствии прочесть утреннюю газету.

Через несколько часов, в шесть вечера, генерал стал кандидатом Бразильской академии. Приняв предложение солидной депутации академиков, он вручил письмо о выдвижении своей кандидатуры романисту Афранио Портеле. Никогда генерал не представлял его в роли читателя своих произведений и был тем более удивлен, когда убедился, что знаменитый автор «Женщины в зеркале» хорошо знаком с его творчеством, доказав это подробнейшим анализом целого ряда образов героев, описанных в трех томах «Историй из истории Бразилии», и проблем, разработанных в книге «Идиоматические пролегомены».

Постоянный читатель, наблюдавший шаг за шагом, книга за книгой за «вашим блестящим интеллектуальным взлетом» (как он выразился), маэстро Афранио утверждал, будто только что закончил чтение, что и продемонстрировал, цитируя на память длинные отрывки, дословно воспроизводя некоторые портреты и диалоги.

— Какая необыкновенная память, маэстро! — воодушевился взволнованный Морейра.

— Я читал и перечитывал не раз,— улыбнулся без смущения Афранио Портела.

Эвандро Нунес дос Сантос отвел глаза от лица кума: «На войне как на войне, тут все годится» — и начал повторять похвалы своего коллеги: «Замечательно! Поучительно! Восхитительно!» Хвалебные эпитеты в устах старого отважного литератора приобретали еще более серьезное значение, были бесценны. Три других академика также внесли свой вклад в общую хвалу. Смущенный генерал уже не находил слов благодарности. Он вполне отдавал себе отчет в том, что они значительно переоценивают его творчество.

Он позвал жену и дочь, чтобы те стали свидетельницами торжественного чествования его уважаемой депутацией, состоящей из влиятельной группы академиков. Они смогли, таким образом, услышать похвалы в адрес творений мужа и отца. Дона Консейсан почувствовала себя взволнованной, а Сесилию все это прямо-таки потрясло.

Через сорок минут после отбытия двух лимузинов, увезших «бессмертных», генерал, дозвонившись до Сабенсы, вернул ему предложение от Литературной академии штата Рио-де-Жанейро, запросив обратно свое письмо и пообещав сообщить потрясающие новости: «Приходите после обеда, я расскажу вам все. Вы, дружище, будете поражены».

— Как, вы уже не хотите больше быть кандидатом в Академию? — Сабенса ничего не мог понять: после с таким трудом полученной поддержки президента, когда все было решено...

— Я кандидат в Академию, да. Только не в Литературную академию штата Рио-де-Жанейро.

— Не понимаю.

— Поймете, я все объясню вам. Передайте Линьяресу, что я благодарю за приглашение, он свободен располагать вакансией.

— Приглашение?! — удивился Сабенса. Он один знал, сколько усилий было затрачено, чтобы убедить доктора Линьяреса согласиться на кандидатуру Морейры. Если бы не уважение к званию генерала, Клаудинор Сабенса выругался бы по телефону. Но он с унылым видом лишь повесил трубку: кандидатура, на которую он потратил столько сил, открыла ему двери гостеприимного дома в Гражау, где «порхает бабочка мечты, Сесилия, возбуждая желания». Клаудинор Сабенса порой сочинял стихи.

Предварительный подсчет голосов

Неделю назад, во время бдения у гроба Бруно, их было двое — Афранио Портела и Эвандро Нунес дос Сантос. Теперь их стало трое — к ним присоединился Родриго Инасио Фильо; в доме генерала, кроме упомянутых выше, появились Энрике Андраде — биограф Руя Барбозы, Рио Бранко и Набуко[1] — и Р. Фигейредо Жуниор, драматург, пьесы которого, прежде оспариваемые театрами, исчезли с афиш после провозглашения Нового государства. Они затрагивали социальные мотивы, и их герои, будь они из Древней Греции или из штата Сеара, отстаивали свободу и защищали права человека.

Беседы в кулуарах с коллегами в дни, предшествовавшие и последующие за траурным собранием, дали возможность Афранио Портеле насчитать восемь верных голосов в пользу генерала. Эвандро гарантировал двенадцать, но поскольку старый литератор легко увлекался, его прогнозы не внушали доверия.

Что же касается полковника, то, сделав расчеты и перерасчеты, Портела пришел к заключению, что тот может располагать примерно пятнадцатью верными голосами. Причем, если он будет действовать быстро и решительно, это число может возрасти и победа будет обеспечена. Но может и уменьшиться, если инициатива в оперативности, особенно в хитрости, перейдет к приверженцам генерала Валдомиро Морейры.

В сумме восемь голосов за генерала и пятнадцать за полковника давали двадцать три голоса. Таким образом, из тридцати девяти избирателей оставалось шестнадцать, которых надо было завоевать во время избирательной кампании. Избирательной кампании, которую назовут «Битвой за Малый Трианон», когда факты перестанут быть фактами и превратятся в легенду.

«Никакого стеснения, только решительные действия и интриги!» — таков был лозунг, провозглашенный маэстро Афранио после первого подсчета голосов.

При посещении генерала-романиста удивила одна деталь: готовность, с какой кандидат согласился помериться силами с полковником Агналдо Сампайо Перейрой, будто только этого и ждал. Наверняка им надо было свести счеты. Из вполне понятного любопытства маэстро Портела собирался во время обеда, когда вино позволит нарушить нормы протокола, выяснить причины столь воинственного пыла.

С тем чтобы наметить план сражения и выполнить желание, высказанное доной Розариньо («Я хочу видеть, как выглядит этот ваш генерал и его жена»), чету Морейра пригласили на обед в дом Портелы в обществе Эвандро и Родриго Инасио. Приглашение не относилось к Сесилии, но та проявила собственную инициативу. Она не собиралась упускать возможность познакомиться с «аристократической виллой на Прайя до Фламенго», так часто упоминавшейся Жасинто де Тормесом, Жилберто Тромповским и другими, пока еще малочисленными, но уже влиятельными светскими хроникерами.

Не говоря уж о том, что этот доктор Родриго с внешностью испанского идальго, в своей английской спортивной куртке, с седыми висками и ухоженными руками занимал уже много дней воображение Сесилии, заставляя ее вздыхать. Ах, мечты Сесилии, если бы только можно было их поведать, превратили бы это небольшое и сугубо академическое повествование в сенсационный бестселлер.

Сведения, необходимые для лучшего понимания истории и полезные для возможного претендента на место в Академии

Теперь, когда зарегистрировано два кандидата, необходимо дать читателю некоторые разъяснения, без которых трудно следить за ходом событий и понять детали происходящего. Чуждое стилю данного повествования, это отступление может быть оправдано тем, что будет полезно возможному претенденту на место в Академии, познакомит его с некоторыми нормами и обычаями, которые ему совершенно необходимо знать.

После смерти и похорон «бессмертного» кресло, которое он занимал, объявляется свободным на первом, траурном, заседании после кончины. Через четыре месяца происходят выборы преемника.

[1] Руй Барбоза (1849—1925) — один из крупнейших бразильских политических деятелей, юрист и писатель. Жозе Мариа да Силва Параньос, барон де Рио Бранко (1845—1912) — бразильский политический деятель и дипломат. Жоаким Аурелио Баррето Набуко де Араужо (1849—1910) — бразильский поэт, историк и дипломат.

В течение двух первых месяцев из четырех, отделяющих траурное заседание от торжественного, любой желающий может заявить свою кандидатуру: достаточно быть бразильцем и представителем мужского пола (только через тридцать шесть лет будет разрешено женщинам заявлять свою кандидатуру); кандидат должен иметь также по меньшей мере одну опубликованную книгу.

Через два месяца регистрация прекращается. В течение двух оставшихся месяцев конкурентам предстоит заручиться поддержкой академиков, а последним следует решить, кого они удостоят своим голосом.

Чтобы быть избранным, кандидату необходимо получить большинство голосов (половину плюс один) здравствующих академиков в одном из четырех голосований, разрешенных в ходе выборов. Голосование тайное; присутствующие «бессмертные» опускают бюллетени в урну, причем после подсчета голосов бюллетени сжигаются. Отсутствующие принимают участие в выборах, посылая свои бюллетени в запечатанных конвертах с приложением письма, объясняющего причину отсутствия.

Академик может воздержаться от голосования и может проголосовать, опустив незаполненный бюллетень. В первом случае, сомневаясь в достоинствах кандидата (ов), он попросту не желает показать личную неприязнь. Голосование незаполненным бюллетенем означает гораздо более категорическое несогласие: оно означает решительное возражение по отношению к личности (ям) кандидата (ов), которого (ых) он не считает достойным (ыми) находиться в одной с ним прославленной компании. Воздержание от голосования не отражается на конечном результате, если кандидат получает остальные голоса. Голосование незаполненным бюллетенем засчитывается как голос против.

По окончании выборов академики отправляются все вместе в дом нового коллеги, где их ждет богатый стол, приготовленный семьей уже бывшего кандидата, чтобы отпраздновать ожидавшуюся победу. Обычай самый похвальный. В приеме всегда участвует большое количество людей — ученые, политические деятели, представители властей, земляки из штата, уроженцем которого является экс-кандидат, друзья и почитатели,— все они приходят поздравить новоиспеченного «бессмертного»; произносят торжественные тосты, рекой льется шампанское; гости засиживаются далеко за полночь.

Два-три академика, прежде чем прийти обнять избранного, направляются с печальной обязанностью в дом(а) потерпевшего(их) поражение, чтобы проявить сочувствие в горький час и обнадежить перспективами на будущее: «В следующий раз...» По мнению Родриго Инасио Фильо, знатока протокола, чуткость требует, чтобы при этих фатальных миссиях утешения члены делегации из уважения к опечаленной семье не принимали бы угощения, если они случайно застанут еще накрытый стол в честь желанной, но не состоявшейся победы.

Этапы битвы

Битва за Малый Трианон длилась немногим более двух месяцев. Окончание ее, несколько неожиданное, наступило десять дней спустя после прекращения регистрации кандидатов на вакансию, открывшуюся в Академии в связи со смертью поэта Антонио Бруно. Представили свои кандидатуры лишь два конкурента: полковник Агналдо Сампайо Перейра и генерал Валдомиро Морейра (в порядке записи). Ни одно гражданское лицо не осмелилось сделать это; существовало твердое мнение, что в данном случае место по праву принадлежало военным. Оно было случайно — благодаря необъяснимой оплошности — занято поэтом Бруно, человеком сугубо штатским, представителем богемы.

Последующие события, происходившие вплоть до дня выборов, уже не имели ничего общего с борьбой, затеянной и руководимой маэстро Афранио Портелой. Это была даже не война, а скорее разбойничье побоище, поскольку верховное командование силами сопротивления принял на себя старый Эвандро Нунес дос Сантос, намеревавшийся доказать, что в Академии не существует закрепленных мест, зарезервированных той или иной корпорацией, каков бы ни был ее характер.

Битву за Малый Трианон, длившуюся два месяца и десять дней, можно разделить на три этапа. В первые двадцать дней инициатива принадлежала силам, объединившимся вокруг генерала Валдомиро. Потрясение, вызванное выдвижением его кандидатуры,— приятный, но все-таки сюрприз для большинства «бессмертных», которые были убеждены, что полковник Сампайо Перейра будет единственным кандидатом,— и кипучая деятельность маэстро Афранио привели к тому, что генерал занял выгодные

позиции, приобретя новых сторонников, в число которых входили и дезертиры из вражеского лагеря. Противник, уверенный в успехе, не заботился о кампании; он был настолько уверен в мирном ходе дел вплоть до окончательного триумфа, что отложил начало протокольных визитов к сеньорам академикам до своего возвращения из инспекционной поездки на юг страны, в Санта-Катарину, и в штат Рио-Гранде-до-Сул, где происходили возмутительные события.

Выдвижение кандидатуры Морейры вызвало бурную реакцию сил, верных полковнику Агналдо Сампайо Перейре. Оправившийся от потрясения, что кандидат не единственный, Лизандро Лейте организовал массовую поддержку внешних союзников из числа самых влиятельных, способных изменить ход схватки, добиться позорного поражения генерала, приведя число голосов к невыразительной полудюжине,— и это могло бы произойти, если бы было оказано давление на колеблющихся избирателей.

Ответ на этот натиск враждебных сил, на принуждения и подкупы, на действия разъяренного Лизандро — характерная черта второго этапа. Маэстро Портела не стеснялся в выборе средств. Он развернул широкую кампанию лжи и кляуз («кляуз без стеснения!»), не брезгуя ничем.

В последний период, в последние двадцать дней жестокой битвы, наблюдалось внешнее равновесие сил на фоне царившего смятения. Военные карты той и другой армий, содержащие перечень имен академиков, их адреса и телефоны, обнаруживали одинаковые результаты: по крайней мере по десятку одних и тех же имен фигурировало в списках двух противников: верные голоса для полковника — по мнению Лизандро, для генерала — по мнению Портелы. На этом этапе схватки и в нападении, и в обороне оба лагеря использовали интриги и коварство, слухи и инсинуации — военные хитрости вплоть до запутывания и лести.

Когда сражение достигло высшей точки напряжения, произошло совершенно неожиданное и окончательное завершение Битвы за Малый Трианон. Сильнее, чем победный клич, был вздох облегчения в лагере победителей.

События в штате Санта-Катарина

Кандидатуре полковника постоянно сопутствовала интенсивная внешняя поддержка. Однажды извлек пользу из внешней поддержки и генерал — спокойствие, с которым он действовал в первые дни, явилось следствием событий в штате Санта-Катарина. То была случайная, однако действенная поддержка, ибо полковнику Сампайо Перейре пришлось оставить академические дела, чтобы уделить внимание другим фронтам, за которые он нес прямую ответственность, поскольку являлся, как известно, одной из опор диктатуры и одним из главных поручителей союза (в полной силе, хотя этот союз и не носил официального характера) между третьим рейхом и Новым государством.

Сам того не подозревая, капитан Жоаким Гравата, уроженец северо-востока, назначенный служить в штате Санта-Катарина, принял косвенное участие в Битве за Малый Трианон на ее первом этапе, обеспечив свободу действий генералу и сторонникам его кандидатуры.

С установлением Нового государства по всей стране были запрещены любые политические манифестации, а партии поставлены вне закона, каковы бы ни были их программа и положение. Превзойдя другие тоталитарные режимы, Новое государство распустило в том числе единственную «классическую» партию — интегралистов. Офицер, воспитанный в любви к родине, капитан Жоаким Гравата был чрезвычайно чувствителен ко всему, что касалось сохранности территории и национального достоинства. Он служил в амазонской сельве как бдительный часовой, готовый отразить любую попытку нарушения границ злонамеренными соседями. Проявив патриотизм на крайнем севере, он показал себя и в штате Санта-Катарина непреклонным блюстителем закона.

В следствии, открытом по поводу происшедших событий, пытались спутать это его уважение к букве закона с политической идиосинкразией, но процесс закончился тем, что дело сдали в архив за отсутствием веских доказательств; после Пирл-Харбора и Сталинграда вторая мировая война приняла новые направления, ликвидировав ненавистные союзы и приведя капитана Жоакима Гравату на поле сражения в Италию, где он заслужил медали и погоны.

Капитан Гравата, из крестьянской семьи с побережья, принял командование ротой, размещенной в Блуменау, городе немецких колонистов, и решил, что попал прямо за границу. Не столько из-за цвета кожи представителей арийской расы, белокурых

волос, голубых глаз, широкого распространения немецкого языка, но, главным образом, из-за того, что обнаружил полное пренебрежение законами, а зачастую и прямое им неподчинение, неподчинение законам, установленным правительством — плохим ли, хорошим ли, но правительством Бразилии, независимой страны, расположенной в Южной Америке.

Всего несколько лет назад Блуменау был мирным бразильским городом, но во время войны стал походить на воинственную германскую колонию. Уроженец штата Сержипе, вполне лояльно относящийся к расовому смешению, требовательный в отношении уважения национального суверенитета, капитан был возмущен тем, что там увидел. В клубах, школах, храмах, на улицах и площадях постоянно проводились шумные политические манифестации. По городу проходили шествия в ознаменование побед нацистских армий, демонстранты несли флаги и эмблемы, свастику и портреты фюрера. Военные парады, парни, одетые в форму СС и СА — в коричневые и черные рубашки, марширующие гусиным шагом с поднятыми в приветственном жесте руками, крики «Хайль Гитлер!». На подмостках в садах и парках они произносили восторженные и агрессивные речи — на баварском диалекте эти речи звучали еще более нагло.

Между тем любые политические манифестации, проходили они в закрытых помещениях или на площадях, были запрещены. Точно так же, как и существование партий, всех без исключения. Тем не менее германская национал-социалистская партия, чьи высшие органы находились в Берлине, действовала открыто в этом городе, который, по мнению капитана Жоакима Граваты и войск, состоящих под его командованием, должен был оставаться бразильским. Намереваясь заставить уважать закон, офицер обратился за поддержкой к префекту. Прежний префект был заменен в начале войны, а новый совмещал свою должность с постом руководителя местной секции нацистской партии. Его насмешила наивность докучливого капитана-метиса — декреты о политических сборищах не имели в виду праздничных манифестаций ликования, которыми германская община отмечала победы вермахта, а что касается партии, то она, будучи немецкой и нацистской, не подпадала под действие бразильского закона. Он улыбнулся капитану, давая понять, что считает вопрос исчерпанным. Капитана не удовлетворили ни объяснения, ни улыбка, и он стал действовать самостоятельно.

Он конфисковал флаги, свастики, различные эмблемы, обширную литературу на немецком языке, плакаты с лозунгами, бесчисленные портреты фюрера и большое количество оружия. Запер помещение гитлеровской партии и забрал ключ от него. Префект в ответ организовал шествие, капитан его разогнал, посадив в тюрьму несколько наиболее экзальтированных манифестантов.

Откликов на эти события в печати страны почти не было. В одной или двух газетах появились короткие заметки, но вслед за тем цензура запретила какие бы то ни было упоминания о случившемся и его последствиях: срочная поездка полковника Сампайо Перейры, немедленное смещение капитана Граваты, военное следствие, начатое против него, возвращение свастики под звуки фанфар, вскинутые в традиционном приветствии руки, бурные речи и рев «Хайль Гитлер!».

В то время как полковник восстанавливал порядок и укреплял власть в штате Санта-Катарина, продолжив затем инспекционную поездку в штат Рио-Гранде-до-Сул, чтобы предупредить подобные же события, генерал поторопился со своими визитами к господам академикам. Всюду он декламировал заученную речь: писатель и военный, генерал, историк и филолог, в связи с выдвижением своей кандидатуры на место, обычно занимаемое лицами, принадлежащими к армии, он прибыл просить поддержки выдающегося «бессмертного».

Для некоторых академиков кандидатура генерала была выходом из положения: если бы ее не существовало, у них не оставалось бы иного выхода, как голосовать за ненавистного нациста. Для других эта кандидатура была неудобна: если бы ее не было, полковник стал бы единственным кандидатом, и, поскольку не оставалось свободного выбора, они смогли бы спокойно голосовать за авторитетного лидера, не опасаясь критики, порицаний и злых инсинуаций.

Во избежание слухов о том, будто капитан Гравата впутался в эти любопытные академические выборы, не имея к ним ни малейшего отношения, стоит указать, что имя поэта Антонио Бруно не было неизвестным капитану. Он читал помятую копию «Песни любви к оккупированному городу» и усмотрел в ней вдохновение и призыв к борьбе. Оказавшись в Блуменау, тоже оккупированном городе, он решил освободить его.

Портвейн и английские бисквиты

Вследствие секретности, окружавшей поездку полковника Сампайо Перейры, который выехал из Рио-де-Жанейро в неизвестном направлении с миссией по охране национальной безопасности, дезембаргадор Лизандро Лейте не смог даже подготовить его к посещениям академиков. Он безрезультатно старался узнать, где найти полковника, как связаться с ним. Перед отъездом полковник позвонил ему:

— Я должен уехать на несколько дней. Посещение посла придется отложить.

— Не беспокойтесь, я лично объясню Франселино. Когда вы, дорогой Агналдо, вернетесь, мы составим программу визитов. Единственный кандидат пользуется определенным преимуществом — он может не спешить... — И он необдуманно добавил: — Я останусь на страже.

Передав в секретариат письмо, в котором полковник выдвигал свою кандидатуру, сразу же после траурного собрания, Лизандро понадеялся на общую осторожность, царившую в стране: никто не осмелится последовать примеру полковника, это означало бы выступить против правительства, бросить вызов хозяевам власти. В первые дни, выходя из трибунала, он наведывался в Малый Трианон, обменивался любезностями с президентом, убеждаясь в отсутствии новостей. Потом, успокоившись, счел излишней подобную бдительность, прекратил посещения Академии, тратя время на телефонные разговоры с коллегами по «бессмертию», обещая им, в случае избрания полковника Сампайо Перейры, эру официальных благ.

Как и договаривались, к вечеру после отъезда дражайшего Агналдо дезембаргадор направился на квартиру посла Франселино Алмейды, опекаемого старой служанкой, которую он именовал домоправительницей. Он намеревался передать объяснения полковника и договориться о новой дате визита вежливости, когда кандидат лично сообщит академику о своем притязании и попросит его поддержки. Декан Академии, единственный из ее основателей, еще остававшихся в живых, Франселино был первым, кому претенденты обычно наносили визит в знак особого почтения и уважения.

Домоправительница попросила Лизандро подождать в гостиной. Первое, что ему бросилось в глаза, была удивительная корзина с заморскими фруктами, коробками английских бисквитов, швейцарским шоколадом, португальским портвейном и хинной настойкой. Рядом на столе лежала этикетка бакалейного магазина «Рамос и Рамос», самого известного и дорогого в городе, вынутая из конверта карточка гласила: «Прославленному послу Франселино Алмейде, представителю литературы и дипломатии, в знак глубокого уважения — от генерала Валдомиро Морейры». Юристу было известно имя генерала. Увидев письмо, он узнал неподражаемые каракули Афранио Портелы. Лизандро испытал шок. Что означала столь пышная корзина, этот королевский подарок? Он тоже отправил одну, гораздо более скромную, с более дешевой этикеткой, тому же Франселино, подписав на карточке имя полковника. Дьявольский Портела, помимо всего прочего — плагиатор!

Франселино Алмейда, льстец, услужливый, приятный сотрапезник, достиг высоких дипломатических постов (посол в Бельгии, Швеции, Японии, генеральный секретарь министерства иностранных дел), в чем Академия принесла ему несомненную пользу. Когда он был молодым человеком, еще двадцати восьми лет, с достаточно скудным литературным багажом — тощей книжкой рассказов и хвалебной брошюрой о творчестве Машадо де Ассиза,— его имя фигурировало среди имен сорока основателей прославленной компании, что в ту эпоху не могло вызвать удивление или недовольство, так как новоиспеченная Академия была бедной, мало известной, не имела собственного помещения и не награждала своих членов жетонами. Тридцать лет спустя Франселино обогатил свою скудную биографию книгой впечатлений о Японии — «Страна Восходящего Солнца. Пейзажи и нравы». Холостяк, он оставил за собой славу горячего поклонника прекрасного пола в странах, где служил.

Сэр Энтони Локк, посол Его Британского Величества в стране микадо, в скандальной книге «Мемуары», которую он опубликовал после ухода с действительной службы, неоднократно упоминает мистера Алмейду, несравненного компаньона по знакомству с ночной жизнью и эротическими культами Востока. В течение всего пятилетия они придавали блеск дипломатическому корпусу, аккредитованному в Японии, приобретя широкую популярность в легкомысленных увеселительных местах, вплоть до нере-

вода из Японии «Mister Almeida, the Geisha's King» [1], о чем так сожалел английский лорд. В книге Франселино Алмейды о японских нравах нет, к сожалению, упоминаний ни о сэре Энтони Локке, ни о ночных развлечениях, хотя почтенный возраст не сделал его нечувствительным к женским прелестям. Скорее даже напротив.

Получив сообщение о прибытии коллеги, он вышел в гостиную, куда опередившая его домоправительница принесла поднос с двумя рюмками и бутылкой портвейна, а также маленьким блюдом с бисквитами. Декан внимательно выслушал и охотно принял извинения, сделанные от имени полковника.

Когда он пожелает, мы условимся о другой дате. Это не может быть завтра, так как я уже зарезервировал послеобеденное время для визита генерала Морейры. Я вам скажу одну вещь, сеу Лизандро: самое приятное в Академии — это выборы. Кандидаты стараются показаться такими любезными... заискивающими. Если бы не выборы, кто пожелал бы нанести визит такому старику, как я, послу в отставке, получающему от министерства иностранных дел убогую пенсию в неустойчивой валюте? Никто, мой дорогой. Но достаточно появиться вакансии, и — видите: менее чем за десять дней я получил две корзины фруктов, вин и сластей, все импортное, все лучшего качества.— Он обмакнул в портвейн английский бисквит, размочив его.

— Вы хотите сказать, что генерал Валдомиро Морейра тоже является кандидатом?

— А вы не знали? Он только что зарегистрирован. Сильный киндидат, дружище.

Он ничего не сказал о красавице секретарше генерала, которая прибыла вслед за корзиной, чтобы договориться о дне и часе протокольного визита нового претендента на вакансию после смерти Бруно. Весьма привлекательная, она держалась вполне непринужденно, поддерживала оживленнейшую беседу и в ходе ее дала понять, что не проявляет интереса к молодым людям, легкомысленным и невнимательным. А вот дипломат Франселино Алмейда обходителен на редкость, как никто.

Лизандро распрощался, договорившись позвонить, как только полковник вернется, и помчался на всех парах в Академию. Единственный кандидат был, да сплыл.

Соблазнительница

— Что бы я не сделала для него?..

Маэстро Портела и девушка сидели за столом в скромной молочной.

«Медная роза, медовая роза, милая роза»,— припомнил маэстро Портела, с нежностью улыбаясь своей спутнице. Девушка покраснела; длинные и гладкие волосы индеанки, пухлые губы негритянки, зеленоватые глаза белой.

— Он продолжал посылать мне розы даже после того, как все было кончено... Нет и не будет такого, кто мог бы сравниться с ним.

Афранио Портела объяснил ей ситуацию. Необходимо сохранить память о Бруно. Он рассказал, какое значение имеет голос декана, основателя Академии, единственного оставшегося в живых из сорока первых. В течение всей своей жизни Франселино Алмейда старался сделать приятное только могущественным людям и женщинам. Возможно, он захочет это сделать для всесильного полковника Сампайо Перейры...

— Соблазнить старца? — поразилась Роза, сразу же все понявшая.— И в этом возрасте он еще обращает внимание на женщин?

— Обращает, наверняка. Я свидетель тому.

Несколько месяцев назад у входа в Академию они с Бруно следили за алчным взглядом дрожащего Франселино, воспламенившегося при виде смуглой ножки девушки. Поэт защитил декана от издевательского замечания Портелы. Признался, что сам он, Бруно, когда ему, «худосочному старцу», не останется уж ничего, намеревается сидеть в саду, греясь на солнышке, поглядывать на женщин и радоваться жизни.

Оба, маэстро Афранио и Роза, умолкли, погруженные в воспоминания, он — о друге, она — о любовнике.

Роза допила стакан молока. Почти девочкой в восемнадцать лет она соблазнила зрелого мужчину, на тридцать лет старше себя, которым любовалась из окна мастерской, где работала, обшивая богатых сеньор.

Модисточка

Молоденькая модистка Роза прочла «Пятичасовой чай», волнующий и увлекательный рассказ, написанный Афранио Портелой, вдохновленным ее романом с Бруно.

[1] Мистер Алмейда, король гейш *(англ.)*.

История показалась ему красивой, романтичной и совершенно неправдоподобной. Основываясь на подлинных фактах,— например, на предложении Бруно выйти за него замуж,— он, однако, несколько преобразил их. В повествовании конфликт происходил между коварным донжуаном и невинной, потерявшей голову девушкой, игрушкой в руках соблазнителя. В действительности все было совершенно обратным.

Но кто поверил бы в истинную, неумолимую правду, даже если бы Роза ее открыла? Несмотря на свою репутацию знатока женской души, Афранио Портела не мог поверить, что простая швея, девчонка поступила бы так, как поступила она. Сама Роза не знает как и не пытается всего объяснить. Это не было помешательством, ни тем более сладострастием. Только любовь, полуденное солнце и полнолуние.

Изумление, ослепление, внезапно грянувшая буря, заполонившая землю, расколовшая небо своим ослепительным огнем. Безграничная дерзость, бесстыдство бродяжки, кто бы мог вообразить ее способной на такое, ее, честную и чистую?

Роза проходила по улицам пригорода, серьезная и равнодушная к комплиментам, предложениям, мольбам, а порой и наглости молодых людей. Секан, центральный полузащитник атлетического клуба «Мадурейра», получивший приглашение тренироваться в клубе «Ботафого», решительно отказался терять время, торча в переулке, где жила Роза. «Гордячка, притворщица»,— говорили о ней соседи, видя ее всегда строгой и неприступной. А мысли Розы витали далеко, устремляясь к тому, кто сидел за столом в кафе «Коломбо», более прекрасный, чем любой киногерой. Она еще не знала, что он поэт и увенчан славой. Она полюбила его просто как мужчину.

«Я так пристально смотрела на него,— говорит Роза,— что наконец он поднял взгляд и обнаружил меня здесь у окна с иглой в руках». Свершилось: поэт поднял глаза на балкон третьего этажа и заметил девушку, которая смотрела на него, нежно улыбаясь. Он на мгновение задержал взгляд, наблюдая, пытаясь рассмотреть ее на расстоянии. В руке его была рюмка с черносмородиновой наливкой, он медленно поставил рюмку на стол. Потом повернулся, чтобы слышать то, что говорил его друг. Женщина на балконе, должно быть, молодая и хорошенькая.

Время от времени в самые разные дни он появлялся. Роза ждала его, взволнованная, рассеянная, исколов иголкой пальцы.

Однажды к вечеру, уже поднявшись, чтобы уйти, он бросил последний взгляд на окно мастерской — как знать, возможно случайно. Роза сделала ему прощальный знак, и он, улыбаясь, ответил. На следующий день она, осмелев, послала ему воздушный поцелуй. Скромная, она почти не подкрашивалась и не носила украшений; ей исполнилось уже восемнадцать, а она еще ни разу серьезно не влюблялась. Зажженный им огонь охватил ее существо. Так солнечный луч падает на хворост и зажигает костер.

Однажды он не показывался целую неделю. Как раз, когда она, получив кое-какие лишние деньги за домашнюю работу, купила книгу Бруно. Мадам Пик, портниха, заметив предмет внимания помощницы, открыла ей, кто такой Бруно: «Un poète célèbre, ma petite, toutes les femmes veulent se coucher avec lui» [1]. Роза увидела книгу в витрине ближайшего книжного магазина, второе издание «Танцовщика и цветка», справилась о цене и стала работать вдвое усерднее. В школе она не выделялась среди одноклассниц. Теперь же без усилия хранила в памяти строфы целых поэм и повторяла фразу мадам Пик: «Все женщины хотят спать с ним». Ах! Роза не думает ни о чем, но, читая его стихи, убеждается, что автор — заправский кавалер, легкомысленный представитель богемы, прелестный любовник. И скромная девушка из пригорода преступила рамки условностей и превратилась в смелую, безбоязненную женщину.

Когда Бруно появился снова и поднял взор на высокий балкон, Роза сделала ему знак и помчалась вниз по ступенькам, прижимая к груди книгу. Она задохнулась от бега, оказавшись лицом к лицу с поэтом, более чем удивленным — просто разинувшим рот: он не представлял себе, что она так красива. Он всякий раз чувствовал себя вознагражденным, когда говорил с читателем из народа, гордился тем, что его поэзию знает и любит не только элита, но и простые люди, как, например, эта очаровательная молодая швея, такая чистая, невинная.

Он сидел один за столом, приятель еще не пришел. Пригласил ее выпить что-нибудь, чая или ликера, сам же пил хинную настойку, к ней он пристрастился в парижском бистро на Сен-Жермен-де-Пре. Девушка отказалась, она не отводила от него

[1] Он знаменитый поэт, моя крошка, все женщины хотят спать с ним *(франц.)*.

глаз. «Меня зовут Роза Майрелес да Энкарнасан, но напишите просто — Розе». Бруно взял ручку, начал писать своим красивым, изящным почерком.

— Розе...— Он остановился, спросил шутя: — С чем?

— С поцелуем.

Бруно улыбнулся, забавляясь. Роза следила за его холеной рукой, выводящей совершенные линии на белой странице. Теплый, ласковый голос:

— Почему вы не хотите присесть?

— Здесь — нет...— послышался ответ.

— Где же тогда? — спросил он полуудивленно, полушутливо.

— Где угодно.

— И когда это может быть? — Он еще подшучивал, но уже был заинтригован.

— Сегодня же, если хотите. Я выхожу из мастерской в шесть.

Девчушка в самодельном, но элегантном платье — модель, придуманная ею самой. Она годилась ему в дочери и несомненно была бедна. Поэт не считал себя вправе злоупотребить чувствами девушки, очарованной его стихами, хотя она была в его вкусе. Будь она хоть немного старше или окажись одной из представительниц высшего общества, он бы не колебался. Но она была всего лишь безрассудным ребенком, вынужденным зарабатывать себе хлеб насущный. А красивых женщин было в избытке в богатых и праздных салонах. Он извинился:

— Сегодня не могу, моя милая, я приглашен на обед.

— Тогда завтра. В любое время. Я выхожу в шесть, но могу исчезнуть и пораньше. Значит, завтра, ладно? — Зеленоватые, сверкающие глаза, влажный рот, черные, гладкие волосы. Она требует назначить место и час.

Бруно уже не забавлялся. Он никогда не видел такой искренности и решительности. Он сдался. Почему бы нет, если она себя предлагает! У него всегда будет возможность отступить.

— Завтра, хорошо. В шесть я буду ждать тебя у входа в книжный магазин.

Он вручил ей книгу со своим автографом. Роза пожелала большего.

— Могу я возвратить поцелуй? — Пухлые губы обожгли арабское лицо поэта. Некое родство. Африка. Восток.

Вспоминая эту сцену, Роза спрашивает себя: кто она? Женщина, рожденная страстью, или прежняя девушка, сдержанная и серьезная? Забавно: Афранио Портела воссоздал в рассказе прежнюю Розу, искреннюю, скромную, простую девушку из Мадурейры.

Первой произнесла слово «любовь» она. Она хотела обольстить его, ибо герой бесчисленных авантюр, распутный донжуан, представляющий ее невинной девчонкой, ослепленной его поэзией, не знал, как быть, чтобы не разочаровать ее и вместе с тем не сделать ее несчастной. Он стал приглашать ее на прогулки, угощать деликатесами в скромных ресторанах, показал ей самые очаровательные уголки города, преподнес книги свои и других поэтов, дарил розы, по воскресеньям нашептывал ей стихи в тени деревьев Ботанического сада, так сентиментально выглядевшего на почтовой открытке, целовал ей пальцы со следами уколов иглы, смуглое лицо и зеленоватые глаза и признался по секрету маэстро Афранио, что переживает забавный и необычный роман, не похожий на все предыдущие, платоническую любовь, сотканную из поэзии и целомудрия.

Но в сердце Розы разгорелся пожар, и, хотя ей нравилось каждое слово, каждый жест, каждое невинное проявление нежности Бруно, прикосновение пальцев к волосам, касание губами затылка, она не желала довольствоваться столь малым. Она предлагала ему свои уста, и поэт открыл ей, что такое поцелуй. Роза решила принадлежать ему.

Она попросила повести ее в дом Санта-Александрины, фотографии которого появились в недавнем репортаже в журнале «Ревиста дос сабадос»: стены, увешанные картинами, экзотические безделушки, привезенные из путешествий, ангелочек, свисающий с потолка, вьющиеся растения, оплетающие фасад, кусты роз в саду и поэт, сидящий в ленивой позе на каменной ступеньке у входа.

— Не боишься?..

— Нет, я же хотела этого.

Они прошли под руку через сад, он придумал стихи: «улитки и ящерицы приветствуют тебя», хотел усадить ее в гостиной, чтобы объяснить сюрреалистическую картину, но она решительно направилась в спальню — для живописи еще будет время.

«Наверняка,— подумал он, когда Роза потянула его за руку и они упали на кровать,— наверняка она знала мужчин до меня, а я, старый кретин, вообразил ее невинной и добродетельной». Он обманулся и в этот раз: Роза была девственницей и обладала, среди многих других достоинств, смелостью и честностью.

Потрясенный поэт спустился в сад и сорвал все розы, целую охапку. Бронзовая статуя, распростертая обнаженной на белизне простынь, Роза, казалось, молилась, благодаря бога. Антонио Бруно забросал розами светящееся тело.

Возможно, Бруно так и не удалось до конца понять ее, принять ее полностью. Любовь, которую дарила ему Роза и на которую он отвечал ей, была соткана из страсти и нежности; «Не существует более нежного создания»,— сказал маэстро Афранио, познакомившись с ней; лишенная всякой корысти, она постоянно внушала ему волнующее чувство вины. Роза никогда ничего у него не просила, она продолжала быть бедной модисткой, невинной девушкой, созданной — до того как встретила его — для замужества, детей, домашнего очага, спокойной и праведной жизни. Сделав ее своей любовницей, вторгшись в ее судьбу, он принял на себя ответственность за сомнительное будущее, которое ожидало ее.

В тот день, когда несколько месяцев спустя он обратил внимание на другую и пожелал ее, он почувствовал себя обязанным жениться на Розе, чтобы не покидать ее.

Роза отказала. Прозрачный, как вода, бесхитростный, Бруно ничего не смог скрыть от нее. Розе ни о чем не надо было спрашивать, ей и без того была ясна причина его предложения, и она твердо сказала «нет». «Я была твоей женщиной, мне этого достаточно. Ты не рожден для семьи, ты будешь плохим мужем». Прежде чем едва заметная скука выросла в безразличие, которое уступило бы место лжи, она ушла. Ушла из жизни Бруно, как и вошла в нее, без объяснений.

Даже после расставания он продолжал отправлять ей розы в день первой встречи, неожиданного обладания ею в постели, усыпанной лепестками роз, и последней ночи, такой нежной и пламенной, такой совершенной и неожиданной. Розе он посвятил свои самые странные и загадочные поэмы «Эфиоп из Амазонии», «Все в тебе было неведомым чудом».

Экс-единственный кандидат

Ни единственного кандидата, ни единогласных выборов. Обеспокоенный Лизандро Лейте скребет затылок, запутываясь пальцами в своей львиной гриве: как будет реагировать полковник, убедившись, что рухнули две из наиболее приятных перспектив, внушенных ему еще совсем недавно восторженным руководителем его избирательной кампании? Стремясь единолично получить выгоду от победы патрона, дезембаргадор не согласился делить с кем-либо свои заботы и один занимался всем, что относилось к кампании Сампайо Перейры. Зато ему и отвечать за последствия провала своих первоначальных оптимистических планов. Проклятый Портела! В то время как Лизандро уговаривал ректора Раула Лимейру подождать до открытия следующей вакансии: «Она откроется очень скоро, Персио уже не выходит из дома, врачи отказались оперировать его; начавшись в легких, болезнь распространилась, уже пошли метастазы»,— этот дьявол Портела нашел некоего генерала с достаточным количеством книг и с атлетическим здоровьем. Он бегает от одного «бессмертного» к другому, намереваясь покончить с визитами в самый короткий срок.

Юрист вполне оправдывает свое прозвище — «страшный казуист». Он ищет и находит аргументы, доказывающие, что наличие другого кандидата — момент исключительно положительный, в чем убеждает полковника Агналдо Сампайо Перейру по возвращении его из поездки на юг, где тот уничтожал врагов родины, то есть врагов диктатуры и фюрера.

Битва ведется во всех сферах. В прославленную компанию проникли предатели. Они выдвинули кандидатуру генерала Валдомиро Морейры, чтобы предоставить академикам свободный выбор, полагая, что таким образом удастся уменьшить количество голосов за дорогого друга. Безнадежная глупость, им не удастся даже слегка пошатнуть прочную позицию полковника, тем более угрожать его избранию. Напротив, ружье у них выстрелит в обратную сторону; помимо того, что они не достигнут намеченной цели с выдвижением нового претендента, упрямцы типа Афранио Портелы, Эвандро Нунеса дос Сантоса и Р. Фигейредо Жуниора уже не смогут проголосовать незаполненными бюллетенями. Голосуя за одного из конкурентов, «бессмертный» отдает предпо-

чтение ему. Опасность голосования незаполненным бюллетенем — что означало бы оскорбительный отвод — миновала.

— Исходящий от врага голос не деморализует, а возвеличивает.— Полковник не согласен, новости ему не нравятся, и объяснение не убеждает. Конечно, если дорогой друг имел бы возможность оказать давление на генерала, соратника по оружию, убедив его покинуть поле битвы, он, Лизандро, постарается завоевать некоторые голоса, добиться от самых опасных, чтобы вместо голосования незаполненными бюллетенями они воздержались.

— Оказать давление на Морейру? Ничего не получится! Он меня не переносит, считает, что я способствовал его увольнению в отставку, и нельзя сказать, что он неправ. Но существует ли в самом деле кто-то, кто голосует за этого несчастного? Ничтожество, его выставили из газеты «Коррейо до Рио», где он выступал с комментариями на военные темы и проявил полную несостоятельность. Мелкий, ничтожный либералишка. У него только и есть что высокомерие.

— Это несомненно так. За него будет подано не более семи-восьми голосов. Он не наберет и десятка.

— Сколько все же? — Полковник хмурится.

— Мы можем отвоевать два или три, я уже работаю в этом направлении.

— Это необходимо. Восемь голосов за морейровскую линию Мажино? Невозможно. Я рассчитываю на вашу энергию, дезембаргадор.

Разочарованный, он не назвал его Лизандро. Юрист чувствует холодность в этой замене имени титулом, но старается не унывать — надо снова завоевывать доверие и расположение.

— Положитесь на меня, я не пожалею сил, у меня есть опыт, и я знаю, что сказать каждому из них. Теперь, если вы согласны, мы займемся составлением программы первых визитов. Из-за вашей поездки мы потеряли драгоценное время, нам нужно нагнать упущенное, дорогой Агналдо.

— Вы правы, приступим, друг Лизандро.

Дезембаргадор вздыхает, открывает портфель и вынимает два отпечатанных листа со списком академиков, вручает один из них экс-единственному кандидату.

— В атаку, мой полковник!

Служебный приказ

Расстроенный известием о кандидатуре генерала Валдомиро Морейры, полковник Сампайо Перейра пришел в еще большее раздражение после первых пяти визитов к академикам. Для него, начавшего кампанию без соперника, с заверением в единодушном избрании, перспектива исхода битвы представлялась теперь весьма туманной. Он не боялся поражения, победа казалась ему обеспеченной, но это не будет тем триумфальным шествием под аплодисменты «бессмертных». Злополучная «линия Мажино»— все говорит об этом — получит более десятка голосов, если не двенадцать или пятнадцать. Надо серьезно все обсудить с Лизандро, наметить новый план действий, переходить в наступление, которое действительно уничтожит претензии врага. Как стало известно, Морейра, фанфарон и наглец, утверждает, что его победа предрешена.

Из пяти академиков, которым полковник нанес визиты, двое заверили его в поддержке, и один из них дал полковнику вполне объективные и ценные сведения.

Оставив, по совету Лизандро, грубых охранников (отобранных из личного состава специальной полиции) в стоящих на улице автомобилях, полковник, одетый в форму, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к военным кругам, после приветствий и необходимых любезностей продекламировал свое заявление, по примеру генерала Морейры. В обеих речах кандидатов были общие пункты (и заметная разница в стиле — у одного под влиянием Афранио Портелы, у другого — под влиянием Лизандро Лейте). Они содержали сведения о литературном и военном положении: оба писатели и имеют высший чин, оспаривают место, которое по традиции принадлежало представителю армии. Сампайо Перейра добавлял, что выставил свою кандидатуру по настоянию товарищей по армии во главе с военным министром, которому он, офицер, состоящий на службе, должен подчиниться. Он открывал под конец, казалось бы, второстепенную деталь, имеющую, однако, значение для тех, кто собирается выступить с восхвалением одного лирического поэта в речи на приеме в Академию. Автор политических книг, чье объемистое творчество — двенадцать томов — давало ему право оспаривать вакансию, открывшуюся со смертью Антонио Бруно, он, являясь в основном прозаиком, был также

и поэтом. Сочинитель книги романтических стихотворений считался «способным последователем печального предшественника».

— Записки от министра, адресованные академикам. Тем, с кем он знаком, пусть позвонит по телефону. Кто может воспротивиться просьбе военного министра?

Двое гарантировали ему свои голоса, двое отказали по одной и той же причине и почти в одинаковых выражениях: сожалеют, что полковник прибыл с опозданием, поскольку они уже взяли на себя обязательство перед другим выдающимся военным, тоже писателем — генералом армии Валдомиро Морейрой. Дважды Сампайо Перейра ощутил пощечину. Он удалился после этих визитов явно раздраженный, стараясь сдерживать себя, чтобы не выказать при прощании холодности или недовольства. Он не скрыл от Лизандро Лейте своего неудовольствия: имена этих двух академиков не фигурировали в списке восьми, которые, по мнению юриста, могли голосовать за дерзкую «линию Мажино».

В порядке категорического распоряжения, далеко не любезного, полковник повелел бросить в битву внешних союзников. Включить в кампанию министра, начальника генерального штаба, различных представителей власти, как можно больше обещать, а если понадобится — намекнуть на репрессии.

Один из двух академиков, заверив полковника, что отдаст за него свой голос, выказал себя горячим его поклонником и ловким интриганом. Он поблагодарил за присылку двенадцати книг (отправленных после выставления кандидатуры всем «бессмертным» с затейливыми посвящениями), большинство из них он уже имел, будучи верным читателем, симпатизирующим идеям выдающегося мыслителя. Затем намекнул, что его не совсем удовлетворяет ведение кампании полковником. Друг Лизандро, добросовестный и оперативный, заслуживающий всяческих похвал, однако, допустил некоторые ошибки — серьезные! — проявив пренебрежение к весьма важным аспектам. Озабоченный возможной кандидатурой Рауля Лимейры, который и не думал ее выставлять, он недостаточно внимания уделил другому кандидату, единственно опасному. Кто распоряжается в настоящее время в нашей стране, ответьте мне? Военные, слава богу, они спасают нас от анархии, наводя в стране порядок. Поэтому-то только военный кандидат мог быть опасен полковнику. Победить — нет, генералу не выиграть, но он лишит полковника голосов, которые должны были бы принадлежать ему, Сампайо Перейре. И только потому, что Лизандро пожелал захватить кампанию в свои руки, не дав включиться в нее другим поклонникам выдающегося друга, также заинтересованным в том, чтобы по мере сил способствовать громкой победе. Полковник слушал внимательно: он уважал интриганов и доносчиков, на них он опирался в своей повседневной борьбе против подрывной деятельности.

— Мою кандидатуру поддерживают все мои друзья, а не только дезембаргадор, которому я благодарен за многое, что он сделал, но в чьей ловкости, признаюсь вам, начинаю сомневаться. Что вы посоветуете, дорогой друг?

Дипломат

Два голоса «за», два «против» и один голос «за» предполагаемый, но не подтвержденный — голос посла Франселино Алмейды, академика, которому полковник нанес визит первому в соответствии с традицией.

Старый дипломат принял полковника исключительно любезно, угостил бисквитами и хересом. Поблагодарил за корзину с фруктами (хорошо еще, что Лизандро поставил кандидата в известность об инициативе, проявленной им, когда нервные охранники полковника оттолкнули тщедушного «бессмертного»), наговорил ему комплиментов, но голос не гарантировал. Он, правда, не отказал, но и не вспомнил о данном ранее обязательстве. Ограничился вялым разговором о том о сем, вынудив Сампайо Перейру поставить вопрос ребром:

— Я, надеюсь, заслужил честь получить ваш голос?

— Вы заслуживаете гораздо большего. Не беспокойтесь, сеньор, вы уже там, вы избраны. Моего голоса и не потребуется.— Он положил турецкую сигарету на длинную мраморную пепельницу, такие тонкости были полковнику не по вкусу.

Дипломатический язык, типичный для сотрудников министерства иностранных дел, кто может понять его? Привыкший к языку грубому, полковник чувствовал себя растерянным перед этим слабым, подергивающимся человечком, который досаждал ему нудными разговорами. Принимая Перейру, Франселино ни разу не упомянул о генерале, даже не назвал его имени. Что означало это умалчивание? Черт его знает.

Трудный разговор, скользкий собеседник, расхваливающий херес и бисквиты, воздающий должное вину, только чтобы ловко уклониться от темы. Гораздо легче разговаривать с преступниками.

Франселино с любезнейшим видом проводил его до двери.

— Можете идти сочинять речь для торжества вступления в Академию. У вас есть книги Бруно? Замечательный поэт. Большой поклонник женщин!—Он прищелкнул языком.

По тому, как он себя вел, казалось, что он будет голосовать за него, но он не сказал: «Мой голос за вас». Лизандро попытался успокоить обиженного полковника и поручился за лояльность посла. Он всегда выражается вот так, двусмысленно, предоставляя догадываться о том, что думает,— привычка, приобретенная на дипломатической службе. Но у него не было сомнений: Франселино Алмейда не откажет в поддержке кандидатуры, к которой благоприятно относится правительство. Какие могут быть у него причины голосовать за генерала Морейру, который ничего не может предложить, кроме пышной корзины с ликерами и лакомствами, отправленной к тому же Афранио Портелой? Корзина замечательная, без сомнения, но ее недостаточно для того, чтобы перетянуть хитрого дипломата на свою сторону.

Все же полковник велел срочно отправить послу дюжину бутылок шампанского (с оплатой за счет сметы по борьбе с коммунизмом).

— Есть очень хорошее шампанское из Сан-Пауло. Марка его...

Вспомнив о тошнотворном настоящем виноградном вине — «нектар»! — Лизандро воспротивился:

— Сан-пауловское или то, что пили, лучше не посылать. Не забывайте, что Франселино тридцать лет провел за границей.

— Ну и что?

— Советую послать французское.

Полковник Агналдо Сампайо Перейра пренебрежительно пожал плечами, смета по борьбе с коммунизмом уже в то время была практически неограниченной.

— Выберите сами марку. Эти утонченности ведут только к упадку и деградации расы.

Заседание генерального штаба перед завтраком

Тревога была поднята Энрике Андраде. Либеральный политик по призванию и по традиции семьи — отец был губернатором штата, сенатором и министром,— находящийся в вынужденном отпуску вследствие роспуска парламента, обладающий довольно солидной литературной репутацией, автор биографии барона Рио Бранко, он входил в число академиков, которые ни в коем случае не собирались голосовать за полковника Сампайо Перейру. Энрике Андраде был в составе депутации, которая предложила генералу Морейре выставить свою кандидатуру, причем во время встречи держался с характерной для него осторожностью; настойчиво приглашая генерала, он был не слишком-то расточителен на похвалы. Обладая широким кругом знакомств, в том числе из лагеря противника, он был известен как один из наиболее информированных людей в стране, способный отличить истинные факты от царящих слухов. Кое-кто утверждает, что уже в ту пору Андраде вел заговорщическую деятельность против Нового государства, ладя и с консерваторами, и с либералами, и с некими левыми. Земляк и преданный друг Афранио Портелы (который оказал немалую помощь при его избрании в Академию, когда пришлось оспаривать вакансию у двух сильных кандидатов) позвонил ему, предложив созвать «генеральный штаб сопротивления», чтобы вместе обсудить трудную конъюнктуру. Дона Розариньо, пожелавшая участвовать в интриге, назначила воскресный завтрак в вилле на Прайа до Фламенго — кулинарные изделия, как в штате Баия, в знак уважения к автору «Жизни Руя Барбозы»,— с участием, однако, только мужчин. Если бы явились и женщины, доне Розариньо пришлось бы развлекать их и она упустила бы возможность узнать новости избирательной кампании.

Даже Эвандро Нунес дос Сантос, обычно настроенный оптимистически, казался озабоченным. Лизандро Лейте побывал у академиков еще до визита полковника, вручив им письма от военного министра и других военных и гражданских властей, рекомендующие кандидатуру Сампайо Перейры. Помимо него два других подлеца посвятили себя той же задаче — старый литератор часто отказывался от академического языка, упоминая своих противников. Некоторые результаты были получены: голос Маркондеса, по ходатайству Эвандро обещанный Морейре, уже не предназначался последнему.

Маркондес получил категорическую просьбу — просьбу? приказ, угрозу! — от министра сельского хозяйства, к кабинету которого он имел отношение, принимая участие в некой комиссии по увеличению козьего поголовья. Несколько неуклюже министр сообщил ему, что, если хороший друг и ценный сотрудник стал бы настаивать на своем намерении голосовать за генерала, непреклонного врага режима, такая позиция рассматривалась бы как проявление враждебности к правительству. В этом случае министр не имел бы возможности держать его в специальной подкомиссии, успехам которой так много способствовал (заочно, конечно). Припертый к стене Маркондес капитулировал, он не хотел терять этой выгодной сделки с козами. Он честно пришел к Эвандро и объяснил свое отступничество.

— Правительство рассматривает избрание Сампайо Перейры как дело решенное.— Энрике Андраде пояснил: — Новое государство не может допустить никакой оппозиции, оно хочет держать все под контролем. Это относится и к Академии, именно из-за того престижа, которым она обладает, и резонанса, который получает избрание каждого нового академика. Знаете, сколько Байма получил просьб в пользу Перейры менее чем за неделю? Пять...

Полковник и его заместители мобилизовали кого только можно. Еще накануне Андраде услышал из уст кардинала рассказ о посещении Лизандро, который пытался уговорить его повлиять на некоторых академиков, связанных с церковью. Прелат отказал в сотрудничестве: не потому, что он возлагал на полковника Агналдо прямую ответственность за пытки политических заключенных, за ночные вторжения в дома мирных жителей, за налеты на государственные и частные библиотеки и сожжение книг на площадях, за множество беспорядков. Еще накануне он получил сообщение от архиепископа Ресифе и Олинды, в котором говорилось о весьма печальных фактах, происшедших в Пернамбуко. Поэтому он предпочел держаться в стороне от академического спора. По словам Энрике Андраде, министр иностранных дел также отказался от участия в блицкриге. Министр, как это известно и общепризнано, не одобрял применения насилия органами безопасности и ненавидел полковника Сампайо Перейру, который организовал подслушивание телефонных разговоров из кабинета и резиденции министра, ушедшего ныне в отставку из-за несогласия с политикой сближения с фашистами. Андраде заключил:

— Хорошо еще, что генерал Морейра не идет на попятный. Но все же что за подобие литератора вы нам подобрали, сеу Родриго...

— Найдите лучшего, если сможете. Литературные произведения его не гениальны, согласен, но он твердый, верный человек. Обладает многими достоинствами.

— Лучшим достоинством нашего непогрешимого генерала является его дочка... — выразил мнение Р. Фигейредо Жуниор.— Полагаю, что с разрешения доны Розариньо она могла бы оказать большую помощь, если бы пожелала с нами сотрудничать. Она хорошенькая, мордашка у нее многообещающая.

— Ведите себя более пристойно, Фигейредо,— прервала его хозяйка дома.— Оставьте девушку в покое. Хороший он литератор или нет, генерал — наш кандидат, и я пригласила вас не для того, чтобы вы злословили о нем. Я хочу знать, что вы будете делать, чтобы победить этого... — Она никогда не находила точного слова, чтобы назвать полковника Сампайо Перейру, и должна была позаимствовать таковое из словаря кума Эвандро.

— Что мы будем делать? Пустяки! — воскликнул маэстро Портела.

Перед угрозой обстановки, более благоприятствующей противнику, Афранио Портела заявил о необходимости пустить в ход все виды оружия — от правдоподобного обвинения до сексуального совращения. Предложение Фигейредо Жуниора было стоящим. он, Портела, уже... обдумывал это, только, пожалуй, следует прибегнуть к помощи более способных, опытных и более свободных, чем дочь генерала, в настоящее время поглощенная большой страстью.

— Откуда вы знаете, Афранио, об интимной жизни девушки? — удивилась дона Розариньо.

— Моя секретная служба... Нужно быть в курсе всего, что касается кандидата и его семьи. Вы не можете и вообразить себе, какие вещи я знаю...

Настал час отказаться от щепетильности. было бы позором избрание в Бразильскую академию литературы нациста, допускающего сожжение книг, приглашающего специалистов из гестапо для участия в пытках политических заключенных. Победить его во что бы то ни стало, нужно доказать, что в этой стране еще существует благо-

пристойность, что Академия сохраняет свою независимость и авторитет. Дело нешуточное, на карту поставлены свобода и жизни людей.

Эвандро, у которого намечалась поездка в Ресифе, где он должен был прочитать публичную лекцию на юридическом факультете, поинтересовался событиями в Пернамбуко, о которых упомянул кардинал.

— Я слышал об арестах, запрещении театрального спектакля,— сообщил Энрике Андраде,— но я не знаю подробностей, не знаю точно, какое отношение имеет к этому Сампайо Перейра. Эвандро сможет уточнить детали на месте и сообщит нам.

Собрание штаба с обменом мнениями и вынесением решений состоялось перед завтраком. После национальных блюд ватапá, каруру, эфо, фрижидейры и мокеки это было бы невозможно. Командование сил сопротивления предпочитало спокойно переваривать обильную еду.

События в Пернамбуко

Если бы не антиправительственное выступление по радио Олинды драматурга Аристеу Арабойи и не конфискованный номер газеты «Лузейро де Каруару», события в Пернамбуко не нашли бы отражения в прессе и не были бы переданы по радио страны. Несмотря на то что манифест подписали известные деятели культуры или именно поэтому, цензура запретила не только его распространение, но и любое упоминание о фактах, которые его вызвали.

Еженедельник города Каруару был столь скромным по размеру и тиражу, что дежурный чиновник департамента печати и пропаганды штата забыл отправить редакции соответствующее распоряжение, и в результате «Лузейро» и по сей день гордится тем, что она была единственной газетой, опубликовавшей протест представителей интеллигенции, к тому же на первой полосе, так как среди подписавших его находился главный редактор газеты — фольклорист Жоан Конде. Издание было конфисковано, ночной дежурный в редакции предупрежден: если «Лузейро» будет упорствовать, газета будет запрещена; если бы совершивший ошибку продолжал упорствовать, он мог стать жертвой неумолимой 177-й статьи новой конституции, согласно которой любой чиновник без исключения мог быть просто уволен на пенсию или освобожден от работы во имя блага государственной службы.

Все началось с того, что лейтенант Алирио Бастос, по прозвищу Сторожевой Пес, и несколько солдат военной полиции разрушили барак, в котором давал представления кукольный театр; он находился в окрестностях города Ресифе, в бедном районе, население которого составляли рабочие и крестьяне.

Маленькая комическая пьеска с аллегорическим содержанием повествовала о семействе крестьян, преследуемом алчным богачом, сахарозаводчиком, владельцем многих легуа земли, поддерживаемым в своих подлых замыслах армией и дьяволом. Солдаты заставляли Жоазиньо Опухшего, главу семейства, работать от зари до зари на рубке сахарного тростника, в то время как Сатана пытался толкнуть его честную жену, красавицу Шику, в объятия развратного богача. У голодных рабочих был зверский аппетит, железные желудки, они получали на ужин комья глины. Жоазиньо, Шика и мальчишки рассчитывали лишь на покровительство Девы Марии и на сообразительность рубщика сахарного тростника.

Полуграмотный автор пьесы построил сюжет так просто и ловко, что, несмотря на могущество богатого, влиятельного сахарозаводчика, победил в конечном счете Опухший. На редкость хитрый Жоазиньо перехитрил солдат, а Дева Мария, покровительница и защитница, сотворила великое чудо: тиран-сахарозаводчик заразился неизлечимой болезнью и стал импотентом; бравые солдаты стали говорить тонкими голосами и окончательно впали в детство, а Вельзевул спустился вместе со своими бывшими союзниками в глубины ада. Присутствовавшая на представлении беднота смеялась и аплодировала, черпая в комическом фарсе надежду, а в грубых куклах видя настоящее искусство. Десятки таких же кукольных театров давали представления на своих примитивных подмостках, сооруженных из картона, досок от ящиков и в Ресифе, и в других городах, на плантациях и сахарных заводах, почти даром показывая чудеса и преподавая уроки жизни.

От кого исходил донос, было неизвестно, но лейтенант Алирио Бастос, Сторожевой Пес, пользующийся дурной славой, жадный и гнусный сутенер — женщины в зоне занимались проституцией, отдавая ему львиную долю заработанных денег,— появился в сопровождении четырех солдат, разнес в щепки театрик, избил хозяина и его по-

мощника — отца и сына,— причем порядочная доля побоев досталась и публике. Кукольники были отведены в казарму, где с ними расправились и научили уважать военную форму, избиение было зверским. Мальчишке-помощнику еще не исполнилось и пятнадцати лет.

Освобожденные через несколько дней из тюрьмы владельцы кукольного театра отправились жаловаться к Аристеу Арабойе, автору пьес, пользовавшихся успехом в стране и за ее границами. Они рассказали ему печальную историю и показали следы недавних побоев. Писатель не усомнился в правдивости их рассказа и выступил в радиопрограмме, имевшей широкую аудиторию, резко осудив действия военной полиции и Сторожевого Пса.

Выступление Арабойи вызвало немедленную реакцию: радио Олинды получило предупреждение от департамента печати и пропаганды штата, программа была запрещена, и военная полиция предприняла во всем штате Пернамбуко, особенно в Ресифи, Олинде и ближайших к ним городках, жестокие меры против театров марионеток и их владельцев, в результате — разрушенные бараки, уничтоженные куклы, разбежавшиеся актеры.

Аристеу Арабойя, дерзкий и упрямый уроженец сертана, решил бороться. Он вступил в союз с директором Любительского театра Пернамбуко Валдемаром де Оливейрой, личностью, уважаемой во всех сферах, и решил устроить спектакль солидарности с преследуемыми владельцами кукольных театров, вынеся на благородную сцену театра «Санта Изабел» грубых кукол, героев смешных и печальных историй, чтобы поставить с их участием одноактную пьесу Арабойи «Божий театр марионеток», написанную специально для этого случая. Выручка от спектакля была предназначена для восстановления убогих подмостков, разрушенных национальной гвардией.

Столкнувшись со столь решительными действиями двух театральных деятелей, местные цензоры заколебались: разрешить или запретить спектакль? Не придя ни к какому решению, они обратились в федеральную цензуру, которая, в свою очередь, довела вопрос до сведения самых высоких сфер национальной безопасности, поскольку здесь были замешаны представители вооруженных сил. В конце концов дело попало в руки полковника Сампайо Перейры, который не усомнился во вреде театра марионеток, состоящего на службе у международного коммунизма, и неприкрытом подрывном характере спектакля. Он приказал цензуре запретить его, а департаменту печати и пропаганды подтвердить прессе и радио распоряжение о молчании.

Однако власти не проявили должной оперативности; организаторы представления настаивали на своем: билеты проданы все до единого, день назначен, все готово...

Начальник цензуры штата решил: раз Рио не отвечает, значит, в спектакле не нашли ничего заслуживающего осуждения,— и дал разрешение.

Театр «Санта Изабел» переполнен, занавес был уже готов подняться, когда здание окружили солдаты с винтовками наперевес. Публику выдворили, владельцев театра марионеток тоже, было даже применено оружие. Арабойя и директор Любительского театра были доставлены в секретариат безопасности, где им, после долгих выяснений, удалось узнать, что начальник полиции выполнил приказ из Рио, отданный полковником Сампайо Перейрой. Им лично. Приказ, кроме того, предлагал применить к привлеченным к ответственности «Закон о национальной безопасности» в случае, если они окажут сопротивление. Пусть считают себя счастливыми, что избежали суда и отделались только заполнением карточек, фотографированием с номером на груди и снятием отпечатков пальцев.

Настойчивы эти пернамбукские интеллектуалы. Прикидываясь несведущим, Арабойя при участии других подозреваемых составил обращение к нации, подписанное писателями, музыкантами, артистами, профессорами высших учебных заведений, людьми политических и религиозных кругов, начиная со знаменитого социолога — национальной гордости — до автора заслужившей похвалы книги об Эсе де Кейроше [1], известного коммуниста. В обращении, рассказывавшем о насилиях, учиненных над владельцами театров марионеток и театральными деятелями, которые их поддержали, упоминалось лишь два имени — лейтенанта Алирио Бастоса, Сторожевого Пса национальной гвардии, известного сводника, и полковника Агналдо Сампайо Перейры, представителя власти.

Хотя обращение и было опубликовано только в газете «Лузейро де Каруару», оно

[1] Жозе Мариа Эса де Кейрош (1846—1900) — португальский писатель.

тайно ходило по рукам. Были арестованы некоторые из подписавших его, автор книги об Эсе де Кейроше приготовил уже чемоданчик с пижамой и зубной щеткой — столько раз за ним приходили. Обыски, конфискация книг, начавшееся следствие. Были вымазаны стены дома, где жил профессор, известность которого простиралась до Соединенных Штатов и Европы; на них были написаны оскорбления и ругательства, обращенные к тому, кого многие считали самым высоким представителем бразильской культуры; сравниться с ним мог только физик-атомщик Персио Менезес, вторая подлинно национальная гордость.

После доклада на факультете права Эвандро Нунес дос Сантос, приглашенный позавтракать с социологом, разузнал о событиях в Ресифе и страшно возмутился ругательствами, намалеванными на стенах; он получил напечатанную на мимеографе копию обращения, где нашел имя полковника Сампайо Перейры, кандидата в Академию. В Рио он раздобыл новые копии и раздал их академикам в четверг, в день чая и собрания.

Маркитантка

Мария Жоан наносит последние штрихи грима, перед тем как одеваться для выхода на сцену.

— Я была дьяволом...

— Была? — в углах губ маэстро Портелы зарождается улыбка мягкого лукавства.

— Однажды вечером я так его мучила, заставляя ревновать, кое-что давая понять, намекая на разных мужчин, что Бруно дал мне пощечину.

— Чтобы Бруно решился на это, ты должна была зайти очень далеко.

— Слишком далеко... Он дал мне пощечину, когда я сказала, что у меня призвание наставлять рога. И тут я набросилась на него с оскорблениями, обозвала рогоносцем. Он, бедняга, раскаиваясь, сдерживался, чтобы не потерять голову. Но когда я закричала по-французски: «Cocu, roi des cocus!» [1] — Бруно схватил меня и задал мне трепку! Он награждал меня такими тумаками и пощечинами, что я упала. Не знаю, как побои превратились в ласки, но это была славная ночь. Утро застало нас за клятвами в вечной любви. На другой день я была вся в синяках от рук и губ моего поэта.

Она поднялась, распахнувшийся халат приоткрыл красивую грудь, она никогда не носила бюстгальтера. Мария Жоан начала одеваться. В этот вечер она играла Гедду Габлер. Премьера пьесы Ибсена в переводе Р. Фигейредо Жуниора состоялась две недели назад.

— Ради него, маэстро Афранио, я готова была продаться дьяволу и даже Баррето Отвратительному, что гораздо хуже.

Известный в театральных кругах под прозвищем Отвратительный, старый Стенио Баррето, богатейший коммерсант, коллекционировал актрис, покупая их за золото. Он собрал множество их, бразильских и португальских. Мария Жоан отвергла его предложения, из духа противоречия или чтобы набить себе цену — как знать? На этот раз Отвратительный соблазнял ее квартирой из пяти комнат в Копакабане за уик-энд в Петрополисе [2].

Маэстро Афранио протянул ей список членов Академии:

— Помеченные знаком X — это наши, полная гарантия. Со знаком N — безусловные приверженцы противника. Тот, кто не помечен, еще не принял решения. За скольких из этих последних ты можешь ручаться, что они проголосуют за генерала Морейру?

Гедда Габлер полуобнажена — она стоит пятикомнатной квартиры и даже больше, романист оценил актрису взглядом знатока. Мария Жоан изучает имена.

— Гарантирую двоих. Впрочем, подожди... Не двоих, а троих. Жалко, что Родриго с нами. Я бы с удовольствием согрешила с ним еще разок. Наша связь продолжалась очень недолго.

— Он наш, наверняка. Настолько наш, что уделяет все свое время сумасбродной дочери Морейры, не допуская, чтобы она работала на отца. Эти аристократы таковы, Жоазинья, они эгоисты. Так кто же эти трое?

---

[1] Рогоносец, король рогоносцев! *(франц.)*.

[2] Копакабана — район Рио-де-Жанейро; Петрополис — курортный городок неподалеку от Рио-де-Жанейро.

Стук в дверь уборной — сеньоре доне Марии Жоан выходить на сцену через пять минут. Заканчивая одеваться, она называет имена, сопровождая трагическим жестом Гедды Габлер на окутанной густым туманом дороге Скандинавии:

— Вот эти. Павинья обозначен буквой N, он из другого лагеря, но если я попрошу... Тебе нужен его голос?

— Конечно, но даже зная твою неотразимость, я не верю, что тебе это удастся.

— Хочешь держать пари? — Она укусила палец.— Дорогой старикашка — козленочек, он ест из моих рук, не отказывает мне ни в чем.

Живой девичий смех, кто даст ей сорок лет? Любовь — лучший союзник, думает маэстро Афранио, когда величественная Гедда Габлер выходит из уборной, направляясь на сцену. Она не только сохранила фигуру, главное — она пробуждает жизнерадостность.

Великая актриса

Избрание Королевы карнавала состоялось в театре «Сан-Жозе». Помимо поэта Антонио Бруно в состав жюри вошли президент карнавального Общества лейтенантов дьявола импресарио Сегрето, Жота Эфежэ, репортер, наловчившийся на празднествах, посвященных властелину веселья — Момо в селениях, в карнавальных компаниях, дансингах, а также прославленная фигура бразильского театра того времени — Италиа Фауста.

Антонио Бруно, на пороге своих тридцати пяти лет, тоже находился в апогее славы. Успех книги, которой он дебютировал, возрос еще более с выходом поэтических томиков «Сонеты Угне» и «Баркарола Антониос», не считая сборника хроникальных заметок, опубликованных в прессе, «Почти голая правда». Ему пели дифирамбы большинство критиков: «выдающийся молодой поэт, несравненный автор сонетов», «лирический поэт, который возродил песню и лиризм», «птицы, деревья, женщины и любовь снова представлены Антонио Бруно в свободной и подлинной поэзии», «хроникальные заметки — поэмы будней» и т. д. Не было, впрочем, недостатка и в резких нападках на те же его поэмы и репортажи: «слащавый и повторяющийся», «пренебрегающий новыми путями поэзии», «сантименты для прислуги» — заявляли самонадеянные и завидующие чужому успеху критики, оскорбленные до глубины души: книги Бруно, помимо безудержных похвал, имели надежную читательскую аудиторию, они не раз переиздавались. Его поэмы декламировались со сцены знаменитыми артистками на их бенефисах, студентками на литературных вечерах и поклонницами на семейных вечеринках.

Чтобы пополнить свое мизерное жалованье чиновника в секретариате министерства юстиции, Бруно не брезговал никакими занятиями: выступал с публичными лекциями в клубах и салонах, писал хроникальные заметки в газеты и журналы, тексты песен для музыкального театра. Безвестный композитор — немногим более двадцати лет от роду — Эккел Таварес попросил его написать несколько строф для мелодии, которую он только что сочинил; так родилась бессмертная песенка «Коррупция». Леополдо Фроэс объявил, что поставит пьесу Бруно, комедию из жизни Рио-де-Жанейро, которая в скором времени будет написана. Это был успех поэта и успех мужчины — «романтический профиль бедуина», воспроизведенный на фотографиях, рисунках, шаржах, картинах, написанных маслом. Вздыхали по нему девушки и замужние матроны, девчонки и женщины бальзаковского возраста, любуясь им на страницах «Фон-фон»: мечтательный взгляд, подбородком опирается на руку, прическа Масканьи. Шел 1921 год, первая мировая война осталась позади, и страна готовилась к празднованию столетия провозглашения независимости.

Самый желанный титул тех времен — титул Королевы карнавала! Помимо короны из позолоченной жести, бархатной мантии и кольца с аквамарином, преподнесенного ювелирным магазином «Оувидор», дороже всего были бурные отклики в прессе, интервью, репортажи, очерки и безумная зависть коллег. Отсюда огромная конкуренция, выливающаяся в ожесточенную борьбу, которая походила на выборы в Бразильскую академию литературы. Соревновались театральные актрисы, звезды и хористки мюзик-холлов, неизвестные, жаждущие славы девицы из любительских театров, пытающиеся использовать эту возможность и титул, чтобы сделать карьеру на увлекающем и вместе с тем так скудно оплачиваемом актерском поприще. Скудно оплачиваемом и все же блестящем — успех, популярность, слава,— а для того чтобы поправить свои дела,

существуют Стенио Баррето и другие отвратительные, но щедрые старички миллионеры.

«Обработанные» импресарио, трое из четырех членов жюри, решили отдать предпочтение веселой и плутоватой Маргариде Вилар, с ее великолепными ножками, рыжей копной волос, чарующим голосом, артистке из ансамбля «Миссес, Машише и Ватапа», ревю которого выдержало более ста представлений. Но во время шествия кандидаток поэт Бруно бросил взгляд на одну из жаждущих неизвестных девиц и был потрясен. Никогда с ним не случалось ничего подобного — мгновенно загорелась бурная, сумасшедшая страсть. Стройная, высокая, прозрачная, как бы просвечивающая, настолько она была белокурой, с голубоватой опаловой кожей, где же он ее видел? Наверняка на картине, но в каком музее? Какой мастер эпохи Возрождения предугадал ее появление и написал ее портрет несколько веков назад? Призыв в печальных глазах, на устах, отмеченных печатью сексуальности, в движении дерзких бедер и упругой груди. Бруно почувствовал сухость во рту и боль под ложечкой. Перед ним возникла роковая женщина собственной персоной.

Создалась сложная ситуация из-за голоса поэта, который разошелся в оценке с другими членами жюри. Однако все они были хорошими друзьями и воспитанными людьми и, чтобы избрание Маргариды Вилар было единогласным, решили учредить дополнительно титул Принцессы карнавала и присудить его безвестной кандидатке.

Бруно ее не знал; если он и видел ее раньше на картине или во сне, то не знал возраста, имени, профессии. На вопрос жюри она заявила, что ее зовут Лючия Бертини, происходила она из итальянской семьи, наверняка родственной великой Франческе Бертини, так как была из того же селения, где родилась несравненная кинозвезда; ей больше двадцати одного года (совершеннолетие, требующееся для того, чтобы иметь право участвовать в конкурсе на получение титула и быть на коронационном балу); она обладала скромным театральным опытом, полученным в городе Кампосе, где участвовала в спектаклях любительской труппы «Феникс». Она пришла на конкурс в сопровождении двоюродного брата, угрюмой личности, усевшейся в одном из последних рядов партера.

Интерес Бруно и титул, который от имени жюри он предложил ей, произвели на нее ошеломляющее впечатление. Увидев его поднимающимся на сцену среди остальных членов жюри, она сразу узнала его по фотографиям, печатавшимся в журнале «Домашняя жизнь», и по карикатуре в «Трещотке», на которой поэт надписывал витиеватым почерком название книги; какое же оно было? «Барка...» Какая барка? «Баркарола Антониос». Именно так, забавное заглавие, что же оно означало?

Мирно закончив хлопоты в жюри, после того как имена победительниц были объявлены и награждены аплодисментами, Бруно хотел встретиться с Принцессой в надежде в ту же ночь удовлетворить пожиравший его голод. Но Ее Королевское Высочество, девушка очень достойная и целомудренная, отказалась — она должна возвратиться домой с двоюродным братом.

— Отец очень строг, он разрешил мне выйти только в сопровождении брата и не знает, что я пошла, чтобы принять участие в конкурсе. Если узнает, то может побить меня и запереть дома.

Они условились о встрече на следующий день в кафе на Ларго да Кариока. Чашки с пенистым напитком (он был вкусен); сказанные шепотом слова, нежные слова, которые приятно слышать; стихи, родившиеся от испытанного накануне потрясения, когда он ее впервые заметил; его красота бедуина; легенда, окружающая поэта,— завоевали ее, заставили страдать. Она призналась в некоторых из своих первых обманов. Жила она вовсе не в Кампосе, никогда не выходила на сцену, не была Лючией Бертини и подавно уж не итальянкой, фамилию и кровь она украла у своих соседей. Ее имя — Мария Жоан — было выбрано отцом, португальцем, уже умершим. «Ужасное имя, не правда ли?» — «Нет более красивого имени, я буду тебя звать Жоазинья, хочешь ты этого или нет». У нее уже не было собственной воли, и она желала всего, что хотел Бруно. Никогда не представляла себе, что познакомится с ним, что он будет целовать ее в полумраке кинотеатра «Ирис» — бесконечные поцелуи, как поцелуи на экране,— чувствовать руки поэта, ласкающие ее груди, свободные под блузкой. Так началась эта сумасшедшая страсть, ярость желания и ревности, окруженная постоянно волнами лжи, с публичными оскорблениями и скандалами. В течение почти двух лет, пока эта связь длилась, Бруно не удавалось отделить действительность от вымысла, уловить границы между ложью и правдой.

Двоюродный брат оказался вовсе не двоюродным братом, а служащим магазина, оставленного в наследство португальцем, которым управлял брат и его компаньон. На убогий доход жили она, мать и младший брат; при дележе выручки кум, дядя, применял собственные правила арифметики. Что касается возраста, то она его понемногу уменьшала, пока не дошла до недавно исполнившихся семнадцати лет. Лжедвоюродный брат, сопровождавший ее, был вторым, кто обладал ею, ему предшествовал настоящий двоюродный брат, мальчишка пятнадцати лет, моложе ее.

— Когда это случилось, мальчишка хотел на мне жениться, ты представляешь! — Она рассказывала обо всем с подробностями, без всякого стыда и говорила безостановочно. Когда нечего было рассказывать, она выдумывала.

На Большом коронационном бале в помещении Общества лейтенантов дьявола она закатила первый скандал. После того как она была провозглашена Принцессой и получила положенные регалии (корону поменьше, чем у Королевы, блестящую сатиновую мантию вместо благородной тяжелой бархатной, маленькое кольцо с бирюзой, подарок упомянутого ювелирного магазина «Оувидор»), она прошла через зал под руку с Антонио Бруно, награжденная такими же аплодисментами, как и Королева. Поэт чувствовал, как трепетала ее грудь, Мария Жоан была рождена для аплодисментов и поклонения.

— У меня тоже есть подарок для тебя, моя Царица Савская, но я не отдам его сейчас, здесь.

Висящий на толстой цепочке медальон в форме сердца (старинная португальская драгоценность, настоящее золото), обнаруженный у солидного антиквара — он никогда не обманывал клиентов — и грабителя; чтобы купить его, Бруно пришлось одолжить денег у Афранио Портелы.

Он открыл футляр, показал ей подарок. Несмотря на то, что она еще не разбиралась в драгоценностях, Мария Жоан обладала врожденным вкусом и поняла, что это высокий класс, оценила красоту украшения и подумала, что оно стоит целое состояние.

— Мне? Не верю.

Она пожелала надеть его сразу же, но он не позволил:

— Дома, когда ты будешь обнаженной. Я хочу возложить тебе на грудь мой свадебный подарок.

— Но так никто не увидит...

— Я увижу, разве этого недостаточно? Один раз ты воспользуешься им только для меня. Потом сможешь демонстрировать его где угодно.

Тогда она улыбнулась и закусила губу, представляя эту сцену. Закрыла глаза. Они пошли танцевать, постоянная пара.

— Мне хочется иметь твой портрет, чтобы вложить его в медальон.

Превосходный танцор, не уступающий в знании всех тонкостей танцорам в парижских кабаре, Бруно встретил в Марии Жоан прилежную ученицу, способную понять его самые смелые вариации. С яростью и презрением она отмечала взгляды, которые женщины бросали поэту. Некоторые цинично улыбались ему.

Во время короткого перерыва, пока музыканты утоляли жажду, опорожняя кружки пива, Принцесса карнавала воспользовалась паузой, чтобы пойти в туалет. Когда она вернулась, танцы уже возобновились, и Бруно вертелся под звуки фокстрота, обнимая хохочущую Королеву Маргариду. Ярость победила благоразумие. Покорная Принцесса превратилась в мегеру и бросилась к танцующей паре. Прежде чем Ее Величество отдало себе отчет в происходящем, королевская корона была сорвана и благородная бархатная мантия подметала пол зала. Мария Жоан накинулась на звезду мюзик-холла и вцепилась ей в волосы. Маргарида Вилар гордилась своими волосами, их блеском на сцене, когда на рыжие пряди падал свет. В этот вечер бала они сверкали особенно.

— Не лезь к нему, старая шлюха, нахалка. Он мой, и больше ничей.

На время бал прекратился. Вывести ее из зала Бруно смог только силой. Мария Жоан сопротивлялась, укусив его за руку так, что потекла кровь.

— Оставь меня, я не хочу тебя больше знать. Будь с этой гадиной, отдай ей свой подарок, я иду домой.

Но отправились они к нему и возлегли на ложе безумия и сладострастия. Тяжелая цепочка, скользящая между грудей, прозрачная опаловая кожа...

Рассвет завывающих волков, поцелуи, схватка голодных. Когда наступило утро, она сказала:

— Прости меня, любовь моя, но уж такая я есть. То, что мое — только мое, я ни

с кем этого не разделяю. Теперь, если хочешь, выгони меня... — Она улыбнулась и потянулась.— Только я не уйду.

У него было много любовных приключений, но ни одно не было столь бурным и опустошающим. Оно длилось почти два года, и иногда он думал, что сойдет с ума. Мария Жоан была единственной женщиной, которую он бил и бил с яростью. Ее безумная ревность отравляла идиллию. Ревность, которую она постоянно испытывала и обрушивала на него в любой момент и в любом месте. Ревность, которую вызывала, проверяя его любовь. Часто повторяющиеся ссоры стали едва ли не ежедневными; бури, которые заканчивались яростным столкновением тел, сжигаемых желанием.

Мария Жоан устраивала ему дикие сцены, она не выносила того, чтобы он разговаривал или улыбался другой женщине. А сама как бы ненароком называла имена мужчин, упоминала о полученных предложениях, прятала чистые бумажки, чтобы он думал, что это компрометирующие письма, записки с просьбами о свидании. Сколько раз она повторяла скандал на карнавальном балу.

Вот в этом вулкане ревности затухала страсть Бруно. Две женщины в одном великолепном теле: Мария Жоан, нежная и мягкая девушка, и ее полная противоположность — нетерпимая, бешеная ведьма, которой он дал имя Мэри Джон. Обе — несравненные в постели.

«Мэри Джон» называлась пьеса в стихах, которую Бруно в конце концов написал для репертуара Леополдо Фроэса с условием, что главную роль в ней будет исполнять Мария Жоан. Раньше ему удавалось устраивать ей участие в некоторых ревю, где она пела и танцевала под именем Лючии Бертини. Благородная, незлопамятная Маргарида Вилар предоставляла ей не раз такую возможность, и они сделались подругами. Несмотря на красоту, прекрасное сложение, очарование, у Марии Жоан не хватало некоторых необходимых именно для этого театра данных. Однажды Бруно воскликнул в отчаянии:

— Ты прирожденная комедиантка, это точно. Я напишу для тебя пьесу, Мэри Джон.

Он родился не драматургом, а поэтом. Комедию спасали стихи и игра дебютантки, создавшей с необычайным талантом противоречивый образ милой и очаровательной бразильской девушки, помешанной на американском кино и подражающей нравам Голливуда. Никогда больше Антонио Бруно не писал для драматического театра, никогда больше она не выступала под именем Лючии Бертини в маленьких ролях в ревю на площади Тирадентеса. Появилась звезда, великая актриса, новая Италиа Фауста.

Они остались друзьями, она и Бруно. Дважды случалось, что они снова бывали вместе, но эти встречи длились недолго.

Изнурение

Близился конец первого этапа трудной, изнуряющей предвыборной кампании: истекал двухмесячный срок, в течение которого кандидаты могли записываться. Напряжение Битвы за Малый Трианон нарастало, но никто не предвидел ее ошеломительных результатов.

Привыкший командовать и к тому, чтобы ему подчинялись, полковник Агналдо Сампайо Перейра приходил в раздражение, обнаруживая открытое или глухое сопротивление его претензии на «бессмертие». Триумфальное шествие, предсказанное Лизандро Лейте, превратилось мало-помалу в довольно утомительный бег с препятствиями.

На голгофе протокольных визитов, вынужденный унижаться и заискивать, он раз десять выслушал молча одну и ту же оскорбительную фразу:

— Выражаю огромное сожаление, полковник, но я уже связал себя обещанием отдать свой голос — по совпадению — вашему военному коллеге, другому видному представителю армии, генералу Валдомиро Морейре.

Варьировались слова, но содержание оставалось тем же—ранее данное обязательство болвану Морейре. Он узнал, что два академика солгали, утверждая, что обещали свой голос «линии Мажино», так как генерал еще не посещал их. Явное доказательство оппозиции его имени и тому, что он собой представлял. Десять раз повторенная пощечина, означающая, что враги родины дотянули свои щупальца до прославленной компании.

Поскольку Академия, в соответствии с консервативной традицией, является ассамблеей представителей не только литературы, но и других областей бразильской

культуры: юриспруденции и политики, дипломатии и медицины, науки и журналистики,— полковник никогда не мог представить себе, что пострадает от влияния сил, упадочных и разрозненных, кои противодействуют победоносным, передовым идеям, символом которых являются фигуры фюрера и дуче. Академия оказалась зараженной гнилым либерализмом, внедренным коммунистами. Его обвиняли в том, что он — «пятая колонна», ему стало это известно. Ладно, только бы избрали, а он постарается влить чистую и здоровую кровь в большую корпорацию, обновив ее состав, используя каждую вакансию. Будущие «бессмертные» будут отбираться более тщательно.

Правда, пятнадцать из посещенных им обещали поддержать его кандидатуру и двое или трое из них присоединились к Лизандро в активной поддержке кампании. Два отсутствующих академика (один — на пенсии в штате Минас-Жераис, другой — посол в Мексике), не имея возможности появиться на выборах лично, доверили ему письма, к которым должны были быть присоединены запечатанные в конверты бюллетени для четырех тайных голосований. Он испытывал большое удовольствие, когда с помощью дезембаргадора собственноручно печатал на бланках свое полное имя и звание. Зато ему приходилось идти на всяческие унижения, чтобы обеспечить себе победу.

Двадцать пять определившихся голосов, из них пятнадцать — в его пользу, десять — против и четырнадцать — неопределенных. Четырнадцать, нет, тринадцать, так как Афранио Портела, покровитель генерала, был врагом номер один Сампайо Перейры. Подслушивание телефона писателя обнаружило его ежедневные и деятельные переговоры с остальными академиками насчет того, чтобы не допустить «вступления гестапо в Малый Трианон»,— именно так он сказал. Полковник до изнурения перебирал с Лизандро оставшиеся тринадцать имен, одно за другим, прикидывая свои возможности. По мнению юриста, все они, без исключения, будут голосовать за «дорогого Агналдо». Но «дорогой Агналдо» перестал слепо доверять рекламируемому опыту и предсказаниям «дорогого Лизандро». Он пребывал в таком разочаровании, что поставил в число сомнительных и старого Франселино Алмейду, несмотря на фрукты и шампанское (французское).

Оставалось посетить лишь трех из тридцати девяти академиков. Он выполнил ритуал, нанеся визиты всем остальным, и далеко не всегда это было легким и приятным делом. Ему пришлось поехать в Сан-Пауло, чтобы обхаживать поэта Марио Буэно, автора «Книги псалмов», и в Бело-Оризонте, чтобы заручиться голосом бывшего директора Бразильского банка, профессора на пенсии, автора книг рассказов — с небольшим объемом и малым тиражом,— пораженного односторонним параличом. Из штата Минас-Жераис он привез в кармане мундира письмо паралитика. Сан-пауловский поэт уделил ему немного времени, но, любезно гарантируя голос, обещал послать его непосредственно в Академию — он никогда не открывал имени кандидата, за которого собирался голосовать. Вследствие этого обстоятельства полковник поместил поэта в список темных лошадок, несмотря на гарантии Лизандро. Послу в Мексике Мюллеру Виейре он послал длинную теплую телеграмму (смета по борьбе с коммунизмом оплачивала и эти небольшие расходы: корреспонденцию, билеты, отели, королевский свадебный подарок для дочери одного из пятнадцати безусловных). Он получил любезнейший ответ и драгоценное письмо для выборов по дипломатической почте. Ренато Мюллер Виейра, поэт и романист, которого он не знал лично и чьи трудные для понимания книги не сумел прочитать, недавний фаворит университетской критики, провозгласил себя поклонником Сампайо Перейры: «Ваше непреходящее творчество и ваш замечательный пример вдохновляют молодежь Бразилии на заре нового мира, о котором мечтал Шопенгауэр». Восторженное согласие компенсировало оппозицию и антипатию некоторых типов, явно симпатизирующих Москве.

Две из встреч были в высшей степени неприятными, лишенными минимальной вежливости, можно сказать, унизительными. Эвандро Нунес дос Сантос даже не принял его дома, а назначил встречу в помещении издательства Жозе Олимпио, печатающего его книги. Выслушав его молча, с замкнутым видом, он объявил, что солидарен с другим претендентом, и протянул кончики пальцев, прощаясь. Что же касается драматурга Р. Фигейредо Жуниора, то тот имел дерзость задать вопрос о мотиве желания полковника добиться избрания в Академию. Зная его образ мыслей и характер деятельности, он, дескать, не может понять заинтересованность Сампайо Перейры в Бразильской академии. Ядовитый намек на его положение начальника сил безопасно-

сти застрял у него в горле, подобно чудовищной жабе. Он должен был посетить еще президента Кармо, умирающего Персио Менезеса и писателя Афранио Портелу.

Невыносимый Портела, жалкий либерал, изобретатель кандидатуры «линии Мажино», он не поехал бы к нему, если бы не размышления Лизандро: отказ от участия в выборах имел бы нежелательный оттенок. Дорогой Агналдо, несмотря на то что его избрание обеспечено, не должен создавать проблем, которые бы уменьшили число поданных за него голосов. Кроме того, Портела — социальный паразит, бонвиван, в противоположность Эвандро и Фигейредо,— будет любезен и, как знать, возможно, даже приятен.

На мессе седьмого дня в церкви Канделарии полковник Сампайо Перейра встретился с Эрмано Кармо, который должен был назначить день, когда сможет принять его, он этого еще не сделал. Кармо проявил крайнее расположение, но все же полковник нашел его чересчур сдержанным. Эта сдержанность вызвана занимаемой им должностью, пояснил Лизандро: президент должен уважать уставную статью, запрещающую преждевременное разглашение имени кандидата, которому глава Академии отдаст свой голос. Но, несмотря на сдержанность и молчание, он всегда любопытным образом давал понять, кого предпочитает. Как? Если прочих конкурентов он принимал утром, угощая их просто чашкой кофе, то кандидата, за которого собирался голосовать, приглашал на обед.

Персио Менезес, ученый с мировым именем, который начинал свой путь в науке вместе с Марией и Пьером Кюри, был сотрудником Эйнштейна в Принстонском университете, профессором Института небесной механики, членом Института радио в Сорбонне, в свободные часы — поэтом-сюрреалистом, был женат на пианистке Антониете Нонайс, также не ответил на просьбу назначить дату для визита. Это зависит от состояния здоровья, снова пояснил Лизандро. Страдая последней стадией рака, чтобы успокоить боли, он проводил дни и ночи под действием наркотиков, употребляя значительное количество морфия. Вот уже несколько месяцев как он перестал появляться в Академии и принимал лишь самых близких друзей. Но тогда почему он принял «линию Мажино»? Потому что генерал опередил полковника с просьбой назначить дату, а выдающийся деятель был щепетилен в вопросах этикета. Он примет дорогого Агналдо, как только почувствует себя лучше; так он сказал Лизандро, которому удалось накануне поговорить с ним по телефону. Он добавил при этом фразу, которая означала практически его согласие: «Я настаиваю на том, чтобы встретиться с ним».

Уверенный в победе, полковник вместе с тем чувствовал себя разочарованным и опустошенным. Сопротивление, западни, обманы, двусмысленные обещания, неуважение, оскорбления — все это ужасно утомительно, изнуряет. Если бы он не желал так страстно, с таким нетерпением — ставшим еще сильнее теперь, когда выборы превратились в жестокую битву,— титула, кресла в Академии, парадного мундира, «бессмертия», то он оставил бы спор, отказался бы. Он обеспокоен, огорчен, поколеблена его самоуверенность, нервы истрепаны.

Подрывные и подозрительные элементы дорого заплатили за состояние полковника Агналдо Сампайо Перейры. Он зло мстил им за шайку академиков, тех, что отказали ему в своем голосе, предпочитая отдать его в пользу полного ничтожества; тех, что оскорбляли его холодностью, иронией, отвращением, и тех, наихудших, говоривших ему, что он победит, что уже сейчас может считать себя избранным, но которые скрывали свои действительные намерения, заставляя его сомневаться, чувствовать себя потерянным среди светской и непоследовательной болтовни. Удары кулаком по столу, крики, угрозы, свирепые приказы — арестованные и подозреваемые, которые проходили в эти дни через его руки, испытывали муки ада.

Супружеская чета (и дочь)

— Ты озабочен, Лизандро? Чем? — спокойным и ласковым голосом дона Мариусия задала свой вопрос.

Люди, как правило, удивлялись, когда дезембаргадор Лизандро Лейте представлял жену. Толстый, потный, неряшливо одетый, болтливый, преувеличенно любезный, эгоистичный и хитрый, он во всем отличался от стройной, элегантной супруги, хорошо причесанной и тщательно подкрашенной, сохранившей еще привлекательность, всегда улыбающейся и внимательной. У них было пятеро детей, из них четыре сына, все с высшим образованием — два адвоката, врач, инженер, все женатые, и Пру (Пруденсия — она ненавидела это имя), незамужняя, четверокурсница юридического факульте-

та, красивая, как и мать, всегда оживленная и жизнерадостная, как отец. Бабушке семи внуков, доне Мариусии, изящной и спокойной, нельзя было дать пятидесяти лет, на пороге которых она уже находилась.

Она хорошо ладила с мужем. Всегда с ним соглашалась, даже когда в беседе с Пру, казалось, придерживалась иной точки зрения. Они прошли вместе долгий путь, поначалу очень трудный. Лизандро пришлось бороться, как льву, чтобы у жены и детей было по меньшей мере самое необходимое. Любящий муж, преданный и добродушный отец, озабоченный будущим детей, он упорно работал, вмешивался во все дела со смелостью и дерзостью, не считаясь с приличиями и щепетильностью, чтобы обеспечить комфорт семье и направить детей — всех, благодаря богу и стараниям отца, теперь хорошо устроенных. Дома осталась только Пру, которая еще учится и зависит от родителей. Зависит в известной мере: жилье, еда и одежда — на этом и кончается ее зависимость, в остальном она, дерзкая и непокорная, не допускает и малейшего вмешательства в свою жизнь. Пру хотела жить одна, независимо и начала практиковать в адвокатской конторе, где денег не зарабатывала, но приобретала опыт и выполняла свой долг: контора специализировалась на защите политических заключенных перед трибуналом национальной безопасности.

Лизандро уселся рядом с женой:

— Всё эти проклятые выборы. Я думал, что будет легко продвинуть кандидатуру Агналдо, но ошибся.

Он питал признательность к Мариусии, начиная с того далекого времени, когда еще только ухаживал за ней. Пухлый, всегда с влажными от пота руками, косматый, плохо выбритый, никогда не занимавшийся спортом, скверный танцор даже в молодости — девушки не обращали на него внимания, и она до сего дня не понимает, что заставило ее сказать «да», когда он объяснился ей в любви на выпускном балу. Трудно было поверить, что пользующаяся успехом учительница — она преподавала в школьной группе квартала — действительно захотела бы выйти за него замуж. Ее не побуждали к этому какие-либо тайные интересы, ибо Лизандро происходил из еще более бедной семьи, чем она, и чтобы платить за обучение на факультете, ему приходилось работать (пока он не получил стипендии), собирая для магазина готового платья деньги по просроченным счетам — и ему удавалось их получать. Он считал себя в долгу перед женой в течение всей своей жизни.

— Много людей против него?

Вообще дона Мариусия не интересовалась оспариванием вакансий в Академии, несмотря на то что Лизандро уделял этому много времени и усердия. Она принимала кандидатов, наносивших протокольные визиты, появлялась в Малом Трианоне по случаю торжественных собраний и праздничного чаепития в сочельник, когда общалась с женами других академиков. Круг друзей, которых она посещала, состоял главным образом из жен судейских работников и родственников, своих и невесток.

— Порядочно, даже больше, чем я себе представлял. И подлецы... Афранио Портела, помнишь его? Из высшего общества...

— Я знаю, он очень симпатичный. Читала его романы, мне понравились. «Аделиа» — прекрасная вещь.

— Симпатичный? По сравнению с ним Макиавелли — юрист-студентишка. Знаешь, до чего он дошел?

— Расскажи,— попросила она, взяв его потную руку.

— Не удовлетворившись тем, что он раздобыл генерала, чтобы соперничать с Агналдо, он привлек Марию Жоан добывать голоса.

— Эту артистку? И каков результат?

— Достаточно сказать, что Пайва, дорогой министр, которого я считал безоговорочно нашим, намеревается пойти на попятный. Никогда не было ничего подобного, это неуважение к Академии.

Дона Мариусия рассмеялась:

— Я готова поклясться, что ты, со своей стороны, сделал не меньше. Есть опасность, что твой кандидат проиграет?

— Нет. Он выиграет.

— Тогда чем же ты озабочен?

— Я хотел получить единогласную победу. И вот появляется этот Портела со своим генералом и портит весь праздник.

— Каждый раз одно и то же. Это жестокая драка.

— Думаю, Мариусия, что нет ничего более желанного в Бразилии, чем парадный мундир Академии. Академия — это высшая ступень, ничто несравнимо с ней. Нас только сорок божьих избранников, «бессмертных».

— И ты попал в нее, Лизандро. Я очень гордилась. Но ведь это было трудно? Я уже не помню.

— Сложилась подходящая ситуация, я оказался как бы кандидатом по соглашению. И все же мне пришлось унижаться. Пайва мне много помог.

Он замолчал, вспоминая битву, происходившую десять лет назад, он считался слабейшим из трех кандидатов, никто не верил, что он будет избран. Но Академия стоит пота и крови! Мундир академика зарубцовывает все раны. Он взглянул на жену с нежностью:

— Ты жена члена Бразильской академии литературы.

— Многие завидуют, не скрывая этого. «Твой муж — академик, не правда ли? Какой шик!» Все мне льстят.

— Тебе надо увидеть Агналдо, полковника Агналдо Сампайо Перейру; лишь его имя заставляет всех трепетать, это одна из самых крупных фигур Нового государства; преподносит ящики с французским шампанским старому Франселино, послу на пенсии, у которого нет ни кола ни двора.

— А почему ты покровительствуешь кандидатуре этого полковника? Я читала о нем страшные вещи. В тех бумагах, которые Пру приносит домой в своей сумке.

— Пру путается с коммунистами, я уже тебе говорил. В один прекрасный день она попадется, страшно подумать об этом. Представь себе, моя дочь в тюрьме. Я плачу за свои грехи.

Манифест пернамбукских интеллектуалов, экземпляр которого он нашел в ящике своего бюро в Академии, появился также и дома, на письменном столе, где он рассматривал судебные дела. Его положила дочь. Пру принесла также поэму Антонио Бруно о Париже и написала на полях: «Нацист не может стать преемником поэта, воспевавшего свободу». Она обвиняла его, бунтарка.

— Кто будет вытаскивать ее из тюрьмы, если когда-нибудь ее... Представь себе, если полковник заподозрит...

— Оставь Пру с ее жизнью, как я оставляю тебя. Но объясни мне, почему ты так печешься об этой кандидатуре, почему покровительствуешь, если полковник даже не считается твоим другом?

— Он всем распоряжается, Мариусия, над ним лишь военный министр и президент. Агналдо подбирает людей и назначает. Я тебе многим обязан, слишком многим, моя дорогая. Ты уже жена академика, я хочу, чтобы ты стала и женою министра Высшего федерального трибунала.

Стройная, элегантная, все еще привлекательная, желанная, дона Мариусия прижалась головой к плечу мужа.

— Ты делаешь это для меня, я теперь понимаю.— Она поцеловала его.

Диалог по телефону

— Хорошая новость, Лизандро.

— Скажите, дорогой Агналдо.

— Мне только что позвонил Кармо, он назначил визит на завтра.

— Президент? Прекрасно! И что дальше?

— Он пригласил нас с женой к себе домой на обед. Просил, чтобы я не рассказывал никому об этом.

— Разве я не говорил? Приглашение на обед — гарантия голоса.

— Все говорят, что это так. Я решил сообщить вам немедленно.

— Спасибо. Знаете, какой завтра день?

— Завтра? Позвольте... Четверг.

— Не просто четверг. Завтра прекращается запись. Начиная с пятницы никто уже не сможет выставить свою кандидатуру.

— А что, если президент уже принял Морейру «Мажино»?

— Я знаю наверняка, что он еще не принимал генерала Морейру.— Даже говоря о противнике, Лизандро не смел опускать высокое звание; тем более, упаси боже, обзывать его унизительным прозвищем.— Я в курсе всех шагов противника. Генералу придется удовольствоваться чашечкой кофе.

— Мы сможем встретиться послезавтра, чтобы я вам рассказал, как прошел обед?

— Конечно, назначьте час. Я всегда в вашем распоряжении, мой полковник.

— Верховный командующий, это вернее, дражайший Лизандро, Высшего федерального трибунала.

Сообщение

В этот четверг, ровно через два месяца после траурного заседания, посвященного памяти поэта, автора «Сонетов Угне», президент сообщил присутствующим академикам (и распорядился о посылке циркуляра отсутствующим) о закрытии записи кандидатов на замещение вакансии, «открывшейся со смертью нашего дорогого друга Антонио Бруно». Записались с соблюдением уставных требований два писателя: полковник Агналдо Сампайо Перейра и генерал Валдомиро Морейра, оба имеют ряд опубликованных книг. Выборы состоятся через два месяца, в последний четверг января 1941 года, по совпадению — последний перед академическими каникулами.

Обед

В своем доме на Урке [1] вечером президент с супругой приняли приглашенных на обед полковника Агналдо Сампайо Перейру и его жену дону Эрминию. Дона Эрминия выглядела старше мужа, которого она называла Сампайо; молчаливая, едва отзываясь на попытки жены президента завязать беседу, она, однако, разговорилась, чтобы похвалить блюда и, в частности, десерт. «Все так изысканно»,— сказала она.

Обед начался скучно, и только позже возникло некоторое оживление. Эрмано до Кармо рассказал несколько эпизодов из своей журналистской жизни. Он начал с низов, работал мальчиком на посылках, относя рукописи и принося гранки из редакции в типографию и обратно, в «Фолья до комерсио», главным редактором и издателем которого он в конечном счете стал. Прежде чем занять почетное кресло президента Академии, он был президентом в Бразильской ассоциации прессы.

Несмотря на усилия Кармо избегать конфликтных тем, разве можно было помешать разговорам о войне? Когда хозяйка дома с восхищением отозвалась о сопротивлении, оказанном англичанами чудовищным бомбардировкам германской авиации, цитируя при этом Черчилля, полковник не выдержал и между рыбой в маринаде и ростбифом с овощами принял на себя командование люфтваффе, стер Лондон с лица земли, затем оккупировал Англию и посадил Черчилля в тюрьму.

За десертом они перешли к более приятным темам; послышался застенчивый голос доны Эрминии, похвалившей рыбу, мясо и сладости. Она страшно любит сладости, но не имеет права злоупотреблять ими, ибо чересчур уже располнела. Дона Эрминия добавила неожиданную деталь: Сампайо предпочитает полных женщин. Полковник подтвердил: кто любит кости, так это собака.

Как только супружеская чета Сампайо Перейра удалилась, президентша спросила у президента:

— Он будет избран?

— К сожалению, да. Но когда он вступит в Академию, я, к счастью, уже не буду президентом.— Полусерьезно-полушутя он упрекнул величавую даму с седыми волосами: — Ты заговорила о Черчилле нарочно, не так ли? Провокаторша.

— Почему ты пригласил его на обед, если не будешь за него голосовать?

— Не буду? Откуда ты знаешь? — Она тоже узнавала о том, кому муж отдает предпочтение, только когда он объявлял имя кандидата, приглашенного на обед.

— Откуда я знаю? Да ведь порядочный человек не должен голосовать за этого гитлеровского выродка. Ты обратил внимание на его жену? Женщина для него — низшее существо, телка для откармливания и утех в постели.

— С моим ли голосом или без него, он будет избран. С преимуществом в восемь — десять голосов.— Он обнял жену за талию: — На этой неделе в среду к нам придут обедать генерал Валдомиро Морейра с женой.

— Другой кандидат? Что за новость?

— Не нужно опустошать винный погреб, французское вино — дорогое, и его трудно доставать. Подай то же чилийское, что и сегодня.

Лицо президентши осветилось улыбкой.

— Я уже поняла. Если ты приглашаешь обоих, значит, будешь голосовать незаполненным бюллетенем.

— Угадала.

[1] Район Рио-де-Жанейро.

Они спустились под руку в маленький сад, где цвел жасмин, наполняя ночь ароматом.

Лекции, доклады и маркитантки

Годичный курс лекций по национальной литературе, прочитанный академиками Бразильской академии, в 1940 году включал тему «Поэзия в движениях за освобождение от рабства и провозглашение республики». Публика состояла в основном из молодежи, в большинстве студентов, помимо друзей и поклонников докладчика, выступающего на этой неделе. Слушателям с наиболее солидной репутацией: университетским профессорам, издателям, писателям, торговцам книгами и великосветским сеньорам — также удавалось устроиться в зале. Они разнообразили обычный состав присутствующих.

С тех пор как генерал Валдомиро Морейра записался кандидатом на замещение вакансии Антонио Бруно, он не пропустил ни одной лекции. Всегда в первом ряду, с блокнотом и ручкой напоказ, делая записи; его сопровождал неутомимый Клаудинор Сабенса. Постаравшись забыть неприятный осадок, оставшийся после дерзкого телефонного разговора, когда генерал, образно выражаясь, послал к черту Литературную академию Рио-де-Жанейро, влюбленный Сабенса переживал все перипетии новой, более славной ипостаси автора «Идиоматических пролегоменов», подвизаясь в качестве его секретаря на общественных началах. Зато он по-прежнему посещал гостеприимный дом в Гражау, продолжая скромно ухаживать за свободной от обязательств Сесилией. Если говорить о Сесилии, то следует упомянуть, что грациозная дочь генерала озарила своим присутствием лекцию о Луисе Гаме, прочитанную Родриго Инасио Фильо, которому аплодировала с таким энтузиазмом, что вызвала беспокойство и ревность у доброго Сабенсы, отправленного в отставку, но не подвергнутого еще изгнанию. Сесилия не прогоняла претендентов даже тогда, когда в роскошной отдельной квартирке приобщалась к «бессмертию». Такие перипетии обычно длились недолго. Она умела пробудить интерес, стать желанной добычей, но поскольку была пошлой и дерзкой, ей не удавалось поддерживать занимающееся пламя, она быстро разочаровывала возлюбленного, и идиллия увядала, как цветок с короткой жизнью. Неспособная выдержать одиночества, она быстро находила замену. Так она потеряла одного из них — дантиста-хирурга, который застал ее целующейся с Родриго в лимузине «бессмертного». Он оказался склонным к предрассудкам и был вульгарен в прощальном телефонном разговоре — чтобы оскорбить ее (уточнить, что она собой представляет, как он пояснил), он употребил соответствующее слово.

Наблюдая за тем, как генерал Морейра делает множество заметок, командует аплодисментами, услыхав наиболее красноречивые выражения, первым бросается поздравить оратора, восхищаясь его эрудицией и строгой логикой фраз, старый Франселино Алмейда напомнил коллегам, среди них были Афранио Портела и Энрике Андраде, забавный эпизод, участниками которого был он и Лизандро Лейте, в ту пору кандидат с малыми шансами на победу.

В свое время дипломат читал в помещении ПЕН-клуба по пятницам курс лекций о японской классической культуре. Скучная тема, небольшое количество публики, с каждым разом все уменьшавшееся. Лизандро Лейте поставлял абсолютное большинство слушателей. Он собирал учащихся, которым угрожал провалом на кафедре коммерческого права, и, суля хорошие отметки на экзаменах, добивался присутствия и аплодисментов доброй дюжины студентов, вынужденных терпеть рассказы бывшего посла в Небесной империи о всевозможных японских любопытных вещах. На предпоследнем докладе помимо Лизандро и шантажируемых им учеников появились только президент ПЕН-клуба и курьер, оба вынужденные присутствовать по долгу службы. Все слушатели разместились в двух первых рядах маленькой аудитории. Накануне последней беседы состоялись выборы, и Лизандро, к удивлению многих, вышел победителем в третьем туре голосования. Среди голосовавших за него был и Франселино, который, колеблясь между тремя кандидатами, ни один из которых не был влиятельным лицом, решил отдать свой голос постоянному и любезному завсегдатаю лекций. Так вот, на последнем докладе присутствовали лишь президент, курьер и четверо служащих, швейцары и сторожа здания, собранные опытным педелем. Избранный академиком, Лизандро почувствовал себя не связанным обязательствами и распустил учеников.

— Я хочу увидеть этого генерала после выборов. Если он будет избран, мы поте-

ряем слушателя. Но у него есть ценные качества, несмотря на то что другой кандидат в какой-то степени командует в правительстве. Трудное соревнование, не правда ли?

Группа разошлась, Франселино Алмейда простился:

— Спасибо, мой Энрике, но сегодня я отпускаю всех. У меня свидание в центре.

— Флирт? — спросил шутливо Энрике Андраде.

Старик игнорировал вопрос.

— Я очень симпатизирую этому генералу.

Наиболее «ценное качество» генерала Морейры, предмет все возрастающей симпатии декана — модистка по профессии, лжесекретарша, она-то и направлялась в данный момент в «Синеландию», где было назначено свидание с бывшим послом в Японии и Швеции; предстояла приятная беседа, в ходе которой он мог рассказать многое о любопытных сторонах жизни на Дальнем Востоке и в Скандинавии, ухажер с трясущимися руками, однако все еще сильными.

— Мои маркитантки минируют вражеские позиции...— комментировал маэстро Портела, садясь в машину Энрике. Они должны сегодня обедать с доной Розариньо и доной Жульетой Андраде в «Казино Урка», где выступает сказочный оркестр Карлоса Машадо «Brasilian Serenaders» [1],— этот молодой, необычайный, Великий Отелло, положительно гений.

Приглашение

На этот раз в своем рабочем кабинете, где он принимает посетителей, полковник Агналдо Сампайо Перейра сидит не за столом, поскольку очередной противник по другую сторону окопа повержен. Кандидат и его покровитель беседуют, расположившись на широкой кожаной софе в одном из углов залы. На стене — карты Европы и Африки, булавки с черными головками наступают по морю на Британские острова. В Африке они господствуют в пустыне. На этом передовом командном посту явственно ощущается дыхание войны.

— Прежде чем услышать отчет об обеде, разрешите передать дорогому другу хорошую новость: секретарша Персио позвонила мне и попросила сообщить вам, что он ожидает вас в ближайший понедельник в восемнадцать часов.

— Где?

— Дома, он уже не пойдет в Институт физики, где обычно принимал визиты. Он живет на Косме Вельо.

— Я знаю, адрес есть в списке.

— Он передаст вам лично свой голос, которого больше всего домогаются при вступлении в Академию. Однажды я слышал, как один кандидат сказал, что для него не имеет значения, выиграет он или потерпит поражение, главное — он получил голос Персио Менезеса. Дорогой Агналдо будет последним, кто заслужит такой дар от одной из крупнейших фигур мировой науки, гения. Историки в будущем используют эту деталь.— Он дал полковнику время осознать полностью значение голоса умирающего ученого и исторического визита, явившегося результатом его инициативы.— Теперь об обеде...

— Еще нет. Я тоже сначала должен сделать вам одно сообщение, дорогой Лизандро.— Он встал, воинственный и торжественный; дезембаргадор, подражая ему, поднялся, взволнованный; предчувствие, внезапная надежда: неужели будет получено столь желанное предложение? Ему показался небесным голос полковника, продекламировавший: — Я хочу, чтобы мой верный друг произнес речь на моем приеме в Академию. И не допускаю отказа.

— Мне?! Произнести речь на приеме дорогого друга! Вы не представляете, с какой радостью я выполню эту почетнейшую обязанность! Я в высшей степени тронут. Разрешите мне обнять вас, мой Агналдо! — В голосе Лизандро послышались слезы. Он воспитал детей, проложил им дорогу в жизни, поднимаясь со ступеньки на ступеньку до высот, на которых теперь утвердился. В этот момент засияла самая высокая вершина, которой он вскоре достигнет благодаря организованной им кампании и будущей речи. Бруно скончался вовремя.

После объятия, скрепившего дружбу не на жизнь, а на смерть, они снова уселись, и Лизандро сказал:

— Смотрите, какое совпадение: не ожидая этого доказательства уважения и доверия, полученного мною только что, я начал, просто ради интеллектуального наслаж-

[1] «Бразильские исполнители серенад» *(англ.)*.

дения, перечитывать ваши замечательные труды, изучать их, намереваясь написать исследование. Я использую в речи сделанные мною заметки, чтобы определить вашим работам должное место в современной бразильской литературе. Не хватает только вашей книги поэм, мне не удалось достать ее даже в букинистической лавке Карлоса Рибейро.

— Грехи молодости, романтические стишки. Достаточно, если вы упомянете о книге вскользь, просто назовете ее. Я постараюсь достать экземпляр, чтобы подарить вам.— Он не имел намерения выполнить обещание: романтические стихи превосходны, но не достойны деятеля его масштаба. Лизандро удалось побороть волнение:

— А банкет? Я знаю, что вы не говорили о выборах, дело это — табу для президента, приглашение на обед уже означает объявление голоса.

— В самом деле, о выборах и его голосе разговора не было, я следовал точно вашим инструкциям. Он рассказал, что работал в редакции газеты, прежде чем стать ее владельцем. Потом его жена начала восхвалять... вообразите кого?! Этого проклятого английского пса, который отзывается на кличку Черчилль.— Он самодовольно улыбнулся.— Здесь я ей преподал урок...

— Вы спорили о войне? — встревожился Лизандро.— Мы же решили избегать политических тем.

— Не пугайтесь. Все обошлось хорошо, она пришла в замешательство, не ответив... Учтите, что не я затронул эту тему. Нужно перевоспитывать людей, дорогой Лизандро.

Дезембаргадор проглотил возражения и критические замечания, зло сделано, ошибка совершена, спорить бессмысленно. Черчилль... де Голль, маки во Франции, стойкий английский народ, неустрашимые граждане Лондона — все это играет на руку генералу. И тем не менее при подсчете, сделанном в конце беседы, Лизандро предсказал победу Сампайо Перейры: «за» — двадцать восемь, «против» — одиннадцать. Он обеспечил бы ему, если бы мог, еще большее число голосов, чтобы отблагодарить за столь горячо ожидаемое им предложение выступить с речью; он и впрямь уже начал сочинять эту речь, вдохновенный шедевр лести.

— Пусть будет двадцать семь против двенадцати, мне важно получить двойной перевес над «линией Мажино». Иначе буду чувствовать себя неудовлетворенным.

Прерогатива

В воскресенье, день отдыха, Лизандро отшлифовывал свою речь, когда ему позвонил Сампайо Перейра. По тону он сразу понял, что полковник уже в курсе неприятного события. Так оно и было.

— Я только что узнал, что президент пригласил Морейру на обед. Что означает эта комедия? Это невыносимо!

— Черчилль, дорогой друг...

— Что? Что вы хотите этим сказать? Это его жена начала... Считаю поведение Кармо просто возмутительным. Это издевательство, насмешка. Подлость.

К подлости президента, чудовищной жабе каруру, застрявшей в горле, полковник добавил ядовитую змею, стиснувшую ему грудь, гремучую змею со смертельным укусом.

— Успокойтесь, не горячитесь, давайте поговорим. Даже если Кармо предаст, у нас будет двадцать семь голосов против двенадцати, на три больше, чем вдвое, не считая того, что голос Персио стоит пяти.

Лизандро узнал накануне о странном приглашении президента, сделанном генералу, и пришел к заключению, что именно спор о войне заставил Кармо изменить решение, касающееся того, кому отдать голос. Дорогой Агналдо не учел, что кандидат в Академию не может иметь собственного мнения, тем более выражать его. Ему следует слушать и, если он не может поддержать что-то и аплодировать, то должен улыбаться, оставаясь немым. Никогда не спорить, соглашаться. Хозяин голоса, академик всегда прав. Это прерогатива «бессмертных».

Похоронный марш

С удивлением, серьезная и элегантная — служанка, секретарша, родственница? — она замирает на мгновение, заметив суету охранников, которые выскакивают из машин и занимают позиции перед домом. Жестом приглашает полковника Агналдо

Сампайо Перейру, облаченного в военный мундир, увешанный орденами и медалями, следовать за нею по коридору, погруженному в полумрак.

Она приводит его в библиотеку. По стенам до самого потолка — заполненные книгами полки. Множество книг повсюду: они нагромождены на полу, на стульях, разложены на массивном рабочем столе. В свободных простенках между окнами (за которыми видна площадь Ботикариу) три большие картины и на старинной подставке столетнее изображение богоматери, кормящей грудью младенца Иисуса. В углу у книжных полок стоит мольберт, на нем портрет Персио Менезеса работы Флавио де Карвальо, он написан в модернистской манере, в теплых тонах, резкими мазками. Всклокоченные волосы, длинная борода обрамляют лицо, освещенное солнцем и звездами, горящие глаза — Юпитер, извергающий молнии, Вулкан, порождающий ад. На столе веселые цветы в хрустальной вазе.

Полковник взволнован, охвачен тревожным ощущением своей незначительности. Старается справиться с неприятным чувством, сосредоточиться на аккордах рояля, доносящихся из соседней залы. Ему знакома эта мелодия, где он ее слышал? Вместе с соратниками на товарищеских празднествах в Санта-Катарине он слушал концерты немецкой музыки, знал о преклонении фюрера перед Рихардом Вагнером. Быть может, именно Вагнером сочинены эти воинственные ноты, предвещающие окончательную победу.

— Присаживайтесь. Профессор не задержится.

— Это Вагнер, не так ли?

Девушка, кажется, удивлена вопросом, она медлит с ответом, устремив взор на сверкающие награды — какое великолепие!

— Вагнер? Нет. Это Третья симфония Бетховена. Героическая. Очень известная.— Она добавляет, возможно желая избежать новых вопросов: — Играет дона Антониета, слушать ее — великая привилегия. С вашего разрешения...

Служанка, секретарша, родственница? Дерзкий, профессорский тон человека, который обучает азам невежду. Она бросает последний взгляд на ордена, выходит, оставив его еще более униженным: очень известная музыка, привилегия слушать превосходную пианистку Антониету Новаис Менезес, уже много лет назад оставившую сцену. Информированный предусмотрительным Лизандро, он знает, что в прошлые времена она пользовалась большим успехом.

По правде сказать, не было реальной причины испытывать столь сложные чувства в полумраке этой необычной комнаты, где каждый предмет ненавязчиво указывает на осведомленность и вкус, величие, суровость без печали. Наверняка, узнав о его посещении, выдающаяся сеньора в порыве гостеприимства уселась за рояль, предоставив ему эту «привилегию». Он явился за получением уже практически гарантированного голоса: ученый дал понять дезембаргадору, что желает передать полковнику голос в собственные руки. Поэтому, в знак уважения к выдающемуся ученому, полковник надел парадный мундир, увешанный орденами и медалями; голос Персио Менезеса стоит пяти других. Но парадная форма и ордена, пожалуй, неуместны среди книжных полок, картин, изображения богоматери. Возможно, если бы он последовал совету Лизандро — отправляйтесь в штатской одежде, так лучше! — он бы чувствовал себя более непринужденно, менее угнетенным и растерянным.

Бетховен, может быть, и очень известен, но фюреру нравится Вагнер; наверное, у него есть причины для предпочтения, ведь он никогда не ошибается, непогрешим в своих мнениях относительно войны или искусства. Разве война — не высшее искусство, самое что ни на есть прекрасное? Умолкли звуки рояля, полковник с отвращением рассматривает портрет на подставке — дегенеративное искусство! Отводит взор, это не помогает, он видит ненавистные огненные зрачки, которые тщательно его изучают.

Снова слышатся звуки рояля, ритм изменился, теперь это ритм похоронного марша. Отведя взор от портрета, преследуемый могущественной музыкой, полковник Сампайо Перейра поднимает глаза и видит смерть в пролете двери, уставившую на него те же огненные зрачки. Он вздрагивает.

Неторопливыми шагами ужасное видение продвигается так медленно, что время как бы задерживается в ожидании его. Уродливый гигант, он до болезни был могучим атлетом, теперь же это просто скелет, обтянутый мертвой кожей; борода и всклоко-

ченная шевелюра поредели, длинные пальцы — одни лишь кости, просторные одежды подчеркивают немощность тела. Худое лицо воскового цвета, лицо покойника.

Шаг за шагом Персио Менезес приближается. Полковник с испугом поднимается с кресла, медали звенят у него на груди. Далекие, однако отчетливо слышные звуки похоронного марша.

— Садитесь! — приказывает потусторонний, мрачный голос.

Он не подает руки, хочет избавить посетителя от неприятного прикосновения костлявых пальцев, Сампайо Перейра благодарно отступает. Персио Менезес занимает кресло со спинкой и подлокотниками из жакаранды, с кожаным сиденьем, стоящее напротив кресла полковника. Коротким жестом дает разрешение испуганному кандидату говорить. Стараясь преодолеть неуверенность, полковник Агналдо Сампайо Перейра, кандидат в члены Бразильской академии литературы, начинает произносить слова стандартного текста, сдобренного похвалами «бессмертному», столь близкому к смерти, что его можно с нею спутать.

Профессор небесной механики слушает молча, с полузакрытыми блестящими глазами. Аккорды удаляются и приближаются, поднимаются и падают, заглушают речь просителя. Почему пианистка не выбрала музыку Вагнера, если она действительно решила предоставить ему привилегию? Заикаясь, полковник подходит к концу: он надеется заслужить великую честь получить голос знаменитого академика, выражает надежду, что тот еще не связал себя обязательством.

— Мои намерения давно предрешены.— Глуховатый, неторопливый голос, каждое слово стоит усилия.— Я сразу сообщу вам, что не буду голосовать за вашего конкурента, генерала, который был здесь несколько дней назад. Ничего не имею против него лично, но литература, которую он создает, из рук вон плохая. Поэтому я и не голосую за него.— Не повышаясь, голос приковывает внимание.— Мне остается очень недолго жить, но прежде чем умереть, я хотел все же увидеть вас, так как знаю о вас все, полковник Агналдо Сампайо Перейра.

Впервые, после того как он переступил порог дома в Косме Вельо, полковник вздохнул с некоторым облегчением. Наступил торжественный и славный момент объявления решения; подготовленное заранее письмо, напечатанное секретаршей, вероятно, находится в столе. Нервы натянуты, он ожидает, стараясь не прислушиваться к аккордам рояля — проклятая привилегия.

Персио Менезес поднимает костлявую руку, указывает пальцем на грудь Агналдо, сверкающую медалями:

— Где же железный крест?

Он не дает времени для ответа, его палец поднимается до уровня лица ошеломленного полковника.

— Единственный орден, который вы должны носить на сердце. На мундире гестапо, но не на бразильской военной форме.

Растерянный, полковник бормочет:

— Что вы хотите сказать?

Персио Менезес опирается на ручки кресла — это поднимается смерть.

— Как вы осмеливаетесь рассчитывать на мой голос? Вы же нацист! Вы противопоставили себя культуре, вы полная противоположность бразильцу!

Звуки похоронного марша, замогильный голос, длинные паузы между фразами, смертельное отвращение в каждом слове.

— У всех у нас две стороны: одна хорошая, другая плохая. Вы хуже бандита, лишь наполовину человек, палач заключенных. У вас, может быть, есть жена и дети, человек, которого вы любите? Не думаю. Кто-нибудь любит вас? Никто. Те, кто вам служит, делают это из страха или корысти. Вы когда-нибудь любили, чувствовали привязанность к женщине, улыбнулись ребенку, испытали нежность? Или вы всегда были таким вот прохвостом? Вы прогнили, от вас исходит зловоние. Как вы могли представить себе, что я стану голосовать за гестапо?

Голос, до сих пор неторопливый и глухой, повышается, становится страшным:

— Вон отсюда, пока я не надавал вам пощечин!

Он протягивает руку, пальцы Костлявой поднимаются к искаженному лицу кандидата. Полковник Агналдо Сампайо Перейра пятится, аккорды похоронного марша нарастают. Смерть наступает на полковника, который бросается в коридор, ведущий к выходу, выбегает через дверь, распахнутую секретаршей, падает в объятья горилл своей охраны, валится на сиденье автомобиля, закрывает лицо руками.

Младший лейтенант

Проснувшись и поднявшись с постели, дона Эрминия изумляется, увидев мужа еще лежащим в глубоком сне. В этот час, проделав гимнастику, приняв холодный душ, надев форму, проглотив кофе, он должен был уже находиться в министерстве, ведь он никогда не опаздывает, за исключением чрезвычайных случаев. Только поздним вечером, иногда ранним утром дона Эрминия видела Сампайо. Полковник любил повторять со спартанским пафосом, что не принадлежит себе — его время, его заботы, вся его жизнь принадлежат делу. Дона Эрминия к этому привыкла.

Сон мужа показался ей слишком спокойным. Она подошла, коснулась пальцами его лица — он был мертв.

Одетый в пижаму, с полуоткрытыми круглыми и пустыми глазами, он вовсе не походит на героя, павшего на поле брани, на персонаж, символ зла и мракобесия, даже не походит на нациста, эсэсовца, начальника гестапо, вооруженного бичом. Сейчас он всего лишь несчастный мертвец, распростертый на кровати, такой же, как множество других.

Он напоминает ей кого-то. Дона Эрминия ищет в памяти это лицо молодого младшего лейтенанта, застенчивого и влюбленного, каким она знала его давно, в иные времена; он декламировал ей стихи, вымаливал поцелуй. Дона Эрминия, внезапно вспомнив, начинает плакать.

(Окончание следует)

■

КАЛУГИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1906 г.)

Советский переводчик с португальского языка. В его переводе издавались многие произведения Жоржи Амаду, в частности, в журнале «Иностранная литература» напечатаны повесть «Неожиданная кончина Кинкаса Сгинь Вода», романы «Мы пасли ночь», «Лавка чудес», «Тереза Батиста, уставшая воевать», «Возвращение блудной дочери», а также романы Эрико Вериссимо «Пленник» и «Происшествие в Антаресе», произведения других бразильских писателей.

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ

Воспоминания о старом доме

ФРАГМЕНТЫ КНИГИ

Вступление и перевод с болгарского А. КРУЗЕНШТЕРНА

Поэтическая проза — так в большинстве своем литературная критика в Болгарии кратко и емко охарактеризовала книгу известного поэта Владимира Голева «Воспоминания о старом доме», являющуюся его дебютом в беллетристике. Но дебютом, надо сказать, весьма удачным. Автор с большим мастерством создает яркие образы, умело выстраивает композицию, монтируя самые разнообразные материалы и делая логически обоснованные временные переходы; со страниц книги звучит сочная, колоритная народная речь; повествование насыщено поэзией, ему присуща особая мелодичность слога. И становится ясно, что «Воспоминания о старом доме» писали рука об руку, не расставаясь ни на минуту, и поэт, и прозаик, как равноправные партнеры.

О чем же книга Голева? По жанру это скорее мемуары: рассказ о родном городе автора Банско, находящемся в легендарном и героическом Пиринском крае, о «старом доме» семьи Голевых и нескольких поколениях его обитателей, а также о целой плеяде незаурядных личностей, бывавших в нем или как-то связанных с ним, о прошлом, о революционных традициях, об изумительно живописной, неповторимой природе Пирин-планины... В широкое мозаичное полотно, созданное Владимиром Голевым, вкраплены и микроновеллы — художественно яркие зарисовки о таких выдающихся личностях, видных революционерах и просветителях, как Яне Сандански, Гоце Делчев, Пейо Яворов, Никола Вапцаров, Коста Петров, Никола Голев, Владимир Поптомов, Иван Козарев, Невена Измирлиева... Эти и ряд других, казалось бы побочных в повествовании, линий приводят читателя к мысли, что автор «Воспоминаний...» посвятил свою книгу не только конкретному «старому дому», изучению конкретного генеалогического древа, но и вообще истокам издавна заложенного в народе свободолюбия, героизма и беззаветной преданности Родине. Пожалуй, книгу Голева с полным правом можно назвать документальным романом, что, кстати, и отмечено болгарской критикой.

Автор использовал в книге не только — и не столько! — свои личные воспоминания о раннем детстве, прошедшем в его родном городе Банско, но в гораздо большей степени — рассказы близких, семейный архив, множество исторических документов, биографические сведения о членах большой семьи Голевых, их друзьях и соратниках по борьбе, разнообразный фольклорный материал... И все это пропущено сквозь призму сегодняшнего восприятия прошлого, сцементировано размышлениями и оценками автора с нынешней его точки зрения — человека, много повидавшего и пережившего, накопившего солидный жизненный и творческий багаж.

«Старый дом» предстает перед нами как символ корней, без которых человек чувствует себя словно в безвоздушном пространстве, потерянным, одиноким,— тех самых корней, которые и силу придают, и уверенность в том, что не на пустом месте ты вырос: есть что продолжать, есть у кого принять эстафету достойных дел, есть на кого равнять свои поступки, всю свою жизнь... «Достаточно закрыть глаза,— пишет Голев,— и я снова ощущаю все звуки и аромат старой улочки Банско с журчащими вдоль нее ручейками, с нависшими деревянными верандами... снова вижу тот край, что вдохнул в меня с первых дней моей жизни запахи трав, смолы и крови, тот далекий мир, чьи история, песни и поступь всегда звучат во мне, ибо все мы идем по следам прошлого, детей своих учим идти такой дорогой, и они будут учить этому своих детей — чтобы про-

© Владимир Голев, 1980.
C/o Jusautor, Sofia

ВЛАДИМИР ГОЛЕВ (род. в 1922 г.). Болгарский поэт, лауреат Димитровской премии, народный деятель культуры. Автор многих сборников стихов: «Лирика» (1967), «Мироздание» (1969), «И если мы случайно состаримся» («Ако случайно остареем», 1970), «Ответственность» («Отговорност», 1971), «С дыханием ветров» («С дъха на ветровете», 1972), «Поздние признания» («Късни признания», 1974), «Канун осени» («Предесен», 1978) и др., пьес «Чудесная тройка» («Чудесната тройка»), «Одна ночь в раю» («Една нощ в рая»), книг для детей и юношества. Книга Владимира Голева «Воспоминания о старом доме» («Спомени за старата къща»), фрагменты которой мы публикуем, вышла в издательстве «Народна младеж», София, 1980.

должалось человеческое движение по родной земле, любовно взрастившей нас...» Вот что, наверное, является самым главным в «Воспоминаниях о старом доме», сделавшим эту книгу заметным явлением в современной болгарской литературе.

Всякий раз, как только я оказываюсь в Банско и иду по крутой улочке, на которой много лет назад стоял наш старый дом, во мне звучат одни и те же слова: «Здесь когда-то лес людской шумел...»

Слова эти я услышал от своего дяди Николы незадолго до его кончины. Давясь сухим кашлем, он прерывисто говорил о том, что нисколько не боится смерти, ничего, мол, страшного в ней нет, а вот зло берет, что не в силах встать, взобраться, как бывало прежде, на пригорок, вдохнуть свежий запах соснового бора и трав,— глядишь, и полегчало бы ему... Слова эти так врезались в память, что я и сегодня ясно слышу их, будто дядя рядом и я вновь ощущаю все его жизнелюбие и презрение к смерти...

А лес людской действительно шумел здесь когда-то. Люди жили: ходили по узким, мощенным булыжником улочкам, пили воду из родников, из которых и мы сегодня пьем, слушали песни соловья и черного дрозда-болтуна, любили, детей рожали, старели и умирали... Ходили по воскресеньям в церковь, покупали на базаре сахарные снежки и петушки для малышей, мчались на вороных конях по долам по горам, сверкая сталью клинков, отливали медные колокола для народа и свинцовые пули — для врагов, кровь свою проливали, а потом ложились в землю и обращались в прах... И теперь, думая о них, вдруг понимаешь, что они, эти далекие и близкие сердцу твоему люди, преодолевая пядь за пядью дорогу к тебе, направляли и твои шаги к тому, что зовется настоящим или будущим. И не только это ощущаешь. Перелистывая собранные по крупицам страницы своей родословной, открываешь для себя то неведомый доселе талант, то величие духа, преисполняешься гордостью от сознания, что корни твои уходят глубоко, в редкие пласты, берут свое начало от людей, перед которыми ты, человек космического двадцатого века, стоишь, склонив голову...

«Здесь когда-то лес людской шумел...»

В сущности, только теперь я четко осознаю, что эти слова годами звучали во мне, в моей крови: возвращали меня к т о м у времени, напоминали тысячи разных вещей, помогали восстановить в памяти многие стершиеся имена и образы, случаи и события, звуки и цвета и еще — тот милый, неповторимый, оказавшийся где-то на дне времени дом на крутой улочке в Банско, называемый всеми Голевыми н а ш с т а р ы й д о м.

Банско, далекое, дорогое мое Банско!..

Сидя в четырех стенах своей софийской квартиры, я вновь и вновь вижу твои дома с украшенными затейливой резьбой деревянными потолками, вековые сосны и седовласые ели Пирин-планины, слышу топот молодых лошадок и звонкую песню какого-нибудь горластого местного певуна, улавливаю запахи табака, хлеба и перебродившего вина, в глазах моих пляшут языки пламени, завороженно смотрю на фиолетовый цветок, что рисовал дед,— и передо мной возникает наш большой по тем временам дом, где испокон веку рождались, женились и умирали далекие мои предки, а за ними появлялись и заселяли комнаты другие, тоже канувшие в вечность. Все они оставили после себя память...

Сидя в городской квартире, где в прошлое меня уносят старинное медное блюдечко, рисунок банского дома, сделанный одним из моих сыновей, да сосновая веточка, привезенная другим моим сыном, поэтом, я чувствую, как в душе зарождается вопрос, вопрос начинает звучать как стих, стих — как песня:

Какой меня травой ты напоил,
Чудесный край, где род мой славный жил,
Что в самых разных городах и весях
Твоих долин я слышу песни,
Твои вершины гордо пред глазами
Сияют солнца первыми лучами
И все зовут, зовут,
К тебе зовут?!

Эти строки властно увлекают меня назад во времени, еще прочнее настраивают на банскую тему, и я продолжаю начатое, которое, если бы даже и захотел, уже не могу бросить...

По обычаям тех времен, в каждом болгарском доме было много детей. По нескольку детей имели и все жители Банско. Каждый старался обзавестись солидным потомством, потому что, считалось, «веселее жить в доме, где полно людей».

Из множества детей деда и бабушки выжили и выросли четверо: Коле — Никола, старший из братьев, Минчо, мой отец Иван (или Йонко, Йонче, как в Банско называют Иванов) и Костадин (или Дине) — самый младший. Минчо в юности мыкал горе в Америке, куда подбили его убежать дружки, любители приключений. Коле, мой отец и Дине, выучившись, стали учителями. Разница в возрасте между братьями была большой — когда, к примеру, отец мой пошел в школу, дядя Коле уже был учителем, но они во всем помогали друг другу.

В то время, когда отец начал свой долгий путь в мир знаний, Пиринский край все еще находился в составе Османской империи. Это было начало века, время неспокойное, революционное. В Банско все ходили с высоко поднятыми головами и готовились к восстанию против поработителей.

Впрочем, Банско никогда и ни перед какими властелинами не склоняло головы. Ему угрожали, его грабили, резали — Банско оставалось таким, каким и было всегда: свободолюбивым, никому не подвластным! Мужчины ходили, гордо расправив плечи, никто при встрече с турками не слезал с лошади и не кланялся.

Видя, что не одолеть им этих людей силой, иноверцы — согласно легенде — решили покорить их хитростью. Для начала они поселили в Банско несколько турецких семей, создав из них магометанский квартал. Их было немного, этих чужаков, но власти рассчитывали на то, что со временем население квартала увеличится, сблизится с местными жителями, и последних, глядишь, удастся постепенно обратить в магометанскую веру. Не таким уж нелепым был этот замысел. К тому времени в соседних Родопах и Риле [1] были уже целые селения, обращенные в магометанство. Многие укоряли твердолобых жителей Банско: своим упрямством, мол, они погубят и себя, и своих близких... Однако ни на какие уговоры и хитрости не поддавалось Банско. Этому немало способствовал и нрав самих переселенцев. Были среди них и алчные, злые, жестокие люди, которые грабили и избивали местных жителей, насиловали женщин и девушек — словом, вели себя, как и все угнетатели повсюду и во все времена. И тем вызвали жгучую ненависть свободолюбивых хозяев Пирина...

...Воспоминания о том времени относились к одним из самых далеких в нашем старом доме. Но мне они близки и дороги еще и потому, что в годы моего детства заменяли собой сказки. Однако воспоминания эти были связаны не с магией и волшебниками, а с борцами и героями, жившими и погибавшими в чудесном Пиринском крае, оставившими после себя множество легенд и преданий. Например, предание о знаменитом хаджи Кандите Дагарадине, друге Левского и Бенковского, примчавшемся сюда на буйном коне из Обориште с прокламацией, призывающей к восстанию. Его арестовали, избили до полусмерти и чуть не повесили, но буквально в последний момент от виселицы его спас русский консул. Это был тот самый хаджи Кандит, который, приехав как-то в Банско, попал на... собственную панихиду, так как все здесь считали его погибшим. Но он ничем не выдал своего присутствия, да и был — заросший и оборванный — неузнаваем... Или — рассказ о первом церковнославянском букваре, составленном и изданном в Вене жителем Банско, неким Марко Теодоровичем... В те далекие годы детства я учил не детские песенки, а песню о Радоне Тодеве, легендарном гайдуке Радоне, о котором чего только не рассказывали! Однажды, когда в его дом явился надутый, разважничавшийся турецкий стражник и, услышав, что хозяина якобы нет дома, стал угрожать: «Врете! Сейчас поднимусь наверх и пристрелю его!» — жена Радона спокойно сказала: «Ну, входи, входи, только вот не знаю: ты его или, может, он тебя...» Стражник, испугавшись, ретировался... Отважный воевода Радон Тодев пожертвовал собой и всей своей дружиной из двадцати шести человек, спасая мирное население после разгрома Илинденского восстания (1903).

— Где ж твоя дружина, молодец Радон,
Где богатыри все славные твои?
— Эх, старушка милая!
Все в лесу остались.

[1] Родопы, Рила — горные массивы в южной части Болгарии. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Лес травой укрыл нас,
Цветами укутал...
Вот послушай, милая!..

Все это волновало душу, перед глазами оживали образы и картины прошлого, подвиги и события, обогатившие историю Болгарии такими блестящими примерами самопожертвования и героизма, что даже и тысячелетия спустя слава о них не померкнет...

Одно из самых светлых имен, о которых всегда помнили в нашем старом доме, было овеянное романтикой имя банской учительницы Невены Измирлиевой, двоюродной сестры поэта Христо Смирненского... Все в Банско знали белокурую амазонку, которая ездила верхом, носила револьвер и никого не боялась. «Тогда, в детстве, я еще ни разу не видел женщину-всадницу,— вспоминал отец.— Невена и так была хороша собой, а садилась на коня — еще краше делалась...» Никто в доме не мог сказать мне, когда Невена приехала в Банско и сколько там прожила. Узнал только, что она была дружна со многими крупными революционными деятелями. «...Как же не помнить ее! — говорил мне отец.— Ведь она учила меня в начальных классах, это — моя первая учительница... А кроме того, чуть ли не каждый день бывала у нас в доме...»

У дяди Коле и Невены были общие знакомые и в Солуне, и в других городах, и они часто говорили о них. Дядя Коле, как и Невена, окончил педагогическое училище, работал в самых разных уголках страны. Вообще вся его жизнь, начиная с 1899 года, когда он уехал из Банско учиться, и до последних дней проходила в постоянных разъездах, была полна многочисленных встреч, событий — нередко опасных, тревожных... Обо всем этом, однако, дядя не любил распространяться, был не из болтливых...

В мамином дневнике — простой зеленой тетради — есть такая запись: «Невена, по-видимому, еще со школьных лет, в Солунской гимназии, увлеклась всерьез революционными идеями. И по приезде в Банско первым делом связалась с такими же, как и она, бунтарями. Особенно подружилась она с Коле. По всем вопросам у них было полное единодушие и взаимопонимание. Да и, надо сказать, они просто любили друг друга...»

Все считали Невену будущей невестой Коле. Их постоянно видели вместе. «...У Коле, когда он еще учился в старших классах,— вспоминал мой отец,— была подружка, Зина Тодева. Так, кажется, звали ее — Зиной. Красивая была девушка: с каштановыми волосами и карими сверкающими глазами... Коле очень любил ее, и они решили со временем обручиться. Но она была серьезно больна, видимо, туберкулезом. От этого вскоре и умерла... Еще при жизни Зины Коле часто вместе с ней бывал в семье Александра Буйнова и его жены Марушки, доводившейся Зине родной сестрой. Общее горе еще больше сблизило их, и постепенно Коле стал своим, как бы родным человеком в этой семье. По всей вероятности, именно здесь впоследствии он и познакомился с Невеной Измирлиевой и подружился с ней. Это было лучшее в его жизни время! Он излучал молодость, силу, здоровье. Отпустил усы, даже раздался немного. Я ясно помню, как он прохаживался в ожидании Невены по террасе: в новом костюме и рубашке с крахмальным воротничком, в галстуке с булавкой, а туфли поскрипывают: скрип-скрип-скрип... Любо глядеть! И голос у него был — настоящий мужской голос...»

Нетрудно представить себе, как молодой банский учитель, рано испытавший трагическую потерю любимой, ожил при встрече с жизнерадостной, пышущей здоровьем и энергией красавицей, как он был очарован ее ласкающим взглядом, ее своеобразным выговором, делающим речь Невены чрезвычайно выразительной.

Все радовались дружбе между ними. Особенно заговорили об этом после одной экскурсии банских учителей в горы...

Случай, о котором пойдет речь, произошел с Невеной Измирлиевой и дядей Коле на Бандеришских полянах — укромном горном уголке, благоухающем целебными травами, окруженном крутыми склонами да вековыми соснами. Здесь группа учителей из Банско решила провести праздник Илинден [1]. Добрались сюда к концу дня, солнце уже почти зашло, и на лужайку опустилась легкая предвечерняя прохлада. Пока разгружали осликов да разбивали лагерь, стемнело, подул свежий ветерок, над горными вершинами зажглись огоньки звезд. Экскурсанты развели костер и, как издавна заведено, начали

[1] Традиционный народный и церковный праздник.

жарить шашлыки на шампурах. Достали бурдюки с вином, из находившейся неподалеку овчарни принесли свежее молоко и начали варить «котмач»: овечье молоко, сгущенное после долгого кипячения на слабом огне, а затем остуженное в роднике. Допоздна сидели у костра, рассказывали разные смешные истории, пели. Над притихшим лесом, над вековым бором разносились песни о гордом Пирине и его дивной природе, о любви, и молодым голосам подпевал бегущий по дну ущелья горный поток...

Ранним утром первой открыла глаза Невена. Солнце только-только всходило. Легкий туман окутывал вершины. А Коле в это время уже ловил под камнями рыбу — верткую, трепещущую, словно обрызганную капельками крови и усыпанную изумрудами форель.

— Господи, какая прелесть! — восхищенно произнесла Невена.

Она всей душой радовалась красоте и свежести пиринского пейзажа, чистому, как слеза, горному воздуху, белеющим высоко вдали заснеженным верхушкам могучих деревьев; бегала по утренней траве, собирала землянику и бруснику, цветы.

— Коле, пойдем за эдельвейсами! — попросила вдруг Невена.

Коле обернулся и замер, очарованный ее сияющим лицом, нежными, ласковыми глазами. Сердце его учащенно забилось.

— Ну как, Коле, идем?

— Идем! — воскликнул он и, не думая больше ни о чем, схватил ее за руку и повел вверх, шагая так легко, будто перед ними был пологий спуск, а не отвесные скалы...

Тот, кто лазил по Пирину в поисках эдельвейсов, знает, какие здесь кручи, какие скальные стены — с трудом находишь, за что ухватиться или куда ногу поставить; как манит высота, и хочется подняться еще выше, хоть на полметра...

Шаг за шагом карабкались Невена и Коле: он впереди, она — за ним... Можно представить себе, как молодая учительница, выросшая на равнине, восторгалась величественной громадой гор, девственным лесом, синим небом над головой, как прижималась к отвесным скалам, ухватившись за какой-нибудь кустик, чтобы удержаться, а потом любовалась эдельвейсом — не тем сплющенным, высушенным в тетради мертвым цветком, а настоящим, живым, махровым и влажным, с чуть зеленоватым оттенком и еле уловимым запахом трав и еще чего-то неясного... Вот они пьют воду из струящихся среди талого снега ручейков; снова манит их к себе высота, и они продолжают подъем, осторожно нащупывая ногами едва заметные выступы; потом, вспотевшие и запыхавшиеся, останавливаются передохнуть на какой-нибудь крохотной площадке, где один человек и то с трудом уместится... Глядеть вниз уже страшно, но друг на друга они смотрят сияющими от счастья глазами, потому что рядом, так близко, что каждый ощущает теплое дыхание другого. Преодолевая страх, они взбираются все выше и выше, передышки становятся дольше и желаннее, и вот наконец, достигнув вершины, оба они, обессиленные, падают на сухой мох, и губы сливаются в жарком поцелуе...

Потом внезапно произошло то, что столь часто бывает в горах: стемнело, подул холодный ветер, скалы заволокло туманом. Стал накрапывать дождь, быстро перешедший в снег. Все вокруг исчезло за плотной снежной завесой. Где-то вдали засверкали молнии.

Коле и Невена вскочили на ноги, тревожно озираясь.

— Что же теперь будет? — дрогнувшим голосом сказала Невена, кутаясь в куртку.

Коле улыбнулся. Не впервые приходилось ему сталкиваться с капризами гор.

— Не бойся. Давай руку! Есть тут одна хитрая тропка... Мне эти места хорошо знакомы...

В лагерь они вернулись под вечер, когда от грозы и следа не осталось — как пришла внезапно, так и ушла. Их товарищи готовили ужин и встретили Коле и Невену завистливыми взглядами. А они, измученные от усталости и пережитого, присели рядышком у костра да тут же и уснули.

Так ли именно все было, никто не знает. Известно только, что после этого случая видели Коле на улицах Банско всегда смеющимся, нарядно одетым, будто на свадьбу шел. Смуглое его лицо излучало радость, а голос стал таким ласковым и мягким, что люди улыбались: «Наш Коле не говорит, а словно поет!..» А когда он шел рядом

с пышущей здоровьем и жизнелюбием Невеной, которая, рассказывая ему о чем-то, оглашала своим звонким смехом тихие банские улочки, дядя Коле выглядел настоящим добрым молодцем из сказки: сильный, статный, загоревший, с темными, зеленоватыми глазами, энергичными движениями и легкой поступью. Это был молодой мужчина, готовый не то что Пирин, весь мир обойти пешком вместе с любимой девушкой.

Таким он запомнился моему отцу в то счастливое время...

«...Осень того года выдалась теплой,— пишет в своих воспоминаниях отец.— Наш край тоже стал, наконец, свободным от чужеземного ига, и я решил продолжить свое образование. Но мои родители, воодушевленные радостными событиями, задумали отремонтировать дом, засеять поле, запастись дровами на зиму. Для всего этого лишняя пара рук, конечно, была бы очень кстати, поэтому они и не хотели меня никуда отпускать. Коле поддерживал мое решение, но ведь он дома почти не бывал: то в Софию ездил, то в Мельник, то целыми днями пропадал у нас в городе — все по делам важным и неотложным, поглощавшим целиком его время и внимание...

...Проходил день за днем, а я все торчал в Банско. И вот надумал убежать. Выкрал из сундука, что в большой нижней комнате, одну пендолиру [1] (заранее приметил, где родители прячут деньги) и, не долго раздумывая, пустился в путь по белу свету. Пешком дошел до Мехомии, перевалил через Рильские горы, спустился в Самоков и оттуда добрался до Софии. Там случайно встретил бывшего школьного товарища, который посоветовал мне обратиться в Красный Крест, помогающий пострадавшим от войны... «Скажешь им,— учил он меня,— что ты из семьи беженцев, мол, потерялся и теперь разыскиваешь родителей». Я так и сделал. Пришел в один из пунктов Красного Креста, где ждало множество людей. Когда подошла моя очередь, я жалобно заплакал, промямлил, что не могу найти своих близких и что только здесь могут помочь мне отыскать их. И помогли. Выдали специальное удостоверение, благодаря которому я мог пользоваться бесплатно железнодорожным транспортом по всей стране, а также получать помощь и содействие в пунктах Красного Креста. В то время мне было лет пятнадцать, поэтому все трудности и неудобства я переносил легко и даже весело. Жилья у меня не было, значит, ночевать было негде (свою золотую монету я берег на черный день). Вопрос сей я решил просто и очень разумно: спал в поездах. Выбирал какой-нибудь поезд дальнего следования, садился в любой вагон и спал там до утра. Ведь мне было все равно, куда ехать. На всех станциях имелись пункты Красного Креста, где по моему удостоверению мне давали хлеб, сыр, даже чай, а на более крупных станциях — и горячий суп. Что еще надо было такому «путешественнику», как я?! Разъезжал, много разного видел и узнавал — и ни гроша не платил. Не скажу теперь с точностью, сколько времени продолжалось такое житье, но в один прекрасный день я вдруг вспомнил, что убежал-то ведь для того, чтобы учиться дальше! Кто-то посоветовал мне поехать в Ямбол, где есть педагогическое училище. Ну что ж, сказано — сделано! Поехал, поступил в училище и поверил было, что на этом мои мытарства уже закончились. Устроился с жильем, послал домой первое после бегства из Банско письмо... Однако, увы, не суждена была мне тихая, спокойная жизнь... Только начались занятия в училище, как вспыхнула эпидемия холеры. Страшное дело: люди мерли как мухи! Училище закрыли, я покинул Ямбол и опять начал свои странствования в поездах. И думал: а может, на роду мне так написано — вечно скитаться?! Ведь испокон веку банский люд скитался по свету, вот и я...

Однажды в Бургасе, бродя по городу, я наткнулся неподалеку от моря на небольшой постоялый двор, над воротами которого красовалась вывеска: «Постоялый двор «Елтепе» [2]. Я обрадовался, предчувствуя встречу с земляком. И не ошибся. Услышав только первые мои слова, хозяин прервал меня: «Слушай, парень, ты случаем не из Банско?» Я рассмеялся. «Так точно, оттуда».— «Сразу видать. Я ведь тоже из тех краев». И стал он мне рассказывать, когда покинул родные места, когда купил этот трактир... Потом он предложил мне помогать ему — за кормежку, да еще и лев-другой будет давать, на карманные расходы. Я согласился. Здесь, на постоялом дворе, довелось познакомиться с самыми разными людьми, но больше всего подружился я с группой моряков, среди которых были болгары, греки, албанцы. Особенно сблизились мы с од-

[1] Старинная золотая монета достоинством в пять лир, что равнялось ста золотым левам.

[2] Название одной из вершин Пирина.

ним греком по имени Такис — высоким, стройным молодым мужчиной с рыжеватыми волосами и бородой, ну ни дать ни взять — Иисус Христос! Во время учебы в Сересе я немного подучил греческий, так что общаться со своим новым товарищем мог без затруднений. У этих моряков были шаланды, на которых они перевозили контрабандные товары, уезжали куда-то, вновь возвращались... Они втянули и меня в это дело, и хорошо платили. Часто приглашали поужинать вместе. А гуляки они были отменные! Соберутся большой компанией, стол ломится от яств: тут тебе и жаренные на вертеле молодые барашки, и маслины, вино и ракия, апельсины и инжир — голова кругом идет. Бывали с ними и женщины, красивые, молодые, по большей части гречанки, в шелковых блузках и черных туфлях на каблуках. Одна из них все заигрывала со мной, гадала по руке. «Ты,— говорила,— долго жить будешь. Много всяких приключений тебе выпадет, но живым останешься и всех переживешь. Только берегись змей. Лишь змея сможет тебе навредить. Ни собака, ни волк, ни любое другое животное тебе не страшны. Берегись только змей!» Иногда плакала. Разомлевшая от выпитого, с распущенными волосами цвета спелой ржи, она садилась рядом со мной и шептала мне на ухо: «Беги, беги от нас! Не место тебе здесь. Уезжай, учись! А этих всех виселица ждет...» Однажды я спросил ее: «Ты-то почему не убегаешь от них?» А она: «Меня с ними судьба одной веревочкой связала, и ничего уж тут не поделаешь!..» И опять заплакала. Я ощущал близко-близко ее тело, крепкую грудь, жаркие руки, но женщины в ней не чувствовал. Скорее она навевала мысли о маме. Вот почему Софула — так звали ее — как-то сказала: «Маленький ты еще, хоть и вымахал с версту!» Из-за нее у меня несколько раз были стычки с одним из албанцев — низкорослым смуглым крепышом, не то ее мужем, не то любовником. «Слушай,— сказал он однажды,— ты чего это все вокруг Софулы крутишься, а? Смотри у меня, а то врежу как следует, будешь знать!..» И замахнулся, только бить тогда не стал. А в другой раз дал мне под самый дых, да так, что я брякнулся на пол и с минуту вздохнуть не мог. «Чтоб выметался отсюда и не попадался мне больше на глаза! Понял?» Нет, я не понял. Кое-как поднялся и, преисполненный злости и жажды мести, пошел на базар и купил себе настоящий греческий кинжал, твердо решив разделаться с тем албанцем, если он еще раз тронет меня. Но тут разыгрались другие события. Пророчество Софулы вскоре сбылось...

Однажды ночью мои новые знакомые разбудили меня: «Йонко, дело есть. Идешь с нами?» Я согласился. Пошли на берег, только не на причал, где обычно стояли шаланды, а в какую-то бухточку. Там сели в лодки и вышли в открытое море. Штормило, и мне стало плохо. Я лег животом на дно лодки и довольно долго пролежал так. Вдруг, гляжу, приближаемся к какой-то темной махине — большому пароходу с погашенными огнями. Загрузились ящиками, которые нам оттуда спустили, и двинулись обратно. До рассвета сделали еще два рейса. Как только вернулись на постоялый двор, я пошел было спать, да та женщина, Софула, не дала мне. «Сходи, пожалуйста, в лавку к Димитриусу. Купишь у него кое-что для меня»,— и протянула мне золотую лиру. Я вовсе не горел желанием идти к этому Димитриусу — далеко было, да и спать хотелось, но разве мог я отказать ей?! «Он знает, что мне нужно, ты только скажи ему, что я тебя послала». Куда денешься — пошел. Лавка еще была закрыта. Я сел на порог в ожидании хозяина да и незаметно уснул. Разбудил меня его голос: «Смотри-ка! Клиенты уже и спят у двери, вот это популярность!» Я сказал ему, о чем просила Софула, но он сделал удивленную мину. «Ничего эта чертова баба не заказывала мне! Иди и спроси ее, чего ей надо-то». Я здорово разозлился: гоняет меня туда-сюда, мальчишка я ей, что ли... Бабьи капризы! — подумал я и поплелся по городу в поисках какой-нибудь закусочной. Неподалеку от кауша (так тогда называли полицейский участок) вдруг гляжу: ведут под конвоем группу людей со связанными за спиной руками. Подошел я поближе и увидел, что это... мои друзья-моряки. И они, конечно, заметили меня, но сделали вид, что мы не знакомы. Я, однако, то ли по глупости, то ли просто инстинктивно бросился к Софуле, чтобы вернуть ей лиру. Софула шла в середине группы — с распущенными золотистыми волосами и в расстегнутой кофточке, даже грудь ее была видна. «А ну-ка убирайся!» — заорала она, увидев, что я кинулся к ней. Один из конвоиров поднял ружье. «Сопляк несчастный! — продолжала она орать.— Что это тебе, цирк, что ли?!» Возможно, все и кончилось бы оплеухой, которую мог влепить мне усатый полицейский, если бы не Такис... Каким-то чудом ему удалось высвободить руки, и он бросился бежать. «Стой!» — закричали полицейские. Остальное произошло так быстро, что я даже не услышал выстрела, а только увидел,

как рыжий Такис будто споткнулся, попытался было шагнуть нам навстречу и рухнул на землю...

Когда я, потрясенный, прибежал на постоялый двор, то застал там насмерть перепуганного хозяина. «Беги, Йонко! Возьми вот эти деньги, моряки их для тебя оставили, и беги!» Я взял деньги и смог лишь проронить: «А полицейские... убили... Такиса...» Хозяин уже без слов (от страха у него язык отнялся) рукой показал мне на дверь, вытолкнул меня на улицу и заперся изнутри...

Я пошел на берег, к причалу. Шаланды спокойно покачивались на воде, волны шелестели у моих ног... А перед глазами стоял Такис, распростертый, словно Христос, на мостовой, с раскинутыми в стороны руками и развевающейся рыжей бородой... В ушах звучал голос Софулы: «А ну-ка убирайся!..» — и вдруг меня осенило, что ведь всю историю с поручением к бакалейщику Димитриусу она придумала нарочно! Знала о надвигающейся опасности и хотела спасти меня... Слезы затуманили мне глаза. Я почувствовал себя таким одиноким в этом мире! Да оно, в сущности, так и было... Я пошел на вокзал и сел в первый уходящий поезд. Узнав, что в Казанлыке вроде бы есть педагогическое училище, решил поехать туда. Авось, думал, на сей раз повезет».

В детстве я часто слышал этот рассказ отца о его юношеских мытарствах, и как только речь заходила о Софуле, мама вставляла: «Опять эта твоя Софула!..» Отец улыбался: «Так ведь красивая была...» Мама ворчала: «Ладно уж, давно поняла...» Но отец продолжал: «Я увидел ее снова через много лет. Был в Бургасе и решил заглянуть к старому знакомцу, трактирщику, там и встретил ее: она подметала двор и пела. Взгляд ее был необычным, не как у всех людей. Бедняга, она сошла с ума. И не узнала меня. Больше я туда не ходил».

Окончилась война, отец вернулся в Банско. Дед и бабушка Ленка не могли наглядеться на него в военной форме и все приставали: «Да неужто, сынок, снимешь эту красивую одежку?» — а отец отвечал: «Ни минуты больше в ней не останусь! Столько натерпелся...» — «Ну хоть сложи-то аккуратненько,— просили они.— Наденешь в праздник, чтоб люди тебя увидели при всем параде...»

Отец тут же скинул с себя армейское обмундирование, переоделся и вместе с Коле уединился в маленькой комнате, где они говорили, говорили... Потом младший из братьев, Дине, повел их куда-то. Вернулись они домой с кипой книжек, которые затем читали и прятали на чердаке. На лошадях втроем поехали в Неврокоп. Впереди всех ехал Коле, он знал хорошо дорогу, да и по старшинству вроде ему полагалось, за ним — Йонко, мой отец, а позади — Дине. «Ты где служил-то?» — спрашивал отец старшего брата. «Да так, служил...» — неохотно отвечал Коле. «В боях участвовал?» — «На фронте ж был...» — «А в каком чине?» — «Рядовой»,— смеялся в усы Коле...

...Бабушка и дед недоумевали, чего это понадобилось их сыновьям в Неврокопе. Но чувствовали, что вновь наступают бунтарские годы: город начинал бурлить, проводились какие-то тайные сходки, опять затевалось что-то. Бабушке трудно было разобраться в смысле случайно услышанных слов: «Октябрь... революция... марксизм... Димитр Благоев...» — и так далее, все новые какие-то, неведомые ей слова, имена. Она так понимала: придут бородатые комиты[1], грозные народные мстители, опоясанные тремя рядами патронташей, с револьверами и саблями, с накинутыми на плечи бурками и в царвулях[2] — отважные, сильные и непобедимые... Пробовала бабушка поговорить с Коле, допытаться, что же они задумали, но он только улыбался: «Придет время, все тебе расскажу, мама. А пока что об этом помалкивать надо!» Бабушка вглядывалась в его смуглое лицо и высокий лоб, но что могла она там прочесть? Легкий на подъем и проворный, как олень, сын ее то вихрем влетал в дом, то уходил внезапно задворками, то приходил с кем-нибудь, и они долго шептались о чем-то, спрятавшись за плотину, то целыми ночами при свете свечи писал письма. Иногда исчезал рано утром и появлялся за полночь, а на вопросы матери, улыбаясь, отвечал: «Да ерунда, мама, перевалил через Пирин, дела у меня на той стороне были...» — «Господи! Как же это ты успел обернуться? Дорога-то не ближняя...» Дядя хлебал суп из большой глиняной миски и снова хитро улыбался: «Обернулся, как видишь. Надо было торопиться». Потом опять строго наказывал: «Только об этом никому ни слова!» Какое там «никому

[1] Повстанцы, участники освободительного движения против османского ига.
[2] Крестьянская обувь из цельного куска кожи.

ни слова»! Все знали, что происходило 7 ноября 1918 года в корчме Скабрина, где собрались Коле Голев, Илия Тошев, Костадин Скабрин и еще человек двадцать пять. Теперь-то уж бабушка Ленка догадалась, что ее старший сын, который все улыбается в усы да целыми днями встречается с разными людьми, организует вместе с друзьями какую-то новую партию. И ей ли не понять, что затевают, должно быть, что-то серьезное, большое! Все эти книги, которые Коле читал по ночам, делая пометки на полях или в записной книжке, его недавняя поездка в Белицу к Владо Поптомову, с которым, судя по всему, обсуждали очень важные вопросы... Ей ли не видеть, что дело это привлекает умы трудовых людей Банско! Все вроде теперь знала бабушка Ленка, не могла только разобраться, что собой будет представлять партия сына, насколько окажется близкой идеям Яне Сандански и Гоце Делчева — их-то она хорошо понимала. Лишь немногие могли объяснить все толком. Простой народ, с его врожденным тонким восприятием добра и зла, почувствовавший, что происходит что-то хорошее, с уважением начал относиться к учредителям партийной организации и, даже не понимая до конца идейной программы и целей новой партии, тянулся к ее активистам, и прежде всего к Коле Голеву, которого глубоко почитали за его доброту, справедливость и ум. «Не похоже это на прежние комитские дела... — делился дед мыслями с бабушкой.— Тут другое!» А бабушка отвечала: «Да ну, куда им! Какие комитские дела без главных комитов Яне и Гоце! Новое что-то задумали...» — «По моему разумению,— продолжал дед,— о всей Болгарии, похоже, они пекутся, о всем народе. И, видать, такие всюду есть на нашей земле, и за ними идут, потому как очень уж много горя хлебнул народ...» — «Поспрошаю я все-таки Коле!» — решила бабушка. И «поспрошала». Однажды Коле разговорился. «Это, мама,— сказал он ей,— другая борьба. Не такая, какую вели Яне и Гоце. Раньше надо было освободиться от оков рабства, а теперь мы боремся за то, чтобы народу лучше жилось. Потому что, вырвавшись из одного рабства, мы попали в другое — рабство капитала. И спасение от этого рабства только в одном: в революции!» — «Значит, все сначала? — заинтересованно спросила бабушка.— И опять с оружием?» — «Если понадобится, то и с оружием,— убежденно ответил дядя Коле.— Будем использовать самые разные формы: выступления в парламенте, митинги и собрания, литературу, вооруженную борьбу — все!..» Бабушка покачала головой: «Значит, опять мир и покой покинут нашу землю...» — «А их здесь и нет, мама! — распалялся дядя Коле.— И не будет до тех пор, пока капиталисты сосут кровь рабочего человека, пока не наступит царство свободы и равенства! Я же тебе рассказывал, что произошло в России. Так же точно, по русскому образцу, и мы должны подготовить и осуществить революцию. Только в этом спасение...» Вот теперь бабушка узнала наконец главное: что собой представляет коммунистическая партия и куда она ведет народ, поняла, что назревают новые бурные события, что славное и героическое время, связанное с именами Яне и Гоце, снова наступает, а значит, оставаться в стороне она не может. И спросила напрямик: «Меня-то возьмете с собой?» Дядя Коле улыбнулся: «Куда нам без тебя! Конечно же, ты будешь с нами...» Эти его слова так порадовали бабушку, что вечером она пригласила к столу всех сыновей, подала курицу, ракию; не говоря ни слова, достала из печи большую белую лепешку с румяной коркой и торжественно разломила ее на равные куски. Такого пиршества этот дом не знал уже много лет...

Однажды летом в полдень, когда уже пообедали и собирались встать из-за стола, к нам зашел почтальон Кипре — высокий и худой, как щепка, мужчина, всегда приветливо улыбающийся, с торчащими ушами и крупными руками, которые доставали из большой сумки письма, газеты, переводы или телеграммы...

— Здорово живете, хозяева! Получайте письмо, с вас магарыч! — крикнул он еще с порога.

Тетка Люба подбежала к нему и забрала письмо. Она все еще сохраняла красоту и прелесть молодости и всегда улыбалась какой-то своей, особой улыбкой — и не очень веселой, и не очень грустной. Вертя в руках письмо, она скороговоркой выпалила:

— Ничего я тут не пойму, чтоб ему... Написано что-то, а что — никак не разберу...

Дядя Минчо взглянул на конверт и сказал коротко:

— Не мне.

Мама взяла у тетки письмо, пробежала глазами адрес на конверте, и лицо ее порозовело.

— Знаете, откуда письмо? — радостно воскликнула она.— Из Советского Союза!

Все притихли. Бабушка подошла к маме, затаив дыхание. Дед встал рядом. Отец, который уже выходил из комнаты, вернулся.

Мама снова внимательно и с волнением вчитывалась в надпись на конверте, словно хотела выучить наизусть. Отец не выдержал:

— Ну говори же, от кого?

Мама подняла сияющие глаза:

— От Невены!

Бабушка ахнула:

— Ну-у!

Дед стал переминаться с ноги на ногу, а отец взял у мамы письмо.

— Коле адресовано.

Дядя Минчо тоже встал из-за стола.

— Что-то не припомню я никакой Невены. Кто ж такая эта Невена? — спросил он.

— Была когда-то невестой Коле,— сказала мама.— Ну... мы все так считали...

— Вот и женился бы на ней! — засмеялся дядя Минчо и вышел на веранду.

Когда позже пришел дядя Коле и сел за стол (он всегда обедал отдельно от других), мама торжественно встала перед ним:

— Коле, знаешь, какая радость ждет тебя?!

Дядя Коле поднял загоревшее, небритое лицо с пышными, «горьковскими» усами:

— Не знаю, но, надеюсь, узнаю от тебя?

Он относился к своей невестке с особой нежностью. Говорил с ней всегда ласково и никогда не делал никаких замечаний.

— Скажу, если встанешь и спляшешь.

Дядя не встал, а только озадаченно и с любопытством взглянул на мою маму. А она игриво крутила конверт перед его носом.

— Знал бы только, от кого оно!..

Дядя Коле положил ложку и поднялся. Молча взял у нее письмо, взглянул на конверт и торопливо распечатал его.

— Из Одессы,— сказал он.— «Жива и здорова... у нас сын — Тошко... работаем... скучаю по Болгарии, по друзьям и особенно по тебе, Коле, по бабушке Ленке и всем остальным... Невена». Невена! — повторил дядя Коле. Он снова и снова перечитывал письмо, и не верилось ему, что это от н е е; в который раз листал две маленькие странички, рассматривал конверт...— Я же говорил вам, что она в Союзе! Где ей еще быть!.. — И, забыв об обеде, он выбежал из комнаты.

Дядя Коле... В то время это был еще крепкий мужчина, с красивой улыбкой, высоким лбом. Не тот «дед Коле» с огромной, как у Маркса, бородой, каким он станет много позже и каким запечатлеют его в камне. Нет! Пока что дядя Коле — мужчина в расцвете сил, энергичный, вечно куда-то спешащий, с легкой и быстрой походкой горца...

Чем объяснить силу, чистоту и долговечность дядиного чувства к молодой учительнице, которое он пронес через всю жизнь, полную жестокой борьбы и трагических событий? Его одиночеством или наивностью? Тоской по ушедшей молодости? Фанатизмом? Нет! Все это никак не вяжется с натурой и личностью дяди Коле — математика и физика, марксиста, который в непрекращающихся спорах с местной интеллигенцией отстаивал правоту своих убеждений и силу своих идей, человека простого и сердечного, верного товарища трудовых людей Банско и всей округи.

Время-то было какое! Занималась заря новой эпохи — эпохи высоких идеалов, благородных и смелых порывов, кристально чистых душ. То был период нашей истории, когда люди росли и мужали в борьбе, опираясь не только на то, что завещали предыдущие поколения, но и на то, что приходило к ним с востока, с необъятных просторов России и что (они были твердо убеждены в этом) воцарится неизбежно и у нас. Я не раз видел дядю Коле в одной из городских кофеен, где обычно собирался простой народ, трудяги. Я подходил к нему и не отваживался сказать, что дома ждут его к обеду или зовут по делу, потому что в такие минуты его лицо — обычно мрачное, хмурое — было озарено каким-то необычным светом. Он разъяснял собравшимся проблемы мирового коммунистического движения, рассказывал о Марксе и Энгельсе,

Ленине, о стройках коммунизма в СССР. Мне часто доводилось слышать, как он толкует политические события, из его ярких рассказов я узнал многое о Димитре Благоеве, о Георгии Димитрове (это еще до Лейпцигского процесса). Никогда не услышал я от дяди ни слова сожаления об ушедшей молодости, о том, что нет у него, как у всех людей, своего дома, жены, детей... Спал он на старой деревянной лавке у печки, и даже в голову ему не приходило как-то обставить, сделать уютным хотя бы этот свой угол. Не раз я видел, как он раздает деньги беднякам — рабочим, крестьянам. Иногда все свое жалованье. Но не помню, чтобы он купил себе что-нибудь из одежды, кроме самого необходимого. Были у него две-три рубашки, один еще приличный, но далеко не новый пиджак (он называл его сюртучком), простые черные, очень похожие на туристические ботинки — и все. Для торжественных случаев имел один-единственный черный костюм и одну рубашку, купленную в Софии, только я не припомню, чтобы он хоть раз надел их. Когда ему говорили, что он чересчур уж небрежно относится к своему внешнему виду, дядя Коле отшучивался: «А чего мне наряжаться?! Красивее, что ли, стану или моложе?!» Несмотря на то, что в последние годы своей жизни он получал хорошее жалованье, когда умер, у него не оказалось никаких сбережений. Все раздал людям... И я снова спрашивал себя: что это? Фанатизм? Филантропия? Аскетическое отречение от личного благополучия? Нет. Просто дядя был одним из лучших представителей *своей* эпохи, носителем лучших черт *своего* времени, времени самоотверженности, честности и бескорыстия. И он сохранил в себе эти черты до последнего дня жизни...

Запомнились мне еще встречи с молодым Кольо Вапцаровым [1], в ту пору только что поступившим на работу на бумажную фабрику в селе Кочериново. Дом Вапцаровых в Банско находился как раз напротив той самой кофейни, где прямо на тротуар были выставлены столики, за одним из которых обычно сидел дядя Коле с друзьями. Вапцаров, стоя у ворот своего дома, глаз с них не сводил — худой, в рабочей спецовке, а лицо его излучало доброту и сердечность. Стеснялся, что ли, не решаясь сразу подойти к столу банских коммунистов?.. Или боялся навредить им, потому что все же это было лето 1932 года?..

Незадолго до приезда сюда, на церемонии по случаю окончания Морского училища, Вапцаров произнес свою знаменитую «опасную» речь, в которой обнажил всю безысходность положения молодых воспитанников училища: «... Мы покидаем эти стены. От юношеского энтузиазма, который каждый из нас принес с собой, не осталось и следа. Все рухнуло. Мы уходим отсюда, и большинству из нас суждено занять место под мрачным флагом безработных, остальные же вынуждены будут из-за куска хлеба идти на компромиссы, которые сыграют роковую роль во всей их жизни, но выбора нет». И, обращаясь к своим командирам и учителям, он сказал: «Вы учили нас сторониться политики и партий, говорили нам, что единственный нравственный стимул в жизни — это Болгария, но мы знаем, что этот стимул, как бы он ни был дорог нашим сердцам, не в силах сделать законы борьбы за существование менее суровыми...»

Эта речь вызвала враждебную реакцию среди командного состава училища, создала Вапцарову репутацию «неблагонадежного». Вполне естественно, что он теперь строго контролировал каждый свой шаг, даже в родном городе. Отказавшись от предложения поступить на работу в реакционную газету «Зора», Вапцаров просил мать: «Ты, мама, скажи ему (речь шла о его отце), чтобы он подыскал мне работу по специальности, пусть самую тяжелую, лишь бы работать. Шесть лет изучал технику, и руки уже соскучились по ней...»

Вспоминая об этих давних моих встречах с молодым Николой Вапцаровым, запечатлевшихся в моей памяти так прочно, что и сейчас четко вижу его стоящим у ворот их дома, теперь-то я понимаю, почему он тогда был каким-то скованным, стеснительным: оживится на мгновение, словно хочет вступить в разговор, поспорить, но потом вдруг на лице его появляется выражение детского любопытства, хотя ничего детского не было в облике этого умного, рассудительного и уже многое понявшего молодого человека. Он с большим уважением относился к банским коммунистам, в особенности к дяде Коле — своему учителю. Дядя Коле тоже очень любил его, как, впрочем, любил и всех других своих мыслящих учеников. Один или два раза я видел их в саду у мельницы. Дядя Коле о чем-то спрашивает, Вапцаров отвечает, оба жестикулируют. О чем

[1] Статью о творчестве Н. Вапцарова см. в «ИЛ», 1979, № 9 *(прим. ред.)*.

они там говорили, не знаю: из-за шума воды и крутящегося мельничного колеса ничего нельзя было услышать, а если бы и услышал, то что я, мальчишка, понял бы?!..

Тогда, конечно, никому и в голову не могло прийти, что со временем этот худощавый парень станет большим поэтом Николой Вапцаровым, болгарским Гарсиа Лоркой, что он создаст яркий поэтический образ своей эпохи и далекой страны — Испании, в боях за свободу которой он непосредственно не участвовал, как, например, Хемингуэй, но тем не менее его имя будут ставить в один ряд с именем Эрнеста Хемингуэя, как и с именами Пабло Неруды, Ильи Эренбурга, Михаила Кольцова... Никто, разумеется, не мог тогда предвидеть этого...

Все в городе в то время жили в ожидании каких-то больших и важных событий, и по вечерам кофейня, о которой я упоминал, была полна народу и гудела, как улей...

...В начале января 1920 года в Банско из города Дупницы приезжает видный коммунист Коста Петров. Наряду со Станке Димитровым и Георгием Муструковым он был одним из организаторов и руководителей знаменитой демонстрации дупничанского пролетариата. Это была крупная победа рабочего класса. Несмотря на все угрозы и немалые усилия армии и полиции помешать трудящимся массам выразить свой протест, в Дупнице состоялся пятитысячный митинг, на котором была принята гневная резолюция. «Предать суду народа всех, кто посылает оружие и патроны врагам русских рабочих!..— говорилось в ней.— Братский привет русской революции и Российской Советской Республике!..» Пришедшая в ярость реакционная верхушка этого промышленного центра Болгарии начала строить планы с целью ликвидации коммунистического влияния среди населения города. Дупничанские фабриканты не жалели денег на взятки армейским и полицейским чинам, предлагали крупные денежные вознаграждения разным уголовным элементам за физическое уничтожение вождей пролетариата. Ночью 10 января от руки наемного убийцы погиб Муструков. Станке Димитрова арестовали, объявили розыск Косты Петрова. Он ничего не знал обо всем этом, так как поехал тогда в Софию за семьей — женой и дочкой. На обратном пути, неподалеку от Дупницы, бричку, на которой они ехали втроем, остановил солдат, стоящий на посту у шлагбаума, перегораживающего шоссе.

— Что случилось, парень? — спросил Коста Петров, не подозревая, что шлагбаум и пост выставлены специально из-за него.

Солдат, который тоже не мог предположить, что разыскиваемый «опасный преступник» будет спокойно разъезжать в бричке, объяснил, что в городе — осадное положение, и тихо добавил:

— Коммунистов ловят. Одного, Муструкова, уже шлепнули...

По чистой случайности офицер, хорошо знавший в лицо Косту Петрова, в это время куда-то отлучился и не видел его в бричке. Коста с женой и дочкой поехал в деревню Яхиново, где у него было много друзей и знакомых. Но и там оказалось полно военных и полицейских. Попросился дупничанский коммунист на постой в один дом, в другой — люди боялись приютить его. Был бы один, куда ни шло, а тут еще жена и дочка!.. Наконец впустил его к себе сельский поп, и то потому, что Коста был сыном священника. Устроив жену и дочурку в поповском доме, Коста пошел ночью по деревне разыскивать местных товарищей. Ему удалось повидаться с железнодорожниками-коммунистами, от которых он и узнал страшные вести.

«...Однажды вечером,— пишет моя мать в своей зеленой тетради-дневнике,— как раз незадолго до прихода к нам Косты Петрова, мама Ленка вошла в комнату и весело объявила: «На крышу мельницы села сорока, чтоб ей пусто было, и три раза подряд прострекотала — стало быть, гостей ждать надо!..» Я никогда не была суеверной и улыбнулась в ответ на ее слова, но что только не выкидывает его величество Случай! Мы уже собирались ложиться спать, как в ворота постучали, и Коле тихо вышел во двор. Вернулся он вместе с двумя мужчинами. Один из них сразу ушел, а второй, поздоровавшись, сказал: «Ну, будем знакомы: меня зовут Коста Петров». И сердечно пожал руки всем нам. Несмотря на поздний час, мы накормили его ужином, потом мужчины разговорились с ним, а мы, женщины, поднялись наверх и приготовили ему маленькую комнату. Позже, когда гость ушел к себе, Коле собрал всех нас. Он стоял у очага, и то ли от тепла, то ли от волнения, но лицо его раскраснелось, глаза горели. Говорил он тихо, но твердо, устремив взгляд куда-то поверх наших голов: «Должен сообщить вам, что у нас в доме — человек, осужденный на смерть. Мы должны сде-

лать все, чтобы его спасти. А поэтому — никому ни слова о нем!» Мама Ленка всплеснула руками: «Нешто мы, Коле, не понимаем! Да я сразу смекнула, что это свой...» А Коле продолжал: «Коста Петров — человек выдающийся, умный, образованный, у него многому можно научиться. Только, повторяю, никому ни слова о нем!»

И стал жить с этой ночи в нашем старом доме Коста Петров — прекрасный человек и товарищ, о котором, сколько бы хороших слов ни говорилось, все будет мало...»

Отец часто повторял: «Коста был похож на Гоце Делчева — такой же общительный, сердечный... А по внешнему виду — вылитый Христо Ботев. Очень любил петь и часто говорил маме Ленке: «Ленка-а-а, петь охота». Она шикала на него: «Тихо ты, услышат ведь! Вот вечерком выйди к мельнице и пой себе там на здоровье!» Коста, следуя ее совету, пробирался в темноте через сад и под шум мельничного колеса и журчащей воды напевал свои любимые песни. Нередко помогал маме по дому. Любил взбивать пахту. «Ну что, будем пахтать?» — спрашивал он маму Ленку. А она смеялась: «Ой, Коста, да я-то на что? Хочешь, вот тебе кувшин, бери и пахтай сколько душе угодно!» Да, пахтать ему доставляло большое удовольствие...»

Мать. Жили мы все вместе одной дружной коммуной. Будто он испокон веку был членом нашей семьи. Удивительный человек! Ему грозила виселица, а он смеялся. И все думал-гадал, как бы это и нас развеселить. Когда становилось ему скучно, начинал убаюкивать кур. Засунет голову курицы ей под крыло, покачает на руках — она и засыпает. А петуха убаюкивал напоследок.

Отец. Но всегда держал при себе два револьвера. Однажды я приподнял его подушку, чтобы взглянуть на них. «Осторожно, заряжены!» — предупредил он и попросил меня лучше не трогать их. Днем же они всегда были у него в карманах.

Мать. Я приносила ему много всяких книг. Главным образом читал политическую литературу, но любил и романы. Дня прожить не мог без газет. Прочитывал их от корки до корки. И все комментировал. Коста был доктором права, знал языки. Образование получил в Бельгии и Швейцарии.

Отец. Прожил Коста в нашем доме всю зиму. Это была чудесная зима, потому что рядом с нами находился замечательный товарищ, самый интересный человек из всех, кого я знал, у которого многому научился. После Владо Поптомова и Коле именно Коста Петров помогал мне овладеть азами марксизма. Он много рассказывал о пролетариате западных стран, о развитии капитализма в Европе и Америке. Очень начитанный был человек, все знал!..

Если не ошибаюсь, в марте или апреле двадцатого года у нас с Костой состоялся разговор о том, что ему необходимо перебраться в другое место, мы опасались, что полиция пронюхала, где он прячется. Еще с первых дней пребывания Косты у нас был разработан план его побега на случай чрезвычайных обстоятельств: задворками, через сад, мимо мельницы — и на соседнюю улочку, а если там будет засада, то, перевалив через забор двора других Голевых (наших родственников),— прямо к лесу, в предгорья Пирина. Имелся еще и резервный вариант. Все было предусмотрено, но неожиданно вышло совсем по-иному. Однажды утром, когда все еще спали, в ворота постучали. Я вышел глянуть, кого это принесло в такую рань, и замер в ужасе: перед нашим домом стояла бричка с поднятым верхом, а в ней — поп и офицер с лампасами на бриджах и шашкой. Дома, оказывается, тоже увидели в окне бричку и разбудили Косту: «Вставай — кажется, по твою душу пришли!» Коста тут же оделся, сунул в карманы револьверы и приказал: «Начнется пальба, ложитесь на пол!» А в это время офицер сошел с брички и, обращаясь ко мне, приказал: «Косту Петрова позови!» — «Нет здесь такого»,— отвечаю я и чувствую, как в горле пересыхает. «Есть, есть!» — улыбается офицер. «Да нет же, нет у нас никакого Косты Петрова!» — кричу я громко, чтобы Коста услышал и успел скрыться. А офицер, хитро прищурившись, смотрит на меня: «Ну как же нет, Йонко, мне ли не знать?!» Я вгляделся попристальнее и вдруг узнал в этом офицере своего давнего, еще со школьных лет, знакомого. Только... откуда эта шикарная форма, ордена?! «Господи, Радой,— воскликнул я,— неужто это ты?» Пожали мы друг другу руки, даже обнялись. Но я пока не знал, что из себя сейчас представляет Радой. Как же быть-то? Ведь никому не велено говорить о Косте! Переминаюсь с ноги на ногу, похлопываю своего старого знакомого по плечу, тяну время, чтобы Коста смог уйти. И тут... из ворот выходит сам он, собственной персоной! «Не бойся, Иван,— говорит он мне,— будь спокоен. Вот и пришла пора расставаться. Это — свои люди, пришли, чтобы перебросить меня в другое место. Передай

Коле и другим товарищам, что я в надежном месте». Попрощались мы с ним наскоро, и бричка увезла Косту в Неврокоп».

Пребывание Косты Петрова в нашем старом доме оставило в памяти всех его обитателей глубокий след. Не раз они будут вспоминать о насыщенных, интересных и радостных днях, проведенных рядом с этим человеком, о его душевной щедрости и высоте помыслов, о его песнях и рассказах. И никому из них и в голову даже не приходило, что они тогда подвергали себя серьезной опасности, укрывая «врага государства».

«...Для нашей семьи Коста Петров навсегда остался личностью святой и светлой. Никто не мог забыть его. И никому не дано было вытеснить его из наших сердец, где хранились имена еще многих других апостолов свободы и революции...— так будет говорить по прошествии лет мой отец и неизменно с горечью вспоминать один из зимних вечеров 1923 года: — Мы сидели за столом в нижней комнате. Мама сварила кутью. Не из каких-то там религиозных соображений, а просто так — дома часто на обед или ужин ели пшеничную кутью. Вдруг вошел Коле, обвел всех нас взглядом и глухо сказал: «Эта кутья что — поминки по Косте Петрову?» Только теперь мы заметили, что лицо его, пепельного цвета, выражало безмерное горе. Мама встала и чуть слышно промолвила: «Что ты, Коле?!» Ложка выпала из ее рук. Все мы тоже невольно встали, на глаза навернулись слезы. «Убили его вчера ночью неподалеку от Дупницы». Коле хотел еще что-то добавить, но слезы душили его, он махнул рукой и вышел...»

Идеи — движущие силы истории. Они — плод эпохи, ее экономического упадка или взлета, плод развития ее общества. И моя бабушка Ленка, женщина тихая, скромная, но готовая к решительным действиям, включилась в партийную работу потому, что ее привлекали идеи партии. Именно по этой причине она приняла участие в подготовке восстания [1]. Немощная на вид, рано сгорбившаяся, почти что неграмотная, она всем своим существом почувствовала, что дело ее сыновей и всех лучших людей Банско — правое дело, а потому она не должна быть в стороне. Человек живет в мире неведомого, но силой разума и чувств своих может выбрать, куда идти и с кем идти. Продвигаясь поначалу на ощупь, ибо не знала, примут ли ее сыновья в свои ряды, потом все смелее и смелее и, наконец, со всей самоотдачей, на какую только была способна, бабушка Ленка с головой окунулась в общественную деятельность. И произошло то, что уже бывало раньше: две волевые и сильные личности становятся во главе нашего старого дома — бабушка Ленка и дядя Коле. Вдвоем они решают все важные вопросы, советуются друг с другом, что и как сделать, встречают и провожают нелегальных и легальных деятелей партии. Самоотверженно и неустанно работают также и дядя Дине, и отец, и мать, но бабушка и Коле пользуются среди товарищей непререкаемым авторитетом. Если приходил человек с каким-нибудь поручением и не заставал дядю Коле, он тут же спрашивал бабушку Ленку. С ней он обговаривал то, за чем был послан. Вот почему, когда в Банско приехал депутат от левых сил Васил Мулетаров, чтобы выступить на митинге с предвыборной речью, среди тех, кто охранял его, находилась и бабушка Ленка. И не случайно потом она была единственным делегатом из Банско на Четвертом съезде партии в Софии в 1922 году и на состоявшейся в это же время Международной встрече женщин...

«...Коле специально предложил, чтобы на съезд твою бабушку послали,— объяснял мне позже отец.— Мог поехать сам он или кто-нибудь другой из членов бюро. Но Коле сказал: «Пусть поедет женщина, а то нам потом, глядишь, могут не поверить. Все мы активисты, и, что бы мы ни говорили, посчитают, что это пропаганда. А женщине поверят». И действительно, вернувшись из Софии, твоя бабушка так убедительно рассказывала обо всем женщинам, а те своим мужьям и знакомым, что народ просто ахал от удивления. Где бы ни собирались женщины — на валяльне или в поле на уборке кукурузы,— она все о съезде рассказывала да о Международной встрече женщин... Однажды, помню, Коле разговорился на улице с каким-то дровосеком — оборванным, жалким на вид человеком. Тот попросил у Коле закурить, потом задал вопрос: «А что, Коле, верно все то, что люди говорят... ну... о съезде вашем... и про всемирное женское собрание... а?» Твой дядя улыбнулся и ответил ему: «Вот уж не знаю! Ты бабушку Ленку спроси, она же туда ездила!..»

[1] Речь идет о Сентябрьском антифашистском восстании 1923 года.

Далекое и славное время, время больших ожиданий, высоких идеалов и необыкновенных людей...

...После разгрома Сентябрьского антифашистского восстания 1923 года начался кровавый террор. Партия ушла в подполье, вожаки банских коммунистов вынуждены были покинуть город и скрываться. Для дяди Коле начались долгие годы скитаний...

И только много лет спустя смог он вернуться в свое родное Банско. Снова начал учительствовать, посещать знакомую старую кофейню, ночами пропадать по своим делам. По-прежнему любил он этот дорогой его сердцу город, хотя Банско стало уже иным, и дядя Коле чувствовал себя в нем одиноко. Не было тех буйных голов, вместе с которыми он столько лет подряд пел песни и собирал оружие, мечтал, работал для революции... Не стало и веселого гомона в нашем старом доме: мы с отцом и матерью, по его же совету, давно переехали в Софию; дядя Дине, как и тысячи других борцов за народное дело, погиб в огне жестокой борьбы... Отважные и верные товарищи разбрелись кто куда по белу свету... Из близких дядя Коле застал только деда и бабушку Ленку.

Но не таков он был, Никола Голев, один из основателей партийной организации в Банско, чтобы падать духом! Он начинает разыскивать уцелевших товарищей по партии, учит детей, пашет и сеет. К нему, в наш старый дом, как и прежде, зачастили вчерашние комсомольцы, возмужавшие в горниле бурных событий, обращались за помощью бедные крестьяне, которым он дает деньги, еду, зерно. Его увольняют с работы, высылают, но по окончании срока ссылки он опять возвращается в Банско — уже с пышной, как у Маркса, бородой — и снова ободряет людей, вселяет в них веру, помогает им всем, чем только может. «Хорошо помню,— будет рассказывать потом Крум Радонов, один из его учеников,— как этот скромный человек, не любивший говорить о своих заслугах и не терпящий шума вокруг своей персоны, заботился о трудовом народе. Когда начались атаки на так называемый «популярный банк» [1], председателем правления которого Никола Голев был,— он встал на его защиту и не позволил фашистским прихвостням посягнуть на интересы простых людей Банско. Стоял твердо и непоколебимо, как гранитная скала, готовый скорее умереть или дать разорвать себя на куски, чем сдаться, отступить хоть на шаг. Ничтожными были выгоды, которые давал своим членам «популярный банк», но и эти мизерные привилегии для бедного люда сумел отстоять «дед Коле».

Таким запомнился всем дядя Коле и в годы Сопротивления, когда для него уже не существовало ни дня, ни ночи, ни какой бы то ни было личной жизни, а было только одно — борьба против фашизма. «Чем он помогал вам?» — спрошу я много позже у бывших партизан и получу такой ответ: «Ты лучше спроси, чем он только не помогал?! Если бы нам понадобилось, он и кожу бы с себя содрал, ничего бы не пожалел. Через него мы поддерживали связь, доставали еду и оружие. С ним обсуждали разные трудные моменты, у него искали убежище и совет. Он был и оставался нашим учителем — как в школе, так и в борьбе. Все мы считали «деда Коле» своим вторым командиром...»

...И так до победного Сентября 1944 года!

Временами дядя Коле будет получать весточки от Владимира Поптомова, работавшего уже в Коминтерне, от Владимира Седлоева, окончившего Военную Академию имени Фрунзе, от Невены Измирлиевой с Украины — дорогие вести от людей, с которыми были связаны воспоминания его боевой молодости. Радостные или печальные, письма будут вносить разнообразие в его одиночество, будут волновать, но не смогут заменить ему непосредственных встреч с самыми разными людьми. Дядя Коле дня не мог прожить без них. К нему первому обращается по приезде в Банско в связи с так называемой «Соболевской акцией» [2] Никола Вапцаров, не раз захаживает его близкий друг, первый болгарский партизан Иван Козарев, приходит за советом Крум Радонов... Не счесть всех гостей старого дома Голевых, имена которых вошли в историю! А 26 июля 1941 года в местности «Святой Архангел» дядя Коле присутствует при

[1] Существовавший в те годы в Болгарии кооперативный банк взаимопомощи, капитал которого состоял из взносов его членов.

[2] Осенью 1940 года правительство СССР через своего посланника Соболева обратилось к правительству Болгарии с предложением заключить пакт о ненападении и взаимной помощи между СССР и Болгарией. Вапцаров прибыл в Банско по заданию партии для сбора подписей под требованием о принятии этого предложения.

создании первого болгарского партизанского отряда. В грозной битве с фашизмом сложат головы многие отважные его бойцы, родные которых потом долгие годы будут искать их могилы по лесистым склонам и ущельям Пирина. А другие товарищи и соратники погибнут в фашистских застенках либо на полях сражений вдали от родной земли... Доведется дяде Коле пережить горестное известие о расстреле его любимого ученика поэта-коммуниста Николы Вапцарова, и поздними ночами он будет снова и снова перечитывать его книжку «Песни мотора». А однажды, в черный для него день, он узнает о гибели Невены Измирлиевой, которая сражалась на фронте в рядах Красной Армии. И о смерти ее мужа и сына...

Вот так, встречая в старом доме одно печальное известие за другим, не открывая никому своего горя, будет жить и трудиться старый коммунист, всего себя отдававший людям, которые нуждались в нем и любили его. Дядя Коле был неотделим от прошлого и настоящего Банско, и город в первые же дни победного Сентября выбрал его своим кметом [1]. А восьмого ноября сорок четвертого года он уже организовывает первое кооперативное земледельческое хозяйство, потом начинает строить первые при народной власти промышленные предприятия. Счастливыми минутами его жизни станут встречи с уцелевшими старыми друзьями, из которых наиболее радостной и волнующей станет встреча с Владо Поптомовым. Первого мая 1953 года дядя Коле, как всегда, будет участвовать в праздничной демонстрации, но на этот раз проедет по площади, лежа в повозке, уже скованный неизлечимой болезнью. А двадцать пятого мая весь город проводит его как родного отца в последний путь, на кладбище у старой церквушки. Потом в городском саду поставят во славу ему гранитный памятник...

...Банско, Банско, дорогой сердцу город далекого моего детства! Край вековых сосен и прекрасных форелей, край легенд и преданий, подвигов и славы...

Как и прежде, тихо и светло в Банско. Но теперь уже повсюду здесь новые дома, заводы и техникумы, детские сады, клубы, рестораны. На месте старых кофеен и кабачков раскинулась площадь, посередине которой стоит памятник Николе Вапцарову. Дальше выстроились белые корпуса новых зданий, магазины, гостиница. Напротив гостиницы — городской сад, а в нем — гранитный бюст дяди Коле, Николы Голева, с его знаменитой бородой!..

Отшумел прежний людской лес, оглашаемый когда-то песнями, выстрелами и колокольным звоном. Кануло в Лету т о старое время. Д р у г о е время живет теперь на крутых улочках и на площадях Банско, новый шумит людской лес — молодой, устремленный ввысь, полный радости и силы. И хотя мне было жаль т о г о далекого времени, дорогие образы которого бережно хранило мое сердце, я понимал, что для нынешних людей это уже прошлое,— они родились в с в о е м времени, оно вырастило их, дало им новый смысл и новые мечты.

Мог ли я вернуть п р о ш л о е? Вспомнилась вдруг чья-то мысль: никому не дано дважды испить из родника одну и ту же воду... Да, время течет, как вода. Но ведь родник тот же! Разве не черпает он силу свою из другого вечного источника — из тающих снегов на вершинах?!

■

[1] Городской голова.

ШУНИЛ ГАНГОПАДХАЙЯ

Рассказы

■

Перевод с бенгали С. ЦЫРИНА

Телеграмма

Банковский клерк Шубимол сидел за конторкой, перед его окошечком вытянулась очередь. Вошел почтальон.

— Сэр,— сказал он,— вам телеграмма. Распишитесь.

Лицо пожилого мужчины, стоявшего у окошечка, выразило явное раздражение. Клерк, прочитав телеграмму, конечно, от радости вскочит со стула или, сраженный горестной вестью, станет бить себя по лицу. А может, ему сразу придется бежать домой или на вокзал. За конторку посадят другого. Ну, а клиенты в любом случае потеряют не меньше получаса...

Отвернувшись, мужчина пробурчал:

— Приходишь в банк за своими собственными деньгами и битый час торчишь в очереди.

Шубимол не пропустил эти слова мимо ушей. Он расписался в квитанции и отложил телеграмму в сторону. Распечатывать ее он не стал.

— Ваш чек,— сказал он пожилому мужчине.

Тот решил, что, пожалуй, наговорил лишнего.

— Может, вы все-таки прочтете телеграмму,— сказал он.

— Это не к спеху,— ответил Шубимол.— Ваш чек, за вами стоят люди.

Мужчина отошел, не успел следующий посетитель протянуть руку к окошку, как только что вошедшая девушка сунула Шубимолу свои бумаги. Девушки не стоят в очереди, они подходят с другой стороны. Она была в ярком платье, и от нее пахло дорогими духами. Шубимол поднял глаза, и она тотчас нахмурилась. Нет, всем своим видом показывала она, я не стану тратить свою улыбку на какого-то банковского клерка.

Шубимол принялся быстро заполнять чек. Сердце в груди его бешено колотилось, но малейшая ошибка означала бы для него гибель. Он работал всего три месяца, и испытательный срок еще не кончился.

В начале месяца в банке всегда наплыв клиентов. До двух часов некогда будет и дух перевести. Телеграмма лежала рядом. Потом ветром ее сдуло на пол. Шубимол этого и не заметил.

Когда он отпустил последнего клиента, было два часа двадцать минут. Почти все его сослуживцы уже покинули свои рабочие места. Шубимол был новичком и не успел еще ни с кем подружиться.

ШУНИЛ ГАНГОПАДХАЙЯ Индийский писатель, пишет на языке бенгали. Живет в Калькутте. Начинал литературную деятельность как поэт в 1950 году, печатался во многих индийских журналах. В 1966 г. появился его первый роман «Самовыражение», затем вышли романы «Молодежь» (1968), «Соперник» (1969), «Арджуна» (1971) и др., а также несколько сборников рассказов и стихов. Предлагаемые рассказы были напечатаны в сборнике, вышедшем в Калькутте в издательстве «Висвавани» в 1977 г.

Во время ленча уходят из банка — поесть. Кое-кто приносит еду с собой. Почтенный Джоготболлобх-бабу достал из своей жестяной коробки лучи[1] и вареный картофель и, отправляя порцию за порцией в рот, сказал Шубимолу:

— Рядом с вашим стулом на полу какая-то бумажка. Будьте осторожны с бумагами, рассеянных здесь не держат!

Шубимол вздрогнул и глянул на пол. Это была все та же телеграмма. Он поднял ее с пола, сунул в нагрудный карман и ответил с напускным равнодушием:

— Эта бумажка моя, ничего особенного.

Сам он еще не знал, что за весть таится в конверте почтового ведомства. Наверно, случилась беда — может ли другая телеграмма прийти на его имя?

Само собой, телеграмма из дому. Кто еще, кроме родных, мог бы вдруг послать ему телеграмму. Многие ведь и вовсе не знают, что он получил место в банке.

Шубимол старается экономить на ленче. В ресторан при гостинице он не ходит. Ест прямо на улице. Отойдя подальше от банка, покупает орехи, жареный рис с пряностями, батавский лимон и ест. Каждая сигарета у него на счету.

Шубимол получает четыреста пятьдесят рупий. Из них двести пятьдесят он должен посылать домой. Остается двести, вроде бы и немалые деньги, но в Калькутте прожить на них нелегко. Он должен быть всегда опрятно одет. И потом, банковскому служащему не подобает жить в трущобах. Квартира — он снимает ее вместе с компаньонами — и питание на паях обходятся ему в сто пятьдесят рупий. Добавьте сюда транспорт и карманные расходы.

Когда Шубимол получил свое первое назначение на службу, эти четыреста пятьдесят рупий показались ему пределом мечтаний. Да и что здесь удивительного, ведь раньше он работал учителем в деревенской школе в Бурдване, получая сто семьдесят рупий — и то неаккуратно. Сдав экзамены на бакалавра коммерции, он долго сидел без дела, тратил деньги на бесчисленные заявления и переписку и, отчаявшись, был вынужден согласиться на место учителя. Одно время ему казалось: все, он обречен тянуть эту лямку до конца своих дней. Пусть он всегда хорошо учился и был первым учеником. Все в один голос утверждали, что из него со временем выйдет толк. Но хотя он стал первым на экзаменах, учиться дальше на звание магистра коммерции было ему не по карману. Должность учителя в деревенской школе — это все, на что он мог надеяться в этой жизни.

Шубимол, правда, сдал экзамены на банковского служащего, но, не получая никаких уведомлений в течение целого года, совсем позабыл об этом. И вот однажды, в дождливый полдень, промокший до нитки деревенский почтальон принес ему потрясающую новость.

Шубимолу почудилось вдруг, будто грудь у него горит. В нагрудном кармане лежала телеграмма. Он все еще не прочитал ее.

Может, распечатать сейчас? Нет, после. Уже половина третьего, пора возвращаться в банк. Многие служащие после ленча являются на работу с большим опозданием, а иные и вовсе не возвращаются. Но Шубимол новичок, его еще не зачислили в штат. Что, если вдруг его за какую-нибудь провинность прогонят со службы? Тысячи безработных зарятся на его место. Нет, он не даст им ни единого шанса.

До конца рабочего дня Шубимол трудился, не подавая вида, что у него случилась беда. Никто не догадывался, что в кармане у него, возможно, ждет своего часа дурная весть.

После работы Шубимол зашагал домой. В часы пик трамваи и ав-

[1] Лепешки, жаренные в масле. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

тобусы переполнены, и он предпочитал ходить пешком. Да и деньги целее будут. Вот придет домой и прочтет телеграмму.

Он ни на миг не забывал о ней. Сейчас он мог уже не бояться совершить оплошность на службе. Разве что попадет по рассеянности под машину. Нет, это тоже не для него. Вместе с ним погибнет и его работа.

Телеграммы посылают только в экстренных случаях. Обычно же пишут письма. И читают телеграммы сразу, едва получив их. Почему же медлит Шубимол? Просто он уверен: телеграмма — вестник несчастья, и хочет по возможности оттянуть этот страшный миг.

Он перебрал в уме все варианты и понял: добрых вестей ему ждать не от кого. Но что же все-таки могло случиться?

У отца застарелая астма. Только в последнее время вроде никакого обострения болезни у него не было. Мать везет на себе весь семейный воз. Шубимол не помнит случая, чтобы она хоть когда-нибудь болела. Даже в самые худшие дни она как-то ухитрялась накормить детей. И никогда ни в чем не упрекала отца. Может быть, что-нибудь случилось с матерью? Вдруг она была тяжело больна, но скрывала это от всех? Нет, с матерью все в порядке...

Младший брат Билту учится в школе. Школа в двух милях от дома, и ему приходится ходить пешком. Билту — ужасный шалун. Однажды гадальщик предсказал ему по руке, что в четырнадцать лет ему следует держаться подальше от воды. Сколько же сейчас Билту — тринадцать или четырнадцать? Может, он пошел купаться и... Нет, нет, нет, такой живой мальчишка, страшно даже подумать!

Старшая сестра Шубимола вышла замуж лет шесть или семь назад. Девушка в банке, на которую обратил внимание Шубимол, чем-то напомнила ему сестру Рану. Получив телеграмму, он почему-то сразу подумал о сестре.

Конечно, Рану сейчас утратила былую прелесть. Два года назад она овдовела, и лицо ее быстро поблекло.

На свадьбу старшей сестры потратили сколько могли. Но ей, видно, не суждено было счастье. Через пять лет она стала вдовой. С полуторагодовалым ребенком сестра вернулась к своим. В доме свекра Рану была никому не нужна — она-де приносит несчастье, свела мужа в могилу.

Тогда их семья оказалась в безвыходном положении. Отец ничего не зарабатывал, да и сам Шубимол был безработным. Мать заставила сестру вернуться к свекру. «Дура ты, дура,— сказала она ей,— чего ты отказываешься от своих прав?»

«Смотри,— пригрозила перед уходом сестра,— рано или поздно я наложу на себя руки...» Она с детства была очень упряма. А если сестра... Нет-нет, у нее ребенок. Хотя бы ради ребенка она...

У двери общей квартиры Шубимол встретил Шоттошундора-бабу. Увидев его, тот просиял.

— Скажите, вы умеете готовить? — спросил он.

Шубимол был несколько озадачен этим вопросом.

— Нет, а что?

— Да повар наш серьезно заболел. И если кто-то из нас не возьмется за стряпню, мы все останемся голодными.

— Правда? Но я никогда не готовил.

— Вам не придется все делать самому. Кто-нибудь вам поможет.

— Ну что ж,— промямлил Шубимол,— но, может, тогда я...

Внезапно Шоттошундор-бабу задал еще один вопрос:

— Ну хорошо, хорошо, а в карты вы играете?

— Играю немного,— ответил совсем ошеломленный Шубимол.

— Если играете, то стряпать вам не придется. Наш Шукхенду прекрасно готовит, он обещал, что все сделает сам. Но если Шукхенду возьмется за стряпню, мы останемся без партнера.

— Даже не знаю, что у меня лучше получится — стряпать или играть в карты.

— Вы умойтесь, переоденьтесь да немного подумайте. Постарайтесь до семи сказать нам о своем решении.

Шубимол вошел в свою комнату. Прежде чем раздеться, он вынул из кармана конверт. Хотел было вскрыть его, но не решился. Он знал: стоит ему распечатать телеграмму, ни о стряпне, ни об игре в карты не может быть и речи. Придется бежать на вокзал. Он любит всех своих домашних. И если узнает, что с кем-то из них случилось несчастье, он не сможет оставаться в Калькутте.

Но как получить отпуск? Дают ли отпуска временным служащим? Не равносильно ли это потере места? Ведь его еще не утвердили. Профсоюз не будет его защищать.

Шубимол не стал больше раздумывать. Не вскрывая телеграмму, он разорвал ее на клочки и выбросил в окно. Нет, он не хочет ничего знать! Ничего...

И тут в груди у него что-то перевернулось. Словно он собственной рукою убил кого-то. Кого же? Отца, мать, Билту или сестру? Кого?

Шубимолу хотелось кричать, но он сдержался. Про себя он твердил: «Нет... нет, я никого не хотел убивать. Я только хочу спасти мою работу. Без нее пропадут все».

Женщина на пути

— Честный ли я человек? — спросил себя Прошанто Дотто.

Он лежит на узкой кровати. Возле реки под деревом. Жара возмутительная — но в тени дерева немного легче. Прошанто Дотто выкуривает одну сигарету за другой и время от времени поглядывает на дом неподалеку.

Дом, вернее хижина, в плачевном состоянии. В нем живут муж с женой и их сын. Муж — человек никудышный, это ясно с первого взгляда. Ему и лет-то немного, но выглядит он стариком. У сына лоснящаяся круглая мордашка, как у всех деревенских ребятишек. Жене, наверно, года тридцать два — тридцать три. Она вечно хлопочет — бремя семейных забот лежит на ее плечах. Превосходная, редкая женщина. Все ее помыслы — о служении мужу и сыну.

К чему ей это красивое тело? Живут они в крайней нужде, едят, должно быть, траву да листья. И откуда что берется?

Прошанто Дотто не в силах отвести взгляд от ее округлого стана. И кожа ее не отличается белизной, и форму глаз и носа никак не сочтешь правильной, но красотой здоровой, цветущей плоти она наделена в полной мере. Эту женщину можно назвать красивой точно так же, как мы называем красивыми коршуна в небе, дикую лошадь в степи и кедр в лесу. Все в ее теле соразмерно — грудь, талия, бедра.

Лоб у нее высокий. Прошанто Дотто усмехнулся. К чему ей высокое чело, если на нем написано, что ждут ее одни лишения и беды? На ней рваное, грязное сари. Ну, не смешно ли? Сколько Прошанто Дотто видывал в городе уродин, разряженных в пух и прах. У самих живот как у Ганеши [1], а тоже норовят надеть короткую кофточку, открывающую пуп. Зато в шахтерском поселке частенько встретишь работниц, которые могли бы стать образцом женской красоты. Вот кому бы пошли наряды, да только им они недоступны. Ну, не смешно ли?

Хозяйка соседнего дома — женщина честная. По лицу видно.

— She is a good woman, no doubt [2], — пробормотал Прошанто Дотто.

[1] Сын бога Шивы и богини Парвати, изображается с головой и брюхом слона.

[2] Вне всякого сомнения, она хорошая женщина *(англ.)*.

Люди и по сей день в глубине души чтут все честное, что еще сохранилось на грешной земле. Прошанто Дотто проникся уважением к этой женщине. Тем более ей выпало на долю столько лишений и горя. Бедность, она не только приносит нужду, но и унижает человеческое достоинство!

Однако Прошанто Дотто, хоть и воздал должное нравственным качествам женщины, не мог отвести взгляда от ее тела. И во взгляде его было вожделение.

Вот потому-то он и спросил себя:

— Каков я есть? Честный ли я человек? Отчего я так смотрю на чужую жену? Почему не в силах оторвать от нее глаз? Выходит, мною овладело сластолюбие? Грех это или не грех?

Прошанто Дотто ставил себя гораздо выше прочих смертных. У него были на то веские причины. Он слыл щедрым, добрым и умным человеком. Он и в студенческие годы выделялся среди других. Выходец из семьи со средним достатком, он был первым при получении степени бакалавра и магистра наук. Затем он в общем неплохо устроился на службе. Но со временем служба стала внушать ему отвращение. Он понял: несмотря на все дипломы и степени, продвижение его по служебной лестнице имеет предел. Высоко подняться ему не дано. Здесь прежде всего нужна «рука».

Прошанто Дотто не из тех, кто готов служить, находясь в подчинении у людей, которых он считает ниже себя. Он ушел со службы и открыл собственное дело. Будучи человеком умным, он, прежде чем начать дело, месяца три или четыре изучал рынок и тщательно все подсчитывал в приходно-расходной книге. Ему нужен был бизнес, который бы при небольшом капитале гарантировал надежную прибыль. В конце концов он выбрал дело, к которому его знания и образование не имели никакого отношения,— закупку коровьих и свиных шкур. Вначале все его осуждали. Теперь Прошанто Дотто — владелец крупной кожевенной фабрики в Белегхате. На фабрике дело поставлено прекрасно. Сам он трудится в поте лица. Служащие получают у него жалованье выше, чем на других фабриках. Кроме того, они пользуются разными привилегиями. Все довольны. Благодаря Прошанто Дотто немалое число семей в этой бедной стране сводят концы с концами. Но иногда он задумывается: «А что я получаю взамен?»

Он самолично отправился в инспекционную поездку, чтобы наставить на путь истинный неисправного поставщика. Во время дождей туда на автомобиле не проехать. Единственное средство передвижения — повозка, запряженная волами, или лодка. Прошанто Дотто отправился в путь на лодке подобающих размеров, но она прохудилась, и покуда ее не починят, он наслаждается вынужденным отдыхом на кровати в тени дерева.

Слуга его попытался раздобыть в ближайшем доме стул для хозяина. Напрасный труд! В доме не оказалось ни одного стула. Да и очень многого не нашлось в этом доме. Куда ни глянь — того нет, сего нет. В конце концов из дома вынесли узкую кровать — наверняка семейное ложе. Одна ножка была сломана.

Прошанто Дотто спросил:

— Не можете ли вы подать мне чашку чаю?

Но в доме не было самого необходимого для приготовления чая. И пришлось обойтись без чаепития.

Прошанто Дотто, конечно, понимал, что дом этот не чайная. Но кто и когда упразднил обычай, согласно которому хозяева должны хоть чем-то попотчевать нежданного гостя?

Хозяева в смущении — еще бы, не смогли даже напоить гостя чаем, они предложили ему лимонный шербет. Прошанто Дотто не притронулся к этому напитку, зато хозяйская семья возбудила в нем некоторый интерес.

Муж, жена и сын лет десяти. Муж — прежде времени состарив-

шийся, тупой, никчемный человек. Зовут его Дину Бхаттачария. Жену зовут Башона (Желание). Имя ей очень подходит.

Прошанто Дотто поговорил с мужем. Он никак не мог понять, на что они живут. У них нет ни клочка земли, муж ничего не зарабатывает, и тем не менее они сыты и не голы.

Прошанто Дотто решил было облагодетельствовать семью, он без труда мог устроить мужу какое-нибудь место. Не важно, способен ли тот хоть на что-нибудь — Прошанто Дотто ничего не стоило бы платить ему двести пятьдесят или триста рупий в месяц. Но Дину Бхаттачария не согласился бросить дом и служить в Калькутте — Калькутта его пугала. Тогда Прошанто Дотто предложил ему стать местным агентом по закупке. Но одно упоминание о коровьих и свиных шкурах привело его в ужас. Он взглянул на Прошанто Дотто так, словно тот посланец самого бога смерти. Жрать нечего, а боится нарушить запреты касты.

Прошанто Дотто страшно рассердился. Если человек ни на что не годен, какое у него право обладать красавицей женой? Эта женщина ничего не видела за пределами своего очага и даже не подозревает о том, что у нее могут быть собственные надежды и стремления. А ведь ее можно назвать воплощением самой женственности.

Мало-помалу гнев Прошанто Дотто улегся. Он решил больше не ломать себе голову над участью мужа и жены. Сколько в стране таких беспомощных семей, тут уж ничего не поделаешь.

Починка лодки затягивалась. Лежать на кровати в одиночестве надоело. В лодке для Прошанто Дотто готовили обед. Видно, придется проторчать здесь какое-то время.

Прошанто Дотто подозвал хозяйского сына и заговорил с ним. Парнишка очень смышленый, несмотря на свой неотесанный вид. Мог бы стать человеком, получи он приличное образование. Но разве такой никчемный отец может дать образование сыну?

«У меня при себе сотни четыре рупий,— подумал Прошанто Дотто.— При желании я мог бы подарить им рупий триста. В их положении триста рупий покажутся им сокровищем семи раджей. Интересно, как они повели бы себя».

Но кто согласится выбросить триста рупий только ради того, чтобы увидеть, что за этим последует? Сколько сил и смекалки требуется, чтобы заработать такие деньги! А если ему захочется получить что-нибудь взамен? Но что? Прошанто Дотто в глубине души признавался: его неудержимо влечет к этой женщине. Было бы совсем неплохо насладиться ее телом.

Мгновенье спустя он прогнал эту мысль. Нехорошо. Пусть они бедняки... Да кем бы они ни были, семейная жизнь у них идет своим чередом, и ему не следует ее разрушать. Иначе пострадают извечные человеческие ценности. Не подлец же он какой-нибудь!

И все-таки взгляд его то и дело обращался к женщине по имени Башона. Красота ее здоровой плоти доставляла ему наслаждение. Как сладостно было бы провести рукой по всему ее телу. Но заяви он открыто о своем желании, все его осудят. Вот если бы это произошло украдкой, втайне, тогда, конечно, ничего страшного бы не случилось.

Жена Прошанто Дотто уж который год страдает астмой. Она родила ему двоих детей, но роды подорвали ее здоровье. Нет, его нельзя упрекнуть в том, что он не заботился о жене, уход за ней прекрасный, он даже по-своему любит ее. Но ведь он человек из плоти и крови, и, хоть целыми днями с головой в работе, время от времени его тревожат плотские желания. Люди называют это похотью! Он приличный, образованный человек, хорошо относится не только к своей семье, но и ко многим семьям, чье благополучие зависит от его фабрики, но пожелай он чего-то взамен за свои старания — сраму не оберешься. А попробуй заведи любовницу в гостинице, прослы-

вешь развратником. Нельзя! Но справедливо ли, что здесь зря пропадает прекрасное женское тело.

Прошанто Дотто снова подозвал парнишку. Вынул из бумажника триста рупий и, ничего не объясняя, сказал:

— Отнеси матери!

Парнишка вытаращил глаза.

— Ступай же,— приказал ему Прошанто Дотто.— Чего стоишь? Отдай это матери.

Парень бросился бежать к дому, а Прошанто Дотто стал покачивать ногой с довольным видом. У него появилась новая и очень занимательная игра. Дину Бхаттачария незадолго до этого ушел из дому — интересно, как поступит его жена с деньгами!

Башона вышла из дома, держа сына за руку. Взволнованное лицо ее заливал румянец. О нет, она была не робкого десятка.

— Зачем вы прислали столько денег? — спросила она без всякого смущения.

— Очень уж вы пришлись мне по сердцу,— смиренно ответил Прошанто Дотто.— И мне захотелось дать вам немного денег. Может, пригодятся на обучение сына...

— Так много?

— Да что вы, какой пустяк.

— Нет, нет, это невозможно!

Башона положила деньги на кровать. Прошанто Дотто смотрел на нее как зачарованный. На это он и надеялся.

Отдай он деньги мужу, тот наверняка бы от них не отказался. Конечно бы, притворялся долго, будто не хочет их брать. Но что бы на этом выиграл Прошанто Дотто? Он не получил бы ни малейшего шанса заговорить с его женой.

Башона пошла к дому.

— Послушайте,— окликнул ее Прошанто Дотто.

Она обернулась.

— Мне бы очень хотелось вам чем-то помочь,— мягко сказал он.

— Но ведь вы предлагали моему мужу место?

— Может быть, эти деньги жгут вам руки, потому что я скупаю сырые шкуры? Но деньги-то не пахнут.

— Нет, нет, этого я не говорила. Только можно ли ни за что ни про что взять у кого-нибудь столько денег?

— Ну... предложите мне что-нибудь взамен.

— Да найдется ль у нас что-нибудь стоящее?

«Твое тело»,— мысленно произнес Прошанто Дотто. Но вслух ничего не сказал. Сказать: я, мол, желаю заполучить твое тело в обмен на деньги было бы чудовищной грубостью. А если это любовь? Когда-то Прошанто Дотто не мог устоять перед любовью, но теперь он слишком занят и у него нет на это времени. Что, если он вдруг скажет ей: «Я хотел бы тебя любить. Ты примешь мою любовь?»

Но эти люди так бедны, к чему ей бескорыстная любовь?

Башона не спеша удалилась и скрылась в доме. Прошанто Дотто, не отрываясь, глядел ей вслед. Теперь в его взгляде не было вожделения. Он был очень доволен. Все шло как надо. Взяв деньги, она сразу упала бы в его глазах.

Между досками кровати были щели. Если засунуть деньги в щель, хозяева найдут их через день-другой. И тогда уж никак не смогут их вернуть. Прошанто Дотто примерился даже, но деньги в щели не оставил. Не пристало ему разыгрывать из себя благодетеля. Он обыкновенный человек, а вовсе не посланник богов. Ему не чужды желанья и страсти! Он всегда стремится получить хоть что-нибудь за свои деньги.

Вернется муж, и она наверняка расскажет ему про деньги. Что он тогда сделает? Огорчится? Попрекнет жену? Может быть, изобьет? Все эти никчемные люди — большие мастера колотить своих жен.

Слабые мужчины хуже всех относятся к своим женам. Прошанто Дотто задумался: «А если я навлеку на нее жестокость мужа? Вот уж чего бы мне не хотелось».

Прошанто Дотто постоянно сопровождал доверенный слуга по имени Ротнеш. Он — его друг детства, только не получил почти никакого образования. Теперь служит у Прошанто Дотто, и, хоть говорит ему «ты», фактически Ротнеш его телохранитель. Это человек очень сильный и безжалостный, готовый на все.

Ротнеш в лодке отчитывал гребцов. Прошанто Дотто подозвал его:

— Готов ли обед? Я проголодался.

— Обед готов. Руки помоешь?

— Не хочется вставать. Принеси сюда.

— Ты хочешь обедать здесь?

— Да.

— А вдруг птичка с дерева...

— Ничего, ничего — хоть какое-то разнообразие.

Куриный суп, рис. Гребцы-мусульмане готовят неплохо. Пожалуй, многовато перца. Вытянув губы, он стал прихлебывать суп. Обед был почти съеден, когда из дома вышел парнишка с миской в руках. Он поставил миску перед Прошанто Дотто и смущенно сказал:

— Вот, мама вам послала...

Миска была полна до краев белым дробленым горохом. Прошанто Дотто не знал, как называется этот сорт гороха. Сперва он подумал, не вернуть ли угощение — у него не было ни малейшего желания есть горох. Но отказываться, наверно, было бы неприлично. Одно дело — отказаться от предложенных ни с того ни с сего денег, но не принять угощение!..

Он неохотно отправил в рот щепотку гороха. Вкусно. Горох был приправлен кусочками тыквы и бальзамина. Прошанто Дотто вспомнилась мать. Она точно так же готовила горох. После смерти матери ему ни разу не случалось отведать это блюдо. Ешь его, и нутро словно остужает прохлада. Он съел все до последней крошки, и его охватило небывалое блаженство. Слезы благодарности выступили на его глазах. Подумать только, не прохудись лодка, он не сошел бы на берег. Под деревом пронесся легкий ветерок, жара спала, на речной глади сверкают солнечные блики. Добрая женщина прислала ему кушанье, приготовленное собственными руками,— это ли не счастье!

Он помыл руки, закурил сигарету и сказал парнишке:

— Позови-ка маму.

Башона тем временем искупалась, волосы у нее были влажные. Она смущенно остановилась перед ним. Прошанто Дотто пристально посмотрел на нее и сказал:

— Очень вкусно.

— Вам понравилось? — тихо проговорила Башона.— Я-то думала, станете ли вы есть.

— Давно не едал я так вкусно. У вас много достоинств. Я отведал вашей стряпни, занял вашу кровать, но знаю, увы, ничем не могу вас отблагодарить.

Сам же он думал, насколько приятнее было бы говорить эти слова, прикоснись он сейчас к телу этой женщины, обними ее за талию... Нет, чувство благодарности не избавило его от соблазна.

Башона взяла миску и смущенно пробормотала:

— Стоит ли об этом говорить?

И вдруг у него непроизвольно вырвалось:

— Вы уехали бы со мной?

Она удивленно подняла лицо, не понимая.

— Вы уехали бы со мной? — твердо повторил Прошанто Дотто.— Здесь вам не место. Я позабочусь о том, чтобы вы ни в чем не нуждались.

Башона побелела. Словно онемев, она растерянно смотрела на него, потом, опомнившись, чуть ли не бегом скрылась в доме. И тут вдали показался Дину Бхаттачария.

Прошанто Дотто захотелось надавать себе пощечин. Ну зачем, зачем он проговорился! Разве не мог он уехать отсюда, довольствуясь тем, что было — ощущением доброты и счастья, воспоминаниями чудесного дня? Судьба обделила Дину Бхаттачария, зато ему досталась добрая, здоровая жена — зачем же он хочет отнять у него последнее? Неужто на свете нет других женщин? Но его по-прежнему терзала мысль, что здесь этой женщине не место. Башона должна была достаться ему, а не Дину Бхаттачария! Уж он бы смог о ней позаботиться. Что тут плохого, если б она хоть раз пошла навстречу его желанию?

«Башона могла и не сказать мужу о деньгах,— подумал он вслед за этим,— но вряд ли она не расскажет ему о гнусном предложении чужого мужчины? И как он к этому отнесется?» Его одолевало любопытство.

Вскоре появился Дину Бхаттачария.

Он присел возле гостя и завел речь о том о сем. Прошанто Дотто вперил в него взгляд, стараясь понять, не притворяется ли он. Может, узнал обо всем и скрывает? Нет, не может быть.

— Значит, вы не принимаете мое предложение? — спросил он наконец.

— Могу ли я, сын брахмана, скупать коровьи и свиные шкуры? Разве за пару рупий порвешь с верой предков? Вы человек известный — вот если бы вы сделали что-нибудь для сына...

Прошанто Дотто отделил от пачки денег бумажку в десять рупий и протянул Дину Бхаттачария.

— Вот, возьмите, купите ему сладостей.

— Нет, нет, зачем же?

— Берите, это для сына.

Дину Бхаттачария, не раздумывая больше, сунул деньги в карман. Прошанто Дотто засмеялся:

— Я чамар [1] и понятия не имею о приличиях и благородных манерах; вот опасался только, как бы мои деньги не нанесли урон вашей чести.

Тут ему в голову пришла новая идея. А ну как кто-нибудь украдет жену Дину и, потешившись день-другой, вернет назад? Примет ли муж ее в дом? Или же и это будет стоить ему касты? Сам-то он как — проживет ли без ее помощи?

Когда Дину Бхаттачария ушел, Прошанто Дотто позвал к себе Ротнеша и спросил:

— Ты видел женщину из этого дома?

— Видел, когда она купалась в реке,— ничуть не удивился Ротнеш.— Фигура у нее что надо.

— Да, такую не часто встретишь.

Поняв намек, Ротнеш сказал:

— Поблизости никого нет. Как только они живут здесь одни? И не боятся ни воров, ни разбойников?

— Да что у них взять?

— А разве ради женщины не идут на преступление? Да еще ради такой.

— Это верно,— задумчиво ответил Прошанто Дотто.

К вечеру лодка была починена. Прошанто Дотто сидел в каюте.

— Я сейчас,— сказал вдруг Ротнеш.

Он вошел в хижину. Не тратя лишних слов, он нанес Дину Бхаттачария два сокрушительных удара, промеж глаз и в живот. Дину упал навзничь. Ротнеш с мешком за плечами поднялся в лодку и сошел в каюту, грозно крикнув гребцам:

[1] Представитель низшей касты кожевников.

— Ну-ка, навались на весла!

— Что ты натворил? — встревоженно спросил Прошанто Дотто.

— Почему не потешиться, коли есть охота.

— Я ведь тебя не просил.

— Чего уж теперь стесняться. Подумаешь, экая важность. Я сразу отнесу ее назад. Все обойдется в каких-нибудь тридцать рупий.

Башона смотрела на Прошанто Дотто широко раскрытыми глазами.

— Я спрашивал вас,— сказал Прошанто Дотто,— не поедете ли вы со мной? Вы мне ничего не ответили.

Башона закричала как безумная:

— Нет!.. Я выпью яд!

— У вас при себе яд? Лично я не держу яда. Я снова спрашиваю: поедете вы со мной? Можете взять с собой сына, если хотите.

— Нет!

— Вы мне очень нравитесь, но не в моем обычае насиловать женщин. Ротнеш, отведи ее назад.

— Ах, тебе она не приглянулась; ну, я и сам могу позабавиться. Раз уж принес, пусть будет за мой счет.

Башона смотрела в лицо Прошанто Дотто, в голосе ее звучали слезы:

— За что, за что вы погубили меня?

Прошанто Дотто заговорил бесстрастно и внушительно:

— Дом ваш стоит в безлюдном месте, вас может в любую минуту похитить какой-нибудь негодяй. Ротнеш — сущий разбойник. Представьте, что сегодня произошло нечто подобное. Ваш муж не способен защитить вас. А я здесь всего лишь зритель.

— Сжальтесь.

— Речь идет не о жалости. Я почувствовал к вам влечение. Разве в таком состоянии человек способен на жалость?

— А я думала, вы хороший человек.

— Я и сам считаю себя хорошим человеком. Но разве хорошим людям чужды желания и страсти? И все же, предлагая вам деньги, я ничего не требовал взамен. Мое желание никак с этим не было связано.

Прошанто Дотто грустно вздохнул. Потом метнул на Ротнеша испепеляющий взгляд:

— Здесь не место бесчинству. Сию минуту отведи ее назад.

Лодка остановилась и причалила к берегу. Ротнеш отправился проводить женщину.

Прошанто Дотто взглянул на часы.

— Чтоб тут же был здесь! — крикнул он ему вслед.— И никаких глупостей.

Когда Ротнеш вернулся, Прошанто Дотто, сидевший с суровым видом, помолчав, спросил:

— Муж примет ее назад?

— Почему же нет?

— Таков обычай.

— Да брось ты!

— Как может тот, кто потеряет касту, коснувшись шкуры убитого животного, принять обратно женщину, с которой переспал другой мужчина?

— Так ничего же не было.

— А кто поверит?

— Не твоя это забота.

Прошанто Дотто встал.

— Мне бы хотелось взглянуть, что с ней.

Ротнеш, встревоженный, стал доказывать хозяину: возвращаться, мол, глупо и опасно. Но Прошанто Дотто его не послушал и сошел на берег. Неслышно подобрался к хижине. Сквозь щель в заборе видно,

что делается внутри. Мигает коптилка. Дину Бхаттачария держит жену в объятиях и рыдает как малый ребенок.

Прошанто Дотто удалился. Поглядел на реку, глянул на небо. Оно было усыпано звездами, в реке ритмично плескались волны. Прекрасная ночь. Прошанто Дотто обратил глубокий вздох ко всей этой красоте и пробормотал:

— Никчемный малый!

Сон и пробуждение

Когда-то здесь протекала большая река, об этом можно догадаться и сейчас, хотя следов от нее почти не осталось. Теперь в пересохшем русле выращивают горчицу, и ее мелкими цветами играет ветер.

Тапош вытянул руку и сказал:

— Река была шириной отсюда и вон до той смоковницы.

Отлогие склоны оврага дают представление о ширине бывшей реки, но воды в нем нет вовсе. Я еще не встречал мертвых рек, и мне стало как-то грустно.

— Отчего же ушла река? — спросил я.

— Да это не редкость,— ответил Тапош.— Реки часто меняют русло. То же самое произошло и здесь.

— И даже в сезон дождей тут не бывает воды?

— Нет, почему же? После дождей разливаются даже пруды и лужи. Только вода эта стоячая. Через день-другой все уйдет в землю.

На дальнем поле работают несколько крестьян. Кроме них, вокруг ни души. Есть только огромный дом, можно сказать дворец.

Дом не такой уж старый. Ему лет семьдесят или восемьдесят. Возраст почтенный для человека, но для дома — пустяк. Он в полном расцвете сил. Сохранились даже синие стекла, вставленные в рамы при постройке.

Дом построил прадедушка Тапоша. Прадедушка был человеком с фантазией. Река тогда была еще жива, а вокруг было красиво. Прадедушка воздвиг на берегу обитель отдохновения. Конечно, строить для этого огромное здание было не обязательно. Да, в те времена люди не умели строить скромнее. И потом у них водились деньги.

Но пробил час и для этого прекрасного сооружения. Река высохла. Люди покинули здешние края. Среди полей дом выглядит нелепо. Настоящих заминдаров больше нет, да и у семьи Тапоша теперь положение не то, что прежде. Такой огромный дом им ни к чему.

Содержание его обходится недешево. К тому же за весь год почти никто из членов семьи сюда не заглядывает — и сохранять дом нет никакого смысла.

И к делу его тоже не приспособишь. Кто станет снимать этакий домище в здешних местах. Не годится он и под фабрику — железная дорога очень уж далеко.

Семья Тапоша хотела преподнести дом в дар правительству, но оно не проявило никакого энтузиазма.

Устраивать в доме школу, колледж или больницу в этом безлюдном месте тоже бессмысленно. Поблизости ни одного шоссе, ни единого автобусного маршрута. Поместили объявление о продаже, но это было мертвое дело. Семья Тапоша пришла в ярость и решила пустить дом на слом. По крайней мере можно будет продать оконные рамы, двери да часть кирпича. А иначе все пропадет даром.

Третьего числа следующего месяца состоится аукцион. Тапош с женой приехал сюда в последний раз на несколько дней. Притащил с собой и меня.

Кто не огорчится, услышав, что сломают такой дом? Словно у него нет права на существование просто потому, что он прекрасен. Но сейчас мерило всего — польза. А я думал: будь у меня деньги, не-

пременно купил бы этот дом. Только что бы я стал с ним делать? Да ничего. Пусть бы себе стоял да стоял.

Тапош и Мили провели меня по всему дому. На втором и третьем этаже четырнадцать комнат. На первом — помещения для прислуги. Теперь там, разумеется, живет только один слуга да еще сторож. Многие комнаты давно не открывались.

Мы разместились в двух соседних комнатах в южном крыле второго этажа. Собирались-то мы ехать сюда целой компанией, но у всех вдруг нашлись дела. Двое-трое все же обещали: мол, приедут непременно, но в последний момент не смогли.

Дневное время мы проводим великолепно. Прохладно. Мы сидим на просторной веранде, подставив солнцу спину, и часы летят незаметно. В полдень долгий сон. Потом, проснувшись, пьем чай, и так наступает вечер.

Но вечером у нас не все ладится. В городском доме двое мужчин и одна женщина чувствовали бы себя вполне непринужденно. Но здесь мы были единственными живыми существами в безлюдной пустыне, и нас подавляло ощущение своего одиночества. Слуга и сторож на первом этаже не подавали никаких признаков жизни, и когда что-нибудь было нужно, приходилось кричать им.

Электричества не было, по вечерам нас обступала непроглядная тьма. Два керосиновых фонаря не могли пробить в ней брешь. Тапош захватил с собой транзистор и магнитофон. Но сколько можно слушать песни? И чтобы как-то нарушить однообразие, Тапош доставал бутылку виски.

Тут возникала другая сложность. Нет, Мили вообще не против выпивки. Но вот что она говорила:

— Вы тут будете сидеть и пить. А мне что прикажете делать? Ведь трезвому с пьяными не о чем разговаривать.

Мы пытались уговорить Мили выпить немного виски. Но она не переносит и запаха спиртного. Ее от него тошнит. Правда, однажды на вечеринке Мили попробовала шерри, и ей очень понравилось. Мили хочется шерри. Да где его взять?

Тапош и Мили женаты уже четыре года, но детей у них нет. Мили любит наряжаться. Здесь и глядеть на нее некому, тем не менее вечером она принимает ванну и выходит к нам разодетая как на прием. Играет магнитофон. Тапош наливает виски в стакан, и тут вступает Мили:

— Ну, опять завелись. Проваляешься теперь всю ночь, как бревно, никак тебя не добудишься.

В жилах у Тапоша течет кровь заминдаров. Он ничуть не боится своей жены. Отметая ее возражения, он открывает бутылку. Но я ощущаю некоторую неловкость.

На третий вечер я спросил:

— А не водятся ли здесь привидения?

— Привидения? — рассмеялся Тапош.— С каких это пор ты поверил в духов?

— Да я не о том. Просто дом очень уж старый. О таких домах вечно рассказывают всякие истории.

— Жаль мне тебя разочаровывать, но, увы, мне не о чем рассказать тебе. Никто никогда не видел в нашем доме ничего сверхъестественного. В те времена, когда здесь живало наше многочисленное семейство, по дому частенько расхаживало человек тридцать—сорок сразу. Все комнаты держали открытыми, и никто ничего не замечал.

— Может, слуги что-нибудь видели?

— Ни разу от них ничего не слышал. Ты что, ищешь сюжет для рассказа?

Мили слушала молча. Взглянула на меня, подняв голову, и спросила:

— Почему вы вдруг заговорили о привидениях?

— Если бы в доме обитали привидения,— ответил я,— у нас появилось бы хоть какое-то общество. А то ведь нам все время кажется, будто здесь кого-то не хватает.

— И вы не боитесь привидений?

— Немножко, по ночам, а днем совсем не боюсь. Да и потом теперешние привидения ведут себя вполне прилично. Уж если пугают, то не очень.

— Не знаю, существуют ли привидения,— помолчав, сказала Мили,— но мне кажется, с этим домом связана какая-то тайна.

— Что вы хотите этим сказать? — заинтересовался я.— Может быть, вы что-нибудь заметили?

— Да.

— Неужели? Почему же вы ничего не сказали раньше? Это случилось теперь или в какой-нибудь прошлый приезд?

— Нечто необъяснимое происходит всякий раз, как я приезжаю сюда. Я не могу толком объяснить, что это. Мне кажется, будто меня кто-то зовет.

— Нонсенс,— вмешался Тапош.

— Что бы со мной ни случилось, ты всегда говоришь «нонсенс»,— обиделась Мили.

Я остановил Тапоша:

— Постой, дай узнать, в чем дело.

— Да ни в чем. Просто Мили больна. Знаешь, что такое сомнамбулизм? Одержимые этой болезнью бродят по ночам во сне. Говоря попросту, они лунатики. Вот и Мили, бывает, встает по ночам и отправляется на прогулку.

— Вовсе я ничем не больна,— сказала Мили.

— Ах, вот как,— сказал Тапош,— не твой ли собственный дядя рассказывал, как ты в детстве не раз уходила из дома по ночам?

— Ну, когда это было?

— Значит, теперь начался рецидив.

— Но почему именно здесь?

— Лучше возьми себя в руки, и все сразу встанет на свое место.

— Вы сказали, что вас кто-то зовет,— спросил я Мили,— но видели вы кого-нибудь воочию?

Но Тапош не дал ей ответить.

— Оставим этот разговор,— раздраженно заявил он,— мне надоела пустая болтовня.

Тапош в кругу своих друзей слывет отъявленным атеистом. Не верит ни в бога, ни в черта.

Мили вдруг встала и ушла к себе. Я понял: она обиделась.

Все случилось в ту же ночь. После того как ушла Мили, мы долго еще сидели с Тапошем. Он во что бы то ни стало хотел прикончить бутылку. Слуга раза два приходил спросить, не накрывать ли на стол, но Тапош прогонял его прочь. Он допил бутылку и сильно опьянел. Сам я пил мало. Но Тапош уже на ногах не стоял. Я кое-как дотащил его до обеденного стола. Только ему было не до обеда. Он все разбрасывал еду по столу.

Мили сидела за столом с суровым и неприступным видом. Я чувствовал себя в какой-то степени виноватым. Может быть, Мили считает, что я спаиваю ее мужа? Все жены так думают.

Вставая из-за стола, я спросил Тапоша:

— Отвести тебя в спальню?

— Я сама,— вмешалась Мили.— Не беспокойтесь.

Я ушел к себе и лег. У меня привычка — читать перед сном. Но при керосиновом фонаре не очень-то расчитаешься. Я погасил свет, и тотчас со всех сторон нахлынула непроницаемая тьма.

Спал я долго. Потом, сам не знаю отчего, проснулся. Бывает, сон обрывается и появляется смутное ощущение, что ты вот-вот про-

снешься. А иногда сон улетает мгновенно, и глаза открываются сразу, будто ты и не спал вовсе. Со мной так и случилось. Едва раскрыв глаза, я спустил ноги с кровати. И тут же увидел, что дверь в мою комнату распахнута.

Меня это нисколько не смутило. Наверно, я сам не закрыл ее. А может, ее распахнул ветер. Воров здесь нет, и всякие предосторожности излишни.

Я вышел из комнаты. Дверь в комнату Тапоша и его жены была закрыта. Справа тянулась просторная длинная веранда, тускло освещенная лунным светом.

Я безотчетно устремился вперед. Мертвую тишину нарушал лишь шум моих шагов.

По одну сторону веранды — лестница. Все так же бессознательно я поднялся по лестнице на третий этаж. Здесь была точно такая же веранда. Я прошел по ней до самого конца. Дальше начинался балкон.

На балконе спиной ко мне стояла женщина. Волосы волной падали по ее плечам. В руке она держала свечу, пламя свечи колебалось на ветру.

И тут мне вдруг стало страшно. Зачем я сюда пришел? И кто эта женщина?

Женщина обернулась — наверно, на звук моих шагов. Мили! Она ничуть не удивилась, даже не вздрогнула. Улыбнулась.

— Наконец-то. Почему вы так долго не шли?

У меня пересохло в горле. Не в силах произнести ни слова, я стоял как столб.

Мили подошла и взяла меня за руку:

— Посмотрите...

— Куда? — тупо спросил я.

Она подвела меня к краю балкона:

— Взгляните прямо перед собой. Я давно уже здесь стою. Думала, вы придете раньше.

Перед глазами поле, озаренное лунным светом. Все словно в тумане.

— Видите, сколько воды в реке,— сказала Мили.— Река ожила. Люди вернутся сюда. И не придется ломать дом.

Мне показалось, будто река и впрямь полна воды и волны играют в лунном сиянии.

— Какая красота,— прошептал я.

— А что я вам говорила? Теперь убедились? Поверили?

Скоро я понял: это только обман зрения. Там, в высохшем русле реки, всего лишь горчичное поле.

— Разве не хочется вам простоять здесь всю ночь? — спросила Мили.

— Мили,— сказал я,— ступайте к себе.

— Не пойду,— тихо отвечала она.— Вы не побудете здесь со мной?

— И долго вы собираетесь здесь оставаться?

— Сколько захочу.

— Нет-нет, ступайте к себе.

Едва я дотронулся до ее руки, она вдруг прижалась ко мне. У нее был блаженный, счастливый вид. Глаза закрыты. Я потянул ее за руку. Мили больше не противилась.

Когда мы спустились на второй этаж, она высвободила руку и выпрямилась. Потом сказала:

— Кроме нас с вами, никто не видел эту реку.

И прежде чем я успел ответить, она скрылась за дверью. Я постоял немного и вернулся к себе.

Утром я встал поздно. И первое, о чем подумал, раскрыв глаза: было ли явью мое ночное приключение? Может, все это мне приснилось? Было или не было? Я не знал, что и думать.

Я встал и прошел на третий этаж. Выйдя на балкон, я убедился, что действительно побывал здесь минувшей ночью. На полу валялся огарок свечи. Значит, и Мили была здесь.

Утром лицо у нее было совсем другое — свежее после умыванья. Каждое слово Тапоша она встречала с улыбкой. Я понял: они помирились.

Мили не проронила ни звука о событиях прошлой ночи. В ее обращении со мной не ощущалось ни малейшей натянутости. Весь день я наблюдал за ней. Неужто она начисто забыла о ночном приключении? Но раз уж она молчала, не мог же я сам рассказать об этом Тапошу.

Мили, в конце концов решил я, обо всем забыла или же она удивительная притворщица. Я слышал, лунатики ничего не помнят о своих ночных похождениях. Наверно, здесь тот самый случай.

Но все же тут оставалась одна тайна. Почему Мили не вздрогнула при моем появлении? Отчего, увидев меня, сказала: «Наконец-то. Почему вы так долго не шли?..» Ведь мы не назначали с нею в ту ночь свидание. Нет, на это не было и намека!

Почему сам я проснулся среди ночи и пошел на третий этаж? Я и не подозревал, что встречу там Мили.

Значит, я тоже гулял во сне? Но я-то все помню.

Я так и не решился рассказать Мили о ночном происшествии. Кто знает, вдруг она мне не поверит!

Грех и добродетель

Дождь моросил с утра. Время от времени он затихал, но небо не прояснялось. Так продолжалось весь день, а к вечеру полило как из ведра.

В этакое ненастье сидеть бы дома. Самое время понежиться в постели. Но кражи, разбой и драки не прекращаются и в непогоду — в полицейский участок идут и идут люди.

Электричество сюда еще не добралось. На столе горят два керосиновых фонаря, да и их, того гляди, задует ветер.

— Эй,— крикнул Рахман-саиб,— закройте двери и окна!

Затем он отодвинул от себя журнал происшествий и закинул ноги на стол. Ослабив ремень, он сказал:

— Ну, на сегодня хватит. Больше не могу. Эй, Али, принеси-ка жареного риса!

Али тощ, кожа да кости, трудно сказать, сколько ему лет. Может, тридцать, а может, и все пятьдесят. Он тотчас бросается исполнять любой приказ.

Рахман-саиб — крупный мужчина. Кожа у него светлая, усы густые. Голос зычный. Но человек он хороший. Даже простые люди могут говорить с ним не таясь.

Рахман-саиб вынул из кармана рупию:

— Пойди купи риса и чего-нибудь жареного в масле. Да чтоб было горячее! Нет горячего, подожди, пока приготовят. Понял?

Али сложил ладони перед грудью:

— Да, господин.

— Не вернешься через десять минут,— со смехом пригрозил Рахман-саиб,— голову оторву. Бегом марш! Да захвати зонтик.

Али ушел, а Рахман-саиб принялся рассеянно раскачивать ногой.

Вот уже три дня как субинспектор Дхирен Саха лежит в жару. Единственный грамотный полицейский Джогодиш Трипатхи перевелся в другое место, а вместо него пока никого не прислали.

На скамейке, притихнув, сидят мелкие воришки, дебоширы и жулики. Все они хорошо знают: если начальник проголодался, лучше его не тревожить.

За дверью полицейские Хорнатх и Сиддики обмениваются жевательным табаком. Хорнатх заступает на ночное дежурство, а у Сиддики смена заканчивается. Но раз начальник послал за рисом, значит, придется задержаться.

Али обернулся быстро. Расстелил на столе газету и вывалил на нее жареный рис. Принес он и картофельные катыши, жаренные в масле.

Рахман-саиб бросил в рот пригоршню риса.

— А где зеленый перец? — внезапно спросил он.— Перец не принес?

— Нет, господин.

— Когда ты поумнеешь? — упрекнул его Рахман-саиб.— Кто же ест жареный рис без зеленого перца? Ступай и принеси.

Али побежал за перцем.

— Хорнатх, Сиддики, где вы там? — позвал Рахман-саиб.— Идите сюда.

Воры и жулики тихо сидели на своей скамейке. Рахман-саиб кинул взгляд в их сторону. Он благородный человек и не может есть, когда другие смотрят.

— Хорнатх,— сказал он,— дай каждому по горсти. Они давно уже здесь сидят.

Хорнатху очень не понравилось, что начальник угощает всякое ворье жареным рисом, да еще купленным на свои деньги. Он отсыпал каждому крохотную горсточку, приговаривая с презрением:

— Берите, ешьте, начальник угощает.

Когда вернулся Али, от жареного риса почти ничего не осталось.

— Пока ходил за солью, пришел конец застолью,— усмехнулся Рахман-саиб.— Не сходишь еще разок? Что может быть лучше жареного риса в такую непогоду?

Вместе с Али в комнату вошел еще кто-то. Его скрывала тень.

— Кто это? — спросил Рахман-саиб.

Человек шагнул вперед:

— Это я, господин, Пратап Синг.

На нем было мокрое дхоти, сам — худой как скелет, с виду словно год не имел во рту ни крошки. Пратап Синг говорит только на бенгали. Трудно поверить, что такого человека могут звать Пратап Синг[1]. Но в Муршидабаде смешались племена и наречья. Сколько раджпутов, патханов и пенджабцев пришли сюда когда-то в поисках удачи — потомки многих из них смешались с местным населением.

Сам Пратап Синг раньше был мелким вором, а теперь он — полицейский осведомитель, открыл табачную лавку, где торговал сигаретами местного производства.

Рахман-саиб недоволен Пратапом Сингом. Тот часто приносит вздорные вести.

— Что тебе нужно на этот раз? — спросил его Рахман-саиб.

Пратап сделал еще два шага и сказал:

— Господин, есть верные сведения.

— Что именно?

Пратап Синг подошел вплотную и стал что-то нашептывать прямо в ухо Рахман-саибу. А тот знай себе подбирал со стола и бросал в рот остатки жареного риса.

— Это правда? — внезапно спросил он. В голосе его послышалось волнение.

— Видел собственными глазами.

— Ты и раньше чего только не видел собственными глазами.

— Нет, теперь ошибки быть не может.

Рахман-саиб деловито затянул ремень и встал.

— Али! — крикнул он.

[1] Типично раджпутское имя.

— Что прикажете? — спросил прибежавший Али.

— Пойдешь со мной. Кого еще взять? Хорнатх!..

— А в участке кто останется? — возразил Хорнатх.

— Верно. Кто-то должен остаться в участке. Ты заступил на дежурство. С собой надо взять полицейского с оружием. От Али мало проку. Значит, пойдет Сиддики.

Сиддики не возражал, хотя его дежурство и кончилось.

Сколько раз писали в окружное управление, но полицейский участок до сих пор не имел своего джипа. Вот и приходилось начальнику разъезжать на велосипеде. Сиддики посадил к себе на багажник Пратапа Синга.

Пратап Синг принес сведения о Шибмонголе. Вот уже год как все попытки схватить его ни к чему не приводят. Будь Шибмонгол обычным преступником, Рахман-саиб ни за что бы не отправился искать его в такую непогоду. Но циркуляр о Шибмонголе прислали из самого Дели. Он переправляет за границу произведения искусства, представляющие национальную ценность, похищая их из музеев, которые охраняют сотни сторожей.

Дождь приутих, но ветер не унимался. Кругом тьма, хоть глаз выколи.

— Теперь куда? — спросил Рахман-саиб.

— Господин,— ответил Пратап Синг,— это за площадью, на самом берегу Ганга. В доме Чополы.

Рахман-саиб был поражен. Чополу он знал. Это — одна из проституток, поселившихся на берегу. К ним заглядывают крестьяне, приезжающие на ярмарку со своим небогатым товаром. Что делать там Шибмонголу?

Дерзкий вор этот был уже стар. Много лет он водил полицию за нос. Сейчас ему, наверно, шестьдесят, не меньше. Но как он оказался в доме проститутки?

— Господин,— сказал Пратап Синг,— Чопола его дочь.

Рахман-саиб остолбенел. Ему было известно, что Шибмонгол, вор он или не вор, выходец из благородной семьи, потомок знатного рода. Дядя Шибмонгола — крупный бизнесмен в Калькутте. Другой его дядя по политическим мотивам сидел в тюрьме — доживи он до завоевания независимости, наверняка стал бы министром. И как это из одной семьи выходят такие разные люди? Шибмонгол тоже Синг, но многие в его семье совершенно обенгалились и пишут Шингхо вместо Синг.

Почти во всех домах проституток темно. В такую ночь клиентов не жди; окна и двери на запоре, девушки безмятежно спят под шум дождя. Окна и двери в доме Чополы тоже закрыты, но сквозь щель пробивается тусклая полоска света.

Рахман-саиб слез с велосипеда и двинулся дальше пешком.

— Откуда ты получил свои сведения? — спросил он у Пратапа Синга.

— А я время от времени бываю у Чополы,— признался Пратап Синг.

— И сегодня заходил?

— Да, господин.

— И что же?

— Увидел, что у Чополы кто-то есть. Из любопытства заглянул в щель забора.

Внезапно Пратап Синг остановился:

— Вы постучитесь в дверь, я дальше не пойду.

С этими словами Пратап Синг повернул назад и растаял во тьме. Рахман-саиб посмотрел ему вслед и усмехнулся. Сыщется ли на свете другой такой тип? Сам воровал, а теперь помогает полиции ловить воров. Заходит к Чополе, но, видно, других девушек не навещает. Иначе мог бы заглянуть сегодня в любой дом. Видно, Чопола чем-то

его приворожила. А он соблазнился вознаграждением и сообщил в полицию об ее отце. Потом наверняка заглянет к Чополе и посочувствует, узнав, что отца схватили.

— Стойте позади,— сказал Рахман-саиб Али и Сиддики.— Если старик попытается удрать, стреляйте без предупреждения.

Он постучал в дверь. Приглушенные голоса в доме тотчас умолкли.

Рахман-саиб постучал снова. За дверью послышался голос Чополы:

— Занята, занята. У меня человек на всю ночь.

Рахман-саиб стукнул в дверь посильнее. Как только она приоткрылась, он протиснулся внутрь.

При виде начальника Шибмонгол вскочил. На большой фарфоровой тарелке перед ним чечевица, рис и вареный картофель. Шибмонгол только-только начал свою трапезу. Рядом с тарелкой в двух больших серебряных чашах творог и простокваша.

Шибмонгол молча шевелил пальцами, испачканными в еде. Чопола побелела от страха.

— Сиддики! — позвал Рахман-саиб.

В дом вошел Сиддики с винтовкой в руках.

— Стань рядом с ним! — приказал Рахман-саиб.

Сиддики встал рядом с Шибмонголом, ухватив его за плечо.

— Господин,— взмолилась Чопола плачущим голосом,— дайте ему поесть. Хоть горстку риса...

— Его коснулся мусульманин,— сказал Рахман-саиб,— какая тут может быть еда?

— Я умираю с голоду,— сказал Шибмонгол,— пока не поем, с места не сдвинусь.

— Сиддики, отпусти его!

Шибмонгол сел. Отправил в рот пару горстей и поднял голову.

— Чопола, усади господина начальника.

В комнате Чополы можно сесть лишь на кровать. Рахман-саиб на нее не сядет.

Чопола соорудила для него сиденье на полу. Сидеть на полу лицом к лицу с преступником — смех да и только. И все же Рахман-саиб уселся.

— Господин, может, выпьете чаю?

— Нет.

Шибмонгол ел сосредоточенно. Чопола принесла миску с рисом:

— Возьми еще.

— Давай,— сказал Шибмонгол.— Есть еще чечевица?

— Есть.

Рахман-саиб не отрывал от них глаз. Дочь заботливо угощала отца. Сейчас Чопола выглядела как девушка из приличного дома. Она не накрашена, в обычном сари с красной каймой, а не в прозрачном нейлоновом. А вот не постеснялась сказать при отце: у меня человек на всю ночь.

Рахман-саиб усмехался, глядя, как ест Шибмонгол. Не во всяком доме найдется даже дешевый китайский фаянс, а тут тарелки из настоящего фарфора. Две серебряные чаши. Вода, конечно, в стеклянном стакане. Шибмонгол наверняка купается в деньгах. Интересно, на что он их тратит. Во всяком случае, его дочери приходится жить в квартале проституток.

Шибмонгол опустошил тарелку и обе чаши. Затем попросил:

— Господин, разрешите вымыть руки.

Рахман-саиб сделал Сиддики знак глазами: ступай с ним!

Потом приказал Али:

— Пойди вымой тарелку и чаши. Придется забрать все это в участок.

По лицу Али было видно: он возмущен тем, что его заставляют

мыть грязную посуду, из которой ел вор-индус. Но Рахман-саиб прикрикнул на него.

— Делай, что говорят!

— Я помою,— сказала Чопола,— тут же, у двери.

— А где все остальное? — спросил Рахман-саиб.

— Я ничего не знаю,— сказала Чопола.

Рахман-саиб пронзил ее взглядом. Любого пробирает дрожь, стоит ему вот так посмотреть. Но Чопола не испугалась.

— Ну в чем моя вина? — засмеялась она.

Рахман-саиб и сам не знал, в чем виновата Чопола. Наверняка к ней захаживают отъявленные воры и бандиты; если б она их боялась, ее бы давно уже не было на свете. Она ко всему привыкла.

— Шибмонгол твой отец?

— Да.

— А где твоя мать?

— Умерла.

— Шибмонгол живет здесь? У него нет другого дома?

— Был когда-то. Теперь нет.

Когда Шибмонгол, вымыв руки, вернулся в комнату, Рахман-саиб встал. Не говоря ни слова, он нанес ему страшный удар по лицу.

Рахман-саиб был взбешен. Не потому, что Шибмонгол — вор. Он немало видел в своей жизни воров и бандитов. Но как мог отец обречь дочь на участь проститутки и, заявившись к ней, с превеликим удовольствием уплетать приготовленную ей еду. Это зрелище было невыносимо. Выходит, судьба дочери ничуть не волновала отца.

Рахман-саиб ударил Шибмонгола с такой силой, что тот едва устоял на ногах. Он приложил руку к щеке и некоторое время покачивался как пьяный. В волосах у него много седины, но сам он был еще крепок. Глядя на него, никогда не подумаешь, что он вор. Встретив его в приличной компании и в хорошем костюме, многие заговорили бы с ним почтительно. В этом-то и состоял его профессиональный трюк. В чужом обличье он проникал в старые, почтенные дома и похищал ценные вещи.

— Где краденое? — рявкнул Рахман-саиб.

Шибмонгол нагнулся, достал из-под кровати узелок и развязал его. В нем оказались несколько серебряных ножей и вилок, табакерка из слоновой кости, две нефритовые фигурки и изящный, украшенный резьбой перочинный ножик в футляре.

— Это все?

— Все, господин.

За кражу этих вещей Шибмонгол получит от силы месяцев шесть тюрьмы. Шибмонгол глубоко плавает. Он готов к тому, что в любую минуту его могут схватить и для отвода глаз всегда держит при себе какие-нибудь пустяковые вещицы.

Рахман-саиб занес руку для нового удара. Шибмонгол съежился.

— Правда, больше ничего нет, господин. Только фигурки из камня, цена им невелика.

Фигурки появились из глубины деревянного шкафа. Достал их сам Шибмонгол. Терракотовые фигурки, выломанные из стены какого-то древнего храма — на них очень падки англичане.

Рахман-саиб понял: это второй набор. Тоже для отвода глаз. По глазам Шибмонгола видно: ему не по себе.

Рахман-саиб приказал Али и Сиддики обыскать помещение.

В комнате Чополы только и было что жестяной сундучок, вешалка да деревянный шкаф. На обыск много времени не понадобилось. Не нашли ничего, кроме серебряной ложки. По взгляду Шибмонгола можно было понять, эту ложку без ведома отца припрятала Чопола.

Рахман-саиб зажег карманный фонарь и стал водить его лучом по всем темным углам. В полу может быть тайник. Он пристально вглядывался в каждую пядь — нет ли где свежевскопанной земли.

По другую сторону от двери, в нише, изваянье какого-то божества, прикрытое цветами айвы. Всякий раз, когда луч фонаря пересекал нишу, в ней вроде что-то поблескивало. Вполне возможно, там-то и спрятано главное.

Рахман-саиб направил прямо в нишу луч своего фонаря и задумался. Потом сказал Чополе:

— Ну-ка отодвинь эту штуку! Я посмотрю, что там за ней.

— Как же я прикоснусь к богу?

Это верно. Разве может проститутка прикоснуться к телу бога? Насчет этого правила у них строгие.

— А кто поставил его туда?

— Брахман.

Рахман-саиб пожалел, что не взял с собой Хорнатха вместо Сиддики. Хорнатх по касте брахман, и, хотя он и полицейский, не случилось бы ничего плохого, если б он прикоснулся к богу. Но ни сам он, ни Али, ни Сиддики не имеют права коснуться индусского бога.

— Ладно, я сам отодвину,— вызвался Шибмонгол,— к чему подозрения, господин?

Шибмонгол может прикоснуться к богу, хоть он и вор. Тут, видимо, никакого преступления нет. А вот дочери — нельзя.

Шибмонгол, зажав фигурку в руке, другой отодвинул в сторону цветы. За ними зияла пустота.

— Видите, больше ничего нет.

Рахман-саиб рассеянно глядел на руку Шибмонгола, и вдруг его осенило. Посветив фонарем на вещицу, которую сжимал в руке Шибмонгол, он удивленно вскрикнул.

Маленькая статуэтка богини Кали, язык и глаза из чистого золота. Вещь поразительной красоты. Но дело не в этом — ценность ее намного больше. Две недели назад она была украдена из молельни в доме заминдара в Акандпуре. Во всех газетах были напечатаны крупным шрифтом объявления. В каждый полицейский участок пришел циркуляр — была обещана награда в две с половиной тысячи рупий.

— Я купил это на ярмарке в Наторе. Она из латуни.

Рахман-саиб не отводил взгляд от фигурки. Он никак не надеялся найти такую ценную вещь.

— Ах ты, хвост собачий! Дай-ка ее сюда!

Шибмонгол крепко зажал фигурку в кулаке:

— Господин, не прикасайтесь к индусскому божеству.

— Какое там еще божество? Краденая вещь!

— Мы поклоняемся ему каждый день.

Рахман-саиб опустил протянутую руку, положение очень щекотливое. Как бы и вправду не вышло неприятности, если он дотронется до индусского идола! Да, верно и то, что идолу этому поклонялись, украсив его цветами. Шибмонгол все предусмотрел.

У начальника руки чесались избить Шибмонгола. Но ударить его он не мог. У вора в руке изображение божества, кто знает, можно ли к нему притронуться при таких обстоятельствах!

— Господин,— сказал Али начальнику,— вы этого лучше не трогайте.

— Ну-ка, Сиддики, вглядись хорошенько,— сказал Рахман-саиб,— соответствует ли эта штука описанию статуэтки богини Кали, украденной в Акандпуре?

— Вне всякого сомнения,— ответил Сиддики.

Познав, что явилась полиция, в комнату стали заглядывать какие-то люди. Выйдя на улицу, Рахман-саиб спросил: есть ли среди них хоть один брахман?

Не ответив, люди с топотом разбежались кто куда. Рахман-саиб и сам знал: район этот по преимуществу мусульманский. Брахманов здесь считай нет. Здешний торговец жареным картофелем скорее всего брахман. Но где его взять в такую пору?

— Этому божеству поклоняются каждый день? — спросил у Чополы Рахман-саиб.

— Да, божество это живое,— ответила Чопола.— Если ему не поклоняться, вспыхнет холера.

«Значит, украсть живое божество не против совести,— подумал Рахман-саиб,— но поклоняться ему надо неукоснительно. Интересно, зачем Шибмонгол принес его сюда: для поклонения или на продажу?»

— А кто совершает обряд?

— Брахман. С того берега Ганга.

Значит, на том берегу Ганга живет брахман, который приходит в дом проститутки совершать обряд. Наверняка благородный человек. Да где его сейчас отыщешь?

— Пусть эта вещь остается у тебя,— сказал он Шибмонголу.— Выходи!

— Рахман-саиб! — во всю мочь завопил Шибмонгол.— Вы хотите силой вынести из дома изображение божества?!

Будь сейчас день, этот тип попытался бы заварить кашу. Но кругом пусто, почти никого нет.

— У меня есть приказ,— рявкнул Рахман-саиб,— в случае необходимости пристрелить тебя на месте! Пошли!

Сиддики хотел стукнуть Шибмонгола, но Рахман-саиб остановил его:

— Прикоснешься к нему, он откажется идти. А вот винтовка из дерева и железа — тронешь ею, греха не будет. Поддай-ка ему под зад прикладом.

— Господин начальник,— взмолилась Чопола,— что со мной будет, если божество унесут из дома!

— Оно пожаловало сюда из другого дома,— возразил Рахман-саиб,— дай дорогу.

Шибмонгол ни в какую не желал сесть на велосипед. Как он поедет на одном велосипеде с мусульманином, когда в руке у него изображение богини Кали?

— Пошли пешком,— сказал Рахман-саиб.

Лил дождь. Небо почернело. Впереди семь миль пешего ходу. Ничего не поделаешь. Возьми он с собой Хорнатха, такого бы не случилось. А как хранить в полицейском участке изображение живого индусского божества? Поди догадайся, откуда ждать беды. Вернувшись в участок, он сразу поднимет с постели больного субинспектора Дхирена Саха и передаст дело ему и Хорнатху. Да, Рахман-саиб ни разу еще не попадал в такой переплет.

Дорога превратилась в вязкое месиво. Впереди не видно ни зги. Шакалы воют так, что кажется вот-вот оглохнешь.

Внезапно Шибмонгол остановился:

— Господин начальник, возьмите серебро себе, а меня отпустите.

— Иди-иди, ублюдок!

— Ну, на что вам сдалась эта кукла?

— Иди, тебе говорят.

— Я не стану ее продавать. Это живое божество, если я продам его, руку мою поразит проказа.

— Иди-иди.

— Тогда пусть идет к дьяволу!

И Шибмонгол изо всех сил швырнул фигурку богини в темноту. Ему не хотелось оставлять у себя улику. Слышно было, как фигурка стукнулась о землю.

До сих пор они не могли выместить на нем всю накопившуюся злость. Теперь им ничто не мешало.

— Бей! — крикнул Сиддики.— Бей негодяя!

И он изо всех сил двинул Шибмонгола прикладом по спине. Али бил его кулаками куда попало. Шибмонгол тут же потерял сознание — кто знает, на самом деле или же он притворялся.

Рахман-саиб с фонариком бросился в ту сторону, где упала фигурка. После недолгих поисков он нашел ее. Богиня лежала в грязи лицом вверх, золотые глаза сияли в луче фонаря.

Он нагнулся, чтобы поднять ее, но вовремя спохватился. Никто не увидит его, но стоит ли? Чужая вера, чужое божество, вдруг его осквернит прикосновенье...

— Эй, навьючьте его на велосипед,— громко крикнул Рахман-саиб,— и везите в участок! Свяжите там его по рукам и ногам. Только осторожней с ним, это хитрющая бестия. Как запрете его в камере, постарайтесь найти брахмана-лавочника, который торгует жареной картошкой. Не найдете его, пошлите сюда Хорнатха. И сообщите обо всем субинспектору.

Когда его спутники удалились, Рахман-саиб остался один в кромешной мгле. К нему тотчас устремились комариные полчища.

Велосипед его валялся на обочине. Будь это какая-нибудь другая краденая вещь, он, не раздумывая, поднял бы ее с земли, вскочил на велосипед и поехал в участок. И всего-то ведь кукла. Кукла? Перед этой куклой многие плачут, дают обеты, называют ее живым божеством.

Божество валяется в грязи. Совершит ли он грех, обтерев фигурку досуха и переложив в чистое место? Шибмонгол вон швырнул ее в грязь и даже не дрогнул. Божество было бы продано англичанам как старинная диковина.

Рахман-саиб снова направил луч фонарика на глаза богини. Как красиво сочетаются золотые глаза и язык с деревом фигурки.

Сегодня, кажется, новолуние. И вдруг его охватил непонятный страх. Ему стало стыдно, и он попытался прогнать свой страх. С детства наблюдал он обычаи и повадки индусов. Его собственная вера очень далека от всего этого. И все же ему казалось, будто его бьет озноб. Нет, он не уйдет отсюда, несмотря на укусы комаров, темень и дождь, он должен остаться здесь до прихода Хорнатха.

Внезапно Рахман-саиб подумал, что в жизни Шибмонгола, Чополы, Сиддики, Али, Хорнатха да и в его собственной есть некая область, где грех и добродетель почти соприкасаются. В эту минуту он словно вышел за пределы своего жизненного круга. Он один во всей вселенной. И ощущает какую-то гордость оттого, что в эту темную ночь новолуния ему довелось охранять изображение чужого божества. Правда, никто этого не видит. Но не в этом дело...

Под чужим именем

Река была так красива, что я полюбил ее с первого взгляда. Совсем мелкая, глубиной по колено или по пояс. Из воды выступали большие камни. Я, не раздеваясь, прошел немного по воде и взобрался на один из камней.

Гостиница, где я остановился, примерно в двух милях отсюда. Утром, пустившись в путь, я и думать не мог о таком чуде. Мне казалось, будто я первый человек, ступивший на берега затаившейся в джунглях реки.

В здешних лесах диких зверей нет. Я не раз приставал с расспросами к местному сторожу. Да и четверо юношей, поселившихся в соседней комнате, тоже не давали ему покоя. У них было ружье. Но сторож развеял начисто все наши надежды. Когда-то здесь, говорят, попадались олени и медведи, но теперь их нет и в помине. Можно услышать разве что вой шакалов.

«Насколько прекраснее,— подумал я,— стала бы окружающая меня картина, явись сейчас на водопой какой-нибудь зверь. Пусть даже шакал. Но шакалы ужасно трусливы».

День пасмурный. Веет легкий ветерок. Как было бы хорошо, если бы кто-нибудь разделил сейчас мое одиночество. Из гостиницы мне,

можно сказать, пришлось спасаться бегством. Один из моих юных соседей узнал меня. Он, наверно, помешан на стихотворстве. И все время пытался заговорить со мной на эту тему. А мне всегда были не по душе литературные беседы, да еще с самого утра.

Шорох в зарослях заставил меня вздрогнуть. Я оглянулся. Нет, это не зверь. Двое ребятишек. Следом за ними шла пожилая женщина.

Темнокожие парнишки сразу плюхнулись в реку и стали самозабвенно бултыхаться в воде. Значит, где-то неподалеку селение. Вот почему здесь не встретишь диких зверей. Сколько я ни бродил по джунглям, мне ни разу не удалось увидеть медведя или тигра. Слонов я, конечно, встречал нередко, но только не в Бихаре, а на севере Бенгалии.

Я с завистью глядел на ребятишек, барахтавшихся в воде. В детстве мне не посчастливилось, как им, жить у реки. Здесь не утонешь при всем желании. Течение небыстрое. Вода совершенно прозрачная.

Женщина взялась за стирку. Она недоуменно поглядывала на меня. Небось, здесь не часто увидишь горожанина в брюках и рубашке, да еще на камне посреди реки.

Мне было неприятно, что стиркой оскверняют воду моей прекрасной реки! Конечно, деревенским этого не понять. Им не до всяких там красот, для них река — полезная вещь, и только.

Я опустил ноги в воду, но река вдруг показалась мне девушкой, которую обижать грех, и я сразу вытащил ноги из воды.

Вскоре женщина управилась с бельем и позвала ребятишек. Увлекшись игрой, они спустились далеко вниз по течению. Малыши вернулись. Выскочили на берег и, не вытираясь, бросились в лес.

Река вновь опустела. Кроме меня — никого. Где-то постукивает дятел. Издалека донесся свисток паровоза. Подумать только, железная дорога в джунглях.

А я все сидел и сидел как завороженный. Только смертельный голод заставил бы меня сдвинуться с места.

«Но если неподалеку живут люди,— подумал я вдруг,— почему бы не появиться здесь девушке? То-то было б чудесно. На берегу реки, затерявшейся в джунглях, явно не хватает девушки. Но, увы, не все наши желания сбываются. Вряд ли дева спустится с небес лишь потому, что мне этого захотелось.

А почему бы и нет? Неужто пери и апсары исчезли все до единой? И больше не навещают землю? Где как не здесь, на берегу затерянной в дебрях реки, можно встретиться с ними? Что, если я призову их, собрав воедино все силы своей души?».

Я сосредоточился и стал упорно думать о девушке. Мне не приходило на память лицо какой-нибудь знакомой, и в моем воображении возник совершенно новый женский образ. Я долго сидел на камне посреди реки, весь уйдя в себя.

Мой зов не остался без ответа. На тропинке и вправду появилась девушка, да не одна, а целых три.

Три юные санталки [1], щебеча как птички, вышли на берег. У каждой на бедре кувшин. Меня они не заметили и опустили свои кувшины на землю. Может быть, это апсары? Кто сказал, что темнокожих апсар не бывает?

Девушкам и в голову не могло прийти, что посреди реки на камне сидит мужчина, и они безмятежно стали раздеваться.

Я застеснялся. Как-то нехорошо получилось. Я громко хмыкнул.

Девушки вздрогнули и уставились на меня. Две были уже в воде, третья оставалась на берегу. Все трое тотчас повернулись ко мне спиной. Поглядывая на меня украдкой, они о чем-то совещались, голоса их звучали недовольно. Затем они укрылись в соседних зарослях. Кувшины остались на берегу.

Мне было не по себе. Девушки пришли искупаться в укромном

[1] Санталы — одно из племен Восточной Индии.

месте. Наверно, они приходят сюда каждый день, и им не нравится, что здесь чужой. Почему я должен быть для них помехой?

— Я ухожу! — громко крикнул я.— Слышите, ухожу!

Ответа не было. Я спустился с камня и, преодолевая сопротивление воды, двинулся к берегу.

Тут судьба сыграла со мной злую шутку. Я ступил на шаткий камень, поскользнулся и шлепнулся в воду. Очки у меня свалились.

Из зарослей послышалось хихиканье. Положение у меня было самое дурацкое. Я шарил по дну, пытаясь найти очки. А девушки все смеялись.

Я подобрал очки и выпрямился. Злиться в таких обстоятельствах было бы глупо, и я постарался изобразить улыбку. Вода текла с меня ручьями.

— Сперва испугались, а теперь хохочете,— сказал я, взглянув на смеющихся девушек.

— Что ты там делал? — спросила одна из них.

— Сидел.

— Зачем?

— А куда мне податься? Нет у меня никого на свете! Вот и залез на камень.

Знакомишься с ними без всяких церемоний, и это прекрасно. Они сразу говорят тебе «ты».

— А почему ты уходишь?

— Потому что зря побеспокоил вас,— ответил я, выжимая волосы.

Девушки были слегка озадачены. Наверно, они не вполне поняли значение моих слов. Одна из них протянула мне свое полотенце:

— На, вытри волосы.

Раньше мне и в голову бы не пришло вытираться чужим полотенцем. Но тут я, не колеблясь, взял его.

— А почему у тебя никого нет? — мягко спросила та же девушка.

— Не знаю. Нет у меня ни матери с отцом, ни брата, ни сестры, ни жены — никого.

— А что ты делаешь?

— Да ничего. Брожу по свету да пою песни.

Все три смотрели на меня во все глаза.

Сам не знаю, зачем я все это выдумал, просто мне почему-то очень понравилось плести небылицы. Здорово ведь вот так кого-нибудь ошарашить.

Девушки не ожидали ничего подобного от горожанина в брюках и рубашке и, силясь хоть что-то понять, не сводили с меня глаз. По деревенским представлениям у людей образованных есть все и даже родители их должны быть долговечнее, чем у прочих смертных.

Видя, что молчание затянулось, я спросил:

— А как называется эта река?

Девушки переглянулись. Они не знали. С этим я сталкивался не впервые. Что за дело местным жителям до названия реки. Впрочем, у таких рек и на карте нет названия.

— А как вас зовут?

Склонившись друг к другу, девушки тихонько захихикали. Они стеснялись назвать свои имена.

— Может, вас вообще никак не зовут?

Снова тихий смех. И сколько я ни добивался, мне так и не удалось вырвать у них эту тайну. Они подталкивали друг дружку, ни одна не хотела быть первой.

Да и к чему апсарам имена? Про себя я назвал их — Первая, Вторая и Третья.

Я кивнул головой и сказал:

— Ну, я пошел.

— А песня? — спросила Третья так, словно я давным-давно пообещал им спеть и не исполнил обещания. Забавно.

— Какая песня?

— Ты же говорил, что поешь песни.

— Пою. Ну и что? Я пою за деньги.

Лица у девушек вытянулись.

— Какие у нас деньги,— сердито сказала Первая.— Это у горожан полно денег, чтобы за все платить.

— Я не из таких. Я сам бедный. Нищий.

— Врешь.

— Нет, не вру, чистая правда. Ну ладно, не надо денег. Накормите меня, если я вам спою? Пустите к себе в дом?

— А что ты ешь?

— Да что дадите. Жареный рис, вареный рис, бананы.

— Значит, жареный рис ты ешь? Жареным рисом мы тебя угостим.

— Вот и хорошо. И два стручка зеленого перца в придачу. Сейчас петь или пойдем к вам?

— Сейчас.

Я прислонился к дереву, не испытывая ни малейшего смущения. Быть певцом здесь вовсе не обязательно. В детстве я слышал, будто песенка «На верхней ветке сидит кокиль, а на средней — его гнездо» очень похожа на сантальские песни. Я затянул эту песню. Девушки слушали молча, по их лицам трудно было понять, нравится ли им моя песня.

Упорно молчали они и после того, как я допел песню до конца.

— Ну что,— спросил я,— заработал я жареный рис?

Молчание.

— Спеть еще?

Все три кивнули. А мне и самому вдруг захотелось петь. Где еще я найду таких слушателей? Да и многим ли довелось петь перед тремя девушками на берегу затерявшейся в джунглях реки? Ведь в Калькутте я даже в ванной не смею запеть во весь голос.

На этот раз я запел «О красавица, чьи речи тебя огорчили?» Девушки громко рассмеялись. Песня им очень понравилась. Выводя слово «красавица», я смотрел поочередно то на одну, то на другую, и каждая прятала лицо. Никогда не встречал я такой неподдельной стыдливости.

Я спел еще несколько песен. Потом сказал:

— Есть хочется.

Девушки всполошились, но я великодушно предложил:

— Искупайтесь, я подожду.

Отойдя в сторонку, я повернулся лицом к лесу. Сигареты и спички в кармане намокли, пришлось их выкинуть. Чтобы убить время, я принялся выцарапывать ногтем картинки на листьях дерева.

Девушки искупались и набрали воды в кувшины. Все три в мокрой одежде. И сам я мокрый насквозь.

— Сил нет, как хочется есть,— снова сказал я.

И мы пустились почти бегом.

Сейчас в гостинице завтрак на столе. Молодые люди наверняка ищут меня. А я, промокший с головы до ног, бегу с тремя незнакомыми девушками за желанным жареным рисом. Тут мое имя не Шунил и никакой я не писатель, здесь я просто одинокий человек, сирота. И я испытываю странное наслаждение оттого, что сменил свое лицо.

А что, если девушки эти и в самом деле апсары? Вдруг возьмут еще да исчезнут! Как я это перенесу? Все у меня внутри горит от желания поесть жареного риса из медной миски на открытой веранде перед домом. Мне уже совсем невтерпеж. Я бегу и кричу:

— Быстрее! Еще быстрее!

Из горлышек кувшинов выплескивается вода, звонкая, как девичий смех. И вся эта сцена в лесу как сон.

ДЖЕЙМС ДЖОНС

Только позови

РОМАН

Перевод с английского Г. ЗЛОБИНА

Книга третья. ГОРОД

Глава 15

В госпитале не так-то просто завести настоящего приятеля. По мере того как у больного улучшалось состояние здоровья, его переводили из одной палаты в другую. Эти постоянные передвижения мешали людям сблизиться. Только подружишься с парнем на соседней койке, а его уже нет, и на его месте незнакомец.

Из-за этого, полагал Джон Стрейндж, человека и тянет к своим, и ему, можно сказать, повезло, если в госпитале есть однополчане. Если же однополчан нет, он тоскует, больше торчит в палате, хотя самое время отвыкать от старых привязанностей и заводить новые.

Ухаживание Уинча за Кэрол Файербоу сначала позабавило Стрейнджа, потом раздосадовало, но в конце концов ему стало просто завидно. Среди тех, кто околачивался возле просторного гимнастического зала рекреационного центра, не было, наверное, ни одного, кто не положил бы глаз на хорошенькую застенчивую девчушку из Красного Креста, выдававшую ракетки и шарики для пинг-понга. Стрейнджу очень хотелось приударить за Кэрол, но, будучи человеком женатым, только что вернувшимся с фронта к законной супруге, он упорно старался не думать о ней.

Стрейндж с самого начала заметил, что она заинтересовалась Лэндерсом, и решил, что это нормально — как-никак оба из колледжа. Потом, когда в отсутствие Лэндерса она связалась с Уинчем, который был на двадцать лет старше ее, он стал в тупик. А когда он увидел в «Пибоди» на «Крыше», как они сидят рядышком и прижимаются на глазах у всех, в нем взыграли досада и зависть. Знай он, что она не прочь со стариками, вполне мог бы предложить себя. Но не знал вот. Пускай хитрюга Март попользуется, раз так.

Вообще-то Стрейндж старался не думать о женщинах. Он считал, что это его долг по отношению к Линде. Однако легко сказать — не думать. В городе было полно свободных женщин — клепальщицы, сварщицы, сборщицы на конвейере. И все до смерти рады подцепить кого-нибудь из нездешних военных — когда на ночь, переспать, когда на неделю, погулять всласть. Работали они в разные смены, и потому найти подходящий объект в восемь утра было так же легко, как и вечером.

И все равно Стрейндж пока держался. После того как Прелл пошел на поправку, он еще раз съездил домой. Да какой уж там дом! Три раза он побывал в Цинциннати, а все привыкнуть не может. Линда по-прежнему была занята собой и так же безразлична в постели, как и в первый раз, хотя и не отказывала ему. Но у Стрейнджа все чаще пропадало желание заниматься любовью. Проще отвернуться и

Продолжение. Начало см. в № 7.

дрыхнуть или спуститься в кухню, где всегда полно народу, и выпить пива.

Может, когда тебе двадцать восемь, желание вообще пропадает? Ну, как вот у его родителей. Стрейндж знал, что супружеская верность нужна им с Линдой только для того, чтобы сохранить семью и их мечту о ресторанчике. Обоюдная верность, как с его стороны, так и с ее.

Вот почему взыгравшие в Стрейндже зависть и досада на Уинча и Кэрол застигли его, можно сказать, врасплох. Выходит, ему самому хотелось лечь с ней. Значит, захочется и с другими, в другой раз.

Но он ничего не предпринимал, потому что думал о Линде, об их совместных сбережениях, о будущем ресторане. И еще его волновала рана и вообще как будет с рукой.

Примерно через неделю после наградной церемонии, когда, стоя в строю рядом с Преллом и Уинчем, Стрейндж неизвестно за что получил «Пурпурное сердце», Каррен задержался около его кровати и безо всякого осмотра сказал, чтобы Стрейндж зашел к нему в двенадцать часов. Его кабинет — около главных операционных. Стрейндж собирался сразу же после обхода потопать в город, но вызов есть вызов, не отвертеться.

Каррен, сидевший за столом в своем уютном кабинетике, выглядел, как всегда, безукоризненно: накрахмаленный белоснежный халат, чистые, ухоженные руки с тщательно подпиленными ногтями, но лицо у него было усталое и бледное. В углу стоял стандартный бак для белья, доверху набитый чем-то окровавленным — верно, хирургическими фартуками.

— Прошу прощения,— улыбнулся Каррен, широко растянув рот, так что даже пропали губы.— Должны были убрать и, конечно, не убрали.

— Я к крови привычный,— сказал Стрейндж.— Навидался.

— Еще бы! — Каррен поскреб подбородок.

— Видно, много сегодня поработать пришлось? — вежливо осведомился Стрейндж.

— Да, было. Так вот о вашей руке.

— Да, сэр, слушаю,— откликнулся Стрейндж. Ему почему-то казалось, что он должен держаться так, чтобы ненароком не вывести хирурга из душевного равновесия. Ему почему-то очень не хотелось расстраивать или огорчать его.

— Я, наверно, затянул с операцией, и это плохо для вашей руки. Случай и без того очень трудный. Но так уж вышло.— Каррен поднял голову.— Последнее время много приходилось резать, а с вашей рукой тонко работать надо. Масса связок и ни одну нельзя повредить. Но сейчас я, пожалуй, готов. Утром вы у меня первым пойдете.— Он откинулся на спинку кресла.— Вскроем ткань и извлечем осколок. А дальше посмотрим. Думаю, что пока костный нарост трогать не будем. Правда, все может оказаться проще, чем мне кажется. Но вряд ли. Так вот, я хочу начать пораньше, пока свеж и бодр. На ночь вам сделают легкую клизму и дадут успокоительное. Утром ничего не есть. Вас поднимут около шести, идет?

— Есть, сэр! — с готовностью отчеканил Стрейндж и усмехнулся. Ему хотелось, чтобы хирург видел, что ему все нипочем. Потом добавил: — Ничего, если я вечером с ребятами повидаюсь? Мы обычно в буфете собираемся.

— Пожалуйста,— кивнул Каррен.— Но ни кофе, никакой еды, ничего.— Он снова откинулся на спинку кресла.— Смотрю я на вас и удивляюсь. Всегда роем, как пчелы, все друг за друга держитесь.— Он задумчиво соединил перед собой кончики пальцев обеих рук и пристально посмотрел на Стрейнджа.

Встретив его взгляд, Стрейндж вдруг почувствовал раздражение. Не касается это Каррена — кто кого держится. К чему он клонит? Или

намекает на что? Стрейндж провел языком по деснам. Он не спешил с ответом.

— Похоже, что так оно и есть,— проговорил он медленно.— Вместе хлебнули всякого. А кроме того, учтите, мы ведь из регулярной части. Два или три года оттрубили вместе еще до войны. Друг дружку как облупленных знаем.— Стрейндж замолк, не зная, стоит ли продолжать. И тут же что-то внутри подсказало: ничего больше говорить не надо. Не заслуживает Каррен его откровенности, большая шишка, хирург. Не заслуживает, независимо от того, будет он его завтра резать или нет.

— Ну что ж, увидимся завтра утром,— сказал Каррен, поворачивая кресло, чтобы встать.— Впрочем, вы-то, наверно, ничего не увидите. Вам укол сделают — легонький, для успокоения. А потом — прямо на стол.

Стрейндж шел к себе в отделение, охваченный каким-то особым возбуждением — такое чувство возникало у него, когда он боксировал или гонял в футбол. Внезапно ему приспичило отлить, хотя он знал, что мочевой пузырь у него пуст. Он подумал, что надо найти Уинча, Лэндерса и Прелла, чтобы сообщить им новость.

Уинч, натурально, вечером не пришел. Опять со своей малолеткой испарился. Присосался к ней, как с голодухи, не оторвешь. И сейчас Стрейндж едва застал его. Было только 12.45, а тот уже при параде, собирался в город. Он заметил, что Уинч все-таки нацепил новенькие нашивки первого сержанта, но ничего не сказал. Чего не сделает с человеком девка, подумал он огорченно.

Лэндерс и Прелл в условленное время были в буфете. Лэндерс притащился, опираясь на трость, Прелл прикатил в коляске, со свежими гипсовыми повязками, которые фиксировали ноги в согнутом положении.

— Колени меня доконают,— жаловался он.— Так налепили, подлецы, что не двинешь. Как пара заржавелых дверных петель — ни туда, ни сюда.

Прелл, разумеется, никуда из госпиталя не отлучался и прибыл к месту сбора как штык. Он был рад пообщаться с ребятами. С Лэндерсом получилось иначе. Ему пришлось пропустить свидание в городе ради того, чтобы повидаться со своим сержантом-кормильцем перед его операцией. Стрейндж всегда немного сторонился Лэндерса, однако сейчас испытывал к нему какое-то новое теплое чувство.

Прелл, как выяснилось в разговоре, хотя и не бывал в городе, даром времени не терял. Подцепил себе девчонку прямо в своем отделении.

— Точно, черт побери,— повторял он, довольно усмехаясь.—Деревенская крошка, вполне ничего, где-то под Люксором живет. Отец у нее то ли в Европе, то ли еще где воюет. А они с мамашей — добровольки в Красном Кресте, каждый день в город таскаются. Мамашу-то я не видел. А эту назначили к нам в отделение. И что ты думаешь — каждый божий день она читает мне вслух. Сейчас мы читаем «Остров сокровищ».— В глазах у Прелла прыгали озорные огоньки.— По ее разумению, я лапочка, почетный орденоносец и все такое. Я пока ничего не пытался. С гипсом ведь на девку не полезешь, верно? Но ставлю десять против пяти, что через месяц я ее научу, как приласкать меня.

Однако едва в разговоре выплыло имя Уинча, лицо у Прелла вытянулось, он не желал ни слышать, ни говорить о нем. Стрейндж напрямик спросил Лэндерса, как он смотрит на то, что Уинч отбил у него пинг-понговую цыпочку. Лэндерс и не думал огорчаться.

— Пускай пользуется на здоровье. Баб, что ли, в городе нет? Как собак нерезаных.

Лэндерс рассказал, что навестил своего нового знакомого — ка-

питан-лейтенанта Яна Митчелла, который держит номер в «Пибоди». Там у него каждый день вечеринки.

— Правильные ребята — морские летчики, вообще летчики. На звания не смотрят. Компанейский парень — значит свой.— Он обязательно познакомит с Митчеллом Стрейнджа и Прелла тоже, когда тот будет свободнее передвигаться.

Стрейндж не возражал и пообещал Лэндерсу, что через недельку закатится с ним в «Пибоди». Но голова его была занята мыслями о предстоящей операции. Они просидели до самого закрытия. В буфете гасили свет, они вышли, и Стрейндж горячо потряс приятелям руки. Тем было по пути. Лэндерс повесил трость на спинку Прелловой коляски и, опираясь на нее, захромал по тускло освещенной дорожке, толкая перед собой Прелла. Их фигуры постепенно темнели, расплывались во мгле, потом снова делались различимыми в свете фонаря. Стрейндж смотрел им вслед, и у него сдавило горло.

Когда он повернулся, чтобы идти к себе, в желудке у него что-то колыхнулось. И снова появилось ощущение, будто надо помочиться.

Это было единственное, что ему разрешили сделать утром. Стрейнджу не позволили даже встать и дали стеклянную утку. Молодой парень сделал ему укол в руку. В операционной его сразу же начал обрабатывать анестезиолог. Каррен, уже с марлевой повязкой на лице и в белой шапочке, подмигнул ему и, улыбаясь одними глазами, принялся объяснять что-то про оксибутират натрия, который вводил Стрейнджу в вену анестезиолог. Стрейндж начал считать от десяти назад, но едва он дошел до шести, как во рту под нёбом у него взорвались удушающие пары. Он хотел помотать головой, но ее уже не было.

Очнувшись, он услышал грохот и увидел огромные движущиеся огни, похожие на зенитные прожектора. Они то вспыхивали белым слепящим светом, то гасли, и глаза не успевали привыкнуть ни к яркости, ни к темноте. Если это воздушный налет, зачем светят? Но это был не налет, а огромный судебный зал. В дальнем конце его в высоком мраморном кресле на массивном мраморном основании восседала огромная фигура в белом. Лицо ее было скрыто. Огни вспыхивали и гасли, искажая линии и формы, и Стрейндж видел зал, будто разломанный на части, как отражение в расколотом зеркале, и себя, стоящего перед несметными толпами и ожидающего чего-то. Потом, не открывая лица, фигура в белом подняла тяжелую руку и направила на него указательный палец; толпа приглушенно ахнула, и Стрейндж понял, что проиграл дело. Он не знал, какое дело и что ему грозит. И тут же он услышал чей-то громкий голос. Это был анестезиолог.

— Нормально, все идет нормально. Сейчас мы придем в себя. Так, хорошо! Ну вот, полный порядок.

Стрейндж с трудом разомкнул веки, увидел улыбавшегося анестезиолога, но сознание его все еще заполняла фигура в белом, она была достовернее, чем все остальное вокруг, и стояла перед глазами, когда его везли одуревшего от наркоза по коридорам и дорожкам обратно в отделение и еще целых два дня, пока ему давали болеутоляющее. Куда бы он ни переводил взгляд, она возникала у самых зрачков.

Этот сон произвел на него огромное впечатление. Или видение — Стрейндж не знал, как это назвать. Оно было живым и отчетливым, как откровение. Но вот что́ оно означало? Он понимал, что его будто судили и вынесли приговор. Он не знал, за что его судили, и не припоминал, чтобы это разъяснилось во сне. Просто судили — без обвинения, без защиты. Но это не имело значения. Приговор был справедлив.

В памяти частично сохранилось ясное ощущение того, будто его отправляют назад — туда, откуда он хотел уехать. Очевидно, молчаливо указующий перст означал: возвращайся назад, ты должен быть там. Стрейндж не понимал, куда его посылают.

И после, когда Стрейнджу уже сняли болеутоляющие и он снова был на ногах, его преследовал навязчивый образ фигуры в белом и указующего перста и он не мог отделаться от ощущения, что ему что-то сказали.

Собственно, Стрейндж провалялся совсем недолго: средства, ему назначенные, были не слишком сильные. По распоряжению Каррена ему разрешили ходить к середине следующего дня.

Каррен не любил гипсовые повязки. Вместо повязки Стрейнджу изготовили по форме ладони гипсовую пластину, фиксировавшую суставы. Каррен даже утверждал, что травм от тяжелых гипсовых панцирей бывает больше, чем самих ранений.

— У ортопедической хирургии огромные возможности, но мы так мало сделали,— говорил он с сокрушенной улыбкой, присев на краешек Стрейнджевой койки.— Но какой же богатый материал дает нам эта великолепная война! — добавил он, вздернув брови.

Он повернулся к Стрейнджу и, озорно улыбаясь, спросил, не пойти ли им как-нибудь выпить вместе и чтобы Стрейндж пригласил своих приятелей. Стрейндж сказал, что он с удовольствием, хотя не понял, чем вызван такой интерес хирурга к ним четверым. Наверно, это после истории с Преллом.

— Ваш первый сержант, Уинч,— хват, должно быть, молодец. Как он провел операцию с Преллом да еще медаль ему устроил! Интересно с ним поговорить.

Стрейндж сказал, что, наверно, это можно сделать, хотя опять не понял, что́ Каррен имел в виду, говоря «устроил медаль».

Впрочем, он и не старался понять. Он заранее знал, что́ скажет Уинч: нет, и точка. Про себя он решил, что не скажет Уинчу о предложении Каррена и сам не пойдет тоже. Каррен — порядочный мужик, он очень даже уважает его, но чего это он набивается в приятели?

Офицерье — оно и есть офицерье, еще раз убедился Стрейндж, когда Лэндерс привел его к Митчеллу в «Пибоди».

Это произошло гораздо скорее, чем он ожидал,— через три дня, а не через неделю, как договаривались.

Вообще-то он не собирался баловаться с бабами. Однако прибыв с Лэндерсом в «Пибоди», он едва успел пропустить несколько порций виски, как очутился в постели с женщиной. Потом была еще одна и еще. Лэндерс тоже крутил направо и налево. Стрейндж знал, как расходится Лэндерс, но от себя он такого не ожидал.

Что-то перевернула в нем операция. Сама операция или, может, этот кошмарный сон, это видение или озарение, когда он выходил из наркоза.

Стрейндж помнил, как во сне его вдруг пронзила острая жалость к себе и ко всем остальным. Всегда был жалостлив — такая уж у него натура. Иначе зачем бы его прозвали в роте Матушка Стрейндж? Однако теперь в нем была какая-то другая, незнакомая и глубокая жалость, она распространялась на каждую богову тварь и на все его создание. Под жалостью затаилось глухое, непереносимое отчаяние. А под ним, еще глубже, бурлил крохотный, раскаленный добела комочек недовольства тем, что мир устроен так, а не иначе. И недовольства Линдой. Ежели она не хочет спать с ним и, верно, никогда не хотела — он не в претензии. Найдутся другие, сколько угодно.

Обо всем этом невесело размышлял Стрейндж, сидя со стаканом в руке в переполненном и шумном, вонючем от курева и сивухи гостиничном номере, куда его затащил Лэндерс, пока не сообразил, что обнимается с какой-то женщиной — первой, какую выбрал за этот день. Хотя это еще вопрос — кто кого выбрал, подумал он...

С третьей у Стрейнджа вышла история. Звали ее Фрэнсис Хайсмит, она пошла работать токарем, бросив университет Вашингтона в Сент-Луисе после того, как ее брат, летчик, погиб в воздушном бою над Англией. У нее было что-то общее с Кэрол Файербоу, потому, на-

верное, Стрейндж и прилепился к ней, не подозревая, что́ это за штучка. Она повела себя с ним так, что Стрейнджу стало тошно. Он бормотал что-то маловразумительное и решительно мотал головой.

— Ну и деревенщина! Слыхала о таких, но сама не встречала. Чего тут особенного?

— Сказал нет, значит нет.

— Послушай, ты женат?

— Само собой, а что? — настороженно спросил Стрейндж.

— А то, что я твоей жене не завидую. Объяснила бы я тебе...

Поздно вечером Стрейндж заметил, что Фрэнсис уединилась с Лэндерсом, и подумал, что вот они-то сговорятся. Образованный как-никак, из колледжа. Ну и ладно, кому что нравится.

Как и миллионы американских мальчишек, жадно, затаив дыхание, Стрейндж разглядывал в детстве фотографии и рисунки, изображавшие голых женщин в самых невообразимых, до жути откровенных позах. Такие картинки в Америке были на каждом шагу. Потом, уже в армии, им крутили порнографические фильмы, которые каким-то образом попадали в сержантские клубы. Несмотря на это, женщина всегда оставалась для него тайной, даже когда он женился. Он, конечно, видел Линду-Сью раздетой, но она не принимала поз и ничего такого не требовала. Тайна осталась тайной, он сам виноват и иногда жалел об этом.

Лэндерс еще забавлялся с Фрэнсис, и Стрейндж попросил передать, что зайдет за ним, а сам спустился вниз и вышел в соседний бар, пока он не закрылся. Взяв бутылку, Стрейндж сел в уголке и стал разглядывать публику.

Народу было полно, как и всюду — военнослужащие и женщины. Много женщин. И все-таки их не хватало, и в любом месте всегда было несколько одиноких молчаливых мужчин — от пожилых, поседевших на службе главных старшин в ослепительных кителях с набором нашивок до нескладных новобранцев в новенькой мешковатой форме. С ними Стрейндж чувствовал себя лучше всего.

Еще там, в номере, посреди сутолоки и пьяного гама, Стрейнджу вдруг ни с того ни с сего привиделась Нью-Джорджия, его рота и призрачные фигуры ребят. Измызганные, изможденные, испуганные, они продирались сквозь болотистые джунгли. И на какой-то короткий сумасшедший миг ему захотелось быть с ними.

Нужно быть форменным психом, чтобы желать этого.

Но чем дольше он сидел в переполненном шумном зале и чем больше пил, тем сильнее убеждался, что хочет быть там.

В двенадцать бар закрывался, и Стрейндж, взяв бутылку, пошел наверх, за Лэндерсом, чтобы вместе с ним ехать в госпиталь.

Но они, разумеется, никуда не поехали. Лэндерс все так же крутил направо и налево. Было уже поздно, народ потихоньку расходился, но кучка стойких товарищей завела пьяный концерт, к которому подключились Лэндерс и Стрейндж. В гостинице никто никогда не жаловался на шум. Угомонились только к половине шестого, когда были спеты все старые песни, а с равнин на востоке уже шел рассвет. Лэндерс и Стрейндж заспешили в госпиталь, чтобы немного соснуть и очухаться к утреннему обходу. В такси Лэндерс всю дорогу травил о своих любовных победах.

Спустя два дня Стрейндж узнал мнение Каррена о состоянии своей руки. Смысл его сводился к тому, что хирург не знает, что с ним делать дальше. Замечательная новость, лучшей он и не желал.

Каррен включил маленький экран и показал ему рентгеновский снимок.

— Видите эти затвердения? В них сходятся сухожилия и связки. Тончайшая работа. Честно говоря, не знаю, сумею ли справиться. Поэтому лично я — против повторной операции. Но вы имеете право настоять.

— А если я не буду настаивать?

Каррен пожал плечами и слегка улыбнулся, но Стрейндж не понял чему.

— Тогда я представлю вас к увольнению по инвалидности. Майору Хогану и подполковнику Бейкеру это не понравится, но они ничего не смогут сделать.

— А если буду настаивать?

Каррен опять пожал плечами.

— Придется оперировать, но без всякой гарантии. Если операция пройдет успешно, вы будете ограниченно годный. А то и годный — как повезет. Все зависит от того, хотите вы остаться в армии или нет. Как я понимаю, вы тридцатилетник? Если же операция не удастся — тоже ничего. Рука будет действовать как и сейчас, не хуже. Так что решайте.

— Не пойму я что-то. Вы вроде подсказываете, как мне лучше попасть под демобилизацию?

— Ничего подобного. Я просто даю необходимый прогноз. Я знаю, что армии позарез нужны люди. Особенно обученные, как вы. Но это не должно влиять на объективное медицинское заключение.

— Могу я подумать несколько дней?

— Конечно. Сколько угодно. Рука-то — ваша, вам с ней жить, а не мне.

Стрейнджу почему-то захотелось вытянуться и отдать подполковнику честь. Но разве это приветствие — с лепешкой в ладони.

Прямо от Каррена Стрейндж пошел разыскивать Уинча, чтобы тот через своего кореша Джека Александера еще раз устроил ему пару трехдневных увольнительных. Ему надо съездить в Цинциннати и поговорить с Линдой.

Стрейндж был удивлен. Он давно не видел Уинча таким — нормальным, спокойным, вроде помягчевшим. Разве что на Оаху, еще до того, как их перебросили на Гуадалканал.

Девчонка, видать, шла ему на пользу.

Глава 16

Просьба Джонни-Страни насчет увольнительной была для Уинча пустячным делом. Некоторое время назад Джек Александер выдал ему пачку чистых бланков, так что оставалось только вписать фамилию и даты.

— Это тебе, распоряжайся по своему усмотрению,— проскрипел Александер на другой день после церемонии награждения.— Сам пользуйся и своих ребят снабжай, когда нужно.

На двух бланках над аккуратной подписью полковника Стивенса Уинч вывел фамилию приятеля. Оба знали, что за три дня, которые давала одна увольнительная, Стрейнджу не обернуться. Стрейндж рассказал о своем разговоре с Карреном. В его изложении ситуация представала ясной и определенной, но когда Уинч увидел опущенные плечи своего ладного начальника кухни-столовой, шагавшего к выходу, он понял, что все не так просто.

Уинч возразил бы Стрейнджу, что ему далеко до того Уинча, какой был на Оаху, и, однако, он чувствовал себя гораздо лучше, чем тогда, на Нью-Джорджии, когда доктор Харрис отправил его в тыл.

Уинч был уверен, что обязан он этим Кэрол. Он и сейчас не мог поверить, чтобы в его годы вдруг привалила такая удача.

Он переживал самую мрачную полосу в своей жизни перед тем, как подцепил ее — или она его подцепила, поди пойми. Даже долгие окопные ночи на Гуадалканале и Нью-Джорджии и то были лучше, чем это половинное больничное существование в общевойсковом госпитале Килрейни. А когда привезли еще одного из их роты, он едва

не сломался совсем. Штаб-сержант Билли Стонуол Додсон Спенсер представлял собой особый случай.

Удивительно тут было все: характер ранения — опасного, тяжелого, и то, что он рассказывал о роте, и сам факт, что его сделали штаб-сержантом.

То, что Билли рассказывал о роте, вполне объясняло потрясающий факт его продвижения по службе. Вести из части последнее время поступали все реже и реже, а после окончания боев письма и вовсе перестали приходить. Билли сам был новостью, причем первой, которую не вымарала военная цензура с тех пор, как Уинч покинул роту. Слушали Билли жадно, не пропуская ни единого слова. И Уинч тоже, хотя виду не показывал.

Смысл рассказов Билли Спенсера сводился к тому, что прежней роты просто нет. Из списочного состава в сто восемьдесят душ осталось человек пятьдесят, все больше обыкновенные рядовые и рядовые первого класса, а также некоторые из младших командиров. Не хватало сержантского состава, на котором все держится. Поэтому Билли и повысили в чине.

Кажется, совсем недавно Билли был обыкновенным шалопаем из зажиточной семьи. Теперь, когда он хлебнул сержантского лиха, его было не узнать.

Народ сгрудился вокруг кровати Билли.

Это произошло в дозоре. Билли шел в голове дозора и напоролся на мину. Взрывом ему оторвало ногу до колена, другую ногу изувечило, осколки изрешетили все тело, он ослеп на оба глаза.

— Это ты, старшой? — прохрипел Билли незнакомым голосом, протягивая руку. Найдя Уинчеву ладонь, он ухватился за нее обеими руками и не отпускал.— Это вправду ты? Еще на побережье слышал, что ты, может, в Люксоре. Но вот что увижу тебя — не думал. Слышишь, старшой?

Уинч не отнимал руки, пока Билли не выпустил ее сам.

Он отошел в сторонку, а Билли принялся рассказывать о роте. Потом прибежала сестра и разогнала всех.

Уинч крыл их про себя в хвост и гриву. Дубины недоделанные, долболобы несчастные, все до единого. Ишь чего, молокосос, вздумал — папашу из него делать! Тоже мне, сынок нашелся, так его за ногу.

Несколько дней подряд Билли присылал кого-нибудь, просил Уинча посидеть с ним. Ему нужно было одно: поговорить о роте. Уинч не мог отказать бедному парню, хотя его воротило от этих разговоров. Верно сказал парень: нет никакой роты, будто и не было. Но Билли доставляло удовольствие вспоминать, как они были все вместе на Гуадалканале.

После шестого сидения с Билли Уинч неожиданно для самого себя взял два бланка увольнительных, оставив остальные в запечатанном конверте у старшей сестры, и отбыл в Сент-Луис. Там проживала жена с двумя его оболтусами.

Он чувствовал, что ему надо уехать — и как можно скорее. Куда угодно, лишь бы уехать. Так почему не в Сент-Луис? И не обязательно видеться с ними, если не захочется.

Он предвкушал не столько поездку, сколько дорожное настроение. Ехать куда угодно. Туда, где тебя никто не знает. Просто ехать и наблюдать, ни во что не ввязываясь и ничем не интересуясь. Он решил надеть рубашку без нашивок. Чтобы быть без имени и звания. Вроде как плывешь в воздухе, оторвавшись от тела, и никто и ничто тебя не держит. Замечательно!

Через два часа после того, как Уинча осенила идея уехать, он был уже в пути. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы заскочить к лечащему врачу, получить шприц с ампулами для вливания, за десять минут научиться делать себе укол в руку или в мягкое место

и уложить в сумку медикаменты и запасную форму. В сумерки, когда отходили ночные автобусы, он прибыл на люксорский автовокзал.

Уже темнело, но света еще не зажигали, и потому приходилось напрягать глаза. В сумеречной мгле, еще более густой в помещении вокзала, очертания предметов расплывались. Охваченные смутным беспокойством, которым сопровождается смена дня и ночи, пассажиры бесцельно слонялись взад-вперед или вяло жевали бутерброды.

Обстановка как нельзя лучше отвечала настроению Уинча, его бесплотной отъединенности ото всего. Он не знал, что будет делать в Сент-Луисе. И не хотел знать. Ему это было безразлично. С равным успехом он мог бы двинуться в Чикаго или Детройт. Куда угодно, лишь бы не встречать знакомых.

Переполненный автобус тяжело вздыхал, дремал, бормотал во сне — одному Уинчу не спалось. В небе висела полная луна, но ему было лень глядеть в окно. Только один-единственный раз на протяжении всего трехсотмильного пути он поднялся с места, чтобы посмотреть на блестевшую внизу Миссисипи. Это было в Кейп-Джирардо. Хорошо сидеть просто так, ни о чем не думая, и, вслушиваясь в урчание мотора, ощущать под собой упругие толчки колес.

Ему решительно ничего не хотелось.

Настроение у него было такое же, как в самые тяжелые минуты сердечного приступа там, в Сан-Франциско, когда ему показалось, что часть его существа отделилась от него, и он напряженно думал о том, другом, непонятном «я». Что же это такое было? Он не знал. Действительно ли где-то существовал другой Уинч, которому не терпится вернуться к себе? И этого он не знал. Он в самом деле ощущал раздвоенность или это был плод его расстроенного воображения? И этого он тоже не знал. Ни на один вопрос, которыми задавался Уинч, он не нашел удовлетворительного ответа. Но память о том, что он перечувствовал тогда, неотвязно преследовала его. Под ним глухо ухали и скребли асфальт огромные баллоны.

С Билли Спенсером возвратилась жуткая явь: очумелые, задыхающиеся, утопающие в грязи ребята из его роты. Уинч встрепенулся. Что-то получилось не так, сейчас он должен бы находиться там, с ними. Почему он здесь, а не с ними, растерянными, сбитыми с толку? Выходит, грош ему цена.

Приехав в Сент-Луис, Уинч снял номер в какой-то гостинице в самых паршивых кварталах у реки. Ему не доводилось стоять в Джефферсоновских казармах, но он разок заглядывал сюда навестить старого приятеля и потому знал этот район. На улицах было полно подозрительной публики, в захудалых забегаловках, как всегда, ошивались проститутки, сутенеры, жулики, всякое хулиганье. Само собой, повсюду толклась солдатня.

Устроившись, Уинч завалился в постель и проспал без просыпу шестнадцать часов подряд. Когда он проснулся, было восемь вечера. Он побрился, оделся, вышел на улицу и, купив бутылку сухого калифорнийского вина, вернулся к себе в номер. Будто любовник, пришедший на тайное свидание в дешевую гостиницу. Он откупорил бутылку, налил половину стакана, посмотрел вино на свет, осторожно и жадно сделал первый глоток. Ничего не произошло. Он не свалился замертво. Уинч уселся поудобнее у шаткого столика, положил ноги на кровать и не спеша высосал бутылку — один за другим все шесть стаканов кисловатой терпкой жидкости, от которой текли слюнки. Он уже и не помнил, когда ему доводилось отведать что-либо аппетитнее и вкуснее.

Покончив с бутылкой, Уинч вышел поесть. Он так давно не принимал спиртного, что на четверть часа почти захмелел. Это было великолепно. Он даже попросил официанта приготовить ему еду без соли. Поев, он вышел на улицу и понял, что сейчас сделает то, что подсознательно собирался сделать все время. Он остановил такси и назвал

шоферу адрес, по которому в западной части города проживала жена.

Уинч никогда не видел ни дома, ни улицы. Жена переехала в Сент-Луис уже после того, как он отбыл на Тихий океан. Писала, что здесь поселился ее отец, кадровый мастер-сержант, вышедший в отставку незадолго до смерти. Кроме того, у нее тут двоюродные сестры. Ехать было далеко, в один из окраинных, кое-как застроенных жилых районов. Улицы шли прямые, обсаженные по обеим сторонам большими деревьями. Дома тоже стояли большие, широкоплечие, основательные. Они тянулись рядами миля за милей, как бесконечные шеренги плотных бравых мастеров-сержантов, выстроившихся для парада.

Дом оказался особняком, переделанным под квартиры. У двери была врезана в дерево металлическая пластинка с четырьмя звонками. Ее квартира находилась на втором этаже, слева. Уинч перешел на другую сторону улицы и, заняв наблюдательный пост на скамейке под старым и тихим в эту безветренную сентябрьскую ночь кленом с широченными листьями, стал ждать. Прошло часа полтора, и Уинч уже подумал, что жена дома и давно спит, но в этот момент подъехало такси, и он увидел, как она выходит с каким-то военным.

По фуражке Уинч сразу признал в ее спутнике офицера-летчика, потом разглядел «крылышки» над левым карманом и «фруктовый салат», а когда тот поравнялся с фонарем, увидел на погонах серебристые знаки различия. Подполковник. Оба были изрядно пьяны. Дурачась и смеясь, они шли по дорожке к дому. У дверей мужчина обнял ее и крепко поцеловал. Потом она достала ключ. Через две минуты на втором этаже слева зажегся свет. Такси отъехало.

Не сходя с места, Уинч решил подождать еще полчаса. Свет в квартире не гаснул. Из дома никто не вышел. Уинч подумал, что огольцы, наверно, спят у себя в комнате. Все верно, так оно и должно быть. Одному десять, другому одиннадцать. Вполне могут позаботиться о себе, пока их мамочка гульнет вечерок. Полчаса прошло, в доме все оставалось по-прежнему, и Уинч зашагал в ту сторону, где, по его расчетам, проходила ближайшая магистраль.

Идти пришлось порядочно. Уинч шел медленно, не торопясь, чтобы не выдохнуться. Ему казалось, что он хорошо запомнил дорогу, по которой ехал сюда, но, очевидно, он что-то перепутал. Наконец, справа в конце улочки он увидел яркие огни, вышел на широкую авеню и поймал такси.

Добравшись до приречных кварталов, он зашел в один бар, потом в другой, третий. Просто так. Он не выпил ни капли. Потом отправился в гостиницу и около четырех часов завалился спать.

Следующие три дня Уинч каждый вечер совершал вылазки в западный район, где жила его жена. Он спал или болтался без дела почти до вечера, потом плотно ел — единственный раз в сутки — и брал такси. Каждый день он покупал перед обедом бутылку вина и опустошал ее, сидя за столиком у себя в номере. Он прибывал на место примерно в половине первого.

Два раза Уинч видел жену с тем же подполковником ВВС. Но на третью ночь она привела другого мужчину, тоже офицера. Этот был пониже ростом и потолще, с брюшком. На погонах у него виднелись золотистые дубовые листья майора. Так же дурачась и смеясь, они шли по дорожке к дому и так же целовались у дверей. Снова зажегся свет, и снова никто не вышел из дома. Уинч понял, что он свободен от обязательств, взятых на себя словно по какой-то бесовской сделке. Он круто повернулся и пошел к авеню. Он вернулся на такси в гостиницу, сложил в сумку вещи и расплатился за номер. На другом такси он добрался до автовокзала. Очередная «борзая» отправлялась в южном направлении, к Люксору, только через час. Уинч провел его в соседнем баре, отмечая отъезд второй за день бутылкой вина.

На обратном пути он почти всю дорогу спал. Только раз он по-настоящему проснулся, чтобы опять посмотреть на темную задумчи-

вую Миссисипи, тянувшуюся вдоль шоссе, теперь уже с левой стороны. Он смотрел и с горечью думал о том, что в части, переживающей болезненные перемены, постепенно забывают о них. Забывают о нем. Он знал, что иначе и быть не могло. Рассудок подсказывал, что это даже хорошо, и он, успокоенный, задремал снова. Вдруг что-то будто толкнуло его во сне. Крик подступал к горлу, но он успел опомниться, издав какой-то хрип. Уинч помотал головой. Впереди, как неизбежность, маячил на крутом берегу Люксор. В нем теперь заключалось все его будущее, если оно вообще есть, это будущее. Нечего обманывать себя.

Такси, на котором он ехал от автовокзала, миновало кирпичные ворота и остановилось возле главного здания. Настроение у Уинча было отвратительное, ему показалось, что госпиталь стал еще больше похож на тюрьму.

В тот же день Уинч еще раз прошел медицинское обследование. Показания были гораздо лучше, чем раньше. Врачи разводили руками. Такой хорошей электрокардиограммы у него еще не было. Если так пойдет и ему будет лучше, он и в строй может вернуться. Уинч только усмехался про себя. О выпитых бутылках он, конечно, умолчал.

Два дня спустя он впервые по-настоящему познакомился в зале отдыха с Кэрол Файербоу. Она предложила ему партию в пинг-понг.

Уинч видел Кэрол здесь несколько раз, иногда здоровался, а както Лэндерс даже познакомил их. Но Уинч редко бывал в корпусе отдыха и еще словечком не перекинулся с ней.

Он забрел сюда, возвращаясь от Билли, потому что идти в отделение и куковать там одному не хотелось. Уинч уже собрался было уйти, но тут к нему подошла Кэрол с двумя ракетками.

— Не хотите сыграть партию, сержант?

Она улыбалась. В самой ее пленительной свежести содержался какой-то оскорбительный вызов, как неожиданная пощечина. Вдобавок она была действительно хороша собой и совсем не по-киношному. Бог ты мой, да разве бывают такие молоденькие, думал Уинч. Неужели и он был таким? В ее глазах и в ее позе была доля игривости, причем истинно южной. Уинч с трудом удержался, чтобы не выдать какую-нибудь солдатскую шуточку. Вместо этого он услышал — словно со стороны — совсем другое:

— Отчего же нет? Можно.

Уинч многому научился за свою долголетнюю службу, в чем однажды пришлось убедиться Лэндерсу, когда он, поддавшись неуместному интеллектуальному высокомерию, вызвал его сыграть партию в шахматы. Кроме того, Уинч хорошо бегал, прыгал, нырял, классно играл в футбол и баскетбол. Что касается настольного тенниса, то еще до войны, когда он служил в Форт-Блиссе и Хьюстоне, он был одним из лучших игроков в армии.

Он скинул казенный темно-вишневый халат и парусиновые туфли и играл босой в одних серых пижамных штанах. Его хватило на три партии. Сердце у него колотилось бешено, но хорошая разминка после долгого перерыва оставила приятное ощущение. Он победил Кэрол со счетом 21 : 12, 21 : 17, 21 : 18. Играла она неплохо и, видимо, рассчитывала выиграть.

— А вы хорошо играете,— со смехом сказала она, переводя дыхание. И ее матовое ирландское личико, обрамленное черными как смоль волосами, раскраснелось.— Хотите еще?

— Нет, спасибо,— сказал Уинч, старательно скрывая одышку.— Потренируйтесь сначала с кем послабее, потом сыграем.

— Вот как? — сказала Кэрол, но не обиженно, а с улыбкой.

Больше всего Уинчу хотелось присесть и отдышаться, но он держался. Накинув халат и сунув ноги в домашние туфли, он проводил Кэрол и подождал, пока она уберет ракетки и шарик. Потом спросил,

не поужинает ли она с ним вечером, и она сразу же, едва он успел закончить фразу, согласилась.

Уинч назначил ей свидание в баре «Клэридж». Он подумал, что это лучше, чем в «Пибоди». Кэрол пришла, они заняли столик, но ей, видно, было не по себе.

— Я не была здесь с выпускного вечера,— сказала она, глядя по сторонам.

Так ли уж давно это было?

— Три с половиной года назад.— Она помолчала.— Хотя нет, и потом была. А вот как началась война, не приходилось. Военные просто оккупировали Люксор.

— Не знаю такого места, где сейчас нет военных.

— А я знаю,— сказала она, снова оглядывая зал.

— А чем вам не нравится тут? Не тот пошиб?

— Не в этом дело. Просто не похоже на прежний Люксор.— Она кокетливо повела плечами.— Я не люблю, когда на меня глазеют пьяные мужчины. В госпитале этого нет.

Он налил ей виски из бутылки, принесенной в бумажном пакете, и они принялись обсуждать, куда им пойти. Кэрол предложила «Чайную миссис Томпсон». Это хорошее место, там почти не бывает военных. Уинч не мог предположить, что именно туда она ходила с Лэндерсом, но идею эту он отверг сразу же.

— Давайте вот о чем договоримся,— сказал он.— Если мы будем встречаться, то не там, где вас знают. Никаких ваших «чайных», ничего в этом роде. Операции проводятся на моей территории, вот так!

— Это — приказ, сэр? — улыбнулась Кэрол.

— Если хотите, да.

— Вы что, стесняетесь меня?

— Наоборот. Но я не хочу, чтобы ваши знакомые в Люксоре говорили: вот, связался черт с младенцем.

Кэрол засмеялась.

— Это вы-то младенец?

Уинч хмыкнул.

— Я покажу вам такие местечки, о которых вы даже и не подозреваете.

— Верю. Но я не убеждена, что мне будет интересно.

В конце концов они пошли на «Зеленую крышу» в «Пибоди». Кэрол там тоже давно не была, но ресторан ей в общем понравился.

— Да тут пир горой,— улыбнулась она, осматриваясь.— Я все же не думала, что военных так много, одни военные.

Только сейчас Уинч заметил, что Кэрол сняла очки. Зрачки у нее были совсем темные, почти черные. Без очков один глаз косил еще заметнее, он глядел то на него, то, словно провинившись, в сторону, зато в другом играла озорная улыбка. Это почему-то очень волновало его.

— Это не пир, а пьянка,— заметил он угрюмо.— Обреченные гуляют. Большинству из них скоро на фронт. Кому на Тихий океан, кому в Европу.

— Не надо об этом, пожалуйста,— попросила Кэрол. Уинч не знал, что ее брат, летчик-истребитель, проходит во Флориде переподготовку перед отправкой в Европу. Поэтому Кэрол не поехала в этом году в колледж.

Оказалось, что Кэрол еще и хорошо танцует, легко и послушно. Чтобы не устать, Уинч пропускал половину танцев.

— А как вы попали в госпиталь? — спросила она, когда они сели передохнуть.— Почему вас отправили в Штаты?

Посмотрев на Уинча косящим глазом, она положила мягкую ладонь на его загрубелую руку. Уинч ожидал этого вопроса, но не знал, что ответить. Он не хотел признаваться, что у него плохо с сердцем.

— Тропическая лихорадка, потом малярия,— сказал он поспешно.

— И из-за этого отпускают домой?
— Да, если в тяжелой форме.
— Но сейчас вы уже поправились?
— Почти.
— Поэтому вы и не пьете? — Сама Кэрол уже выпила две порции.— Я не знала, что при малярии вредно пить.

Уинч пожал плечами. Скорей бы переменить тему разговора.

— Врачи не рекомендуют,— ответил он коротко.
— Значит, вы скоро уедете? Получите назначение?
— Вероятно,— соврал Уинч, потом добавил:— Вообще-то меня пока оставляют здесь. Во Второй армии.
— Это же замечательно! — улыбнулась Кэрол.
— Давайте потанцуем,— предложил он.

Его уже давно не тянуло на женщин. С самого Сан-Франциско. Врачи говорили, что это от дигиталиса и диуретиков. Прижимая Кэрол к себе во время танца, он чувствовал ее упругую грудь, но желания не было. Это нисколько не беспокоило Уинча. Его влекло другое — ее потрясающая, невообразимая молодость. Она жалила, как целый растревоженный рой ос.

Уинч проводил Кэрол до дома. В машине он даже не потянулся поцеловать ее, а когда они подъехали, велел таксисту подождать.

— Зачем? Разве вы не зайдете? — спросила она.

Уинч покачал головой.

— Я вышел из того возраста, когда обнимаются в гостиной на диване,— ответил он, шагая по дорожке к дому.
— Можно не только обниматься,— сказала она с улыбкой.
— В гостиной, на диване? А наверху родители? Нет, это не для меня. Но в следующий раз я найду куда вас пригласить. Если, конечно, захотите.
— Это что, угроза?
— Нет, обещание.

Они подошли к дверям. Не говоря ни слова, она зажмурилась и, откинув голову, подставила губы для поцелуя. Уинч, однако, медлил, и лишь когда она удивленно открыла глаза, нагнулся и приложился губами к ее рту.

— Когда? — спросила она, как только они оторвались друг от друга.
— Как насчет завтрашнего вечера? — сказал Уинч, а когда она кивнула, добавил ровно: — Придется первым делом научить тебя целоваться.

Она не успела ничего возразить: Уинч уже шагал к такси.

На обратном пути он откинулся на сиденье. В первый раз после сердечного приступа в Леттермане и той цыпочки — как же ее, да-да, Арлетта — он чувствовал, что возбужден.

Устроить комнату в «Клэридже» было проще простого. Джек Александер снимал в гостинице «люкс» и держал там покерный стол для любителей резануться по-крупному после месячного жалованья и, кроме того, имел две комнаты, где игроки могли выпить или отдохнуть, а при желании выспаться. Джек позвонил в «Клэридж», попросив, чтобы номер был не на том этаже, где шла игра.

— Ты, конечно, с самого начала знал, как меня охомутать,— с довольной улыбкой проговорила Кэрол, когда они пришли в номер после ужина на «Зеленой крыше».— Спорю, что ты много-много раз проделывал это с разными женщинами.

Уинч догадался, что от него ждут бесшабашной мужской усмешки. И он ее изобразил.

— По правде говоря, я слишком стар, чтобы тратить время даром.
— Ты заинтриговал меня, сказав, что научишь целоваться. Я полагала, что умею это делать.
— Нет, не умеешь,— улыбнулся Уинч.

Тело у Кэрол было такое же ослепительное и юное. Ни единой складочки жира. Она много играет в теннис и гольф, пояснила она. Отец ее — шишка в Люксоре, видный адвокат.

— Сколько тебе, говоришь, годков?

Кэрол заколебалась, и это выдало ее.

— Двадцать два... Скоро будет.

— Ну как скоро?

— Через семь месяцев,— покраснела она.

— Я тебе в отцы гожусь.

— А я тебя совсем иначе себе представляю,— прошептала она.— Ты похож на слона, на крепкого мудрого старого слона, который бродит и бродит по дебрям.

— Правда?

— Сама не знаю, что́ меня так тянет к тебе,— придушенно сказала она, прижимая его голову к себе.— Знаешь, мне надо будет уйти. Я не могу на ночь.

Как Уинч и предполагал, она была совершенно неопытной. Точно рядовой необученный, мелькнуло у него в мозгу. Однако он решил отложить обучение до следующего раза.

— Я тебе нравлюсь? — шептала она, раскидываясь в постели.

— Еще бы!

Уинчу было не до излияний. В первый раз в жизни он с удивлением и горечью чувствовал, что ему трудно. Прежде он всегда бывал в форме и не боялся устать. Сейчас было не то.

— О-ох, как хорошо,— шептала она, не открывая глаз.— Никогда так не было, никогда!

Сколько женщин сколько раз и скольким мужчинам повторяли эти слова? Каждому новому мужику, думал Уинч. Он никогда не придавал значения женским клятвам, но сейчас он знал, что это не просто слова.

Когда все кончилось и они лежали рядом, Кэрол вдруг спросила:

— А дальше что? Что с нами теперь будет?

Уинч подумал, что спрашивать про это преждевременно, что ли, но сказал как можно ласковее:

— Что-что, а времечко мы с тобой проведем прекрасно.

Однако прошло две недели, и он сам начал подумывать о том, как бы оттянуть назначение во Вторую армию. Лагерь О'Брайер находился всего в тридцати милях от Люксора. Но эти тридцать миль означали, что каждый вечер встречаться с Кэрол не удастся.

К этому времени из Цинциннати вернулся Стрейндж, и Уинч сразу почувствовал, что его кореш Джонни будто в дерьме вывалялся.

Глава 17

К тому времени, когда с двумя трехдневными увольнительными в кармане Стрейндж выехал из Люксора в Цинциннати, он уже успел привыкнуть к длительным поездкам в переполненных автобусах. Он столько раз совершал это путешествие, что знал дорогу, можно сказать, наизусть и почти не смотрел в окно.

Он надеялся подремать всласть, но разве заснешь в тряском автобусе, набитом сопящими пассажирами. Стрейндж отпил виски из припасенной в дорогу поллитровки, вытянув ноги, уселся поудобнее на узком сиденье и отдался мыслям о беде, постигшей Билли Спенсера.

Билли Спенсер был первым «обрубком» в роте. Теоретически все понимали, что оторвать руки-ноги может всякому, но на самом деле никто не верил, что этим всяким окажется он сам или кто-нибудь еще из роты.

Стрейндж думал о себе, о том, что он жив и почти целехонек, и его охватывало невыразимое чувство вины — оно мучило и пробирало до мозга костей. А когда он думал о бедняге Билли, его захлестывала

такая дикая, такая безрассудная ненависть ко всем гражданским, которые не были в пекле и не знают, почем фунт лиха, что ему хотелось двинуть по морде любого, кто попадет под руку. Это было бессмысленное желание, и Стрейндж понимал, что оно бессмысленно.

Однако хуже всего было то, что́, по рассказам Билли, произошло с ротой.

Где-то в уголке сознания у Стрейнджа давно теплилась надежда, что в один прекрасный день после войны они снова соберутся все вместе и снова составят единую, как когда-то, команду, спаянную, испытанную, понабравшуюся фронтового опыта.

Он берег и вынашивал эту надежду, хотя поделиться ею с другими стеснялся.

Конечно, это было пустое мечтание, но пока рота так или иначе действовала в старом списочном составе, пока сохранялась видимость ее организационного костяка, Стрейндж мог по крайней мере хоть тешиться такой надеждой. Теперь же, когда подразделение комплектовалось из пополнения, когда прежняя, старая, родная рота перестала существовать, он чувствовал себя бездомным, потерявшим почву под ногами. Он помнил, как совсем мальчишкой ушел из дому, как умерли потом отец и мать, но такого ощущения беззащитности, сиротства и одиночества он не переживал никогда. И сознание, что на гражданке у него есть жена и ее семья, готовая принять его в свой круг, не спасало Стрейнджа.

До Ковингтона Стрейндж добрался в середине дня, примерно в то же время, как и в прошлые приезды. Линдин дядька, ее брат-белобилетник и двоюродный брат по матери еще спали после ночной смены. Когда они по одному собрались на кухне, Стрейндж уже попивал там пиво. Он посидел с ними, пока они готовили себе завтрак, и тоже поел яичницы с грудинкой. Никто из них не проявил особого интереса к тому, что Стрейнджу сделали операцию и что под бинтом на ладони у него гипсовая лепешка.

Он узнал, что Линда вообще-то должна была работать с утра, но ее перевели в вечернюю смену. Она только-только пошла на завод и освободится лишь в двенадцать ночи. Стрейндж слонялся как неприкаянный, пока не начали возвращаться женщины — кто прямо с работы, кто из магазинов, и ему пришлось сматывать удочки. Ситцевая Линдина спаленка была единственным местом, где он мог укрыться от бабьей болтовни и кухонной сутолоки, но крохотная комнатка годилась разве что для сна или любви.

От нечего делать Стрейндж пошел в киношку. Показывали какой-то дурацкий военный фильм. Народ горстями жевал жареную кукурузу, жадно следя за перипетиями боя на экране, и Стрейндж вдруг пожалел, что у него нет парочки гранат. Шмякнуть бы их в зал, тогда бы узнали, что это такое, настоящий бой.

После кино ему захотелось выпить, и он потопал в одно заведение, потом в другое, третье. Домой он вернулся в половине первого, изрядно накачавшись. Двое из семьи уже пришли после вечерней смены, он поболтал с ними на кухне и завалился спать в ситцевой комнатенке. Линда явилась в три.

Она, понятно, не знала, что он приедет, но все равно чувствовала себя ужасно виноватой, обнаружив в спальне полусонного Стрейнджа. Линда и сама была навеселе, объяснила, что они с подругами зашли после работы выпить. Она была нежна и податлива, однако Стрейндж не сказал бы, что она сгорала от страсти после долгой разлуки.

Сверх этого Стрейндж ничего не заметил. Да и что было замечать? Обычный постельный ритуал, как всегда. Пожалуй, даже лучше, чем всегда.

Потом он начал было рассказывать про то, что говорил Каррен насчет второй операции и как им быть с рестораном, но Линда прервала

его, жалобно сказав, что хочет спать. Стрейндж продолжал говорить, и тогда она расплакалась.

— Как же ты не понимаешь, дурочка? — упорствовал он.— Будет тебе ресторан, будет! Стоит мне отказаться от второй операции, и меня демобилизуют.

— Ничего я сейчас не соображаю,— рыдала она.— Ты не видишь, что я устала и мне надо выспаться? Разве нельзя завтра поговорить, а? Ну, пожалуйста.

— Завтра так завтра. Я ж не против. Только не реви, ради бога! — успокаивал он жену, гладя по плечу.

Линда уснула, а он еще долго лежал, закинув руки за голову. Он не ожидал, что она так расстроится.

Около одиннадцати Линда спустилась на кухню, Стрейндж нашел ее осунувшейся и не отдохнувшей и предложил пойти позавтракать в какой-нибудь хороший ресторан. Когда толчется народ, и готовят, и едят, ведь как следует не поговоришь. И все же Стрейнджа удивило, что, вместо того чтобы сказать «спасибо», Линда как-то странно поглядела на него, а потом ответила, что не может, даже не объяснив почему. Она предложила встретиться вечером, после двенадцати, в баре недалеко от ее работы и дала адрес. Часа в два она оделась и ушла, сказав, что нужно кое-что купить.

Стрейндж заранее решил, куда поведет Линду ужинать. Во время своих одиноких хождений он заприметил на той стороне реки шикарный отель с залом, напоминающим «Зеленую крышу» в «Пибоди», и там допоздна подавали отличнейшие бифштексы. Он очень гордился тем, что за два месяца пребывания в Люксоре он научился разбираться в кушаньях, и ему хотелось блеснуть перед Линдой. И только когда они вылезали из такси, он подумал, не смутится ли, не оробеет ли она от этой роскоши. Даже на Оаху он не водил ее в дорогие рестораны. Но было уже поздно. Они подошли к самым дверям.

Стрейндж беспокоился напрасно. Линда чувствовала себя свободно, как дома, не хуже его самого. Она довольно кивнула, когда он дал метрдотелю три доллара, чтобы тот нашел им отдельный столик в уютном месте. Она взяла из рук официанта огромное меню с французскими названиями так, словно делала это всю жизнь, и попросила, чтобы ей принесли «Мартини». Покончив с заказом, Стрейндж откинулся на стуле и стал разглядывать публику. Ему и в голову не пришло, что Линда ведь до сих-то пор никогда еще не пила «Мартини».

Зал был битком набит военными и их дамами. В водовороте форм синего и защитного цвета терялись редкие гражданские костюмы. Многолюдный оркестр уже сыграл «Маленький мистер Эхо» и «Наперегонки с луной», а Стрейндж все потягивал виски и собирался с мыслями. Он не был охотником до танцев и не сообразил, что надо бы пригласить Линду. Он ждал, что она заговорит об их делах.

— Ну, с чего же лучше начать? — спросил он, не выдержав.

— Может, ты сначала пригласишь меня потанцевать?

— А-а, конечно.

Лишь под конец Стрейндж обратил внимание, какие красивые па выделывает Линда, и остановился, чтобы полюбоваться ею.

— Ты даже не заметил, как я научилась, пока тебя не было.

— Ага, вот только сейчас увидел. Занималась где или как?

— Да нет, само собой получилось. Мы с девчонками часто на танцы бегаем,— сказала она, уткнувшись ему в плечо.

— И вы что, друг с дружкой танцуете?

— Чаще всего,— ответила Линда.— Само собой, иногда и ребята приглашают.

Стрейндж не обладал ни способностью к танцам, ни сноровкой, но сейчас он чувствовал, что благодаря Линде у него получается совсем неплохо, однако это не доставляло ему радости, а, наоборот, беспокоило.

Музыка кончилась, они вернулись за столик, и Стрейндж подозвал официанта, чтобы заказать еще выпивку.

— К бифштексу хорошо бы красного вина,— сказала Линда.

— Вина? — удивился Стрейндж.— Давай возьмем, если хочешь. А теперь слушай.

С привычной обстоятельностью, которой он славился в роте и которой очень гордился, он принялся излагать варианты, предложенные Карреном, но чем дальше, тем больше нервничал и мрачнел. Ему не нравилось, как Линда воспринимает его рассказ. Она не проронила ни слова.

— Так вот, значит,— заключил он.— Если захочу, хоть сейчас демобилизуют. Тогда можем сразу же заняться ресторанными делами. Обстановка подходящая. У твоих малость в долг возьмем. Небось дадут, как ты считаешь?

— А что будет с твоей рукой? — задумчиво спросила жена и погладила перевязанное место.

— То и будет,— пожал он плечами.— Ограниченная подвижность двух средних пальцев — вот и все. Я уже год так хожу. Ничего страшного. Там, глядишь, пенсию подкинут.

— А если сделать операцию?

Стрейндж снова пожал плечами, начиная раздражаться. Ведь все вроде бы растолковал ей.

— Он не гарантирует, что операция удастся. Если удастся, я остаюсь в армии до конца войны. Если нет, рука будет как сейчас.

— Это хорошо, что у тебя есть выбор.

— Ты что, не рада открыть ресторан? — не сдержался Стрейндж.

— Рада, конечно, рада. Но, видишь ли...

— Что «видишь ли»?

В этот самый момент, словно посланный зловредной судьбой, у столика возник официант с бифштексами. За спиной Стрейнджа оркестр наяривал «Мелодию Элмера».

— Давай сначала поедим, а потом я тебе кое-что расскажу.

Если Линда и была чем-то расстроена, то это не сказалось на ее аппетите. Она умяла здоровенный кусок мяса, оставив лишь тонкий краешек жира, а заодно всю порцию жареного картофеля с горошком и зеленью. От работы, сказала, такой аппетит разыгрывается. Стрейндж с ожесточением кромсал бифштекс, как будто мстил за то, что их прервали в самый ответственный момент. Линда положила на тарелку рядышком нож с вилкой и, оттопырив мизинец, отодвинула ее от себя. Прикончив третий бокал вина, она облокотилась на стол, подперла подбородок ладонями и уставилась на Стрейнджа большими, ясными, немного задумчивыми глазами.

— Ну? — спросил Стрейндж.

— Я давно хотела тебе сказать. Я встретила одного человека... Ну в общем, у меня есть друг.

— Кто-кто?

Линда покраснела.

— Ну, друг, понимаешь? И я люблю его.

— Ах, вот оно что,— протянул Стрейндж. Потом он вспомнил, что оркестр в это время томно играл «Я вернусь к тебе, дорогая».

— Да, люблю,— повторила Линда.

Ну конечно же, пронеслось в мозгу у Стрейнджа. Все мигом встало на свои места, из отдельных непонятных подробностей сложилась полная картина, которую он не сумел разглядеть раньше. Теперь он понимал, почему жена была так смущена и уклончива, когда он звонил ей из Фриско. Понимал, почему она не приехала в Люксор, сославшись на то, что ее не отпускают с работы. Почему она казалась такой непохожей на себя, когда он сам приехал в Цинциннати, а она объясняла это усталостью. Понимал, почему она была в постели как кукла

все эти разы. И почему ей вообще было все равно, спит он с ней или нет. *Мог бы и сам догадаться, дубина,* сверлило у него в мозгу.

— Встретила одного человека... И любишь, значит. Ну что ж...— проговорил Стрейндж.— Кто же он?

Молчи ты, предупреждал внутренний голос. *Если она начнет говорить, все пропало.*

— Подполковник ВВС и замечательный человек,— затараторила Линда, словно отвечала заученный урок.— Окончил Принстонский университет и живет в Саутгемптоне на Лонг-Айленде.

Вот откуда мы такие церемонные.

— И он, конечно, женится на тебе? — полюбопытствовал Стрейндж. Он вдруг почувствовал себя смертельно усталым, а тут еще навязчиво лезло в уши затасканное «Я вернусь к тебе, дорогая». Перестали бы, долболобы.

Не отвечая на его вопрос, она шпарила как по писаному:

— Он конструирует самолеты. Часто занят на аэродроме в Паттерсоне. А бюро его — здесь. Но это не имеет никакого значения, потому что он летает взад-вперед когда захочет. У него есть самолет в личном пользовании. Мы встретились у нас на заводе — он приехал посмотреть какие-то узлы. И теперь он больше всего здесь — вечерами во всяком случае и ночами тоже.

— Само собой, вечерами и ночами,— подпустил Стрейндж.— Но он женится на тебе?

— Росту он — шесть футов и два дюйма,— продолжала Линда, не слыша.— Широкоплечий такой, но голова маленькая и шея тонкая, а глаза голубые. А уж обходительный — настоящий джентльмен, я таких еще не встречала. Он от меня просто без ума.

— Так женится он все-таки или нет, черт его побери? — взорвался Стрейндж, понижая голос.— Хочешь, чтобы я дал развод, да?

Линда опустила глаза.

— Он не может жениться на мне,— призналась она, покраснев.— Он бы с удовольствием, но у него жена на Лонг-Айленде и четверо детишек. Он не может оставить их.

— Из-за денег, стало быть,— мрачно заключил Стрейндж.

— Наверно, не знаю. Но это не мешает нашим отношениям. Я его люблю.

— И чем же он так приворожил тебя?

— Он научил меня чувствовать.

— Что значит — научил чувствовать?

— Как тебе сказать...— Линда вспыхнула.— Я узнала с ним такие вещи, о которых понятия не имела.

— Какие такие вещи?

— Ну, сексуальные, понимаешь? — Линда не смотрела на него.

— Нет, я, пожалуй, еще выпью,— устало выдохнул Стрейндж.

— Да-да, выпей. Мне и самой неприятно об этом говорить.

— Тебе-то что. Ты ничего не теряешь,— угрюмо отозвался он.— Может, ты все-таки скажешь, что это за вещи?

Лицо у Линды горело. Она молча отвернулась и сидела так, пока официант, взяв заказ, не удалился.

— Понимаешь,— наконец сказала она.— Он научил меня любить по-французски. Я только с ним по-настоящему почувствовала себя женщиной. До него я никогда... Я тебя не виню, правда. Но бросить его не могу. Я буду с ним, пока не кончится война.

— Или пока его не переведут в другое место.

— Да, или пока его не переведут.— Линда помолчала.— А у тебя были другие женщины? Ну, за время, что мы женаты.

Стрейндж пристально посмотрел на Линду, но она упорно не поднимала глаз.

— Нет,— соврал он.

— Извини меня. Мне, правда, жаль, что все так получилось. Но это не меняет дела.

— Понимаю.

— Ты, наверно, захочешь взять развод?

— Наверно.

Считай, что это расплата или кара какая, так проще, говорил себе Стрейндж. Но никакая это не кара. Просто война, подлая.

— А деньги со счета я тебе отдам,— сказала вдруг Линда.— Это твои деньги. Там чуть больше семи тысяч.

— Не нужны мне деньги.

— Как хочешь. Я лично к ним не притронусь. Отдам отцу, и все. Лучше возьми.

— Ладно.

В уши опять полезла какая-то чепуховая песенка. Оркестр играл «Как высоко луна над нами». Он ее тоже по радио на островах слышал.

— Ты должен понять меня. Не имею я права на эти деньги.

Стрейндж не слышал ее.

— Ну вот, все вопросы разом и разрешились,— сказал он.

— Что ты собираешься делать? — спросила Линда.

— Операцию, вот что, будь она неладна.

Линда промолчала.

— Поздно уже, пора идти.

— Давай еще разок станцуем, а? Я теперь обожаю танцевать.

— Да нет, не хочется. Правда,— ответил он.

Линда потянулась к нему и погладила раненую руку. Он досадливо отодвинулся.

Все обошлось неожиданно гладко. Они вернулись домой, в ее ситцевую спаленку, под утро, когда уже занималась заря, и мирно обсудили, как и что дальше,— точно два старых, уважающих друг друга партнера, которые в силу разных обстоятельств решили разделить дело. Линда выписала на его имя чек, закрыв общий счет и сказав, что откроет новый, и стала укладываться спать. Стрейндж направился на кухню, чтобы выпить пивка с кем-нибудь, кто уже встал или еще не ложился. Когда он подошел к лестнице, Линда окликнула его.

— Если хочешь, можем лечь вместе.

— Ну уж нет! — в сердцах ответил Стрейндж.

Линда заплакала.

— Да не реви ты, бога ради! Чего ревешь? — сказал он и тихонько притворил дверь в спальню. Потом распахнул ее.— Выходит, как я приехал, ты спала и с ним, и со мной? Ты соображаешь, что ты делала?

— Я была тебе женой.

На кухне были Линдин двоюродный брат со стороны отца, который собирался утром на работу, и жена другого двоюродного брата, по материнской линии,— она только что вернулась после ночной смены. Они пили пиво. Стрейндж подсел к ним. Он ни словом не обмолвился о том, что уезжает, да и вряд ли их это интересовало.

Он уже был у двери банка к открытию. Получив чек, он аккуратно убрал его в бумажник. Рядом с автовокзалом купил бутылку виски на обратную дорогу, хотя заранее догадывался, что где-то в районе Нашвилла придется прикупить еще одну. Славненько использовал увольнительные, ничего не скажешь, невесело думал он, залезая в автобус.

От чека на 7140 долларов не сделался тяжелее бумажник и не полегчало на душе. Зато Стрейндж в точности знал, на что пустит денежки, когда приедет в Люксор.

Глава 18

Стрейндж нашел Бобби Прелла на небольшой застекленной веранде, где днем отдыхали пациенты ортопедического отделения. Он сидел в инвалидной коляске и раскладывал пасьянс. Два дня назад ему сняли, наконец, гипс с обеих ног, и он целиком был занят самим собой. И все-таки, когда появился Стрейндж, Прелл сразу заметил, что с ним что-то стряслось.

— Что с тобой?

— Со мной? Ничего. А что?

Прелл давно изучил приятеля и чуял неладное.

Когда Преллу сняли гипс, он был потрясен, в первый раз как следует разглядев свои жалкие, искалеченные до жути ноги. Высохли как плети — иначе не скажешь. Представить себе, что он сможет ходить — значит зло насмехаться над здравым смыслом. Вдобавок, как только врачи приступили к лечению, снова начались боли. Не такие, правда, как в поезде, но тем не менее мучительные и непрекращающиеся.

— Ну как, старик? — приветствовал приятеля Стрейндж, выходя на веранду. На лице у него была незнакомая недобрая усмешечка. Она напомнила Преллу того Стрейнджа, который с треском выгнал из своей команды первого повара — сачка и симулянта.

— Вроде ничего,— ответил Прелл, гадая, заметит Стрейндж, что он без гипса, или нет и скоро ли. — Опять в Цинциннати мотал?

— Угу, и не зря. Деньжатами вот разжился. — Стрейндж извлек из кармана халата бумажник и, вытащив оттуда большой банковский чек, показал его Преллу.

— Разжился, говоришь?

— Точно. Теперь погуляем.

Прелл присвистнул, когда увидел сумму.

— Жена-то знает? — спросил он, изобразив любопытство. Нет, сам он ни за что не обратит внимание Стрейнджа.

— Жене что! Она дай боже заколачивает у себя на оборонном.

— Да ведь не пустяковина, семь кусков,— сказал Прелл просто для того, чтобы поддержать разговор.

— Еше бы! Вот и пора найти им применение. — Стрейндж помолчал, потом, выпятив грудь, заявил: — Лэндерс тебе рассказывал о своих приятелях-морячках, ну, тех, у которых шикарный люкс в «Пибоди»? Я тоже решил снять такой. Для всех нас.

Прелл недоверчиво покачал головой. Он не узнавал Джонни-Страни. Скряга, каких свет не видывал, вся рота об этом знает. И вот — пожалуйста.

— Как ты считаешь, когда начнешь выбираться в город? — спросил Стрейндж. — Без тебя неинтересно. — Случайно опустив взгляд, он увидел, наконец, что ноги у Прелла без гипса. — Сняли, значит? Совсем? — Он дотронулся до штанины. — Ну и как?

— Хуже некуда,— ответил Прелл, словно не о нем речь. — Говорят, в нашем отделении уже об заклад бьются. Семь против одного ставят, что я не смогу ходить.

— Ну и выставят их за милую душу. Я и сам с такими на спор пойду.

— Факт, выставят. Они еще не знают меня,— с вызовом, как истый горец, сказал Прелл. — Но все равно лучше подождать пару недель. Да и ставки поднимутся. Девять, а то и десять будут давать.

— Слышь, а что, если подзаработать на этом? — предложил Стрейндж.

— Позаключать пари на выигрыш?

— Конечно. Ты погодишь вставать, будешь лечиться, процедуры там всякие. Сам на поправку, а виду не покажешь. Будто тебе еще хуже. Черт, до двадцати догоним. А я буду принимать пари.

Прелл испытующе смотрел на Стрейнджа.

— И Лэндерса можно подговорить,— сказал он. Его снова поразила перемена, происшедшая с приятелем. Такую штуковину удумать — это больше на Уинча похоже.

— А с Уинчем-то как будем? — спросил Стрейндж.

Лицо у Прелла сделалось каменным, а черные индейские зрачки сузились. При одном упоминании имени Уинча он опять мысленно представил себе, как тот стоит, зловредно щерясь, у его кровати и нагло заявляет, будто Прелл отделение под пули подвел — и все ради медали.

— Ни хрена этот сукин сын от меня не получит. Я бы ему и в адовом пекле местечка не дал.

— Да брось ты! — передернул плечами Стрейндж.

— У меня и денег-то нет,— упрямился Прелл, не в силах перебороть недовольство. — Пока ехали, все просадил. А жалованье еще не платили.

— О чем речь, я тебе в долг дам,— Стрейндж помахал чеком и убрал его в бумажник. — Сколько нужно? Я за нас обоих поставлю.

— Могу на тысячу пойти,— согласился наконец Прелл. — Это самое малое, что мне причитается.

— Порядок! Я, стало быть, ищу желающих. Ну, а когда ты все-таки получишь «добро» на увольнительные?

— Откуда я знаю? Лично я хоть сейчас готов, достать бы только складную коляску.

— Ты обязательно должен быть, когда будем обмывать номер.— Стрейндж распрямился и добавил, ухмыльнувшись: — Знаешь, баб там навалом. Бери — не хочу!

— Да я охотно, но куда мне сейчас на баб.

— Да, придется потерпеть пока,— сочувственно сказал Стрейндж. — Как у тебя с твоей малолеткой?

— Идет как надо! — оживился Прелл. — Рассказал бы я тебе... Но сопротивление еще не сломлено.

Стрейндж фыркнул и помахал рукой.

— Пойду разузнаю насчет пари, а потом гостиницей займусь. Я еще загляну. А ты постарайся раздобыть складную коляску.

Двигая руками колеса, Прелл развернул коляску, чтобы посмотреть вслед Стрейнджу. Как научишься управляться с этой штукой, руки сами работают, и думать не надо. Стрейндж — молоток, что зашел. Только что-то с ним стряслось на этот раз в Цинциннати. Готов об заклад биться. Но раз он не хочет говорить, не надо.

С самим Преллом тоже стряслось, не приведи бог. Не каждый день человеку снимают гипс, чтобы он потом мучился сомнениями, будет он ходить или нет.

Насчет девчонки он тоже не был вполне откровенен со Стрейнджем. Не то чтобы он врал без зазрения совести, однако и хвастать особенно было нечем.

Звали ее Делла-Мэй Кинкейд, и ей было семнадцать годков. Отец у нее служил в Австралии в войсках связи, мать работала, потому что денег по аттестату не хватало. Своя в доску, Делла-Мэй готова была переспать с ним, она не скрывала, что давно не девушка.

Между тем Прелл понемногу узнавал, до чего удобно, когда ты удостоен Почетной медали конгресса. Каждый так или иначе старается тебе угодить. Когда Делла-Мэй собиралась «почитать» Преллу, санитар отпирал им одну из двух комнатушек у входа в отделение. Он не задавал лишних вопросов — отпирал и уходил.

Ни Стрейнджу, ни кому другому Прелл не хотел признаваться в том, что чем дальше, тем сильнее начинал тосковать, когда Делла-Мэй не появлялась в отделении. Последнее время она все чаще и чаще заговаривала о замужестве.

Прелл отдавал себе отчет в том, что главная причина — опять-таки ПМК. Медаль ослепляла и околдовывала ее, как и всех остальных. Благодаря Медали и начались их отношения, благодаря ей они и зашли так далеко.

Медаль — Прелл представлял себе это слово не иначе, как с большой буквы,— так вот, Медаль творила чудеса. Ему даже позволяли держать у ночного дежурного бутылку виски. Единственным человеком, на которого, судя по всему, Медаль не действовала, был майор Хоган. Он еще больше невзлюбил Прелла — надо думать, за то, что благодаря Медали Прелл попал в категорию людей, на которых не распространялась его, Хогана, власть.

Зато на всех остальных Медаль действовала — даже на вспыльчивого, раздражительного подполковника Бейкера. Не боясь уронить себя, главный хирург к этому времени публично признал, что допустил ошибку в прогнозе состояния Прелла. Единственную в своем роде за всю его врачебную деятельность, непременно добавлял он всякий раз. К нему-то и решил обратиться Прелл за разрешением на складную коляску, потому что идти к майору Хогану — пустой номер.

Прелл знал, что в госпитале есть такие коляски. Незадолго до снятия гипса его уже возили на такой.

Дело было так. Хоган передал Прелду просьбу канцелярии полковника Стивенса выступить с небольшой речью на собрании, устраиваемом городской Торговой палатой по случаю выпуска военного займа. Это была именно просьба, не приказ, однако такая, которую не исполнить нельзя. Прелл согласился выступить и не пожалел. Все было сделано за него. За ним прислали карету «скорой помощи» со складной коляской. Кто-то из подчиненных Стивенса написал для него речь. Ему оставалось только разок прочитать ее, а затем выкатиться на сцену зала, где собралась чиновная публика, и выложить все в микрофон. Собрание завершилось вечеринкой с коктейлями, присутствующие подходили к нему пожать руку.

После этого торжества у Прелла появилось ощущение, что есть два Люксора, которые существуют бок о бок или, скорее, один над другим. Один — это Люксор его дружков и их баб и бесконечных пьянок в гостиничных номерах и барах. Другой — Люксор благопристойных семейств и бизнесменов, которые ходят в контору и возвращаются домой, к своим женам, покупают облигации военных займов и не подозревают о существовании первого Люксора, а тот, в свою очередь, ничего не хочет знать о втором.

Теперь, побывав в другом Люксоре и произнеся там речь со складной коляски, Прелл знал оба города. Другой Люксор населяли налогоплательщики, на чьи средства приобретались коляски для инвалидов войны.

Так Прелл узнал, что в госпитале есть по меньшей мере одна складная коляска. На другое же утро, во время обхода, он обратился к подполковнику Бейкеру.

Сначала у подполковника округлились глаза, и на худом, в морщинах лице появилось сердитое выражение.

— Увольнительную? Вы хотите увольнительную? Только потому, что кто-то из роты надумал снять в «Пибоди» номер?

— Так точно, сэр! Чтобы отпраздновать.

Позади Бейкера фыркал и кипел от возмущения Хоган.

— Ну знаете... — раздраженно произнес Бейкер. — И вам, конечно же, нужна складная коляска, верно?

— Совершенно верно, сэр! Такая же, как в тот раз, когда меня возили на собрание по случаю займа.

— И что же вы собираетесь делать, когда вас втащат на лифте в номер? Накачаетесь и все?

Прелл продумал и такой поворот. Он почему-то решил, что зло-

вредного Бейкера можно пронять, если выложить ему напрямик правду-матку.

— Говоря откровенно, сэр, хочется заволочь какую-нибудь девчонку.

— Что?!

Хоган прямо-таки побагровел от такой наглости, но Бейкер начал скалиться.

— А что? Может, парень действительно... заслужил, чтоб встряхнуться. Ей-ей, заслужил! Майор, распорядитесь, пожалуйста,— заключил Бейкер.

Прелл все еще упивался одержанной победой, когда явился, притащив с собой Лэндерса, Стрейндж. Он похвастался новенькой чековой книжкой и толстой пачкой денег. Но вот с «Пибоди» пока не вышло. Номер будет только через четыре дня. Там, оказывается, наперед надо бронировать. Стрейндж сначала был страшно раздосадован. Хуже нет, когда хочется, да не можется, сказал Стрейндж. Но потом он покумекал, и выходит, что так даже лучше — для Прелла. За четыре дня он еще силенок поднаберется.

— Да, и еще одно,— сказал Стрейндж. — Надо позвать Уинча.

— Обязательно,— подтвердил Лэндерс. — Просто не можем не позвать. Все из роты будут.

Прелл догадался, что Стрейндж взял Лэндерса на подмогу. Он чувствовал, как застучала в ушах кровь и побелело лицо. Стрейндж сыграл на том, что Прелл всегда прислушивался к Лэндерсу и уважал его мнение.

— Ладно,— выдавил он из себя. — Только пусть держится от меня подальше. На другом конце комнаты. А то ненароком пристукну его стулом.

— Да не будет он к тебе лезть,— с облегчением заверил Стрейндж.— Мало ли что он болтает. Никто и не слушает.

— Будут слушать такого,— прошипел Прелл. Он схватился за колеса и яростно задергал коляску. Вперед и назад, вперед и назад.

Усадить Прелла в такси оказалось куда труднее, чем в карету «скорой помощи»,— там его просто укладывали на носилки и задвигали внутрь через большую дверцу сзади.

Лэндерс и Стрейндж без особого труда приподняли его на руки, но кто-то должен был сложить коляску. Увидев заминку, шофер выскочил из кабины и поспешил на помощь, пыхтя и выставив вперед пузо, точно решетку на паровозе. Втроем они втиснули Прелла на переднее сиденье рядом со счетчиком, а коляску засунули сзади между Лэндерсом и Стрейнджем. Сев за руль, взмокший шофер отдувался и качал головой.

— И чего ради? Чтобы выпить и лечь с бабой?

Прелла тоже бросило в пот от боли. Прав шофер. После четырех дней дополнительных процедур коленные суставы стали лучше, но все равно рановато ему выбираться. Не будь тут Лэндерса и Стрейнджа, он махнул бы на все рукой и попросил вытащить его из машины обратно в коляску.

Но друзья были рядом, и он терпел, стиснув зубы. Ныли бедра, и особенно болело в согнутых коленях, потому что сиденье было глубокое, да еще мешал торчащий счетчик. Шофер беспокойно поглядывал на него. Прелл впервые видел улицы Люксора. В тот единственный раз, когда его вывезли в город, он всю дорогу лежал.

В Люксоре наступила осень, понемногу начинали краснеть листья кленов. В просторном городском парке на площадках для гольфа помахивали клюшками мужчины, по аллеям прохаживалась молодежь. Потом потянулись кварталы победнее — белые и негритянские. То тут, то там на покосившемся крыльце, а то и прямо на траве

сидели, отдыхая, люди. Дома, даже самые неказистые, утопали в зелени.

Прелл переглядывался с шофером и, не разжимая губ, пытался изобразить улыбку.

— Трясет? — спросил тот и, нагнувшись, достал из-под сиденья бутылку виски. — Хлебни.

Прелл сидел, подсунув под себя кулаки, и ему пришлось выпростать одну руку, чтобы взять бутылку. Глоток обжег ему горло, заслезились глаза, но виски прошло прекрасно. Он уже опасался, что вся затея выльется для него в сплошной кошмар.

Преллу изрядно досталось, когда его вытаскивали из машины, а уж лифт вообще едва не доконал его. Кабина была маленькая, в ней могли поместиться только он и негр-лифтер. Чтобы закрыть дверцы, пришлось опустить подставку для ног. Пока лифт дополз до восьмого этажа, Преллу показалось, что его колени находятся в согнутом состоянии целую вечность.

Наверху неприятности кончились. Вытянув ноги, он ждал в холле, пока поднимутся Стрейндж и Лэндерс. Боль постепенно утихла. К нему подошли два захмелевших солдата с девицами и настояли, чтобы он выпил с ними за компанию. Потом из лифта вылезли его приятели, и они втроем направились в номер.

Веселье там шло на полную катушку, хотя было всего половина третьего. Стрейндж дал Корелло ключи, чтобы ребята пришли пораньше.

Прелл оглядел комнату. Уинча не было. Он пришел позднее, Прелл и не видел, когда именно,— и скромно устроился в углу, почему-то со стаканом воды. Он посидел совсем недолго и незаметно ушел.

Как только Прелл вкатился в номер, капитан-лейтенант Ян Митчелл, которого вместе с его компанией позвал Лэндерс, громко затянул «Наш Бобби парень чудесный». К нему сразу присоединились его приятели-летчики, а затем мало-помалу и все остальные. Песня окончилась, и Митчелл со стаканом в руке жестом попросил тишины.

— Я предлагаю тост за кавалера Почетной медали конгресса, первого, с которым я имею честь пить!

— Правильно! — раздались голоса.

Потом все поочередно подходили к Преллу чокнуться, и он первым выпил за самого себя. Месяц назад он, может, и не сделал бы этого, но Лэндерс заранее предупредил, что Митчелл — свой парень, за Гуадалканал «Военно-морской крест» получил.

Когда Прелл как следует набрался, Митчелл объявил среди девиц аукцион, выставив его, так сказать, на продажу. В другое время Прелл воспринял бы это как кровную обиду, но он был пьян и верил, что мужик, заработавший ВМК за Гуадалканал, не сподличает. В награду ему досталась самая роскошная красотка и мастерица на такие штуки, каких он не видывал со времен прогулок по Ривер-стрит в Гонолулу.

Собственно, никакого аукциона и не было. Митчелл так искусно играл на их патриотических чувствах, с таким неотразимым обаянием начинял похвалы мужской прямотой, что самая жестокосердная представительница древнейшей в мире профессии первой вызвалась бы бесплатно обслужить Прелла. Ну, а присутствующие женщины отнюдь не были профессионалками.

— Итак, милейшие дамы,— объявил капитан-лейтенант, вспрыгнув на коктейльный столик и криком перекрывая говорунов. — Позвольте предложить вашему вниманию кавалера Почетной медали конгресса. Всем ли известно, что сие значит? Это высшая награда, какой наша великая Америка удостаивает своих лучших сынов. Весь долгий мучительный период после ранения наш герой не общался с

прекрасным полом. Есть ли необходимость распространяться на эту волнующую тему, милые дамы?

Итак, единственный шанс близко познакомиться с кавалером Почетной медали конгресса! Цена без запроса! Кто берет? По старинному американскому обычаю первому — лучшее!

Митчелл ухитрился преподнести затею как шутку, как игру и в то же время на полном серьезе.

Из одиннадцати девиц отозвались пятеро и стали тянуть жребий. Самую длинную соломинку вытянула красавица по имени Энн Уотерфилд, высокая, аппетитная, подстриженная под пажа блондинка, работающая в городе.

Когда Прелл и Энн Уотерфилд вернулись в шумную переполненную гостиную, та со смехом объявила:

— Кто сказал, что этот парень не был в увольнении семь-восемь месяцев? Года полтора, не меньше. Вы не поверите...

Она весь вечер не отходила от Прелла и то и дело поглаживала его по руке. Ему было хорошо и не хотелось, чтобы она флиртовала с другими.

Однако он все время помнил про Деллу-Мэй Кинкейд. В спальне он подумал, как было бы замечательно, если бы вместо Энн Уотерфилд с ним очутилась Делла-Мэй Кинкейд и была бы такой же нежной и ловкой. Но сейчас его мысли приняли другой оборот. Чихать он хотел на Деллу-Мэй Кинкейд и ее разговорчики о замужестве. Если хочет замуж, пусть ищет себе другого с Почетной медалью.

Откуда-то сзади подошел Стрейндж и положил на плечо Преллу руку. Прелл обернулся и, улыбаясь, посмотрел на стоявшего рядом приятеля. Стрейндж, пьяный, раскрасневшийся, тоже улыбался, и Преллу вроде даже послышался щелчок, когда тот, подмигивая, тяжело опустил набухшее веко.

— Ну как, порядок?

— Полный!

— Ну и замечательно.

Слегка покачиваясь, Стрейндж нагнулся к самому уху Прелла:

— Слышь, все к матери просадим, а? До последнего никеля! Никому ни в чем отказа, пока есть хоть одна вшивая монета.

Стрейндж тяжело оперся на его плечо, выпрямился и отошел. Прелл развернул коляску и незаметно посмотрел на приятеля. Тот стоял, сложив на груди руки, прислонившись плечом к стене. На его покрасневшем от выпитого лице с опухшими, осоловелыми глазами было разлито блаженство. Но Прелл видел, что под ним залегли какая-то обида и ожесточение,— залегли так плотно, что, казалось, не проткнешь и штыком.

Прелл не знал, в чем дело, и не хотел знать. Но он подметил, что всякий раз, когда его взгляд натыкался на Стрейнджа, тот стоял все в той же позе и с тем же непонятным выражением лица. И он не видел, чтобы Стрейндж уединялся с кем-нибудь из девиц.

Рука Стрейнджа снова сдавила ему плечо, и он услышал его шепот у себя над ухом:

— Ты когда-нибудь баловался с бабой по-французски?

— Как? А-а... — начал было Прелл и замолчал в нерешительности. Он не понимал, что происходит, но чувствовал, что вопрос неспроста. Что-то глубокое в голосе Стрейнджа говорило, что он не хохмит.— Еще бы! — храбро брякнул он, посмеиваясь в лицо приятелю. И это было правдой, хотя совсем недавно он не посмел бы признаться в этом никому.

Оперевшись на Прелла, Стрейндж выпрямился. Прелл незаметно глянул на него. Он все так же стоял у стены и наблюдал, что творится посередине комнаты. И вдруг, как на киноэкране, Прелл увидел перед собой свое отделение: усталые, грязные бойцы шагали один за другим — мертвые вместе с живыми. Видение буквально пот-

рясло его, потому что он уже начал забывать об этом. И каждый медленно оборачивался, смотрел на него запавшими глазами и, печально улыбаясь ему, шел дальше и пропадал в кромешной тьме. «Боже ж ты мой,— думал Прелл,— чего бы они ни дали, чтобы просто быть здесь!»

Стрейндж разбудил в нем память, и теперь она работала как заведенная, не спрашивая разрешения, и, чтобы не сойти с ума, он должен твердо, раз и навсегда, сказать себе, что он — здесь, а они — нет.

Хотя Прелл опирался на металлический подлокотник, рука у него задрожала, и в стакане раз, другой, третий звякнул ледок. Энн Уотерфилд положила ладонь ему на руку, и звяканье прекратилось; потом она потянулась к нему губами, будто целуя его. Прелл благодарно подмигнул ей.

К двум часам ночи Прелл так окосел, что уже не чувствовал никакой боли, когда Лэндерс и Стрейндж втискивали его в такси, а потом вытаскивали и усаживали в коляску. Шофер на этот раз им попался неразговорчивый и равнодушный — не то что по пути сюда. Но это не испортило настроения.

— Вечерок, я вам доложу,— уезжать неохота,— снова и снова бормотал Прелл. — У меня такого и не было.

Повесив трость на спинку коляски, Лэндерс катил Прелла в ортопедическое отделение. Тогда-то спьяну он и сболтнул, что через пару дней Уинча выписывают из госпиталя. Ограниченно годным признали. Получил назначение в штаб Второй армии начальником отделения личного состава. Может, повысят, младшего уорент-офицера дадут.

Как ни пьян был Прелл, эта новость была для него словно глухой удар колокола, мрачно возвещавший начало конца. В отделении он стянул с помощью дежурного новенькую форму. Прежде чем уснуть, он долго ворочался в постели.

Вот они разъедутся — и что же тогда будет с ним? Первым, значит, выходит Уинч. За ним Лэндерс, потом Стрейндж. Он останется один. Опять и опять эти изматывающие процедуры и упражнения. И еще неизвестно, сможет ли он ходить. И так каждый божий день.

Что же ему делать? Единственное, чего он хотел,— это остаться в армии. Но кому он нужен без ног?

На другое утро, словно в ответ на мучительные вопросы, ему передали прямо от полковника Стивенса напечатанное на машинке приглашение еще раз выступить в городе с речью. На этот раз к нему обращался люксорский Объединенный женский клуб. Первое его выступление было настолько успешно, что дамы убедительно просили приехать. Собрание было назначено на полдень.

Самочувствие после перепоя у Прелла было отвратительнейшее, но он согласился. Вынужден был согласиться. Он подумал, что, может, ему ничего не светит, кроме как говорить речи, но зато есть надежда остаться в армии. Ему никто пока ничего не предлагал. Но как зверь, чуящий приближение бури, он чувствовал, что так оно и будет.

Глава 19

Проснувшись утром, Лэндерс не мучился, как Прелл. Он не в первый раз участвовал в попойках, и его организм успел приспособиться к большим дозам спиртного. Его угнетало кое-что похуже похмелья.

Натянув до подбородка казенное одеяло, он слушал, как ходит по палате санитар и будит народ. Потом у входа короткими, резкими очередями начал надрываться звонок. Ни санитар, ни звонок не беспокоили Лэндерса. К ним он уже давно привык. Однако весь он с головы до пят был охвачен глубоким смятением.

Лэндерс знал причину. Ему не нужно было перебирать в памяти вчерашний день, чтобы вспомнить, где он дал маху. Это застряло в затылке как гвоздь. Он катил Прелла в отделение и спьяну проболтался про Уинча. А его ведь специально просили держать язык за зубами.

От выпитого накануне и от острого чувства вины Лэндерса пробирала внутренняя дрожь. Он натянул пижамные штаны, сунул ноги в домашние туфли и поспешил в умывальную, чтобы побриться первым.

О том, что Уинч скоро выпишется и получит назначение, Лэндерс узнал от Стрейнджа. Они сидели с ним на солнышке, дожидаясь, пока Преллу выдадут, наконец, складную коляску. Стрейндж рассказал, что Уинч отбывает через неделю, и очень просил Лэндерса никому об этом не говорить. Особенно Преллу.

Почему бы не сказать Преллу, удивился Лэндерс. Стрейндж пожал плечами, неопределенно мотнул головой и сбивчиво — как всегда, если дело касалось тонких материй,— объяснил, что Преллу знать об этом рано. Не пришел он еще в себя, насчет ног сильно беспокоится. Не переварит, что Уинч уезжает от них и бросает роту, вообще отрезанный теперь ломоть.

Лэндерс понимающе кивнул. Он и сам не мог представить себе, как он обойдется без советов Уинча и его поддержки. При мысли, что старшого не будет с ними, у него холодело внутри. Но он не предполагал, что то же самое чувствует по отношению к Уинчу Прелл. Как бы угадав, о чем он думает, Стрейндж опять мотнул головой. Прелл, конечно, не очень-то любит Уинча, это точно, но это не значит, что не уважает, рассуждал Стрейндж.

Недельку-другую надо повременить, а потом уж скажем, вот его мнение. Пусть попроцедурится еще, ногами окрепнет. Вдобавок, когда Уинч уже уедет, Преллу будет легче, потому как против факта не попрешь.

Кивнув, Лэндерс пообещал, что ничего не скажет Преллу. Про себя же он в который раз подумал, до чего сложны и запутанны отношения между стариками из регулярной армии, такими простецкими на вид людьми. И в который раз восхитился тем, до чего хорошо разбирается в них Стрейндж. Не то что образованные, как их называют. Образованные, вроде него самого, которые воображают себя тонкими натурами, а таких парней считают невежественными и грубыми, ни хрена в этом не смыслят.

Мысленно оглядывая вчерашний сумасшедший загул, Лэндерс обнаружил странные провалы в памяти. Целые часы долгого шумного сидения начисто вылетели из головы. Но из памяти не стерлось то чудовищное, безответственное, что он натворил. Оно сидело в мозгу, и сверлило, и терзало, рождая чувство ужасной вины.

Как он мог допустить такую оплошность? Как он мог забыть о своем обещании молчать?

Побрившись, Лэндерс нервно заглотал завтрак. От спешки и напряжения закололо в желудке. Обхватив живот, он сидел на кровати, нетерпеливо притоптывал обутыми в мягкие туфли ногами и дожидался утреннего обхода. Сразу же после обхода он торопливо, насколько позволяла больная нога, заковылял через полумильную территорию в отделение к Стрейнджу, чтобы признаться, что проговорился. Может, он что придумает.

К счастью, он застал Стрейнджа. Тот был уже в форме и собирался в город, в «Пибоди». Он отдал ключ кому-то из ребят, у кого была увольнительная на утро, чтобы тот заранее договорился с девицами.

— Присоединяйся,— пригласил Стрейндж. — Чем больше народу, тем веселее. Я подожду, пока ты оденешься.

Лэндерс жестом остановил его.

— Я должен тебе кое-что сказать,— заговорил он и единым духом выложил все без утайки. — Чудовищно! Черт знает, как это вышло. Понимаешь, я вез его в отделение... Пьян был, но это меня не оправдывает.

Стрейндж отнесся к сообщению спокойнее, чем полагал Лэндерс. Он печально усмехнулся краешком рта и сделал свое характерное движение плечами. Этот молчаливый упрек подействовал на Лэндерса посильнее трехэтажной брани.

— Да, некстати подарочек,— вздохнул Стрейндж. — Но ничего не попишешь. Видать, житье всем такие подарочки преподносит. И всегда некстати.

— Да-да, но ты не представляешь, как я сожалею,— тихо добавил Лэндерс. Он выдавливал из себя слова, но легче от этого не становилось.

— Ничего, переживешь,— задумчиво сказал Стрейндж и добродушно похлопал Лэндерса по плечу. — По пьянке чего не сделаешь. А отойдешь — за голову схватишься. Бывает. — Он подвигал пальцами загипсованной руки.— Ну, а теперь топай, наряжайся. Я у стоянки буду, на улице. Погреюсь на солнышке, пока тепленькое. А то ведь не будет этого, хоть тут и юг.

В такси Стрейндж рассказал Лэндерсу о счете в банке на семь тысяч и о том, как он собирается истратить все до последнего цента, пока они в госпитале.

Голова у Лэндерса была еще занята Преллом, но Стрейндж, казалось, совсем забыл о нем.

— Немалые деньги, чтобы зря кидать,— отозвался он неуверенно. — С семью тысячами знаешь что можно сделать...

— Ну, например?

— Как тебе сказать. Я ведь не знаю твоих планов. Можно взнос за ресторан сделать. Ты же классный повар, хозяином будешь.

— Ничего этого мне не нужно,— сказал Стрейндж. — Да и денег надолго не хватит. Знаешь, сколько они дерут в «Пибоди»? Сотню в сутки! Так что номером попользуемся всего семьдесят деньков.

— А ты не говорил насчет того, чтобы по месячным расценкам платить?

— Нет, не говорил.

— Слушай,— вдруг осенило Лэндерса. — У меня у самого тысчонки две дома есть. Как ты посмотришь, если сложить их с твоими? — Идея привела его в восторг. — Еше двадцать дней сможем держать номер, если захотим.

— Как я смотрю? Нормально смотрю. Но... — Он предостерегающе выставил корявый палец. — Не пожалеешь?

— Иди ты...

Высунувшись в окно, Стрейндж смотрел на раскидистый городской парк Овертон, мимо которого проезжали курсирующие между центром и госпиталем такси.

— Эй, а что, если нам пикничок устроить?

Лэндерс не ожидал такой перемены. Стрейндж как будто совсем выкинул из головы историю с Преллом.

— Можно,— ответил он.

— Купим выпивки, еды,— загорелся Стрейндж,— позовем ребят, кого встретим, ну, и девочек, натурально, такси закажем и махнем сюда на целый день, а? Такое гуляньe закатим — небу жарко станет!

Несмотря на запрет, у шофера, естественно, нашлась бутылка виски, которую Стрейндж тут же охотно приобрел. После трех основательных глотков он с заговорщическим видом наклонился к Лэндерсу и, кинув подозрительный взгляд на затылок шофера, который спокойно вел машину, прошептал:

— Ты когда баловался с бабой по-французски?

Сперва Лэндерс решил, что Стрейндж удумал ради смеха какой-нибудь розыгрыш, и хотел сострить. Но потом понял, вернее почувствовал, что Стрейндж не шутит. Стрейндж был абсолютно серьезен.

— А зачем тебе? — не понижая голоса, спросил он, чтобы выиграть время.

Стрейндж досадливо рубанул здоровой ладонью по воздуху.

— Тише! — прошипел он. — Да не тяни ты резину. Я по натуре спрашиваю.

— Хм! Ну баловался, как ты говоришь. А что?

— Ну и как?

— Нормально. Обыкновенно.

— Понимаешь, есть тут одна,— шептал Стрейндж,— набивается. Говорит, все так делают.

Их головы почти соприкасались. Стрейндж прямо впился в приятеля взглядом, так что его глаза были похожи на два слепящих голубых прожектора, обшаривавших лицо Лэндерса. Наконец он отвел взгляд и, откинувшись на сиденье, уставился в пространство.

— Да-а,— протянул он, как бы разговаривая сам с собой.— Времена меняются.

Машина шла по Юнион-стрит, поднимаясь к Главной улице, за которой тянулась невидимая отсюда Миссисипи. Шофер сделал плавный разворот и затормозил у «Пибоди». Стрейндж усмехнулся и безо всякого выражения коротко сказал: — Спасибо.

Однако же про пикник он не забыл. Все вышло так, как он рисовал, даже лучше — веселее и душевнее. В номере их ждали четверо из роты, потом внизу, в баре, и в «Клэридже» они встретили девиц. Лэндерс обратил внимание, что все четверо прибыли в госпиталь раньше их и порядком поиздержались. Стрейнджу, ясное дело, хотелось в особенности показать свою щедрость тем, кто сидел на мели.

Это понравилось Лэндерсу. Он точно так же поступит со своими жалкими двумя тысячами — пусть только придут. А к тому времени, прикидывал он, глядишь, и Прелл подлечится. Ему безумно хотелось сделать что-нибудь хорошее для Прелла.

Когда, разомлевший от выпивки, он уснул на солнце под огромным деревом на краю огромной поляны, ему вдруг снова приснился тот страшный сон: он — на выгоревшем холме с полной флягой воды, а внизу измученные от жажды ребята его роты. Товарищи умоляли его дать им напиться, а ему было жалко воды. Его как будто толкнули, и он проснулся, едва сдержав крик. Какая-то брюнетка — он не помнил ни ее имени, ни как она очутилась с ним — держала его за плечи, ласково улыбалась и говорила что-то, успокаивая его, как ребенка.

Лэндерс сел и потянулся за бутылкой. Ему давно уже не снилось это, и вот снова — и почему именно сегодня?

К счастью, чего-чего, а выпивки оставалось достаточно. Пикник удался по всем статьям: было непринужденно, весело, солнечно, но и выпито было до умопомрачения много. Лучше всех держался Стрейндж, хоть пил не меньше прочих. После разговора в такси Лэндерса разбирало любопытство, кого же Стрейндж выберет, и он исподтишка наблюдал за приятелем. Однако догадаться о намерениях Стрейнджа было невозможно. Он был одинаково внимателен к Энн Уотерфилд, той самой, что накануне крутила с Преллом, и к Фрэнсис Хайсмит. Закупая выпивку и закусь для пикника, Стрейндж таскал с собой Фрэнсис, с ней же он ехал в одной машине, когда они на трех таксомоторах отправились в парк, так что Лэндерс подумал: ага, вот она, избранница! Затем в разгар веселья Стрейндж переключился на Энни, и они уединились под деревцами на другом краю поляны, против того места, где расположилась, расстелив на земле одеяла, остальная компания, и Лэндерс подумал: нет, значит, Энни. Но

потом Стрейндж снова начал ухаживать за Фрэнсис, и обратно в город они тоже ехали вместе. В номере он опять подсел с бутылкой «бурбона» к Энни. Фрэнсис бесилась от ревности, Энни же сохраняла хладнокровие. Лэндерс улегся спать, так и не решив, на кого ставить и стоит ли ставить вообще. Честно говоря, ему было все равно.

Сначала он держался, не хотел ложиться, опасаясь, что ему снова приснится тот холм. Но от усталости после целого дня, проведенного на воздухе, алкоголя и жары его совсем сморило. Даже мысль о навязчивом видении не могла побороть сон. Кроме того, брюнетка — зовут ее, как выяснилось, Мэри-Лу Солгрейвз — была уже в постели, рядом с ним, и, засыпая, он чувствовал, как она прижимает его голову к груди.

Часа через три он проснулся. Открыв глаза, он увидел, что Мэри-Лу одной рукой прикрыла ему рот, а другой гладит по голове.

— Прости, что разбудила,— сказала она, сняв руку с его лица. — Но ты начал разговаривать во сне, что-то кричал. Я подумала, что лучше разбудить.

Удивительно, что она ни о чем не спрашивала и делала то, что нужно, точно ей самой было знакомо такое состояние.

Лэндерс смотрел на нее, в нем зашевелилось что-то теплое.

— А ты правильный человек, Мэри-Лу!

— Благодарю вас, сэр,— улыбнулась она, показав ямочку на подбородке.

В гостиной Стрейндж все еще болтал с Энни Уотерфилд. Голос его звучал глуховато, но глаза были такие же живые, как и прежде. Уровень «бурбона» в бутылке заметно понизился.

— Ну как, соснул малость?

Лэндерс кивнул, потягиваясь. Мэри-Лу подала ему стакан.

Стрейндж и Энни были одни. Остальные четверо куда-то исчезли вместе со своими дамами. Фрэнсис Хайсмит тоже не было видно. Дверь в другую спальню стояла распахнутой — там тоже никого. Было необыкновенно тихо и покойно для половины девятого вечера. Стрейндж добродушно скалился во весь рот.

— Ребята подались куда-то на Тополиную, там, говорят, негры хорошо мясо на вертелах жарят. Мялись, мялись, в чем дело, думаю, потом дошло: финансировал их. Сказали, в киношку забегут. Фрэнсис тоже ушла,— добавил он виновато.— Я тебе рассказывал о ней.

— Разобиделась, бедняжка, и отвалила. Решила, что у нее особые права на сержанта Стрейнджа,— вставила Энни и лучезарно улыбнулась.

— Ты за Фрэнсис не бойся, она своего не упустит. Мужиков пока хватает, и хату всегда найдешь,— ощерился Стрейндж.

Значит, Энни все-таки победила, подумал Лэндерс, а Фрэнсис, против ожидания, проиграла. Теперь он знает, которая предложила его приятелю «побаловаться».

Лэндерс испытующе смотрел на Энни. В голову ему вдруг пришла, вытеснив все остальные, одна простая мысль. Между их подружками, как это всегда бывает с молодыми женщинами, идет яростная, кровопролитная борьба из-за места у кормушки.

Интересно, кого отпихнула Мэри-Лу, чтобы ей достался он, Лэндерс. И кого отпихнул он? Сегодня Мэри-Лу была очень кстати.

Со стаканом в руке Лэндерс удобно устроился в глубоком кресле и поманил Мэри-Лу. Она присела рядом на подлокотник. Полуобняв одной рукой Мэри-Лу, он сидел и наслаждался необыкновенной тишиной и покоем. Как будто передышка в отчаянной драке за бабу, за выпивку, за жизнь. Он подмигнул Стрейнджу. Тот, уже порядком набравшийся, моргнул в ответ, медленно опустив тяжелое веко. Он тоже наслаждался покоем.

Два часа спустя у них произошла первая в Люксоре драка с несколькими морячками. Их было человек семь. К счастью, силы про-

тивника были задействованы не полностью. Проще всего было бы объяснить инцидент пьяным недоразумением, однако для Лэндерса причина коренилась глубже.

Это случилось, когда они вчетвером спустились вниз, чтобы поужинать в главном помещении ресторана. Сокрушительная огнедышащая лавина солдатни обтекала этот старомодный, обшитый деревянными панелями зал, по которому бесшумно двигались невозмутимые пожилые негры-официанты. Сюда еще заглядывали почтенные отцы со своими чадами и домочадцами для тихого семейного застолья. В таком спокойном, под настроение, месте и хотелось посидеть Лэндерсу со Стрейнджем.

После ужина, взяв по пути бутылку, они перешли в бар. Непонятно, зачем им это понадобилось,— ведь можно было подняться в номер. Но у всех четверых было ровное, хорошее настроение, какое бывает у близких друзей или влюбленных, и, как неразлучным влюбленным, им хотелось ради разнообразия побыть на людях. Аудитория понадобилась, видите ли, мрачно размышлял Лэндерс потом.

Контраст был разителен. В баре было столпотворение, гомон стоял дикий. Им повезло: как раз уходили две пары, и они заняли освободившийся столик на четверых. Позади них к стене был придвинут длинный стол, за которым веселилась компания морячков разных званий, в том числе два главных старшины, или по-флотски просто чифа. Один из них был какой-то хрыч в белой парадно-выходной форме с чудными колодками времен первой мировой войны и золотистыми нашивками по всей длине левого рукава.

Они расселись, Стрейндж разлил виски, а сам пошел в уборную. В этот момент к соседнему столу подвалил еще один матрос, и хрыч в белом, протянув огромную лапу, схватил Стрейнджев стул. Девицы ничего не заметили, но Лэндерсу в голову как шаровая молния закатилась. Он поднялся, сделал два шага и сказал как можно спокойнее:

— Этот стул занят.

— Но ведь никого нет,— возразил хрыч в белом.

— Нет, есть. Мой приятель только отлить пошел,— сказал Лэндерс все так же вежливо, но молния в голове уже взорвалась.

— Ты что, не слышал? — вмешался второй чиф, помоложе и в синей форме.— Раз никого нет, значит, свободен.

— Точно. А если нужен, попробуй возьми,— осклабился пожилой чиф, подмигивая своим за столом.

— И возьму,— ровно произнес Лэндерс.

Сдерживая ярость, он ждал. Ждал, пока в дверях появится Стрейндж. Ждал, может, целую минуту, а то и больше. Стрейндж, конечно, сразу же заметил неладное. Поймав его взгляд, Лэндерс движением бровей подал ему знак. Моряки оставались на своих местах, кто сидя, кто стоя. Они смотрели на Лэндерса и тоже ждали. Ждали, что он сделает.

— Ну? — нагло ухмыляясь, подзуживал молодой чиф.— Ты же хотел взять.

Они просто не представляют, кто мы такие, думал Лэндерс, одновременно оценивая обстановку. Хрыч в белом сидит слева. Его кореш — по правую руку, стоит. Он между ними. За молодым чифом — новенький, рука — на спинке стула. Остальные сидят.

Лэндерс услышал сзади негромкий голос подошедшего Стрейнджа:

— А ну вмажь ему.

Лэндерс с размаху ударил правой хрыча в белом. Удар пришелся по скуле, как раз под глазом, и рассек ему лицо. Не взглянув на него и извернувшись круто, винтом, он тут же сильным косым тырчком выбросил кулак и дал молодому чифу под подбородок. Зубы у того клацнули, и он упал. Третьего уже взял на себя Стрейндж. Он двинул ему под дых здоровой левой, так что тот согнулся,

и огрел его по уху открытой ладонью с гипсовой лепешкой. Третий тоже упал.

Тем временем молодой чиф пришел в себя и попытался подняться. Лэндерс начал исступленно колошматить его обеими руками, левой — снизу в живот, правой — сбоку в лицо. Удары сыпались градом, а Лэндерс в беспамятстве выкрикивал одно:

— Вы у меня запла́тите, сукины дети! Запла́тите! За все запла́тите!

Чиф в синем совсем обмяк.

Схватив за горлышко пустой графин, Стрейндж приготовился разбить его о край стола и защищаться острым осколком. Правую ладонь с гипсовой нашлепкой он угрожающе отвел назад.

— Попробуй подойди! — шипел он в бешенстве.— Попробуй подойди!

Четверо оставшихся за столом морячков растерянно глядели на двух психов. Никто не горел желанием ввязываться, да и момент был упущен. Все произошло с убийственной быстротой и ожесточенностью.

Какой-то высокий солдат с добродушным лицом тяжело поднялся со своего места и, подойдя сзади к Лэндерсу, положил ему на плечо руку. Лэндерс рывком повернулся со сжатыми кулаками.

— Брось, своих не бьют! Брось, говорю,— сказал солдат и добавил обеспокоенно: — Вам лучше сматывать удочки, мигом. Кто-то свистнул фараонам. Они уже здесь, сам видел.

Лэндерс кинул удовлетворенный взгляд в сторону морячков. Старый чиф лежал, привалившись к стене рядом с опрокинутым стулом, его белоснежный китель был перепачкан кровью.

— Вы у меня еще запла́тите, сучьи дети, за все запла́тите!

Стрейндж тоже слышал предостережение высокого солдата. Он аккуратно поставил на стол оставшийся целым графин и начал медленно пятиться к двери, здоровой рукой таща за собой Лэндерса.

— Валяйте-ка отсюда, милые,— крикнул он Энни и Мэри-Лу.— Ждите нас наверху.

— Возьмите мою трость! Трость возьмите! — добавил Лэндерс, увлекаемый Стрейнджем.

В дверях им преградил путь огромный детина в форме военной полиции. Держа руку на кобуре, он оглядел бар, остановил взгляд на месте побоища, потом перевел его на двух друзей.

— Вот дьявол, опять инвалиды...— проговорил он с досадой.— Ну, ладно! Хромайте отсюдова, по-быстрому. Нет, давай туда,— показал он на коридор, ведущий из холла.— Там выход есть, на улицу. Да живее, чтоб вас!..

— У нас номер тут, люкс,— выдавил Стрейндж, переводя дыхание.

— Топайте вокруг квартала, с главного входа зайдете. Сейчас мой напарник будет, он не такой добренький.

— Очень признательны, начальник! — кинул Стрейндж уже на ходу, поддерживая прихрамывающего Лэндерса.

— Катись ты...— отозвался тот и вошел в бар.

В суматохе Лэндерс, наверное, подвернул больную ногу или растянул связку. Он сильно хромал от боли, и тащиться в обход целый квартал ему было трудно. Стрейндж поддерживал его всю дорогу по переулку, который затем огибал здание гостиницы и выходил на Юнион-стрит.

Одолев тяжелую вращающуюся дверь, они увидели в холле помятых морячков в сопровождении нескольких врачей и военной полиции. Старого чифа вынесли из бара на носилках.

— Как ты думаешь, не очень я его пристукнул? — озабоченно шепнул Лэндерс Стрейнджу в переполненном лифте.

— Да нет, нормальный нокаут. Оклемается,— весело ответил тот,

переводя дух. Потом, прищурившись, ехидно спросил: — А если бы и очень, так что?

— Это он, подлец, стул заграбастал,— возбужденно шептал Лэндерс.— И без спросу, главное. Но все равно я не хотел его так сильно.

Непонятно, когда Стрейндж успел сунуть Энни ключ, но подружки уже ждали их в номере. Смеясь, перебивая друг друга, они начали восстанавливать подробности драки. Кто-то заметил одно, кто-то другое, у каждого была своя версия случившегося.

В качестве героя непременно фигурировал Лэндерс, но сам он не принимал участия в болтовне. Окруженный вниманием Мэри-Лу, он сидел отдельно, поглаживая больную ногу. «Они у меня еще узнают»,— нет-нет да и повторял он сам себе, разглядывая кулак. Он содрал кожу с косточек, но не позволял никому притронуться к руке.

— Слушай, Марион, а почему ты кричал: «Вы у меня запла́тите, запла́тите!» Это ты с чего?

— Я? Кричал «запла́тите»?

— Ну да! Бьешь, а сам кричишь: «Запла́тите, сучьи дети! Запла́тите, за все запла́тите».

— Я не знаю. Не помню,— глухо ответил Лэндерс.— Не знаю, с чего.— Он взял из рук Мэри-Лу стакан.

Знаю, подумал он, конечно, знаю. Проще всего сказать — спьяну. Верно, поддали они как следует. Но не в этом дело. Что-то накопилось у него внутри, накопилось, и накипело, и требовало выхода. А выход где? Только дать первому встречному в морду, и еще раз в морду, и еще. Это так долго копилось и копилось в нем. Жалость, любовь, ненависть и радость. Недолговечная, хрупкая радость. И как ей быть иной, если завтра его вон из этого проклятого госпиталя и снова в паскудную молотилку? Но разве объяснишь это хоть одной живой душе и чтоб тебе поверили? Никогда и ни за что.

Это копилось в нем давно, с того дня, когда он ехал домой и в поезде к нему прицепился сержант из ВВС. Это было, когда он не захотел навесить побрякушки и они поссорились с отцом. Когда ему так хотелось поговорить по душам с Кэрол Файербоу, и как все мерзко обернулось. Это копилось в нем еще стремительнее, когда он допустил этот ляп в отношении Прелла.

И началось это гораздо раньше, думал Лэндерс, наверное, с того момента, когда он сидел на выжженном холме на Нью-Джорджии и у бойцов катились слезы, оставляя на грязных лицах белые потеки, а под ними, в низине, другие солдаты методично, упорно, ожесточенно колотили, стреляли, убивали друг друга.

Он был переполнен жалостью, любовью, ненавистью и радостью.

Жалостью к себе и таким же горемыкам, как он, которым по воле других людей пришлось пережить страх, боль и муки. Переполнен любовью — но к кому? Опять-таки к себе и ко всем остальным несчастным представителям явившейся в муках, исковерканной от рождения, испорченной породы драгоценнейших существ, которая с такой настойчивостью, спотыкаясь и падая, старается выкарабкаться из грязи и нужды собственного худосочного наследия. И ненавистью, жгучей, неукротимой ненавистью к себе и ко всем тем, кто во имя добра и блага изувечил или убил человека. А радость? Она выпадала реже всего и была самым лучшим, что только есть, и самым важным, потому что заключала в себе злую иронию. Радость ведь возникает и в моменты упоения боем, когда сброшен груз ответственности и все позволено, когда ты яростно, не боясь последствий и не думая о расплате, кидаешься в схватку, чтобы уничтожать других, а другие — чтобы уничтожить тебя. Когда люди делают то, чего никогда бы не сделали в здравом уме, обладая чувством ответственности, и не захотели бы, чтобы другие делали это по отношению к ним.

Ну и каша! Одно не отделить от другого, все перемешалось и бурлит в этом кипящем вареве, пока, наконец, под напором давления

не летит ко всем чертям предохранительный клапан даже в самой надежной системе самоконтроля.

Лэндерс догадывался, что то же самое распирает Стрейнджа,— надо было услышать его короткий суховатый смешок, когда он подошел сзади и негромким, звенящим от напряжения голосом произнес: «А ну вмажь ему!»

Он догадывался также, что если над всеми ними творят такие страшные вещи, то кто-то должен платить и платить за это — и он сам должен платить, и все остальные. И нет лучшего способа платить, как ввязаться в драку, когда тебя тоже колошматят и бьют.

Тут нет никакой логики, ни капли смысла. И оттого это невозможно объяснить другим, даже Стрейнджу. Лэндерс смирился с мыслью, что никогда не сумеет выразить это.

Значит, впереди у них одни стычки, драки, побоища? Лэндерс нутром чувствовал, что еще не выпустил пар. И Джонни тоже не выпустил. Будущее не обещало им ничего хорошего.

Когда, наконец, в номере поутихло, он заперся с Мэри-Лу Солгрейвз в спальне и до потери сознания возился с ней в постели. Он мог дать голову на отсечение, что в другой спальне, за другой запертой дверью тем же самым занимается Джонни.

Ровным счетом ничего не смыслил тот мудрец, который глубокомысленно изрек, что после драки мужчине не нужна женщина.

Когда в пять утра они, вдребезги пьяные, вшестером возвращались на машине в госпиталь, Стрейндж наклонился к Лэндерсу и сказал ему на ухо:

— Эта тоже хотела того самого.— Потом, икнув, добавил, тоже шепотом: — А я — нет. Не лежит душа, и все.

Глава 20

Еще в номере Стрейндж решил, что завтра опять сделает вылазку в город. Ему надо было довести до конца это дело с окаянной Фрэнсис Хайсмит.

Они сидели вшестером в одной машине: четверо сзади, двое с шофером. У того, натурально, оказался самогон. Они взяли три бутылки, пили сами и угощали таксиста. Пустые бутылки летели на улицу, а вдогонку им, как угасающее воспоминание, неслись улюлюканье и свист. Им хотелось разбудить штатских недоносков. Они сражались и проливали кровь за их сон и покой.

Прошло уже два дня, как Стрейндж снял номер в «Пибоди». Четыре дня он ждал его. Еще один день отняли писанина в банке, переговоры с ребятами, закупка запасов. Выходит, прошла целая неделя, как он распрощался в Цинциннати с Линдой. Вроде бы пора уже оправиться от подарочка, который преподнесла ему супружница. Однако Стрейндж почему-то не чувствовал облегчения.

На людях, с ребятами было еще ничего. Лучше, когда народ веселился и пил. Еще лучше, когда он пил вместе со всеми,— так, впрочем, чаще всего и получалось. А уж если в компании рядом вдобавок нормальная баба, с которой выпить можно,— то и совсем хорошо. Но сначала надо добить это окаянное дело с Фрэнсис Хайсмит.

Было почти шесть утра, когда он отметился у полусонного дежурного. В полутьме по отделению разносились мерное сопение и храп. Оторвавшись от освещенного ночником журнала, дежурный качал головой.

— Ну, гулены! Как вас хватает — ума не приложу.

Стрейндж мог рассказать как, но не стал.

Во время обхода его немного мутило, и морда опухла. Но он увидел, что Каррена нет, только майор Хоган, и ему уже не терпелось натянуть свежую форму, взять увольнительную и мотать отсюда.

— Вы стали слишком задерживаться, Стрейндж! — раздраженно кинул ему майор Хоган.— Не узнаю вас после Цинциннати.

Оба знали, что без подполковника Каррена все равно ничего нельзя сделать.

В город Стрейнджу пришлось ехать одному. На стоянке никого не было, а ждать, пока появится кто-нибудь из знакомых, ему не хотелось.

Насчет Фрэнсис Хайсмит Стрейндж долго мозговал. Что в ней такого, почему именно с ней надо попробовать любовь по-новому? Но как он ни крутил, все выходила Фрэнсис.

Еще чаще и больше, чем о Фрэнсис Хайсмит, Стрейндж думал о Линде-Сью, хотя мысли о ней были обычно мрачные. Но самых глубоких размышлений потребовала одна тема — ревность. Дело в том, что Стрейндж сгорал от ревности. Правда, ревновал он только Линду-Сью.

Когда он думал о ней, его воображение работало, так сказать, сверхурочно, с наибольшей нагрузкой. Он всегда представлял ее с подполковником ВВС, причем в самых соблазнительных позах.

Думая о Линде-Сью, Стрейндж снова и снова спрашивал себя, почему он так одинок и вообще что это такое — одиночество. Тут уж совсем было непонятно, все непонятно. Он никогда в жизни не знал одиночества. То есть до последнего времени не знал.

Он не чувствовал себя одиноким, когда они не были еще женаты, Линда жила в Техасе, и он видел ее не чаще раза в год. Он не чувствовал себя одиноким, когда началась война, они поженились, и Линда уехала с Оаху. Он по-настоящему не чувствовал себя одиноким на Гуадалканале или на Нью-Джорджии. Когда они возвратились в Штаты и встал вопрос о демобилизации и покупке ресторана, он часто жалел, что вообще женился. Тогда он нисколько не скучал по Линде.

Сейчас же он безумно, невыносимо тосковал по ней. И сильнее всего чувствовал себя одиноким, когда был в компании, пьяный, и рядом была женщина.

Сначала Стрейндж объяснял это любовью — то, что он ревнует и тоскует. Тем, что он любит и любовь обманула его. Потом, хорошенько поразмыслив, он понял, что никогда не тосковал по жене, так как знал, что она есть и ждет его. И он никогда не ревновал Линду, как и люксорских девок, пока не потерял ее.

Если это хоть немного правда — значит, его ревность и одиночество объясняются вовсе не обманутой любовью, а тем, что у него отняли собственность. Но ни один человек не должен иметь в своей собственности другого человека — что-что, а это Стрейндж знал твердо. Это неправильно, несправедливо. Как рабство.

Ну и что же получается в итоге, спрашивал он себя. Получается, что гораздо легче думать о Фрэнсис Хайсмит и о том, что за ним должок.

Стрейндж вылез из машины и, расплатившись с водителем, пошел к залитому солнцем входу в «Пибоди».

В шумном, переполненном военными холле Стрейндж огляделся. Фрэнсис не было. Город большой, где ее искать?

Искать Фрэнсис не пришлось. Взвинченная и пьяная, она уже ждала Стрейнджа в номере.

— Ты чего же мне мозги пудришь? — накинулась она на него.— Любезничает, видите ли, целый день, обещает с три короба, а в последний момент на Энни Уотерфилд перекидывается. А где я в позднюю пару найду? Сволочь ты, Стрейндж, вот ты кто!

— Хотел утихомирить ее — ни в какую,— шепнул уже находившийся там Лэндерс.

— Возьми у нее стакан,— сказал Стрейндж Лэндерсу.

— Нечего мне указывать! — Голос у Фрэнсис взвился еще на несколько децибелов.— Сама знаю, что мне надо! — кричала она.— Что хочу, то и делаю. Дайте же хлебнуть, сучьи дети!

Наконец им удалось перетащить Фрэнсис в спальню. Взгромоздившись на подушки, она скрестила под собой ноги, словно заняла последнюю линию обороны. Стрейндж сел рядом на краешке кровати по одну сторону, Лэндерс — по другую.

— У нее истерика,— шепнул Лэндерс Стрейнджу.

— Никакая у меня не истерика! — верещала она.— Я свои права знаю!

Стрейндж и Лэндерс замахали на нее руками, но она не унималась.

— А ты, сукин сын! — снова вцепилась она в Стрейнджа.— Я знаю, чего тебе хочется. Стукнуть меня — вот чего! Ну давай бей, чего же ты!

— Да замолчи ты, ради бога! Хватит уже,— жестко сказал Стрейндж.

— Правда, Фрэнсис, не надо,— уговаривал Лэндерс.

Но она как будто ничего не слышала. Стрейнджа разбирала досада. В первый раз собрался побаловаться с бабой по-новому, подготовил все, организовал, а она тебе идиотскую сцену закатывает.

— Хочется стукнуть, хочется! Знаем мы таких, видели. Чего же ты тянешь? Можешь мне даже нос разбить, силы хватит! — Фрэнсис умолкла, чтобы набрать воздуха.— Знаешь, почему не бьешь? Боишься, вот и все. Трус несчастный!

Сморщив лицо, зажмурившись, она высунула язык и завопила:

— Йи-и... Ну давай бей! Йи-и... Слабó, да? Слабó?

Может, вправду двинуть?..— сами по себе сложились слова у него в голове, и, прежде чем Стрейндж успел сообразить что-либо, левая, здоровая рука вдруг неожиданно, помимо его воли, ткнулась Фрэнсис в лицо. Он сидел боком, поэтому удар, на счастье, вышел несильным. И тем не менее он отчетливо слышал, как что-то хрястнуло. Фрэнсис вскрикнула коротко и пронзительно и уронила голову, зажав лицо руками.

Стрейндж был в ужасе. Ударить женщину... Дошел! Такой же внутренний бессознательный позыв толкнул его вчера схватить графин. Что с ним происходит? И в то же время где-то глубоко за испугом и смятением торжествующе дергалась ярко-красная ниточка удовлетворенного самолюбия. Проклятые бабы, никакого соображения. Сплошное расстройство из-за них. Наконец-то хоть с одной сквитался. И все равно Стрейндж жалел, что дал волю рукам.

— Ну и ну! — протянул Лэндерс.

Он начал осторожно поднимать Фрэнсис голову. Стрейндж отнял ее руки от лица. Из носа обильно текла кровь, заливая ей ладони и колени.

— По крайней мере заткнется пока,— некстати сказал Стрейндж с растерянной улыбкой.

Из ванной, намочив в воде полотенце, уже спешил Трайнор.

— Это ты зря,— негромко, укоризненно кинул он Стрейнджу.

— Учудил, глупая твоя башка,— беззлобно бормотала Фрэнсис.

— Подними голову! Выше запрокинь,— сказал Лэндерс и обернулся к Трайнору: — Лед там достань.

— Можешь теперь фараонов звать, не сбегу. Только свистни внизу,— криво усмехнулся Стрейндж.

— Молчи уж, дурень,— отозвалась Фрэнсис.

— Слушай, может, врача привести? — спросил Лэндерс.

— Не надо мне ничего. Только кровь останови и помоги спуститься. Есть у меня врач.

Ее, казалось, больше беспокоила кровь на подоле, чем разбитый нос. Они стянули с нее юбку. Лэндерс смыл холодной водой кровь с подола и повесил сушиться. Скоро кровотечение остановилось, однако нос сильно раздуло.

— Помоги мне спуститься,— попросила Фрэнсис опять.

Лэндерс дал ей салфетку прикрыть лицо, свел вниз и усадил в

такси. Он вызвался довезти ее до дома, но она наотрез отказалась. Вернувшись в номер, Лэндерс, облегченно отдуваясь, упал в кресло.

Для Лэндерса и Стрейнджа это было начало конца. Оба стали собираться в госпиталь. Трайнора с ключом решили оставить на тот случай, если заглянет кто из их роты. Но сами они были сыты по горло — и весельем, и всем прочим.

Перед уходом они посидели втроем, чтобы выпить и расслабиться. По пути в госпиталь Стрейндж и Лэндерс приняли еще.

— Что это на тебя нашло? — спросил Лэндерс.— Могли влипнуть в историю.

— Знаю. Сам не пойму, что со мной,— коротко ответил Стрейндж.

Они распрощались у главного здания и разошлись по своим отделениям. Народ только что начал ужинать.

Спал Стрейндж тревожно, хотя ни разу не просыпался и не видел никаких снов. Утром он отправился в приемную подполковника Каррена, потому что на обходе его опять не было, и доложил, что решился на вторую операцию.

На обратном пути он прикинул, что из семи тысяч долларов он за четыре дня потратил около двух тысяч. Если, конечно, считать тысячу четыреста, которые он заплатил за номер за две недели вперед.

Глава 21

Каррен был человеком дела. Стрейндж сообщил ему о своем решении, он улыбнулся едва заметно и сразу же назначил операцию на другое утро.

Он сам собирался проведать Стрейнджа, сказал Каррен. Нет, он не ждал, пока тот примет решение, отнюдь. Был очень и очень загружен. Поэтому не участвовал и в утренних обходах. В октябре немцы остановили на Вольтурно продвижение Пятой армии. С тех пор ей пришлось, как выразился Каррен, хорошо потрудиться. В ноябре обстановка там мало изменилась. Разумеется, увеличилось количество тяжелых, многих — прямо на стол. У него не было возможности заняться Стрейнджем.

Упоминание о Пятой армии резануло Стрейнджа. Он сам видел у себя в отделении двоих с итальянского фронта: у одного — плечевое ранение, у другого — рука. Молчаливые, угрюмые типы, ни с кем не общаются, да и друг с другом, кажется, не знакомы. Стрейндж, конечно, слышал о высадке в Салерно, но сейчас его поразило, как быстро вылетело у него из головы это известие. Потом он слышал и о взятии Неаполя, но сам об этом ничего не читал. Он вдруг сообразил, что несколько недель не брал в руки газеты.

После Каррена Стрейндж сразу попал в заведенный госпитальный порядок. Дневную увольнительную ему отменили. Вечером — специальный легкий ужин. После отбоя, в 21.00, ему дадут снотворное. В 6.00 они явятся с уткой, сделают успокоительный укол и повезут в операционную.

А Пятая армия ему до фонаря. Интересно, другим тоже так?

Пока ему готовили руку, Стрейндж, уже не в себе и жалко ухмыляясь, спросил у хирурга, нельзя ли, чтобы дали другой наркоз, не тот, что в прошлый раз.

Каррен покачал головой. Оксибутират натрия — самое эффективное обезболивающее.

— А в чем дело?

— Мне от него черт-те что мерещится.

— Ну, от этого не умирают,— усмехнулся он.

Каррен надел марлевую маску с завязками поверх шапочки и стал похож на марсианина. Потом он повернулся к ассистенту, и тот натянул ему на руки резиновые перчатки.

Галлюцинации начались знакомыми картинами и как будто с того самого момента, на котором они кончились в первый раз. Прошел определенный промежуток времени, и Стрейндж каким-то образом знал все, что тут происходило без него. Задвигались такие же слепящие огни, и так же слышался отдаленный гомон толпы.

И вообще, все шло в точности как тогда. Сначала врач-анестезиолог завел с ним душевный разговор. Он успокаивал, убеждал, советовал, готовя его, как тренер готовит боксера перед выходом на ринг. Потом, всадив иглу в вену, вводил жидкость, а Стрейндж мысленно считал от десяти назад, и вдруг что-то ядовитое взорвалось во рту. Почти в то же мгновение Стрейндж очутился в большом зале, чувствуя, что просыпается, изо всех сил стараясь проснуться. Но он не мог, не имел права оторваться от видения, пока оно не прокрутится до конца и не выпустит его из кошмара обратно, к Стрейнджу.

Зал был другой, и даже не зал, а какая-то тайная палата, куда не допускалась толпа. Он слышал, как она волнуется снаружи.

Обстановка, насколько понимал Стрейндж, была такая, как у древних римлян или, может, греков: массивные колонны, тяжелые занавеси, статуи, узкие отверстия вместо окон.

Судья был облачен в длинную белую тогу, скрывавшую его лицо и голову. Из-под тоги вылезали большие сильные белые руки.

Судья сидел не в огромном мраморном кресле, как тогда, а за длинным деревянным столом на возвышении у стены. На столе были разложены важные бумаги и какие-то внушительные предметы.

Стрейндж почему-то знал, что судья тоже другой. Тайной палате предстояло в закрытом порядке рассмотреть поданное прошение, и судья был наделен гораздо большей властью, чем в первый раз.

Стрейндж видел, как поднялась выпростанная из белого огромная рука и уставила на него указательный палец. От рокочущего громоподобного баса лопались перепонки, и тяжелые занавеси летели клочьями, но сейчас безликая фигура произнесла мягко, почти ласково:

— Нет, сын мой! Мы не можем оставить тебя здесь.

Удрученный, Стрейндж повернулся и вышел. Снаружи ревела толпа.

Потом голоса анестезиолога и его помощника сделались спокойнее, тише, и Стрейндж открыл глаза.

Стаскивая перчатки, улыбался из-под маски хирург. Улыбался анестезиолог. Улыбались ассистенты. Операционная удовлетворенно сияла. Захваченный общим подъемом, Каррен сказал торжествующе:

— Мы, кажется, вас неплохо подремонтировали.

— Лучше некуда,— подтвердил анестезиолог.

Стрейндж тяжело подморгнул улыбавшемуся Каррену одним веком. Потом закрыл глаза. Он был еще там, в зале. Каррен и все остальные казались ему бесплотными тенями, а не живыми людьми.

Он не знал, заключало ли видение какой-нибудь смысл или нет. Где он не имел права оставаться? Куда должен вернуться? Уму непостижимо, как это получилось — сон с продолжением, точно вторая серия в кино. А что, если бы второй операции не было? Выходит, он не узнал бы, чем все кончилось. Что тогда, куда делся бы конец? Он хорошо помнил лица людей, находившихся в зале и в тот и в этот раз. Они стояли перед ним как живые, а все остальное — сон, дурной сон.

Он чувствовал, что его перекладывают на каталку. Вместо руки у него была громадная колода из бинтов. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами и слышал, как его везут. Когда в палате его укладывали на кровать, он уже засыпал.

Операция, если судить по медикам, прошла блестяще. Поживем — увидим, что у них получилось. Врачи, они ошибаться горазды, подумал он, проваливаясь в глубокий сон.

Первый раз Стрейндж проснулся вечером, когда отделение ужинало. Рука разболелась вовсю. Ему дали болеутоляющего, и он снова уснул, не поев. Второй раз он проснулся ночью, часа в три, голодный как волк, хотя боль не проходила. Дежурный, видимо, знал, как оно будет, и принес ему поесть и снова дал лекарство. Утром ему велели встать, несмотря на боль. В общей сложности его не выпускали в город неделю. На пятый день боль поутихла, зато посещения разрешили уже на второй.

Первым пришел Лэндерс. Стрейндж сначала спросил, что слышно о Фрэнсис, а уж потом насчет Уинча. Все еще одуревший от наркотиков, он силился сообразить, почему он поставил Уинча на второе место и не означает ли это, что его все меньше и меньше интересуют старые товарищи, так же, как его все меньше и меньше интересовал ход войны. Прискорбно, если так.

У Лэндерса были новости касательно Уинча. По странному стечению судьбы, как он выразился, в то самое утро, когда Стрейнджа оперировали, Уинч получил приказ отбыть в лагерь О'Брайер. Он уехал в тот же день, не попрощавшись со Стрейнджем, потому что Джонни еще не отошел после операции и дрыхнул, как сурок.

Отбыл и отбыл, тут ничего не попишешь. Но Лэндерсу показалось, что странно повел себя их первый сержант, а теперь уже младший уорент-офицер. Слишком быстро сложил вещички и не попрощался как положено. Вместо того чтобы самолично зайти к каждому из роты по отдельности, он велел Лэндерсу с Корелло собрать всех вместе в буфете, точно на церемонию. Лэндерсу пришлось обойти всех до единого, потому что на Корелло ни в чем полагаться нельзя.

В буфете все вышло бледно и наспех. Потом Уинч, правда, вышел с Лэндерсом и попрощался с ним наедине, но тоже без душевности. Стрейнджу привет передавал, велел сказать, что даст знать о себе, как только устроится. Однако дни считать не обязательно, добавил он ехидно, потому что устройство может растянуться на некоторое время.

— Как чужой был,— заключил Лэндерс.— И мне показалось, что ему безразлично — ехать или нет.

— Ты еще не раскусил его,— полусонно отозвался из глубины кровати обложенный подушками Стрейндж.— Не хотелось ему уезжать, страсть как не хотелось, вот он и скрывал это.

— Может быть,— сказал Лэндерс неуверенно.

— Он любит, когда к нему за помощью идут, я-то знаю. Тогда он в лепешку расшибается,— настаивал Стрейндж.— А сейчас какая от него польза? Вот он и скис.

— Преллу даже привета не передал.

— Само собой,— понимающе улыбнулся Стрейндж.

Лэндерс хотел было возразить, но не стал и перешел к Фрэнсис.

Как ни плохо соображал Стрейндж, он заметил, что Лэндерс начал с Уинча, хотя сам-то он сперва спросил про Фрэнсис. Понимает что к чему, одобрительно подумал Стрейндж, не то что я.

Собственно, говорить о Фрэнсис было решительно нечего. Она как сквозь землю провалилась. Никто из обеих компаний не видел ее. Эти два дня она не появлялась ни в Стрейнджевом номере, ни у летчиков, ни в баре внизу, ни в «Клэридже» — нигде. С другой стороны, полиция вроде ничего не вынюхивает. Вот и все новости.

У Стрейнджа похолодело внутри, но он не показывал виду. Может, просто отлеживается, возразил он. Сидит дома, пока нос не заживет. Как-никак выходные сейчас, на работу только в понедельник, глядишь, и пройдет все — разве не может?

Лэндерс неопределенно вздернул брови и промолчал.

— Разве нет? — повторил Стрейндж.

Лэндерс молчал. Он никому не обмолвился об инциденте и строго-настрого велел Трайнору тоже держать язык за зубами. За два

дня отсутствия приятеля Лэндерс, с общего согласия, взял на себя роль как бы главного администратора номера-люкса 804 в «Пибоди», или Стрейнджева люкса, как стали называть его среди своих. Весьма кстати подоспели его собственные деньги, так что он имел возможность оплачивать текущие расходы.

Лэндерс рассказал, что был вынужден ввести новые порядки, а то начали приводить разных проходимцев. Теперь каждого новенького приглашают только с его разрешения.

— Я гляжу, ты вожаком заделался.

— Да,— ответил Лэндерс без тени улыбки.— Смешно, правда? После того как я поставил на всем крест. В армии мне это не понадобится.

— Кому известно, может, понадобится.

— Нет, армии не нужны такие вожаки. В армии противопоказано выдумывать. Не любят выдумщиков.

— Как сказать.

— Нет, это точно,— уверенно заключил Лэндерс.

Даже в нынешнем своем состоянии Стрейндж понимал, что Лэндерс принял для себя какое-то важное решение и теперь совсем иначе смотрит на вещи.

— Что значит — «поставил на всем крест»? — спросил он.

— То и значит. Плюнул на все. Отныне буду делать только то, что скажут, не больше и не меньше. И лучше меньше, лишь бы сошло.

— В таком разе ты дозрел до офицера. Может, в офицерскую школу запишешься?

— Ну уж нет,— отрезал Лэндерс.— Отдавать людям приказы, чтоб под пули шли?

Стрейндж хмыкнул, но разговор заставил его задуматься. Он не знал, что́ с Лэндерсом, а тот не говорил, однако он видел, что его товарищ изменился, сильно изменился, и это его беспокойло. У Лэндерса появилась какая-то отчаянная, бесшабашная решимость, только он не знал, куда ее направить. Несмотря на протесты Стрейнджа, он продолжал тратить свои деньги на вечеринки в номере-люксе 804 и вообще заправлял там делами. Всю неделю, пока Стрейнджа никуда не выпускали, он был его глазами и ушами в Люксоре.

После возвращения Стрейнджа из Цинциннати Линда ни разу не позвонила ему, и он тоже не звонил ей. «Может, ждет, что позвоню первый?» — нет-нет да и спрашивал он себя. Не дождется. Его теперь Фрэнсис Хайсмит больше интересует.

Но шли дни, а Фрэнсис не объявлялась. Никто из знакомых не видел ее, доносил Лэндерс,— ни наши, ни моряки. Оба изрядно поломали голову над ее исчезновением, однако что делать — не решили.

У приятелей была еще одна животрепещущая тема для разговоров: после истории с Фрэнсис Лэндерс чуть не каждый день затевал то тут, то там драку. Стрейндж соглашался с Лэндерсом, что после стычки с моряками в «Пибоди» у них, видно, такая полоса пошла — руки чешутся. И то, что он ударил Фрэнсис,— тоже от кулачной лихорадки. Лэндерс признался, что первый ее признак он почувствовал еще во время поездки домой, когда чуть не избил в поезде сержанта из ВВС.

Но ни один, ни другой не могли толком объяснить, почему это происходит. Стрейндж усматривал причину в том, что они физически дошли до кондиции — считай, вылечились, вот сила и прет. До второй операции он лично чувствовал себя совсем здоровым. Лэндерс, кивая, соглашался и, со своей стороны, выдвигал идею другого порядка. Их со Стрейнджем, наверное, раньше других выпишут из госпиталя и отправят на фронт, не исключено, что в Европу, они оба знают, что́ их там ждет, и это действует на их психику.

Никакого удовлетворения драки ему не доставляют, рассуждал Лэндерс, ему даже не хочется затевать их — просто злость одолевает. Он не любитель потасовок, вообще не сторонник рукоприкладства и никогда им не был, хотя в свое время немного занимался боксом. Как правило, старался обойтись без зуботычин, а сейчас по малейшему поводу сам лезет в драку. Стоит кому-нибудь уничижительно отозваться о нем или о ком из роты, о тихоокеанских операциях или пехоте вообще — все, драка гарантирована. Хотя вообще-то чихать он хотел на армию. Словно какой-то комок безудержной ярости закипает внутри, глаза застилает красным, и вот тогда берегись. Он сам не знал, откуда это у него.

Однажды Лэндерсу надоели толкотня и гвалт в Стрейнджевом люксе, и он поднялся в гостинице на «Крышу» — один, без спутницы, зато прихватив, как водится, в бумажной сумке бутылку виски. Зал был полон, но к этому времени благодаря щедрым чаевым он уже завел знакомство с метрдотелем, и тот проводил его к отдельному столику на четверых, предварительно сняв с него табличку «заказан». Сидевшие рядом трое молодых летчиков — уорент-офицеров — принялись разглядывать Лэндерса, очевидно удивляясь, что ему одному достался такой хороший и дорогой столик.

Время было позднее. Лэндерс был рад, что пришел сюда один, без женщины, хотя с удовольствием смотрел, как движутся пары в мерцающих разноцветных отблесках света. Дело шло к закрытию, и оркестр наигрывал одну за другой модные сентиментальные вещицы. Ничто не раздражало и не злило его, напротив, в душе рождалась какая-то тихая жалость к тем, кому плохо. А плохо было всем. Горе не обходит никого. В голове проносились беспорядочные ключковатые мысли и разлетались, прежде чем он успевал додумать их до конца.

Ресторан закрывался в час ночи, и оркестр, по обыкновению, заиграл «Звездно-полосатое знамя». Лэндерс сидел как ни в чем не бывало. Он не встал почти по привычке — мало кто из госпиталя это делал. У них даже злая хохма ходила: вставать при исполнении национального гимна инвалидам противопоказано. Говорили, что из-за этого случаются драки, но сам он ничего такого не видел. Правда, он всегда бывал с компанией.

Едва музыка кончилась и народ начал расходиться, самый высокий и, очевидно, старший по должности из троих уорент-офицеров подошел к столику Лэндерса.

— Пора бы уже научиться вставать, когда исполняется гимн,— сказал он.

Лэндерс мимолетно глянул на долговязого, внутри у него зашевелился горячий комок.

— Отцепись, а?

— В таком случае я хочу знать вашу фамилию, звание и часть. Это приказ.— Долговязый вытащил записную книжку и карандаш.

Лэндерс зафыркал про себя, а к голове уже поднимался откуда-то из глубины грохочущий огненный прибой. Он снова поднял глаза и уперся неподвижным взглядом в уорент-офицера.

— А в морду вместо этого не хочешь?

Ничего не сказав, летчик убрал книжку и отошел. Сев к себе за столик, он горячо заспорил с товарищами. Один, видимо, соглашался с ним, другой возражал. Лэндерс злорадно усмехался, поглядывая на них.

К этому моменту зал уже почти совсем опустел. Два лифта у входа быстро рассасывали толпу. В сторонке нервно переминался с ноги на ногу метрдотель.

— Кто эти типы? — спросил он с нью-йоркским выговором.

— Нездешние, пролетом здесь,— ответил Лэндерс.— Из военного колледжа, перегоняют самолеты. Не обращайте внимания.— Он за-

платил по счету, присовокупив щедрые чаевые, и подмигнул метрдотелю.

Лэндерс уже подошел к лифту, когда его окликнул тот же уорент-офицер:

— Постойте, солдат! Я все-таки хочу знать вашу фамилию и часть.

Вся троица шеренгой надвигалась на Лэндерса. Долговязый, видимо, убедил спутников.

Лэндерс нажал кнопку лифта и обернулся. Он был абсолютно спокоен. Но как только они подошли на дистанцию удара, его рывком, как булыжник, выпущенный из катапульты, бросило вперед. Сработавшее в последний момент шестое чувство подсказало ему кинуться на того, который не хотел ввязываться.

Все произошло очень быстро, хотя со стороны казалось, будто в замедленном темпе прокручивается отснятая лента. Летчики не ожидали нападения и невольно отпрянули от него. В этом была их ошибка. Лэндерс ударил первого, тот упал и остался лежать, как он и рассчитывал. Потом увернулся от бросившегося на него долговязого и что есть силы двинул ему ногой. Того отбросило к лифту, он раскинул руки, чтобы удержаться на ногах, но в этот момент створки лифта раздвинулись, и он, таращась от изумления, мелко перебирая ногами, влетел в кабину, грохнулся о заднюю стенку и начал медленно сползать на пол. Лэндерс и сам удивился, как это получилось. Он быстро вбежал следом, приподнял уорент-офицера за ворот и стукнул ему в челюсть. Зрачки у долговязого остановились. Нажав на кнопку спуска, Лэндерс выскочил из кабины. Тут его встретил третий, хотя пылу в нем поубавилось: ведь он оказался один на один с противником. Лэндерс пошел на него, нанося быстрые удары — один, другой, третий, пока летчик не опрокинулся на старинную козетку у стенки и не затих.

Лэндерс не мог остановиться. Его несла кипящая волна ярости, в ушах стоял грохот, он слышал, как он кричал, но не разбирал, что именно.

Обернувшись, он увидел, что стрелка у лифта показывает вверх, и кинулся туда, на ходу поддав ногой по голове первому, который поднимался с пола. Ударом Лэндерс снова загнал выходившего из кабины долговязого внутрь, вошел сам и поехал вниз.

Внизу все было тихо. Лэндерс вызвал второй лифт — по счастью, он был пуст,— поднялся на восьмой этаж и, прихрамывая, пошел в номер. Лодыжка у него ныла, на скуле красовался синяк, кожа на обоих кулаках была содрана, но фараоны теперь уже не достанут его. В номере он не стал распространяться о драке, только жалел, что она быстро кончилась.

Лэндерс поведал Стрейнджу об этом инциденте на пятый день после операции, когда того уже перевели из бокса на двоих в общую палату.

Стрейндж не знал, что происходит с Лэндерсом, и не знал, что происходит с ним самим. Одно было ясно: он разучивался владеть собой, разучивался нормально соображать, и это тревожило и чуть-чуть пугало его.

— Ладно, Марион,— сказал Стрейндж.— Вот через пару дней выберусь отсюда, обмозгуем все вместе. А вообще ты без меня здорово делами заправлял.— Стрейндж в первый раз назвал Лэндерса по имени.

— Надо старуху Фрэнсис разыскать. Ума не приложу, куда она пропала,— пожал плечами Лэндерс.— Но эти два дня я ее еще поищу.

— Поищи, поищи,— поддакнул Стрейндж.— Хотя это не так уж важно — лишь бы с ней все в порядке было.

Стрейндж, конечно, бессовестно врал: ему было важно, очень

важно. Он не знал, догадывается ли Лэндерс, что он врет, или нет. Но он не хотел, чтобы его друг догадался, и не хотел признаваться, что мысль о том, как бы позабавиться с Фрэнсис Хайсмит, застряла у него в голове и превратилась в навязчивое до жути желание.

В конце концов Стрейндж сам разыскал Фрэнсис.

Он нашел ее на пятый день, вечером.

Ему надоела безостановочная гульба в номере. Он заглянул в бар, вышел из гостиницы, прошел два квартала по Юнион до Главной улицы. Он не знал, ищет он Фрэнсис или нет. Он уже почти потерял надежду встретить ее. Но в 804-м ему осточертело. Лэндерс подмигнул ему, когда он уходил. Вечерний ноябрьский холодок проникал сквозь летнюю куртку. Стрейндж пересек улицу, чтобы поглазеть на затемненные витрины на другой стороне — той, где стоял «Клэридж». Витрины были забиты всякой женской всячиной. Тут были вещицы, которые встанут в сотни, тысячи, в десятки тысяч долларов. Этакие безделушки для красивых женщин и хорошеньких девушек. Но кто же в состоянии покупать такие вещи? Деляги. Только деляги, которые отсиживаются в тылу и наживаются на войне, подумал Стрейндж. И в этот же момент он увидел, как позади него, отделившись от вереницы прохожих на противоположном тротуаре, пересекает улицу женская фигура. Глаза сами разглядели Фрэнсис, и он изо всей силы закричал:

— Эй, Фрэнсис!

Стрейнджа охватило возбуждение. Он не мог поверить в свою удачу. Внутри у него что-то перевернулось, что-то скользкое и масляное, в горле запершило.

Женщина остановилась и смотрела на него. Да, это была Фрэнсис. Непонятно, как он узнал ее. Одета она была очень даже прилично: легкое платье, модное осеннее пальто. Но в ее облике и движениях появилось что-то пугливое, настороженное. Куда подевались свободная походка, покачивающиеся бедра, прямая спина, выставленная вперед грудь. Она вся скособочилась, сгорбилась, будто хотела спрятаться, уйти в себя, как улитка.

Стрейнджа как по сердцу резануло. Отчего такая перемена, неужели что-нибудь с лицом? Бог ты мой, вот уж ни к чему. Он глотнул воздух.

Краем глаза он оглядел какую-то третьеразрядную забегаловку, откуда она, очевидно, только что вышла.

— А, это ты,— произнесла Фрэнсис тихо, когда он подошел к ней. Потом, выпрямившись, спросила: — Ну, как ты?

Стрейндж облегченно перевел дух. Лицо у нее было в полном порядке. Нос прекрасно зажил — ни шишки, ни перебитой переносицы, ничего. Только в самой-самой глубине глаз затаилось какое-то новое, незнакомое выражение. Что-то скользкое, переменчивое, оно бегало и не подпускало к себе.

— Ты-то как? — спросил Стрейндж, силясь изобразить улыбку.

— Нормально,— ответила Фрэнсис, но в тоне ее была та же непроницаемость и неуступчивость.

— Знаешь, как я волновался за тебя,— произнес он сдавленным голосом.

— Правда? — Рот у Фрэнсис растянулся в непонятной усмешке, печальной и плотоядной.— У меня все нормально. Живу прекрасно, лучше некуда.

— А я искал тебя.— Он подумал, что она не знает, зачем он это делал, и ему снова сдавило горло. Голос выдавал его. Алчно улыбаясь, она смотрела ему в лицо, и в глазах у нее ходило то самое, скользкое, неуловимое. Она молчала.— Почему не заглядываешь в гостиницу? К нам?

Фрэнсис все так же улыбалась, но голос был жесткий, металлический.

— Я туда больше не пойду!

— Но почему, почему?

Она отвела глаза, потом отвернулась.

— Всем известно, что произошло,— сказала она без улыбки.

— Ничего подобного! Ни Лэндерс, ни я — никому ни слова. Трайнор поклялся, что будет держать язык за зубами. Никто ничего не знает.

— Все равно все знают, что ты перекинулся на Энни.

Фрэнсис снова сгорбилась, отвернулась — вот-вот убежит.

— Да брось ты! — Стрейндж начал раздражаться.— Вы же никогда ни к кому не ревнуете. Какая разница — кто с кем первый?

— Не пойду я туда,— повторила Фрэнсис.

— Ну и не ходи,— рубанул Стрейндж, понимая, что надо бы помягче. Он взял неверный тон и не знал, что сказать, чтобы убедить Фрэнсис.— Мне и самому там разонравилось,— попробовал он с другого края.— Как видишь, один гуляю.

Фрэнсис молчала.

— Давай зайдем в «Клэридж». Посидим малость, поговорим.

Снова ни «да», ни «нет».

Подольститься надо, вот что, наконец осенило Стрейнджа. Баба на лесть без отказа клюет, хотя и знает, что это сплошное притворство. Лесть — как зубами съесть.

— А пальтишко ничего отхватила! Смотрится,— сказал он.— Слышь, я чуть не свихнулся, пока искал тебя. Целую неделю искал. Ну, зайдем?

Вместо ответа она спросила:

— А что ты делал другую неделю?

Стрейндж отупело смотрел на нее.

— Какую другую неделю?

— Первую, вот какую.

Стрейндж понял, что ему дана отсрочка. Он показал загипсованную ладонь.

— Да мне операцию делали. На другой же день после... после того, как мы виделись, меня с утра — на стол, и давай в руке ковыряться. Всю неделю потом провалялся. Никуда из госпиталя не выпускали. Но я сказал Лэндерсу, и он искал тебя.

— Не видела я никакого Лэндерса.

Стрейндж так и не услышал ничего вразумительного, но как-то получилось само собой, что Фрэнсис уже взяла его под руку и они пошли вместе. Пошли к «Клэриджу» — туда, куда он звал ее.

— Ты у меня самая замечательная девчуга,— хрипло шептал Стрейндж.— Самая замечательная в городе.

— Ты хочешь побаловаться со мной по-французски? — спросила Фрэнсис.

Он помолчал, она тоже. Пауза затягивалась.

— Да,— выдавил наконец Стрейндж тихо. Как будто клещами вырвали из него это слово.

— Ну, хорошо! — сказала она коротко.

Чувство нереальности происходящего не покидало Стрейнджа на протяжении всего пролога. По счастью, в «Клэридже» оставались свободные номера, и ему не пришлось звонить Джеку Александеру в его игорный номер. По счастью, был открыт киоск со спиртным, и он взял бутылку. В номере Фрэнсис сразу же начала раздеваться, даже не хлебнула для храбрости.

Потом, когда все уже кончилось, Фрэнсис сказала мечтательно, глядя в потолок:

— Да мы с тобой еще не такое можем придумать, Джонни. Джонни-Страни.

Фрэнсис уснула, а он лежал на спине и старался разобраться в своих мыслях.

Перво-наперво, до чего же приятно, когда с такой нежностью произносят твое имя. На одно это надо делать скидку.

Во-вторых, это не любовь. Не та любовь, о которой он слышал и читал в книжках. И Фрэнсис Хайсмит тоже наверняка не считала это за любовь. Правда, с другой стороны, им здорово хорошо вместе, очень даже хорошо. Это, брат, не фунт изюму. Жалко, что ненадолго. Совсем ненадолго, если верить просвещенному мнению докторов. Скоро ему предстоит вернуться на фронт.

И в-третьих, это новое, неусвоенное еще и непереваренное ощущение, что он — извращенец. Сексуальный извращенец. Оно поднималось из самого дальнего нутра, куда он никогда не заглядывал, и неудержимо захватывало его. Ровно помешательство, в одночасье как наркоманом заделался. Господи Иисусе, да в некоторых местах это даже по закону преследуется. Ну и ладно!

И тут же, лежа в постели под белыми и мягкими простынями с теплой Фрэнсис Хайсмит, прикорнувшей у него под боком, в первый раз за очень долгое время он подумал о роте, которая все еще там, на передовой, о бойцах, ополоумевших от пота и крови, уткнувшихся, точно с голоду, мордой в землю. Пока не побываешь там, с ними, ни за что не научишься дорожить свежей простыней, чистой водой из-под крана и запахом спящей рядом с тобой женщины — пускай чужой.

Стрейндж чувствовал, что не заслужил всего этого, и казнился виной — не из-за баб, нет, а из-за войны. А может, из-за того и другого вместе.

Окончательно запутавшись, он повернулся на бок и закрыл глаза. Он ни разу в жизни не испытывал такого блаженства. Подумать только, что все эти годы он...

Стрейндж велел коридорному разбудить его, и едва рассвело, он выскочил из постели, растормошил Фрэнсис, чтобы попрощаться, и понесся в госпиталь. Надо было поспеть к подъему. Этому правилу он не изменил ни разу.

Во время обхода Каррен сказал, что через денек-другой ему снимут гипс и посмотрят, вполне ли удалась операция. Стрейндж прикидывал, догадывается ли хирург, что он извращенец, или нет.

Книга четвертая. ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

Глава 22

Март Уинч пробыл в военном городке О'Брайер уже три недели, когда узнал, что у Мариона Лэндерса дня не проходит без драки и сейчас он влип в историю. Шла первая неделя декабря, в Люксоре наконец настала зима, повеяло холодом, прошел первый легкий снежок.

Джек Александер позвонил Уинчу из госпиталя и сообщил, что Лэндерс затеял драку в зале отдыха с раненым первым лейтенантом, избил его до бесчувствия, затем вступил в пререкания с начальником административного отделения майором Хоганом, нанес ему словесное оскорбление, угрожал и в довершение всего пять дней находился в самовольной отлучке.

Лэндерс сейчас под палатным арестом, сказал Александер. Майор Хоган заготовил обвинение по всем четырем пунктам. Лейтенант не захотел выдвинуть обвинение. Но и Хогановых достаточно: Лэндерс угодит под трибунал и получит три месяца тюрьмы, а то и все шесть. Хорошо еще, что из самоволки пришел сам. Попади он в руки военной полиции — тогда армейский суд.

— Я-то что могу сделать, черт побери? — вырвалось у Уинча. Он машинально перевел взгляд на окно своего кабинета и на то, что творилось снаружи.

— А я почем знаю? Ничего ты не можешь. Ничего.— Густой голос Александера звучал отрывисто и жестко и сверлил так же, как его водянистые голубые глаза. Уинчу вдруг представилась невообразимая картина: безгубым черепашьим ртом тот с хрустом отхватывает от телефонной трубки кусок за куском и не спеша, задумчиво жует.— Он из твоей шайки. Вот я и решил сообщить.

— Подожди, не клади трубку! — заторопился Уинч.— Надо что-то придумать. Что полковник говорит?

— Полковник Стивенс ничего не говорит,— медленно и выбирая слова ответил Джек Александер.— Не уверен, что он знает.

— Должен знать, раз Хоган выдвинул обвинения.

— Стало быть, должен. Мне он не докладывал,— ответил голос.

— Как считаешь, стоит мне поговорить с ним?

— Понятия не имею.

— Если поговорить — хуже не будет?

— Лэндерсу хуже не будет. А вообще — не знаю.

— Можешь ты толком сказать или нет? — взорвался Уинч.— Могу я чем-нибудь помочь парню?

— Может, можешь, а может, и нет,— скрипела старая черепаха.— Я только сообщаю тебе. Не хуже меня знаешь, какие строгости пошли. Сверху донизу гайки подкручивают. Сам понимать должен, что к чему. Чего молчишь? — резко спросил голос.

— Ладно, Джек, я понимаю. Думаешь, это может отразиться на Лэндерсе? Что, если я заеду к тебе?

— Меня не впутывай,— сразу же отозвался голос.— Я пас.

— Ясно. Тогда я поговорю с полковником Стивенсом. Играть так играть. Он почти каждый вечер к нам в клуб заезжает, к коктейлям.

— Ладно, играй. Увидимся в городе. Я эти дни в «Клэридже» буду по вечерам.

— Не знаю, попаду ли я в город,— сказал Уинч и, поблагодарив за звонок, положил трубку. Несколько секунд он задумчиво смотрел на черный телефон, потом подошел к большому, с витринным стеклом окну. Его кабинет среди немногих находился на верхнем этаже единственного в военном городке трехэтажного здания.

От вида, который открывался из окна, захватывало дух. Зимнее солнце разгоняло клочья утреннего тумана. Приземистые бараки и двухэтажные казармы, окруженные учебными полями и плацами, тянулись во все стороны, насколько хватал глаз. Между ними вились посыпанные щебнем и гравием дороги, тускло светились лужи в выбоинах и впадинах. Пересекая дороги, шли ленты асфальта, исполосованные следами колес и усеянные комками грязи с башмаков маршрующих колонн. Сверху, смешиваясь с туманом, нависали клубы угольного дыма. Мили за две отсюда, едва различимая из окна, простиралась холмистая равнина, хотя казалось, что начинается она от самого порога, а за ней смутно темнела лента лесов на горизонте с торчавшими кое-где отдельными верхушками. И вот какой-то пройдоха из его соотечественников, подбросив толику своему конгрессмену, сбагрил через него эту бросовую землю правительству под военный городок. Вдали, за группой строящихся бараков под толевыми крышами, тяжелые батареи проводили полигонные стрельбы и посреди деревьев то и дело бесшумно вздымались черные фонтаны земли вперемешку с обломанными сучьями. Поближе по щебеночным дорожкам бесконечно двигались туда-сюда взводы, роты, а то и целые батальоны. Солдаты шагали в походной форме, в касках, с автоматами на ремнях, и пар от их дыхания смешивался с выхлопами бесконечной вереницы транспортных средств.

В обязанности Уинча — по крайней мере на бумаге — и входило присматривать за всей этой человечьей массой, пока она находится в распоряжении командования Второй армии.

Все вышло точно так, как говорил Дока Хоггенбек, как он прикидывал и устраивал. Работенка не бей лежачего. Главное, чтоб комар носу не подточил.

Теперь Уинч имел все, о чем мечтал в годы растраченной попусту молодости, еще в ту пору, когда зарабатывал свой первый сержантский шеврон. Теперь он устроился как нельзя лучше, все у него есть, но почему он не радуется?

В О'Брайере проходили подготовку две дивизии. Их готовили к переброске — не в Италию, нет, гораздо севернее. Две полностью укомплектованные дивизии. Восемнадцать тысяч человек.

Теперь Уинч мог подумать о том, на что намекнул Джек Александер по телефону. Вполне мог: это разворачивалось у него перед глазами. Осторожный, неразговорчивый, экс-чемпион упомянул про завинчивание гаек во всех родах войск.

Холодок пробежал по спине Уинча. Наконец-то Соединенные Штаты начали готовиться к вторжению в Европу. С помощью Великобритании намечено осуществить высадку во Франции. Об этом знали несколько тысяч человек из высшего командного состава армии. Со дня на день будут спущены соответствующие приказы. Мелкая сошка, такие, как он и Александер, не посвящалась в стратегические планы. Но они оба знали. Почти все знали. Официальное сообщение ожидалось к рождеству, но призывники, топавшие по зимней слякоти городка, знали, куда их направят и что их ждет. В частях подтягивали дисциплину.

И в эту самую пору Лэндерса угораздило влипнуть в дурацкую историю.

Уинч задумчиво смотрел на марширующие колонны. Сколько же их поляжет в предстоящей большой операции. Сколько погибнет, пропадет без вести, покалечится. Тьма-тьмущая.

В сущности Уинчу было все безразлично. Его ответственность была формальной, на бумаге, и к тому же временной. Пусть умирают. Кто-то же должен.

Но он не мог оставаться безразличным, если попал в беду Марион Лэндерс. Ему была не безразлична судьба этого паршивца Бобби Прелла. И как все сложится у Стрейнджа, его бывшего кухонного сержанта Джонни-Страни.

После возвращения в Штаты его жизнь оказалась тесно связанной с этими тремя. Они были для него важнее, чем все остальные, которые, исходя пóтом, пыхтя и отдуваясь, как загнанные лошади, шагали по холоду за окном. У каждого из них — свои неприятности и беды: поломанная личная жизнь, оставленные жены и дети, родители, не засыпающие по ночам из-за них. Но Уинчу было на все это наплевать.

Прелл, Лэндерс и Стрейндж — вот единственное, что оставалось у него в жизни.

Где-то в самом дальнем уголке его психики, куда ему не хотелось забираться, хотя он в точности знал, что такой уголок существует, затаилось суеверное убеждение, что если он убережет их, не даст им свихнуться или загнуться, если они будут живы и здоровы, то и он выкарабкается. Кошмары мучили его последнее время все сильнее и сильнее. Уинча бесило: надо же было Лэндерсу попасть в переплет именно теперь.

А может, оно к лучшему? Пусть Лэндерс отсидит три месяца, а то и полгодика — ему это на пользу.

И тем не менее в тот же вечер Уинч разыскал в офицерском клубе полковника Стивенса и взял его в осаду у стойки бара.

Полковник уже знал о Лэндерсе и грозящем ему суде, но не

придавал этому особого значения. Это выяснилось сразу же, едва Уинч затронул эту тему, однако затронул он ее лишь после того, как поставил полковнику угощение — три порции виски.

Уинч давно научился общению с офицерами на их собственной, так сказать, территории. Сделавшись уорент-офицером, пользуясь привилегиями члена клуба и правом общаться с привилегированными на равных, он не собирался отказываться от проверенного правила — его надо только малость скорректировать.

Весь секрет — в почтительности, независимо от того, что ты на самом деле думаешь. Все остальное — техника: почаще вворачивать «сэр» и не драть нос из-за того, что попал в офицерский круг. На таких смотрят косо.

Готовясь к атаке на полковника Стивенса, он собрал все свое умение нравиться.

— Он, как я понимаю, вместе с вами воевал? Кажется, на Гуадалканале? — сказал Стивенс полувопросительно.

Он стоял, прислонившись к стойке, и вообще держался по-свойски. Полковник любил наезжать сюда из Люксора: в командовании Второй армии у него были старые добрые знакомые по Уэст-Пойнту.

В крайних обстоятельствах Уинч был не прочь и соврать. В известном смысле вся его биография складывалась из вранья.

— Точно так, сэр, на Гуадалканале. Но ранило его на Нью-Джорджии.

Стивенс кивнул. Это уже кое-что.

— Так в чем ваша идея, Март? — спросил Стивенс, беря стакан и улыбаясь.— Вы не возражаете, что я называю вас по имени? Я много слышал о вас.

— Что вы, сэр, это честь для меня,— не замедлил отозваться Уинч, выдавая самую широкую, самую обаятельную улыбку, на какую был способен без ущерба для своих челюстей.— Я о вас тоже много хорошего слышал, сэр, иначе не решился бы обратиться к вам. Идея в том, что мне не хочется терять такого опытного и смекалистого парня. Это если коротко.

— Да-да, конечно,— произнес Стивенс.— То, что вы говорите, очень важно. Не надо гробить хорошего солдата.— Он покачал головой.— Но я считаю, что мне не стоит вмешиваться. Не думаю, что это мое дело.

— Конечно нет, сэр! Никто и не просит вас вмешиваться. Я тем более. Просто мы, кадровые, видим, что майор Хоган... замечательный гражданский специалист, всем это известно, но он... как бы это получше выразиться... проявляет излишнее рвение.

До чего смешно, когда настроишь себя и начинаешь говорить поихнему, на их языке. То же самое вроде скажешь, но иначе, не впрямую. И гляди в оба, чтобы не переборщить, а то попадешься.

Стивенс улыбнулся, потом невольно рассмеялся, но, спохватившись, даже покраснел немного и откашлялся.

— По всему видно, что майор Хоган — не из кадровых военных,— постепенно нажимал Уинч.— И подхода к кадровым у него нет.

— Ваш Лэндерс тоже ведь не из кадровых? — возразил полковник.

— Так точно, сэр, не из кадровых. Зато три с половиной года в колледже проучился, поэтому тоже жалко его гробить. Да и обстрелянный уже, не то что призывники. Сам, кстати, в армию записался, не по набору.

— Даже и не знаю, что с ним делать,— сдвинул брови полковник.— Из колледжа, доброволец... Тем более мог бы воздержаться от выходок. Особенно в такое время.— Он испытующе глянул на Уинча.

— Да он, пожалуй, и не знает, что готовится что-то особенное, сэр.

— Знает, все знают. Даже моя жена.— Полковник прикусил губу, но затем сдержанно рассмеялся. Однако глаза у него посерьезнели.— При мне в госпитале только два суда было, и оба дисциплинарные.

— Понимаю, сэр, но есть и другие способы. Вы могли бы, например, разжаловать его в рядовые.

Стивенс поставил пустой стакан на стойку. Уинч тут же сделал знак бармену-военнослужащему налить еще. Полковник приподнял руку и отрицательно помотал головой. Уинч тем не менее кивнул бармену: давай, мол, неси.

Бармен подал новый стакан, но тут Уинч отступил на шаг и сделал жест в сторону зала. Помещение уже заполнялось офицерами, становилось шумно и дымно.

— Я не задерживаю вас, сэр? Мне не хотелось бы отвлекать вас.— Уинч врал без зазрения совести.

— Нет-нет, продолжайте,— сказал полковник.— Я готов выслушать ваши доводы.

— Особых доводов и нет. Я просто подумал, что можно разжаловать его — и дело с концом. Он — сержант, сам его представлял. Был у меня ротным писарем... Пока батальонный не увел его и не сделал своим сержантом по связи.— Уинч осклабился и не то чтобы подмигнул полковнику, но едва заметно прищурил на миг глаз, так что не понять: подмаргивает он или нет.— Как раз за несколько дней до того, как его ранило. Батальонный даже не успел повысить его.

— Да, но, к сожалению, у меня нет такого права,— неуверенно произнес полковник.— Я не командир части, а начальник госпиталя. Раненые в моем подчинении находятся временно. Надо обращаться в Вашингтон.

— Все-таки это лучше, чем военный суд, сэр.

— Да, пожалуй,— согласился Стивенс с улыбкой.— Но в чем идея? Я что-то не улавливаю идеи, мистер Уинч.

— Нет у меня идеи, сэр. Просто хочется спасти парня.— Уинч помолчал, рассматривая свой стакан с грейпфрутовым соком и кубиками льда.— По правде говоря, несколько странно, что первый лейтенант, который был втянут в драку, не счел нужным сам предъявить обвинение.

Стивенс пристально смотрел на него.

— И в самом деле странно, вы правы. Он действительно ничего не предпринял. М-да...

— Вы его не вызывали, сэр?

— Что? А-а, нет, не вызывал. Пожалуй, надо это сделать.

Уинч допил набивший оскомину сок, поставил стакан и сказал, глубокомысленно глядя в одну точку:

— При сложившихся обстоятельствах... это вы хорошо придумали, сэр.

На том они и покончили, Уинч в точности знал, когда надо закрыть тему. Полковник сам пообещал, что завтра же поговорит с лейтенантом. Потом сказал с хитроватой усмешкой:

— Знаете что, Март? Хотел бы я иметь такого командира подразделения, как вы. Одно время у меня был такой.

— Благодарю вас, сэр! Это очень великодушно с вашей стороны,— сказал Уинч и, по крохам собрав все свое смирение, которым в их глазах должны обладать такие, как он, вложил его в обаятельнейшую и почтительнейшую улыбку. Единственное, о чем он подумал в этот момент,— как бы поскорее выкатиться отсюда к чертям собачьим.

— Вы никогда не думали о том, чтобы получить звание? — поинтересовался полковник.

— Нет, сэр, не думал. А сейчас, наверно, здоровье не позволит,—

сказал он бодро.— Ну получу офицерское звание, и будут меня шпынять кому не лень. А сейчас я, уорент-офицер, сам их шпыняю.

Стивенс засмеялся:

— А, пожалуй, вы правы.

— Я тоже так думаю.— Уинч старательно держал лучезарную улыбку.

Выйдя из клуба, он побрел под моросящим зимним дождичком к своему малолитражному «доджу», затерявшемуся посреди большой заасфальтированной стоянки, недавно разбитой у клуба. Он был весь измочален, как после футбольного матча. Колени у него дрожали. Он включил «дворники» и сидел неподвижно, радуясь тому, что не надо улыбаться и изображать жизнерадостность. «Додж» через своих знакомых устроил ему Джек Александер; в Люксоре у него была скромная, но приличная квартирка — тоже благодаря старому махинатору, и вскоре туда придет Кэрол Файербоу. Нечего тратиться на дерьмовую гостиничную роскошь, бурчал Джек Александер.

Уинч включил зажигание, печку и поехал к себе. В комнате он сразу же выпил два стакана белого вина — все, что осталось в бутылке,— и, не раздеваясь, скинув только китель, бросился на кровать и моментально уснул.

Его разбудил резкий телефонный звонок. В голове у него все перепуталось: ему показалось, что звонит полевой телефон, что его вызывает с батальонного КП подполковник Беккер. Он стиснул зубы, чтобы не закричать, и, спустив ноги с кровати, огорошенно глядел на обыкновенный телефон на тумбочке как на что-то непонятное и чужое, а видел залегшую, зарывающуюся в грязь роту и бойцов— они оборачивались и испуганно ворочали белками глаз, ожидая от него помощи.

Откашлянув, чтобы не сипело в горле, Уинч взял трубку и отозвался. Это был Джек Александер.

— Ну чего тебе? — спросил он отрывисто, резче, чем хотел.

— Чего на людей кидаешься? — прохрипел голос.— Звоню, чтобы поздравить. Не знаю, что ты там наплел Старику, но он купился.

— Вытянул из него обещание поговорить с тем лейтенантиком. Только и всего.

— Да, знаю, но я не о Лэндерсе — о тебе. Звонит мне домой — мы с ним все время на проводе,— прямо заливается.— Голос Александера звучал глуховато.— Другого такого парня, говорит, на целом свете нет.

— Я о себе не говорил,— возразил Уинч.

— Я, само собой, не стал его разуверять,— неуклюже подначивая, манерно проскрипел голос.

Уинч едва сдерживался.

— Молодец, что не продал. Ценю.

Александер не терял время на шуточки.

— Завтра же вызываю лейтенантика. Будем с ним говорить. Похоже, твоему Лэндерсу послабление выйдет.

— Главное, чтоб Хоган взял назад обвинения.

— Да, Хоган из шкуры вылезет, чтобы только угодить Старику.

— Тогда, значит, обойдется?

— Похоже. Слышь, ты сегодня в городе будешь? У меня, понимаешь...

— Вообще-то я не собирался...— протянул Уинч.

— У меня тут двое штатских будут,— сказал Александер.— Важные шишки. Тебе полезно бы познакомиться с ними.

— Не знаю, смогу ли. Но я постараюсь.

— Постарайся. Перекинемся в покеришко в «Клэридже». У обоих крупные связи — сенаторы и все такое.— Александер, видимо, догадывался, что Уинч не придет, но считал своей обязанностью изложить все как есть.— В любом разе завтра увидимся.

Трубка замолчала.

Уинч сидел, уставившись на телефон. Мучительные картины во сне, уже знакомые до мельчайших подробностей, были так же реальны, как и только что состоявшийся разговор. У него не было никакого желания ехать в «Клэридж» и встречаться с Александером. Его снова охватило чувство опустошенности, оставляя во рту кисловатую горечь, как от старого медяка, который пробуешь на зуб. В такие моменты ему хотелось быть только с Кэрол.

Рубашка и брюки помялись от спанья, но он не стал переодеваться и надел только китель. На улице по-прежнему лил дождь.

До Люксора было миль тридцать пять. В такую погоду по мокрой старой бетонке, белеющей под дождем, около часу езды. Уинч вел машину, стараясь ни о чем не думать — ни об Александере, ни даже о Кэрол.

Верно он подсказывает, чего и говорить. Денежки они загребают вроде обыкновенно, без обмана и мошенничества. Точно так же, как любой деляга средней руки, орудующий по федеральному заказу. Главное тут связи, знакомства с нужными людьми.

Все это с предельной четкостью изложил Уинчу Дока Хоггенбек. Покупай пивную или бар, настоятельно советовал он. Пить будут всегда. Хоть бум, хоть депрессия, хоть геенна огненная, хоть потоп. Все равно будут. Но чтобы купить бар, нужны большие деньги. Джек Александер — тот человек, который умеет добывать такие деньги, поэтому Дока и распределил Уинча в Килрейни.

Советы Александера сводились преимущественно к тому, что надо откладывать каждый никель, который попадает в руки. Если у тебя есть наличные, их можно пустить в оборот, как только подвернется случай. Там сам купишь, там войдешь в долю, там ссуда, там акция — глядишь, и набралось на бар, и еще на один, и чтоб чиновнику сунуть, который устраивает тебе лицензию на продажу спиртного, и за саму лицензию заплатить, хотя недешево она стоит, ох, недешево. Вот, в сущности, и все. Ничего сверхъестественного. Но Уинчу не хотелось этим заниматься.

Александер, видно, догадывался, что причиной — женщина. Он ничего не знал о Кэрол и не хотел знать. Он ни о чем не расспрашивал Уинча. Ему было достаточно самого факта. Отчего бы еще Уинч стал просаживать денежки — чисто матрос-забулдыга, сошедший на берег после плаванья. А кто она — Александера не интересовало.

— Пожалеешь,— скрипуче предупреждал он.— Сейчас самое время вкладывать. Подходящие операции подворачиваются. Скоро таких не будет.

Уинч обыкновенно разводил руками и божился, что в следующий раз наверняка будет при деньгах. Наступал следующий раз, Александер добросовестно сообщал, что открылось выгодное дельце, а Уинч так же чистосердечно признавался, что денег нет.

— Юбка того не стоит,— флегматично комментировал Александер.

Уинч и сам знал, что не стоит. Ни одна из женщин того не стоит.

— Если б не Дока, давно бы плюнул на тебя,— брюзжал Александер.— Как хочешь, так и крутись.

Уинч знал, что Александер так бы и поступил, если б, очевидно, не старый должок Доке за какую-нибудь услугу. Долг платежом красен.

Уинч не покупал Кэрол ни мехов, ни бриллиантов. Ему и в голову не приходило делать дорогие подарки, да и не был он без ума от нее. Он уже предвидел, как у них кончится.

Чего он не знал, так это куда расходятся деньги. Вернее, знал, потому что тратил их. Он не шиковал и не давил фасон, ему просто хотелось, чтобы все было путем, на уровне, легко и удобно для обо-

их. На таком уровне, когда сходятся по-людски и пристойно, хотя сам Уинч ни за что бы не употребил этого слова, потому что никогда не думал об их отношениях с Кэрол в таком разрезе.

Если копнуть поглубже, то вырисовывалось еще одно обстоятельство, а именно: Уинчу было поистине наплевать на Александеровы предложения. В глубине души он радовался, когда мог чистосердечно сказать, что у него нет денег для того или иного дельца. Радовался, что у него нет такой суммы. А раз так — почему бы не потратить то, что есть, на Кэрол и все остальное, даже не ожидая ничего взамен?

Привлекательная она девчушка, Кэрол, очень даже привлекательная в своем роде, думал Уинч, всматриваясь поверх руля в дождливую темень за качающимися «дворниками». Думал помимо воли, потому что, садясь в машину, твердо решил ни о чем не думать.

Интересно, есть хоть одна женщина, у которой на крючке не было бы мужчины, своего собственного мужчины? Наверняка нет. А если есть — единицы. У баб — так же, как у мужиков. Им страшно остаться одним, без никого. Вот и цепляются за любого, кто под рукой, пока не подвернется другой, более подходящий. Поэтому лучший способ отбить женщину — угадать момент, когда она разочаруется в любви к своему избраннику. Но разочарованные попадаются редко. Такие, чтобы порвали с кем-то и были действительно свободны и одиноки на какое-то время. У разочарованности, как правило, короткий срок — месяца три самое большее. Потом она обязательно находит нового. Главное — угадать этот момент, точно выйти на цель и не терять времени. Тогда попадание обеспечено. В свое время, когда женщины на самом деле что-то значили для Уинча, он был мастак по части попадания.

Однажды, после того как Уинч в первый раз позволил себе кое-какие вольности, Кэрол призналась, что у нее есть друг. Они были в номере «Клэриджа» — Уинч еще не устроился с квартирой. Она лежала на постели и глядела в потолок.

— Мужчинам не всем нравится вот так, как мы с тобой,— сказала она жалобно.

Уинч не мог удержаться от смеха.

— Ты имеешь в виду американских мужчин? Да, не всем. Но мне нравится. Я хочу, чтобы тебе было хорошо.

У Кэрол было восхитительное, юное, не изношенное годами тело.

— А почему не нравится, не знаешь?

— Как тебе сказать...— Уинчу было неохота вдаваться в тонкости.— Наверно, это с нашим религиозным воспитанием связано. Христианские заветы в американском варианте. У нас все, что касается пола, перепуталось с религией. Грязь, грех, порок, ну и, конечно, ложный стыд. Дикость какая-то, средневековье. Все от нашего пуританства.

— Мне это не приходило в голову.— Кэрол все так же глядела в потолок, и Уинч почувствовал напряженность в ее молчании.— У меня есть друг... ну, знакомый, еще по школе,— проговорила она, запинаясь,— так ему не нравится это, даже попробовать не хочет.

В тот раз и потом Уинч узнал о «друге» Кэрол почти все.

Он хочет, чтобы они поженились, как только окончат колледж и он поступит на службу в какую-нибудь фирму. А ей пока не хочется. Они даже формально не помолвлены. Очень уж он провинциален и груб, когда выпьет.

В тот вечер, рассказывая в постели Уинчу свою любовную историю, Кэрол вдруг покраснела до плеч.

Это происходило в середине ноября. Вскоре после этого друг написал Кэрол, что на День благодарения он приедет домой. Несколько дней она не сможет встречаться с Уинчем, возможно, целую не-

делю. Пусть он только не сердится и не обижается. И ревновать не нужно: это не повлияет на их отношения.

Уинч улыбался.

— Хорошо, не буду. У меня как раз сейчас работы навалом.

— А ты не будешь скучать без меня?

— Нет, не буду.

— Ты порядочная дрянь, Март Уинч,— засмеялась Кэрол.

— Ну, может, буду немного.

— То-то! Ты забыл, что имеешь дело с красавицей южанкой. Мы все такие.

Когда они встретились после праздника, Кэрол первым делом сообщила Уинчу новость. Ее жених сказал, что у нее появился любовник.

— Откуда же он узнал? — весело справился Уинч.

— Сказал, что догадывается по моему поведению. Я была такая счастливая! Ну и, конечно, все отрицала.

То же самое повторилось через месяц. Жених приезжал домой на рождественские каникулы. Она долго не сможет с ним встречаться — недели три. К тому времени Уинч уже снял квартиру.

— Я, конечно, попытаюсь сбежать к тебе разок-другой,— обещала Кэрол.

— Если не получится, не беда,— сказал Уинч. Он уже приступил к своим обязанностям в лагере О'Брайер и действительно был занят.

Определенного мнения о Кэроловом женихе он так и не составил. Скорее всего — типичный отпрыск богатой южной семьи, воспитанный и незлобивый, хотя и бабник. Уинч не завидовал ему: пусть женится на Кэрол, если она пойдет за него. Впрочем, Уинч был убежден, что рано или поздно пойдет. Чем-то парень был даже симпатичен ему.

Странное дело: Уинч не испытывал никакой ревности.

Может, просто сказывается возраст и его физическое состояние. Да нет, какого черта... Он ни с кем давно уже не переживал такого подъема, такой полноты ощущений, как с Кэрол. Она была способной и активной ученицей. Им было замечательно вместе.

Чего еще нужно мужчине в его-то годы?

Вдруг перед глазами Уинча взрывом расцвело видение: незнакомая местность и его бойцы, тяжело и испуганно ворочающие белками глаз, и тотчас видение бесшумно пронзил его истошный вопль: «Выводи же людей! Людей выводи!». Уинч закусил губу, но руки, лежавшие на руле, дергались.

Квартира, которую нашел для него Александер, составляла самую большую статью расходов. Уинчу пришлось дать порядочную сумму «на лапу», да и квартирная плата была не низкой. Затем шел автомобиль, опять-таки купленный через Александера, и бензин с черного рынка.

В ожидании приезда жениха на рождество Кэрол начала приставать к Уинчу, прося совета то в одном, то в другом. Это каким-то ненормальным образом будило в нем отцовское чувство. В первую очередь вопросы касались положения ее жениха, как военнообязанного. До окончания колледжа весной у него была отсрочка. Его отец договорился с местными властями, что потом ему выдадут какую-то липовую справку, дающую отсрочку от призыва. А он прямо-таки рвется в армию. Бросает колледж и идет добровольцем. В рождественские праздники предстоял крупный разговор.

Уинч посоветовал сказать парню, чтобы не рыпался. Чтобы сделал все, лишь бы не загреметь в армию. А если уж совсем невтерпеж, пускай папаша пробьет ему офицерский чин, желательно с работенкой в Вашингтоне.

Вдруг в ветровике посреди растекавшихся дождевых капель начала проступать какая-то белая фигура, как у Штойбена в его гра-

вюрах на стекле или у других знаменитых мастеров. Она делалась отчетливой, объемной, загораживая Уинчу дорогу, освещаемую коротким светом фар. Он, кажется, узнавал его. Точно, Джеклин, рядовой первого класса Фредди Джеклин, числившийся в списках убитых его роты, которая навсегда взяла в осаду его память. Изображение на стекле в точности воспроизводило тот момент, когда Уинч видел его в последний раз. Скользя по реденькой траве, Уинч сбегáл с холма по отлогому склону. Прежде чем нырнуть в заросли, перешагнувшие подножие, он обернулся.

Фредди упал плашмя на спину головой вниз, выбросив одну руку и изломанно подвернув под себя другую. Голова его была запрокинута, на лице с разодранным ртом и остекленевшими зрачками застыла гримаса нечеловеческого усилия, грудь выгибалась, как будто еще хотела втянуть воздух.

Он лежал, выцарапанный на ветровике штрихами, бороздками, насечками, и загораживал Уинчу обзор. Как Уинч ни двигал головой, стараясь заглянуть сбоку, Фредди Джеклин двигался вместе с ним. Чего он торчит, проклятый, наеду же!

Боковым зрением Уинч видел, что машину сносит к краю шоссе. Он попытался вывернуть руль, но не успел: переднее колесо, а за ним и заднее съехали на глинистую, размокшую от дождя обочину. Потом пронзительно заскребли шины, послышался металлический скрежет, машину занесло, и, сползая вниз, она ткнулась бампером в кювет. В наступившей тишине мерно урчал незаглохший мотор.

Машинально протянув руку, Уинч выключил зажигание и откинулся на сиденье, чтобы успокоиться. В первый раз за все время неотвязный кошмар оказал на него физическое воздействие. Призадумаешься.

Потом до Уинча дошло, что он совершенно один, что кругом ни души. По счастью, колеса не увязли, и он, газанув, вытолкнул машину назад. Повреждения оказались незначительные: помяло одну фару, погнуло крыло и бампер. Можно ехать. До Люксора оставалось пять миль.

Остаток пути прошел спокойно. Фигура Джеклина больше не появлялась, как будто удовлетворясь содеянным. В центре, неподалеку от «Пибоди», Уинч поставил машину у дома, где снимал квартиру, и по наружной лестнице быстро взбежал к себе на второй этаж.

Когда он вошел, Кэрол отложила книгу и поднялась. Повсюду был зажжен свет. он не терпел полутьмы. Кэрол была одета, потому что не любила ходить в неглиже и ей нравилось, когда он раздевает ее. Она протянула руки навстречу ему — свежая, юная, как в сказке.

— Что-нибудь случилось? — спросила Кэрол, тревожно вглядываясь в него.

Он ничего не ответил и жадно ткнулся лицом в ее оголившееся, теплое, нетронутое плечо.

— Ничего,— едва-едва выговорил он.— Не надо ничего говорить! Пожалуйста, не надо.

Глава 23

Через неделю после ареста Лэндерса вызвал полковник Стивенс. Ему не было известно, что Уинч принимает живое участие в его делах. Но если бы он знал, это не обрадовало бы его. Последнее время он заметно охладел к Уинчу. Он не хотел от него никакой помощи. Лэндерс понятия не имел, что еще утром Уинч позвонил насчет него Стрейнджу в отделение и тот должен был передать ему последние новости. Ничего этого Лэндерс не знал и направлялся в львиное логово с бесшабашностью человека, которому нечего терять. Такое настроение плохо вязалось с тем, что произошло.

Потом целый день Стрейндж локти себе кусал из-за того, что не успел предупредить Лэндерса. Однако немного успокоившись, понял, что вряд ли сумел бы на что-либо повлиять.

Палатный арест — совсем не страшная штука. Лэндерс даже сам это признавал. Никаких тебе наручников, ни кандалов — ничего. Дверь не запирали, часового не ставили. Что-то общее со школьным экзаменом на доверие. Но стоило уйти куда-нибудь или даже только переступить порог, ты сразу попадал в категорию бежавших из-под ареста. На практике таких строгостей не придерживались, и Лэндерс не раз и не два выходил в коридор поболтать с народом. На процедуры он тоже ходил самостоятельно, без конвойного. И никто не проверял, вовремя ты вернулся или зашел проведать приятеля. Правда, ел Лэндерс один, в палате, а не в столовой, но и это ограничение он расценивал как огромное преимущество: не надо было торчать в очереди, как всем остальным. В палате он мог заниматься чем угодно, и к нему допускались посетители.

В то же время запрещалось разговаривать по телефону. Но Лэндерс никому не звонил, и ему не звонили, так что запрет не мешал ему, хотя и раздражал полнейшей своей бессмысленностью. Обычная армейская тупость.

Кроме того, Лэндерса возмущало, что у него отобрали форму и заперли в особый чулан, где хранилась форма лежачих. Даже если он надумает смыться без разрешения — в пижаме и домашних туфлях разве куда покажешься?

Но больше всего Лэндерс тосковал по вылазкам в город. Последнее время он почти каждую ночь проводил с женщиной и потому чувствовал себя сейчас несчастным и заброшенным. Он настолько привык к увольнительным, которые в порядке исключения предоставлялись выздоравливающим, что невыдачу их считал нарушением прав человека. В первый раз до него со всей очевидностью дошло, что скоро он выпишется, вернется в строй — пусть как ограниченно годный,— и тогда не видать ему такой роскоши.

Лэндерсу не нравилось, как в отделении отнеслись к его аресту. Никто не видел в том ни драмы, ни иронии судьбы, а лишь повод для зубоскальства.

Даже перемена погоды действовала на Лэндерса сильнее, чем на воле. С увольнительной в кармане он бродил, бывало, по городу и меланхолично наблюдал, как затяжная южная осень постепенно переходит в дождливую зиму. Настроение падало, как падали листья, и казалось, они шепчут ему по секрету, что это его последняя осень. Он больше не сомневался, что его пошлют в действующую армию. Пошлют именно в то время, когда начнется широкое наступление в Европе, где ему и придет конец. Он принимал это как неизбежность. Лучшим лекарством от мрачных мыслей был Стрейнджев люкс и вереница женщин. Только действовало это лекарство недолго.

Теперь все это было в прошлом. По утрам все дольше не гасили свет в палатах и все раньше зажигали его по вечерам. Лэндерс подолгу сидел на веранде, уныло раскладывая пасьянс или пытаясь читать, и глядел, как зажигают свет на соседних верандах и напротив, в другом крыле корпуса.

В утренних обходах непременно участвовал его заклятый враг Хоган. Лэндерс, выпрямившись, сидел на стуле и ел глазами начальство, как и подобает дисциплинированному служаке. Но майор Хоган безошибочно читал в его взгляде нескрываемую враждебность и отвечал тем же. Ни тот, ни другой ни разу не заговорили.

Неудивительно, что Лэндерс шел к полковнику взвинченным и кипя от злости. Ради такого случая ему выдали форму и приставили конвойного.

Хотят показать, где раки зимуют, чтобы другим неповадно было? Ему терять нечего. Пусть хоть расстреливают.

Полковник Стивенс сразу почувствовал, как задиристо настроен Лэндерс. Он не ожидал такого нахальства. Уинч мог бы образумить своего подопечного. Парень нацепил к тому же все колодки, включая «Пурпурное сердце» и «Бронзовую звезду».

Стивенс намеревался объявить Лэндерсу, что по его делу выявлены смягчающие обстоятельства и учтено его безупречное поведение в прошлом. После разговора с Уинчем он хотел даже обойтись без разжалования. Вместо этого он начал коротко и сухо, гораздо строже, чем предполагал:

— Ну-с, что вы можете сказать в свое оправдание?

Надо заметить, что едва Лэндерс вошел в приемную и увидел массивную, как каменное изваяние, фигуру старшего уорент-офицера Джека Александера, храбрости в нем порядком поубавилось.

Уорент-офицер выглядел громадиной даже сидя. Потом он поднялся. Лэндерс подумал, что людей такого высоченного роста он просто не видел. От ледяного взгляда водянистых голубоватых глаз холодело в животе. Квадратная голова сидела неподвижно, но тяжелая выступающая челюсть, казалось, вот-вот пойдет отхватывать от Лэндерса кусок за куском. Необъятная застывшая физиономия была непроницаема, так же как пустые глаза и безгубый рот. Для Александера ровным счетом ничего не значило, что ты был на фронте, прошел огонь и воду. Вся жизнь этого службиста была непрекращающейся войной, а война — естественным состоянием человеков.

Лэндерсу показалось, что всем своим видом Александер как бы говорит: держись, сопляк ты недоношенный, птенец желторотый, оть держись бойцом, как бы оно ни повернулось.

В последний момент, перед тем как открыть дверь в кабинет полковника, Лэндерс усилием воли собрал остатки мужества, стараясь не упустить то, что внушил ему грандиозный, раздвигающий стены облик экс-чемпиона в тяжелом весе.

Это-то и повлияло на первый же ответ Лэндерса полковнику, а может, и на все остальные.

— Ничего, сэр,— отчеканил он, вытянувшись в положении «смирно».— Мне нечего сказать.

— Вольно! — сказал Стивенс.— Вам должно быть известно,— продолжал он язвительно, хотя и не так строго,— что майор Хоган выдвинул против вас обвинения по четырем пунктам.

— Так точно, сэр.

— Насколько я могу судить, майор Хоган имел для этого достаточные основания, не так ли?

— Совершенно верно, сэр, имел,— сказал Лэндерс твердо, порадовавшись про себя, что в кабинете нет Джека Александера. При нем держаться было бы куда труднее.

— Вы набросились на офицера с кулаками, ударили его, завязали драку в зале для отдыха в присутствии двух десятков свидетелей. Когда майор Хоган сделал вам замечание, вы обругали и оскорбили его, к тому же принялись угрожать. Затем вы сбежали и пять суток пробыли в самовольной отлучке.

— Так точно, сэр.

— И вам нечего сказать?

— Нечего, сэр.

— Ни единого слова в свою защиту?

— Да, сэр, ни единого,— упрямо повторил Лэндерс. Самый подходящий момент выразить сожаление. Он не воспользовался им. Ему не хотелось приносить извинения. Он кипел от злости на вопиющую несправедливость. Его сейчас не остановил бы и Джек Александер, будь он тут.

— Я могу умыть руки и предоставить событиям развиваться естественным путем,— нажимал полковник.— Тогда вы предстанете перед военным судом и вас наверняка приговорят к тюремному заключению

сроком от трех до шести месяцев. С лишением звания и денежного довольствия всех видов.

— Я знаю, сэр,— сказал Лэндерс, не моргнув глазом, хотя никак не предполагал, что может дойти до этого.

— М-м, как я понимаю, майор Хоган мог бы взять назад свои обвинения,— пустил Стивенс пробный шар и умолк.

Лэндерс как воды в рот набрал.

— Полагаю, что мне удалось бы убедить его это сделать.

— Вы мне позволите говорить откровенно, сэр? — спросил Лэндерс.— Если по совести, мне наплевать, как он поступит.— Ну вот, высказался. Александер вряд ли одобрил бы такую линию, и Уинч тоже. Скорее всего, нет.

Стивенс откинулся в кресле, рассеянно переложил бумаги, заметив при этом, как слегка подрагивают от вспышки гнева пальцы. Видит бог, он проявил максимум терпения в отношении этого желторотого юнца.

— Скажите, Лэндерс, вы не сидели в военной тюрьме? — Полковник взял себя в руки и говорил спокойно.

— Нет, сэр, не приходилось.

— Там не церемонятся, смею вас уверить.

— Могу я говорить откровенно, сэр?

— Говорите,— кивнул Стивенс.

— Лейтенант, о котором идет речь, посягнул на честь нашей роты и моих товарищей по оружию. Он не имел права говорить, что нас бы в Европу, тогда бы мы узнали, что такое настоящий бой. И в корпусе для отдыха ему тоже нечего было делать. Он предназначен для рядового и сержантского состава. Ему, видите ли, в пинг-понг поиграть захотелось. Теперь о майоре Хогане. Он обвинил меня в симулянтстве, когда остановил около зала. Он сказал, что если я могу играть в пинг-понг и пускаю в ход кулаки, то мне надо быть на фронте, а не симулировать и не отсиживаться в госпитале. Поэтому я и послал его, и тоже обозвал. Что до угрозы — да, я сказал, что у меня руки чешутся стукнуть его как следует. Но я этого не сделал.

— Почему вы допустили самовольную отлучку?

— Потому что я сыт по горло, вот почему! Сыт по горло вашим госпиталем и персоналом, войной сыт и вообще всем остальным. Майор Хоган — он просто недостоин быть офицером. Он не умеет к людям относиться по-человечески, это вам кто угодно скажет. И никакой он не врач, на гражданке к нему б никто не пошел. Рассуждать легко... А он знает, что такое настоящая опасность? Он под огнем был? Видел, как рядом человека в клочья разносит?.. Меня, наверно, убьют. Я и не жду ничего другого. А его не убьют, и вас не убьют, и большинство из здешних тоже. Он не имеет права быть врачом. Не имеет права находиться на такой работе. Его давно бы выгнали, если бы в армии были справедливые порядки.— Он умолк.

— Это все, что вы имеете сказать? — спросил Стивенс.

— Все, сэр,— выдохнул Лэндерс.

— Ясно, Лэндерс. Вы свободны.

— Слушаю, сэр! Хотел бы только добавить, что я не надеюсь на объективное отношение. На справедливый приговор тоже не надеюсь. Вот почему мне наплевать, что со мной будет. Вся история подстроена с начала и до конца.— Лэндерс отдал честь и сделал поворот кругом.

Он вышел, не догадываясь, что Стивенсу хочется топать ногами и орать, орать во все горло от ярости ему вслед. Не догадывался, потому что изо всех сил старался не растеряться перед недовольным, грозным Джеком Александером, господствовавшим в приемной.

Стрейндж ждал Лэндерса в отделении: он должен был передать предупреждение Уинча не лезть на рожон и подыграть полковнику.

Когда Лэндерс слово в слово изложил Стрейнджу разговор, тот начал крыть его на чем свет стоит.

Стрейндж бесновался, а Лэндерс испытывал непонятный подъем. Вышел он из приемной в таком настроении, что хуже некуда. Не раз и не два он слышал от разных людей о том, что творится в военных тюрьмах, и живо представил себе, каково ему там будет. Достукался... Но пока он шел к себе в сопровождении угрюмого конвойного, его постепенно охватывало беспричинное радостное возбуждение. Когда он входил в ненавистную палату, страха уже как не бывало. Стрейндж поносил его в хвост и гриву, а Лэндерс сидел и блаженно улыбался.

— Чего зубы скалишь?— разорялся Стрейндж.— Ну ладно, поживем — увидим. Посмотрим, что он придумает,— заключил он примирительным тоном.

Ждать пришлось недолго, всего два дня. Из канцелярии начальника госпиталя в отделение поступила бумажка — один экземпляр вручили Лэндерсу, другой вывесили на доске объявлений. В ней говорилось, что в Вашингтон на утверждение направляется приказ, согласно которому сержант Лэндерс Марион Дж. лишается звания и переводится в рядовые с прекращением выплаты должностного оклада и сержантских надбавок.

— Везет же некоторым,— с радостным изумлением твердил Стрейндж.— Легко отделался, если учесть... Чего тебе еще надо?

Он открыл ничего не подозревавшему Лэндерсу, что эти два дня ушли на звонки, хождения, разговоры, чтобы обойтись без суда. Старался главным образом Уинч. Александер сначала был за суд, но после махнул рукой.

— Иначе быть бы тебе под трибуналом, можешь не сомневаться.

По здравом размышлении полковник Стивенс тоже решил не передавать дело в военный суд. В конце концов ничего страшного этот сопляк не сделал. Таким образом, все зависело от порядочности полковника, на чем, разумеется, не преминул сыграть Уинч. Лэндерс Стивенсу решительно не понравился, полковник даже презирал его, но отдавал себе отчет, что он не заслуживает такого серьезного наказания, какого добивался Хоган.

— Скажи спасибо, что у старика есть совесть,— внушал Стрейндж приятелю.— А если б ты по-нормальному себя повел, то и не разжаловали бы.

Лэндерс же испытывал даже некоторое разочарование, хотя виду не показывал. Он внутренне настроился на то, что исход дела предрешен, и свыкся с мыслью о неизбежности тюремного заключения. Поэтому лишение сержантского звания он расценил как чудовищный, намеренно разыгранный фарс. Он давно и с тайным удовольствием убедил себя, что в армии Соединенных Штатов нет и не может быть никаких моральных принципов, и теперь его безупречная логическая постройка разваливалась только потому, что нашелся какой-то допотопный полковник, который придерживался мальчишеских понятий о чести.

Зато его перестали мучить ночные кошмары. Дурной сон с изнемогающим от жажды взводом и фляжкой, из которой он лил себе в рот драгоценную влагу, как рукой сняло сразу же после вызова к полковнику. Одно это воспринималось им как ниспосланная свыше благодать, пусть всего на несколько дней.

— Я могу понять его личную неприязнь ко мне,— пожаловался он как-то Стрейнджу.— Но презирать-то за что? Ты ведь так и сказал — презирает?

— Это Уинч сказал,— возразил Стрейндж, и по его лицу снова промелькнула тень тревоги, которую Лэндерс замечал у него с некоторых пор.— Сам он такого ни в жизнь не придумает. Стало быть, от Старика услышал.

— Понимаешь, «презирает» — это очень крепко.— Лэндерс глядел в озабоченные глаза товарища и не мог понять причину этой озабоченности.— Не понравилось, что я показал ему, как прогнило все в госпитале и вообще в армии, раз не гонят таких, как Хоган,— произнес он тоном человека, уверенного в собственной правоте, и заключил совсем уж нелогично: — И под огнем ни он, ни Хоган не были и не будут.

— Это точно, не будут,— согласился Стрейндж с той же молчаливой озабоченностью во взгляде.

— А Уинч-то тут при чем? Кто его просил встревать? — не унимался Лэндерс.— Не нужно мне его покровительство. Тоже мне благодетель нашелся!

— Благодетель не благодетель, а без него загремел бы ты за решетку.

— Плевать я на него хотел. Не зайдет, не позвонит — все сам по себе. Даже в «Пибоди» не появляется.

— Занят по горло,— объяснил Стрейндж.— Приступил к обязанностям в лагере О'Брайер, вот и хочет показать себя на новом месте. Да и девчонку какую-то завел, живет с ней.

— А кто такая? Не та ли, к которой я подкатывался?

— Ей-ей, не знаю. Какая мне разница. А тебе-то что, завидуешь?

— Ты что, совсем спятил?

— Тогда не заводись.

— Ладно, хрен с ним, с Уинчем.

После разжалования Лэндерс больше не считался под арестом и мог получать увольнительные в город. Вместе с тем, пока приказ о лишении звания не был утвержден в Вашингтоне, он имел право носить сержантские нашивки. Он не ожидал, что ему будет жаль расставаться с ними. Особенно хорошо чувствуешь себя с нашивками в «Пибоди».

Однако, попав в отель, он не испытал того радостного подъема, о котором мечтал, сидя под арестом. Девицы в основном были все те же, а несколько новых не сильно отличались от прежних. И ребята были те же — Корелло, Трайнор и все остальные. Стрейндж прочно приклеился к Фрэнсис Хайсмит и в гостиницу заглядывал редко, но так же, как и Лэндерс, следил за тем, чтобы счета оплачивались аккуратно и в срок. Без Стрейнджа заправилой в «люксе» стал Лэндерс, хотя сам он тоже часто встречался с Мэри-Лу Солгрейвз. Словом, прежнего веселья не было.

Только в одном Лэндерс соврал полковнику Стивенсу — насчет ноги. Полковник предполагал, что Лэндерс повредил лодыжку во время драки с лейтенантом: он исходил из донесения Каррена, который осматривал Лэндерса после происшествия в зале для отдыха. На самом же деле Лэндерс ушиб ногу раньше, в драке с морячками и потом еще раз, во время потасовки с летчиками-транспортниками, когда он съездил одного по голове.

И лишь позднее, когда угроза военного суда миновала, Каррен признался своему пациенту, что прекрасно обо всем догадывался. Они были в кабинете у хирурга после очередного осмотра.

Каррен придвинул кресло поближе к столу, как бы давая понять, что хочет говорить доверительно.

— Как правило, я с пациентами на посторонние темы не люблю разговаривать. Но вам я давно хотел сказать, Марион. У вас могут быть большие неприятности.

Лэндерс пристально посмотрел на хирурга.

— Что вы имеете в виду? Тюрьму?

Каррен кивнул.

— У меня и так неприятности,— усмехнулся Лэндерс.— Кокнут меня — вот она, самая большая неприятность. Хуже не будет.

— Подумайте о будущем. О том, что будет после войны.

— Не хочу я думать о будущем.

— Подумайте, зачем вам неприятности? Зачем дисциплинарное увольнение — без звания, без пенсии? Это же как хвост, всю жизнь за вами будет тянуться.

— Неужели вы не понимаете? Не могу я думать о том, что будет после войны. На фронте не существует такого понятия — «после войны». Только голая стена. Сплошная мгла, в которой ничего не разглядишь.

— Вы в самом деле убеждены в этом? — Каррен не сводил с него глаз.

— Убежден. Нет у меня «после войны», нет. У вас все иначе. Вы будете работать, сделаетесь знаменитым хирургом. Будете помогать людям и между делом зарабатывать деньги. Вам проще.

Каррен поджал губы.

— М-да, пожалуй, так оно и будет. По правде говоря, мне и самому немного стыдно, без ваших попреков. И все-таки,— он снова пристально посмотрел на Лэндерса,— вы в самом деле считаете, что... как это вы выразились — «сплошная мгла, в которой ничего не разглядишь»?

— Только так. Ничего иного нет и быть не может.

Каррен помолчал, потом, упершись рукой в край стола, отодвинулся немного назад. «Ненадолго тебя хватило»,— подумал Лэндерс насмешливо.

— Скоро нам с вами предстоит распроститься,— сказал хирург совсем иным тоном.— Я направлю вас в рецентр.

«Реабилитационный центр»,— привычно расшифровал Лэндерс. Реабилитационный центр располагался в двух корпусах в стороне от главного плаца. Туда направляли всех прошедших курс лечения для окончательного восстановления физических сил перед назначением в часть.

— Нога у вас в порядке. Ничего вы там, к счастью, не повредили,— продолжал Каррен.— Вы будете признаны ограниченно годным. Не вздумайте благодарить меня — это точно соответствует вашему состоянию. Ограниченно годный — тоже не сахар. Сорок процентов раненых — из этой категории. Да и то сугубо приблизительно. Если взять, например, роты снабжения ГСМ, ну те, что в танковых войсках, так там процент еще выше.

— Может, повезет, не назначат в такую.

— Может быть.— Каррен встал.— Но я из ирландцев, человек суеверный. Даже в черных гномов верю. А раз уж вы говорите, что перед вами мгла...— Он пожал плечами.— Тут я вообще умолкаю.

— Я вам больше скажу,— сказал Лэндерс с натянутой усмешкой.— Я и в человечество больше не верю. Люди мне теперь безразличны. Мы все обречены. Вымрем, как динозавры. Мы просто еще не осознали этого. Доисторические животные тоже не понимали, когда пожирали друг друга. Вот и мы — набили руку на самоуничтожении.

— Откуда вы это заключили?

— Не знаю. Наверно, после того как меня ранило. Я сидел на вершине холма, а внизу шел бой.

— Мрачная философия. Будем надеяться, что вы неправы.

— Будем,— согласился Лэндерс.—Но, к сожалению, я прав. Мрачная, говорите, философия? А когда понимаешь, что тебе все равно, еще хуже. Мы набили руку на войне. Она нас и погубит.

— Вы полагаете — эта, идущая война?— быстрее обычного спросил Каррен.

— Не обязательно. Но это не имеет значения. Не эта — так другая, все равно погубит. Любое большое дело потеряло всякий смысл.

— Даже правое?

— Даже правое, если ради него мы убиваем.

Каррен кивнул, потом, переминаясь с ноги на ногу, нерешительно согнул в локте правую руку.

— Марион, к январю вас выпишут. Я думаю, мы еще увидимся и поговорим. Если же не приведется...— Он медленно протянул руку.

Лэндерс пожал ее. Ладонь у хирурга была прохладная, сухая. Впрочем, у него самого такая же.

Закрыв застекленную дверь, он обернулся и засмеялся про себя: Каррен уже сидел за столом и что-то быстро писал, листая его историю болезни. Черт с ним, подумал он безразлично, пусть кропает для этих подонков.

С таким же безразличием он взирал теперь на всех и вся. За исключением Стрейнджа и разве что Бобби Прелла. На Уинча он плевать хотел. И на народ в «Пибоди» тоже. Все равно каждый из них сам по себе. Вот и Стрейндж с недавних пор откалывается. Все из-за своей бабы, Фрэнсис Хайсмит этой. И Бобби Прелл тоже откалывается и от него, и от Стрейнджа. Бобби начал мало-помалу самостоятельно передвигаться, но с ними в город не ездил и в «Пибоди» не заглядывал. Однажды они со Стрейнджем ехали в такси, и Стрейндж сообщил, что Прелл собирается жениться.

— Жениться?— изумился Лэндерс.— На ком же?

— Да на этой, из отделения, с которой он крутил.

— И когда?

— Не знаю.— Стрейндж глядел в сторону, на моросящий зимний дождичек.— Не говорил он.

— Совсем спятил,— твердо заключил Лэндерс.

— Может быть,— негромко отозвался Стрейндж.

Они виделись теперь все больше в такси, когда ехали в город или из города. Во всяком случае, так казалось Лэндерсу.

Он не сокрушался, не переживал. Он как будто окончательно прощался со всеми ними. Их время вместе вышло. Расходились их дороги и интересы. Он останется совсем один, когда попадет на передовую. И они тоже — если попадут.

По крайней мере он знал, сколько у него есть времени. Каррен сказал: к январю выпишут. Значит, меньше месяца. Не так уж много. С другой стороны, он не знал, куда себя девать почти целый месяц.

Забавно, как по одному отрывали их друг от друга женщины. Бабья плоть — вот что ломало их прочную спайку. Губило их боевое, почти что кровосмесительное братство.

Ничто не мешало ему проводить время как все остальные. Пусть хоть месяц, да и возможности выпадали благоприятные. Однако теперешняя его неприязнь к роду человеческому распространялась и на женщин. Как-то вечером в «Пибоди» после бурной двухчасовой сессии Мэри-Лу, уютно приткнувшись к нему, сказала:

— Как бы мне не втрескаться в тебя всерьез.

Признание так польстило самолюбию Лэндерса, что отвергнуть его целиком и полностью было выше всяких сил.

— Не надо,— сказал он, потом быстро поправился:— Во всяком случае не сильно. Лучше так, немножко.

— Почему немножко?

— Неизвестно, куда меня направят и что со мной будет. Пехотинец в действующей — зачем тебе такой?

— Что значит зачем?

— Ты ведь замуж за него не пошла бы?

— А почему нет? Могла бы. Ты сколько по аттестату получаешь?

— Совсем мало. Забыла? Я теперь не сержант. Сижу на солдатском довольствии.

Мэри-Лу рассмеялась:

— Да, это важное обстоятельство! Бог ты мой, я, кажется, влюбилась в тебя, Марион,— добавила она низким грудным голосом.

— Влюбилась, и ладно.— Он ласково погладил ее по голове.— Я вот скоро уеду, и ты полюбишь кого-нибудь другого.

С недавних пор он стал иначе смотреть на женщин — остраненно, с презрительной усмешкой, и это сдерживало его в последний месяц. Он ни в кого не влюбился и никем не увлекся. Кроме всего, Лэндерсу было не до них. Время шло быстро и неумолимо, как в трагедии или в паршивой военной ленте. У него будет вдоволь времени подумать о своих отношениях с женщинами, когда он начнет месить грязь в лагере О'Брайер.

Рождество Лэндерс встречал уже в реабилитационном центре, выполняя положенные гимнастические комплексы и пробежки по утрам. Нога работала отлично, гораздо лучше, чем предполагал Каррен.

Лэндерс ел рождественский ужин в казарме, один, испытывая какое-то болезненное наслаждение оттого, что он заброшен и ему плохо. В центре мало кто знал друг друга, люди не стремились завязывать знакомства. Народ находился тут временно, перед назначением в разные части. Все было знакомо и тоскливо. Индюшатина с подливками, клюква, картофельное пюре и ямс — все это свинцовым комом давило в желудке.

Как рядовому, Лэндерсу полагалась трехдневная увольнительная, чтобы провести праздники дома, но он не имел никакого желания ехать к своим.

На рождество в газетах появились броские сообщения о предстоящем вторжении в Европу и были названы имена командующих экспедиционными силами США. «Айк поведет союзнические войска во Францию!» Эйзенхауэр, Омар Брэдли и Паттон отбыли в Англию. Общий кумир, президент Рузвельт, специально приурочил свое выступление к 24 декабря, дабы журналисты успели передать важное сообщение в рождественские номера газет.

Десятого января Лэндерс доложил начальнику отделения личного состава штаба Второй армии о прибытии для прохождения дальнейшей службы. Начальником отделения оказался его бывший первый сержант уорент-офицер Март Уинч.

Глава 24

— Как пить дать, свихнется парень. А может, уже,— говорил Стрейндж Уинчу по телефону, хотя яснее выразиться затруднялся, все больше мямлил и вякал.—По виду ничего не скажешь. А побудешь с ним, как я...— заключил он косноязычно.

— Хорошо, я прослежу. Обязательно прослежу,— озадаченно твердил Уинч, а сам гадал: снятся Лэндерсу такие же кошмары, как ему, или нет. Стрейндж вряд ли в курсе. Самому же выспрашивать не хотелось.

— Маловато я с ним общался последнее время,— покаянно зудил Стрейндж.

— Да брось! Пора уже самому крутиться, не маленький.

В таком расположении духа Уинч и встретил Лэндерса, когда один из двадцати трех Уинчевых делопроизводителей привел того к нему в кабинет в трехэтажном корпусе командования армии.

Лэндерс явно понятия не имел, что ему оказывают особую честь. Обычно никто из вновь прибывших не допускался выше одного из двадцати трех делопроизводителей. Уинч и в глаза не видел новеньких. Но посвящать Лэндерса в эти тонкости он не собирался.

Мало того, у Уинча определенно создалось впечатление: если бы Лэндерс и знал, что для него сделано исключение, он не проявил бы к этому особого интереса и уж никак бы не растрогался от оказанной ему чести.

Однако Уинч дал указание, что желает видеть рядового Лэндерса, как только тот явится на службу, а Лэндерс, судя по всему, не придал этому никакого значения.

Лэндерс же в глубине души был немало удивлен. Он слышал от Стрейнджа, что их старшого произвели в уорент-офицеры и дали важный пост. Однако ему и в голову не приходило, что такой важный. Уинч занимал кабинет — полковнику впору.

— Ты, я вижу, малость подзадержался?— начал Уинч.

— Угу, три денька себе позволил. Решил как следует попрощаться со своей цыпочкой.

— Попрощаться? От нее досюда всего тридцать пять миль.

— Не больше,— ответил Лэндерс и умолк.

Уинч испытующе смотрел на него. Лэндерс улыбался. Если старшой сам сообразить не может, что к чему, чего ему объяснять?

— Понимаю. У тебя ведь нет машины, а увольнительные хорошо, если по субботам будут.

— Именно,— подтвердил Лэндерс.— А она из нашей компании, из «Пибоди». Своя в доску.

Уинч кивал, не сводя с него глаз.

— Втюрилась в меня по уши,— объяснял тот.— Не мог же я просить ее, чтобы верность хранила. Не тот случай. И компания не та.

— И чтобы переехала поближе сюда, в деревню, тоже не мог,— язвительно ввернул Уинч.

— Просил. Не хочет. Но я не в претензии.— Настроение у Лэндерса было благодушное.

— Поэтому, значит, и смылся на три дня в самоволку, чтобы попрощаться с ней? Чтобы все чин чинарем, как у голубка с горлицей.

— Ясное дело.

— Очень мило. Просто замечательно.

— Невелик урон нашей боеспособности — я так считаю.

— Ладно,— перебил его Уинч.— С самоволкой мы уладим. Не выходя из этого кабинета. И вообще в этом кабинете можно уладить множество вещей.

— Вот как?— только и сказал Лэндерс. Он не ожидал и не хотел никакой помощи от Уинча, не нужна она ему. Но Уинч, кажется, этого не понимал.

— Мы тут много что можем сделать, для своих. Как говорится, мои друзья — твои друзья. А я в друзьях с Джеком Александером, вот и соображай...— Он умолк с многозначительной улыбочкой.

— Кроме того, она не знает, что со мной будет, куда меня отсюда пошлют.

— Можно сделать, что и не пошлют. Никуда не пошлют. Не исключено, что и машина будет, и увольнительных сколько хочешь.

— Правда?— Лэндерс вроде удивился.— Каким же это образом?

— Очень просто. Главное, меня держись. Квалификация у тебя дай бог каждому. Никто и вякнуть не посмеет. Не успеешь оглянуться, снова сержантские нашивки на рукаве. А там, глядишь, и еще пара. Так ведь с самого начала было задумано. Когда я с полковником Стивенсом насчет тебя обговаривал.

— Я считаю, что это непорядочно и беспринципно,— заявил Лэндерс.

— Черт-те что! Разве Стрейндж тебе ничего не говорил?

— Ничего мне Стрейндж не говорил. Я бы ему то же самое сказал. Несчастных ребят под пули в Европу гонят, а ты тут... Я не желаю иметь с этим ничего общего!— Лэндерс чувствовал, что в нем крепнет холодная и твердая, как штык, решимость. Не обломать его Уинчу.

— Я лично допускаю, что непорядочно и беспринципно,— усмехнулся Уинч.— Вот подрастешь когда, ума наберешься, поймешь: только так дела и делаются. И здесь, в военном городке, и вообще в мире.

— Может быть,— улыбнулся Лэндерс.— Но я не желаю иметь с этим ничего общего. И с тобой не желаю иметь ничего общего... мистер Уинч.— Голос у Лэндерса зазвенел. Все, что скопилось в нем, вот-вот могло выплеснуться наружу. Он стиснул зубы. Надо сохранять хладнокровие.— Не нужен ты мне, и помощь твоя не нужна. Ничего не

хочу от тебя. Сам о себе как-нибудь позабочусь. В любых обстоятельствах.

— Как угодно,— только и сказал Уинч, но усмехаться перестал. Он сел за стол и начал просматривать документы Лэндерса.— Выпить хочешь, петух?

— Не откажусь.

Уинч вытащил из ящика бутылку «Сиграма» и поставил на стол.

— Льда нет, извини. А вода там,— показал он на холодильник.

— И безо льда сойдет.

— Возьми там бумажный стаканчик. Угощайся. Я-то сам не пью.

Пока Лэндерс разбавлял виски водой, Уинч листал его документы.

— Расписали они тебя в лучшем виде, петух.— Через некоторое время он отодвинул их.— С такими бумагами ты у меня можешь и в пехоту загреметь.

Лэндерс круто обернулся.

— То есть как в пехоту? Где это сказано? — Вопрос прозвучал резче, чем он думал. Он нагнулся, чтобы лучше рассмотреть. Он никогда ни на йоту не доверял Уинчу. И не он один.

— Вот смотри,— подал ему бумаги Уинч.

В большом конверте было шесть листков, его личное дело — форма 201 и послужной список.

— На второй странице читаем: ОГРАНИЧЕННО ГОДНЫЙ. А теперь открой страницу четыре. Здесь написано, что ты ГОДЕН К СТРОЕВОЙ СЛУЖБЕ. Нашел? Прямое противоречие, чушь!

Заключение было подписано председателем медицинской комиссии — очкастым полковником, которого Лэндерс с тех пор и не видел.

Лэндерс взвился:

— Как же это может быть? Какое они имеют право?

— Никакого,— спокойно ответил Уинч.— Я же говорю: противоречие. Какой-нибудь раззява-писарь напутал. Но написано пером, не вырубишь топором. Теперь допустим, что я ничего не знаю, бумага попадет к кому-нибудь из моих раззяв, и все — ты в пехоте. Потом ходи, доказывай.— Он взял документы из рук Лэндерса и кинул на стол.— Ну, так как будем решать?

— Сволочи,— твердил Лэндерс дрожащим голосом.— Последние сволочи.

— Значит, пошли в пехоту, петух?

— Нет, не пошли.

— Отлично. Куда же в таком случае? Если ты здесь не хочешь?— Он неопределенно обвел рукой вокруг себя.— У тебя есть выбор.

— Не надо мне выбора,— говорил Лэндерс, едва сдерживаясь.— Я хочу туда, куда меня должны были направить, если б не эта дурацкая ошибка. Я хочу, чтобы все было правильно, по-честному... Неужели ты не понимаешь, черт тебя побери? Неужели не понимаешь, что иначе я не смогу себя уважать...— Он отчаянно старался говорить спокойно, но окончание фразы помимо его воли стремительно взмыло вверх.

— Очень благородно с твоей стороны, очень. Значит, пехоту побоку, так и запишем. Но в уме держи: если б не я, мог бы и в пехоту загреметь.

— Это нечестно, нечестно!— повторял Лэндерс.

— Честно, нечестно — какая разница? Мы имеем дело с официальным заключением в трех экземплярах. Нас не касается, что какой-то разгильдяй составил его неверно. Тем не менее мы исправляем ошибку. Я передаю документы писарю — пусть смотрит, где что недоукомплектовано. Сам я понятия не имею. Как в лотерее: что выпадет, то и будет. Устраивает?

— Валяй,— холодно согласился Лэндерс.

— Какая уж там порядочность и честность, на войне-то,— негромко произнес Уинч.

Лэндерс промолчал.

Писарь, к которому Уинч направил Лэндерса, был сама беспристрастность. С пачки бумаг на столе он просто-напросто взял верхний листок, потом, скучающе сделав две долгие затяжки, отложил сигарету и выписал направление. Оно было в 3516-ю квартирмейстерскую роту по подвозу горючего — новое подразделение, только что сформированное из ограниченно годных.

Лэндерс взял назначение и потопал в казарму, не дав себе труда заглянуть к Уинчу, чтобы сказать «спасибо» за то, что старшой распорядился закрыть вопрос с самоволкой. Уинч смотрел на него в окно.

По пути Лэндерсу вспомнился их последний разговор с Карреном о сомнительных преимуществах службы ограниченно годных, в частности в таких ротах, и о высоком проценте потерь в них безо всяких героических подвигов.

Бараки, где размещалась 3516-я, выглядели как после стихийного бедствия. Поставленные в далеком прошлом — целых девять месяцев назад, они уже расползались по всем швам и грозили вот-вот рухнуть. Там он нашел очередную партию новеньких, только что прибывших из госпиталя со своими вещичками; люди недоуменно озирались, очевидно вспоминая больничный уют.

Хлипкие дощатые помещения с низким потолком отапливались только чугунными печками. Прежние обитатели приколотили изнутри к стенам листы толя, чтобы сберечь тепло, но из щелей все равно дуло немилосердно. Шаткие двухъярусные нары, казалось, проломятся под тяжестью тела. Уборные были еще хуже. Они размещались в сараях, поставленных прямо на бетонные плиты, которые за ночь промерзали насквозь. Добрая половина кранов в умывальниках не работала, и многие унитазы тоже были в неисправности. С улицы в бараки на ногах несли грязь, она присыхала к полу так, что не отодрать. В помещении царил беспорядок, как это бывает, когда люди живут скученно, в тесноте.

Едва осмотрелись, как последовала команда построиться во дворе. Командир роты прочитал небольшую лекцию о чистоте и порядке. Чувствовалось, что он устал говорить одно и то же.

Больше всего донимала промозглая, зимняя погода. Безжалостный холод проникал отовсюду, от него не укрыться и не согреться по-настоящему. Солдаты ежедневно скребли въевшуюся грязь, но грязи не убывало, зато после уборки от пола, стен и с потолка несло холодом еще сильнее.

Из-за ошибки в сопроводительных документах Лэндерс пребывал в состоянии беспокойства и раздражения. Получалось, что их вообще никто не читал — ни Каррен, ни Стивенс, ни полковник из медкомиссии, чья подпись стояла на заключении. Армия — что с нее взять! Лэндерс не знал, будут ли эти бумаги приложены к его личному делу. Что, если его отправят в Европу и там неожиданно переведут в пехотное подразделение, как написано на четвертой странице? Куда ему обратиться в случае недоразумения? Он не подумал о такой возможности. Надо было попросить Уинча исправить ошибку. Но идти к нему снова противно и видеть его ухмылку противно. Шли дни, и Лэндерс жил в предчувствии ада, бунтуя внутренне и не зная, что предпринять.

Рота разваливалась на ходу, как и бараки. Только что собранная вокруг кадрового ядра — пяти сержантов и трех офицеров, она регулярно получала пополнение когда по десять человек в день, когда по тридцать. Вместе с Лэндерсом прибыло двадцать пять душ. Сержанты сбились с ног, размещая эту уйму народа. Дело свое они знали из рук вон плохо. От офицеров тоже было мало проку. Пополнение между тем прибывало, новички без особого успеха скребли грязь. Наконец рота была полностью укомплектована и могла приступать к боевой подготовке.

Примерно половина личного состава была переведена в 3516-ю из двух пехотных дивизий, проходивших подготовку в лагере О'Брайер и сейчас ожидавших переброски в Англию. На последнем медосмотре многих признали негодными к строевой, и люди были счастливы очутиться здесь, чего и не думали скрывать. Счастливы до тех пор по крайней мере, пока не поняли, куда они попали.

Другую половину составляли раненые, прошедшие, как и Лэндерс, курс лечения. Большинство прибыло из общевойскового госпиталя Килрейни — Лэндерс видел знакомые лица. Но было немало и из других госпиталей. Иные были со следами тяжелых увечий. «Соскребыши» — как пренебрежительно сказал один местный фермер, сплюнув табачную жвачку. Всех их подлатали, подправили, подремонтировали, и им снова предстояло идти на фронт. Эти глядели мрачно и на роту, и на весь свет.

Рядовому Лэндерсу не приходилось рассчитывать на то, что его выделят из общей массы, и это его радовало. Ему нужно было время, чтобы хорошенько подумать. Пока же он решил не высовываться, делать только то, что прикажут,— ни больше, ни меньше. Он видел, в каких условиях находятся вчерашние раненые, и его обжигало чистое негасимое пламя благородного негодования.

— Всем на все начхать,— объяснял он Стрейнджу в «Пибоди», когда получил первую увольнительную в город. Он старался говорить попроще, чтобы Стрейндж понял.— Только совсем уж лопухи еще ковыряются. Но их обводят вокруг пальца, делают что хотят. Возьми, к примеру, медицинскую комиссию. Сидят пятеро, песок сыплется. Добропорядочные граждане — даже не эти задницы из Уэст-Пойнта. И рассказывают мне сказочки о том, как я нужен стране. Как важно использовать мои знания. Хорошо, я согласен, говорю. Но какие знания? И как их использовать? Оказывается, надо готовить пополнение для пехотных частей. Но я же в этом ни черта не смыслю! Как я могу согласиться? Я пока еще в здравом уме. И вот меня суют в эту занюханную роту. Никто не потрудился документы прочитать как следует. Нет, дорогой друг, нет для меня дороги. Смываться надо — один выход. Вот только некуда.

— Все правильно,— сказал Стрейндж с той же тревожной озабоченностью.— И все равно я не понимаю тебя. Что тебе стоит пойти к Уинчу? Он даст тебе хорошую канцелярскую работу, и сиди себе до конца войны. Вот тут твои знания и пригодятся. И польза будет. Не-е, честно, не понимаю!

— Но я ведь тогда повязан буду одной веревочкой со всеми! — Лэндерс мотал головой.— Нет, на это я не согласен.

Мэри-Лу уже нашла себе другого ухажера, тоже из вояк. Стрейндж при первой возможности исчез с Фрэнсис Хайсмит. Лэндерс, натурально, мог остаться: девочки были. Но он решил просто побродить по городу и выпить где-нибудь один.

Так прошла единственная за долгое время Лэндерсова увольнительная. Вернувшись в лагерь О'Брайер, он узнал, что роте предстоит пройти обычный шестинедельный основной курс начальной боевой подготовки.

Фронтовикам проходить начальную подготовку — это же насмешка над здравым смыслом и прямое издевательство над людьми. Даже командир роты был смущен и только что не извинялся, когда зачитывал приказ. Умора, как матерились в строю. Умора уморой, а через неделю при перекличке недосчитались двенадцати человек. Дали тягу. Еще через две недели после начала занятий в бегах находилось еще больше.

Лэндерса среди них не было. Но он всерьез подумывал о дезертирстве. Двое таких же, как он, из госпиталя, предложили бежать вместе: невтерпеж им стало. Но они не знали, куда податься. Вдобавок оба не внушали особого доверия, и он отказался.

Удрать в одиночку он тоже, поразмыслив, не решился. Просто некуда. Домой нельзя, там в первую очередь искать начнут. Отсиживаться в «Пибоди», как в первый раз, не хотелось. Если уж бежать, так по-настоящему. Дезертировать в полном смысле слова, а не баловаться самоволками. Но это когда совсем плохо будет. Кроме того, его останавливали два соображения. Ни с того ни с сего в нем зародилось подобие привязанности к этому несчастному и жалкому сброду, который именовался теперь 3516-й ротой. И второе: ему понравился ее командир.

Командиром роты был первый лейтенант Гарри Л. Превор — скуластый, с раскосыми глазами еврей из Индианы. По слухам, его и заслали сюда, в теннессийскую глушь, по этой самой причине и кинули на «соскребышей» с заданием сделать из них боевую единицу. Если так, то держался он молодцом. Превор — фамилия французская, объяснял он, видимо искаженное prévoir, что значит «предвидеть», «предсказывать будущее». Говоря об этом, он так кривил губы, что всех разбирал смех. Он не падал духом от назначения и не заносился. Особого веса в роте он не имел, но обладал чувством юмора, а главное — был глубоко порядочным человеком.

«Старики» говорили, что два других офицера, как на грех, никудышные, хотя оба были гои — никакие не евреи. Лэндерс пока не составил о них собственного мнения, зато Превор нравился ему все больше и больше.

Что до самих «стариков», то их положение отличалось коренным образом от положения рядовых. Нынешняя служба была для них не наказанием, а, напротив, продвижением. Они радовались, что попали в 3516-ю, и цепко держались за свои места. Беда лишь в том, что ни один из них ничего не умел делать. И повышения были пока условные: исполняющий обязанности первого сержанта, исполняющий обязанности ротного писаря и так далее. Месяца через два ожидалось утверждение в должности, из-за этого они нервничали и суетились еще больше.

Намаявшись за три недели занятий, Лэндерс предложил свои услуги в качестве помощника ротного писаря и тогда сам убедился, насколько неопытен младший командный состав.

Нет, он не изменил своего решения «не высовываться». Однако он так натрудил в поле раненую ногу, что это давало ему моральное право что-то предпринять. Единственный способ избавиться от занятий — перевестись в управление роты. Единственный способ перевестись туда — показать себя с наилучшей стороны в канцелярии.

Лэндерс был не единственным, кто не выдерживал каждодневных физических нагрузок. Рота редела на глазах. Одни обращались в медицинскую часть в тщетной надежде попасть по болезни в здешний лазарет, другие буквально валились с ног от усталости, третьим никак не давалось то или иное упражнение или прием.

Задача 3516-й в боевой обстановке заключалась в доставке на грузовиках горючего, в погрузке и разгрузке двадцатилитровых канистр. Нелепо ожидать, что с такой работой справятся списанные в часть полуинвалиды. Она и для переведенных из дивизий тяжела. И вдвойне нелепо заставлять их всех проходить начальную учебно-боевую подготовку. Народ не понимал, кто издал такой дурацкий приказ.

Недовольство в роте достигло критической точки к концу третьей недели. Рота направлялась на ночные учения. По закону подлости пошел дождь. Не сильный, а так — затяжной, моросящий, противный дождичек. Лэндерс живо представил себе, как какой-нибудь полковник из отделения планирования боевой подготовки, уютно устроившись в своем теплом кабинете со стаканом в руке, изрекает деловым мужественным тоном: «Дождь — очень кстати, еще больше приближает условия к боевым».

Поставленная роте задача была самая обыкновенная — продвижение на местности под огнем «противника», и чтобы люди поскорее привыкали к фронтовой обстановке, стрельба велась боевыми патронами. Для этой цели на небольшой горке установили с полдюжины пулеметов, особыми стойками жестко зафиксировав стволы так, что они не могли перемещаться ни в вертикальном, ни в горизонтальном направлениях. Отсюда пулеметные расчеты вели обстрел расстилавшегося внизу поля. По нему ползком продвигалась вперед рота. Над головами бойцов на высоте чуть побольше метра свистели очереди, прореженные трассирующими пулями.

Лэндерс не знал, с кого это началось. Метрах в десяти от горки, там, где они должны были остановиться, боец справа подался к нему и крикнул в ухо, перекрывая пулеметный треск: «Гляди!» В правой руке он зажал булыжник величиной с ручную гранату. Солдат оскалился и, приподнявшись, выбросил вперед руку, будто метнул гранату.

Они оба добрались до условной черты в числе первых и залегли, дожидаясь, пока подтянутся остальные. Лэндерс огляделся: поле было усеяно такими же кругляками. На всех хватит. Он схватил камень и, крикнув бойцу слева, сделал такое же метательное движение. Тот понял, обрадованно закивал и перекатился через спину, чтобы передать идею дальше.

Минуты через две-три передняя цепь обрушила на «противника» град увесистых камней. Подползавшие поодиночке сзади тоже хватали камни и кидали их на горку. Установленные на возвышении пулеметы хорошо были видны в темноте, так как из стволов огненными языками вылетали трассирующие пули.

Лэндерсу врезалось в память это жуткое, фантастическое зрелище: облепленные грязью ветераны тихоокеанских кампаний — на островах Лау, Гуадалканале, Нью-Джорджии, солдаты, прошедшие бои на Сицилии, под Салерно и Неаполем, забрасывают камнями свои огневые точки, откуда бьют из пулеметов их же собственные товарищи. Ему и в голову не пришло, что кого-то может зацепить, поранить. И вот когда он, вымокнув и продрогнув до костей, вскарабкался по глинистому склону и увидел, как санитары, светя фонарями, уводят пострадавшего, будто футболиста, получившего травму,— в этот момент он окончательно и бесповоротно решил, что будет проситься на канцелярскую работу. Любую, какая только есть.

Командиры попытались было вникнуть в происшествие, но безрезультатно. Солдаты глядели широко раскрытыми невинными глазами. Ни один не знал, кто кидал камни. Никто вообще не видел, чтобы кидали. Никого не наказали. За отсутствием фактов расследование выдохлось само собой. Начальная боевая подготовка продолжалась. Следующее занятие с тем же заданием проходило на поле, где не было ни камней, ни палок, ни мусора, ничего — только грязь да чахлые кустики травы.

Лэндерс пришел в управление роты и прямо сказал, что хочет предложить свои услуги в качестве помощника писаря. Услышав разговор, вышел из своего закутка Превор.

— О боже, вы и правда разбираетесь в этом хозяйстве?

Лэндерс кивнул: да, на Нью-Джорджии он вел дела целой пехотной роты.

— Послужные списки умеете вести? А книгу больных? И составлять суточные ведомости тоже? — спрашивал Превор. Лэндерс кивал.

— Заходите,— пригласил он Лэндерса и прикрыл дверь.

Как раз в эти дни из штаба Второй армии вернули для переделки пачку суточных ведомостей.

— Мой первый сержант даже не знает, где они напортачили,— скривился Превор.— Ведомости были составлены за первые две недели существования роты как воинского подразделения. Значит, и следующие тоже наверняка завернут. Книга больных была в таком же состо-

янии, если не хуже. Медицинская часть возвращала ее чуть ли не каждый день, хотя врачи все-таки оказывали помощь заболевшим.

— А куда им деваться? — говорил Превор.— У нас больных больше, чем здоровых.

С послужными списками положение было из рук вон плохо, как явствовало из рассуждений Превора. Ни в один из них не были занесены данные о переводе по службе. Первый сержант и писарь боялись к ним притронуться: напишешь что-нибудь неверно, а потом неделю майся — исправляй.

Лэндерс, кивая, деловито потер руки — как человек, готовый немедленно приступить к делу. Помещение хорошо отапливалось, в углу на плитке стоял котелок с кофе. Разве сравнишь с никому не нужными полевыми занятиями под дождем?

— Разберетесь? — с надеждой спрашивал Превор.— Сумеете навести порядок?

— Обязательно, сэр,— заверил Лэндерс, мысленно представив себе Нью-Джорджию, Уинча и его продолговатую книгу суточных ведомостей. Он всегда носил ее с собой в полевой сумке всюду, даже на передовой. Переплет из красной кожи обтрепался, но каждый лист всегда был заполнен самым добросовестным образом. Уинч натаскивал Лэндерса часами, не выбирая выражений, зато потом спокойно передоверял ему суточные ведомости. Чтобы вести книгу больных, вообще ума не надо — только полный кретин не справится. Что до послужных списков, то и тут он прошел неплохую школу у того же Уинча и полкового главного сержанта из отделения личного состава.— Да, сэр, сумею. Правда, мне не приходилось составлять ведомость денежного довольствия прямо по послужным спискам...

— Бог с ними, со списками! — оборвал его Превор.— Займитесь пока остальным.

Лэндерс попросил новую книгу суточных ведомостей и новую книгу больных. Работа отняла у него неделю. Он поднимался затемно по команде, глотал вместе со всеми завтрак в стылой столовке, но после не бежал на построение, а шел в натопленное помещение управления роты, где уже грелся на плитке кофе. И надевал он не холодную полевую форму, а теплую, повседневную. Мечта!

Через десять дней Лэндерс уже заправлял всем бумажным хозяйством 3516-й. Точно так же, как когда-то заправлял в своей роте. («Господи, помоги ребятам, убереги их, бедных, от напастей»,— быстро добавлял он про себя, чувствуя уколы совести.) С той, правда, разницей, что он исполнял вдобавок и обязанности первого сержанта, составляя то списки нарядов на хозяйственные работы, то расписание занятий по взводам.

— Послушайте, Лэндерс, может, вы и за ведомость возьметесь? — спросил Превор как-то вечером.— Через три дня надо представить. Иначе перечеркнут красным весь список — и рота без денег.

Перечеркнут красным. Жирная линия красными чернилами, вычеркивающая из-за малейшей неточности имя из платежной ведомости, считалась по армейским понятиям высшей мерой наказания. Она означала, что солдат лишался денежного содержания.

— Могу, конечно, попытаться,— ответил Лэндерс.— Но я уже докладывал, что составлять платежку прямо по спискам мне ни разу не приходилось. Всегда ведомостью за прошлый месяц пользовался.

— А вы попробуйте, попробуйте! — убеждал его Превор.— Если получится, обещаю вам через месяц повышение в сержанты. А потом лишнюю единицу в штатном расписании выбью — штаб-сержанта. Ей-богу, даже если придется оформить вас командиром отделения!

— Не надо мне никаких званий, лейтенант,— сказал Лэндерс, глядя прямо в глаза Превору.— Честное слово, не надо. Не желаю я никаких званий от нашей поганой армии. Я давно так решил.

Превор пристально на него посмотрел, потом сказал:

— Вам не надо, а мне надо! И, пожалуйста, не спорьте.

Лэндерс перевел взгляд на бумаги у себя на столе.

— Да поймите же, не верю я больше в нашу армию, в то, что она делает. И в страну нашу не верю. В человечество, к которому мы имеем несчастье принадлежать, тоже не верю. Гнусная порода — люди.

Превор долго молчал.

— Хорошо, не будем об этом. Сделайте мне ведомость, и вы — штаб-сержант. Я не хочу сейчас тасовать кадры, начинать увольнения. Это будет ударом для них. Я не имею морального права... Кроме того, научатся со временем, втянутся.

— Я ценю ваши благородные побуждения, лейтенант,— кивнул Лэндерс,— но... сами они не научатся. Их учить надо. Если хотите, я мог бы натаскать людей. Я и в снабженческих вопросах разбираюсь.

— В самом деле, возьметесь?

— Возьмусь. А на должность я не претендую. Просто мне обрыдла начальная подготовка и мерзнуть не хочется.

— Ну, от этого-то я вас освобожу,— усмехнулся Превор.— Но повышение тоже обещаю. Даже если придется снять единицу в каком-нибудь подразделении.

— Командование армии по головке вас не погладит, если начнете разгонять кадры,— улыбнулся Лэндерс.

Превор поколебался и сказал просто:

— Не погладит.— Он хотел было идти, но остановился, махнул рукой.— По правде говоря, я и не могу никого прогнать. Не я их назначал, а командование. Иначе меня сразу же с роты снимут.

— Придется ночью посидеть,— сказал Лэндерс.— Поэтому мне нужно место, чтобы не беспокоили. Суточные ведомости и книгу больных пусть кто-нибудь возьмет — я не успею.

— Это мы сделаем. А расположиться можете у меня.— Превор неуверенно протянул руку.

Лэндерс пожал ее, хотя без особого воодушевления.

— Похоже, что кто-то из начальства катит на вас бочку. Это из-за того, что вы — еврей?

Превор молчал: ему, видно, не хотелось говорить на эту тему. Потом характерным движением пожал плечами и невесело усмехнулся:

— Наверное, из-за этого.

— Ну, хорошо, я начну,— сказал Лэндерс.— Но гарантировать, что кого-нибудь не махнут красным, я не могу.

Лэндерс просидел над ведомостью, не вставая, три дня и две ночи. На третью ночь он тщательно все вычитал и между делом урывками поспал. Утром он представил подписанную Превором ведомость в финансовую часть. Два дня спустя ее вернули, утвержденную. Вся рота получила денежное содержание. Не было не единого вычерка.

Превор знал, чего это стоит, и благодаря ему узнала вся рота. Он принес в канцелярию роты бутылку шампанского, и офицеры с писарями распили ее за здоровье Лэндерса. Он шел под дождем в казарму, еще не зная, что в глазах 3516-й стал героем. В столовке солдаты встретили его дружными криками. У каждого в бумажнике было месячное жалованье, и каждому хотелось пожать ему руку или похлопать по спине. Через месяц ему дали сержанта, и ни единая живая душа не возражала.

Один Лэндерс не испытывал ни радости, ни гордости. Расскажи он Уинчу о своем настроении, тот бы фыркнул и выругался. А Стрейндж сразу поставил бы диагноз: совсем рехнулся парень.

Сам Лэндерс знал причину своей подавленности. Он чувствовал, что это ненадолго. И он знал, что еврей Превор в роте ненадолго. А когда Превора уберут, одному господу известно, что будет с 3516-й.

Интересно, Уинч в командном корпусе, откуда им возвращали суточные ведомости,— знает он о его успехах, спрашивал себя Лэндерс.

(Окончание следует)

Критика

Анкета ИЛ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

На два вопроса нашей анкеты в этом номере отвечают Иржи Кршенек, Герд Фукс, Эрскин Колдуэлл, Педро Корреа Васкес, Гюнтер де Бройн, Кэндзабуро Оэ.

— Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

— Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

ИРЖИ КРШЕНЕК (ЧССР)

1. Коварное слово — «современность». Если мы толкуем его, соотнося со временем, оно нередко играет с нами в прятки, и мы вдруг с изумлением отмечаем, что роман, созданный, скажем, сто лет назад, оказывается ближе нашему сердцу и куда «современнее», чем книга, написанная «только что». Примеров этому можно найти сколько угодно не только в литературе, но и в искусстве вообще.

Мне думается, современности не может быть там, где недостает преемственности, где литература выполняет несвойственную ей функцию, что-то заменяя и подменяя. Рано или поздно для нее это плохо кончится. Казалось бы, известные истины, и я даже не вспоминал бы о них, не всплывай они время от времени на поверхность — по крайней мере у нас.

Я начал работу над романом-хроникой, и прежде чем сесть за пишущую машинку, мне понадобилось помимо всего прочего заново уяснить некоторые вещи. Как я уже говорил, нам нередко бывает ближе правда тысячелетней давности, нежели ложь, облаченная в современные одежды. Вот почему социалистическая литература для формирования своей системы этических норм должна взять, переосмыслить и развить наиболее ценное из того, что оставили нам предыдущие поколения.

2. С проблемой преемственности тесно связан и второй вопрос анкеты. Я, признаться, порой бываю довольно-таки скептически настроен, когда думаю, что литература существует не первый год и всегда взывала к лучшему в человеке, стремилась, чтобы не пришлось в один прекрасный момент с наивным удивлением вопрошать самих же себя: люди, да что это с нами? Но изменился ли с давних пор, скажем с античных времен, человек? То есть изменился ли к лучшему?

В этом я не вполне уверен. Предпочитаю твердо стоять на земле, потому что сознаю: влияние искусства на человека сильно опосредовано. Я не вижу в этом его слабости, скорее наоборот. Это скрытые, глубинные процессы, зачастую напоминающие загадочные закономерности вселенной, они открывают нам в нас же самих все новые и новые неисследованные тайны человеческой природы, заставляют задуматься, переоценить иные свои поступки, не торопиться с суждением, помогают не потеряться, не раствориться в толпе, короче, не жить с вечно втянутой головой.

Русское слово «мир», если я не ошибаюсь, имеет два значения. Мир — это наша голубая планета и это также то, при попрании чего музы молчат. Это, пожалуй, самый удивительный омоним, какой я знаю и который в принципе означает все. В нем заключен смысл искусства и человеческого существования вообще, потому что ведь литература создается не для камней — человек придумал ее для того, чтобы изобразить себя.

Можно, наверное, сказать, что этот мир существовал во всем своем великолепии и достоинстве с незапамятных времен. Но должен был наступить социализм, чтобы

Продолжение. Начало см. в «ИЛ», 1982, № 4, 5, 6, 7.

поднять достоинство человека. Это историческая, никогда не прекращающаяся борьба за человека, и для писателя социалистического мира — честь принимать в ней участие. Потому что унесутся годы, пройдут десятилетия, столетия — и в безжалостном свете истории кое-что окажется пустым и никчемным, но со страниц добрых книг вечно будет звучать голос правды и человечности.

Чтобы человек был чуточку больше человеком...

ГЕРД ФУКС (ФРГ)

1. Больше всего омрачило мою юность главное зло общества, в котором я живу,— фашизм и все, что с ним связано. Фашизм для меня всегда был не только воспоминанием, но и проблемой настоящего времени, реальной угрозой сегодняшнего дня. Эта проблема отразилась уже в моих первых рассказах «Ландру и другие», там она рассмотрена с радикально-демократической точки зрения, правда, с известной долей назидательности. Герой моего первого романа («Беринтер и давний гнев») — интеллектуал, которого антифашистский настрой приводит к марксистским убеждениям. После романа «Мужчина на всю жизнь», исследующего отношения в рабочей семье в условиях безработицы, я вновь обратился — в романе «Час ноль» — к теме фашизма. События, описанные в романе, возвращают нас к 1945—1948 годам в западных зонах оккупации. Книга эта, конечно же, связана с современностью, поскольку именно в ту пору закладывался фундамент теперешнего западногерманского государства.

В настоящее время я решил попробовать свои силы в комедийном жанре: кризис, обрушившийся на капиталистические страны, проявил и кое-какие комические аспекты в мышлении обывателя.

2. Движение в защиту мира охватило ныне и моих собратьев по перу. Большой отклик повсюду получило, например, воззвание писателей Европы. Но как бы важно ни было такое воззвание, его мог бы подписать любой гражданин. У писателя же кроме обращений и резолюций — при всей их значительности — есть специфические, свойственные только его профессии возможности внести вклад в дело сохранения и укрепления мира. И заключены они прежде всего в его творчестве.

Непреодолима тяга человека к творчеству, в частности и к созданию стихов, пьес, романов или рассказов — то есть к самовыражению и самопознанию. И не только в политическом, экономическом, психологическом или медицинском плане — это задачи отдельных наук,— но к самовыражению и самопознанию в совокупности всех этих аспектов.

Полнота, цельность мироощущения нужны не только для самого произведения, но и для процесса его создания и восприятия. В нем участвуют интеллект, чувства, воспоминания, опыт писателя и читателя. Творчеству в области литературы и искусства меньше всего должна быть свойственна позиция отчужденности, ибо художник призван показать человека во всех его социальных и исторических связях, показать, как в каждой новой исторической ситуации он проявляет себя по-новому, не отрешенным от окружения, а неотделимой частицей его. Как говорил Сартр, если литература не является всем, то она не достойна внимания... Если каждая написанная фраза не соотносится с какой-либо сферой жизни общества, она ничего не значит.

Задача литературы состоит вовсе не в том, чтобы иллюстрировать научные абстракции, скажем, понятия феодализма, капитализма или социализма. Ее задача — изображать людей, живущих при феодализме, капитализме или социализме. А изображать человека — значит проникать в его судьбу, в его т а й н у. Гуманистическое начало в творчестве писателя как раз и определяется его вниманием к каждому отдельному человеку с его неповторимой жизнью, с его тайной. Писатель разгадывает эту тайну, совлекая с нее покровы условностей, ее искажающих. Тайна человека — самое живое в нем. И она противостоит отчуждению.

Как сказал Адорно, нет настоящей жизни в фальши. Условием литературного труда является борьба с ложью. Литература помогает понять человека. Она учит пониманию. Большую часть того, что народы знают друг о друге, они знают благодаря литературе. Она способствует тому, чтобы уменьшить разобщенность между отдельными людьми и целыми народами. Вера в это — пусть многим она кажется утопической — привела Гёте к понятию «мировая литература», которому соответствует и понятие «гражданин мира». Писатель, в отличие от солдата, не переходит границ, чтобы установить новые. Он стремится сделать ненужными границы вообще. Он хочет всюду быть дома — ведь мир принадлежит всем.

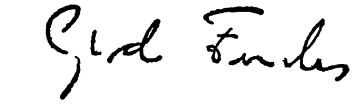
В вечной погоне за смыслом жизни литература выбирает жизнь и выступает против уничтожения. Такая литература — мирная по самой сути своей. Она не нуждается в прямых призывах к миру, она защищает мир сама по себе.

Но есть немало книг, написанных с позиции не взаимопонимания, но разобщения, не единства, но отчужденности, книг, которые являют нам гримасу, а не лицо, которые видят в униженных только их унижение, в оскорбленных только ничтожество. Эти книги говорят о насилии и жестокости так, что действуют насилию и жестокости

на пользу, отнимая у читателей последнюю надежду, бросая их в объятия социальной и нравственной летаргии, которая облегчает воякам-технократам их ремесло уничтожения.

Для литераторов борьба за мир — это прежде всего их творчество. Насколько оно действенно? Пессимистические суждения здесь столь же мало уместны, сколь и чрезмерный оптимизм. Вряд ли можно изменить жизнь лишь благодаря хорошим книгам, рисуя мир таким, каким хотел бы его видеть. Единственное, что может здесь помочь,— наука. Законы развития общества, история борьбы классов, диалектика процессов, происходящих сегодня в мире,— без понимания всего этого литература не может быть на высоте своего времени. Распознать в фальшивом скрытую истину, а в кажущемся истиной — фальшь, понять, почему поражениям предшествовали победы, а победам — поражения, постичь противоречия, среди которых развивалась в борьбе нового со старым, свободы с рабством история человечества,— вот единственное спасение от неверия, отчаяния и апатии.

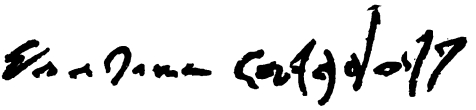
Как и все подписавшиеся под Крефельдским воззванием — а их более двух миллионов,— западногерманские писатели должны понять, что опасность исходит не от Советского Союза, а от Соединенных Штатов. Они должны понять, что в их мировоззрении что-то решительно не соответствует истине. Будем надеяться, что они приведут свои творческие побуждения в соответствие с диалектикой современного мира, и это благотворно скажется на их произведениях.



ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (США)

1. Сейчас я намереваюсь поделиться впечатлениями о современной жизни, накопившимися за год путешествий по родной стране и за рубежом. Я собираюсь издать многочисленные автобиографические заметки в виде дневника, где, наряду с моими личными переживаниями, должны отразиться и настроения людей, живущих рядом со мной.

2. Я прекрасно осознаю суть противоборства политических сил, в результате которого в мире все больше и больше нагнетается напряженность. Вряд ли можно отрицать, что искусство и литература — идеальные средства воздействия на человеческое общество ради установления мира во всем мире.



ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС (ПАНАМА)

1. Великая обобщающая мощь литературы дает ей возможность изображать окружающий мир не натуралистически — прибегну к этому принятому термину. Литература воспроизводит действительность, «называя» ее. Но только «называть», «именовать» в процессе творчества — значит лишь «описывать», не более того. Понятно, что литература — нечто гораздо большее.

Еще в Москве, будучи студентом Литературного института имени Горького, я начал писать роман, над ним работаю и сейчас. Он будет озаглавлен «Трюфель», по имени съедобного гриба-«аристократа», который, как известно, редко встречается в природе. В моем романе этот гриб — символ. Вообще же книга посвящена теме одновременно и актуальной, и вечной — теме борьбы добра со злом. В двух словах о моей книге: в необъятном царстве своих ядовитых собратьев трюфель оказывается единственным носителем добра. Он спасает мир. Разумеется, содержание романа отнюдь не сводится к этой метафоре, в нем параллельно развивается несколько сюжетов. Но идея его состоит именно в том, о чем я сказал.

Я возлагаю на свою новую книгу надежды и хотел бы ее напечатать. Но как? Не знаю. Ведь в Панаме издать что-либо — сложнейшая проблема. Знаю лишь, я должен издать эту книгу и заставить кое-кого задуматься над тем, что общеизвестно и чего всем нам так не хватает: это добро, доброта.

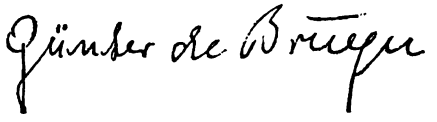
2. Второй вопрос — обширный, издавна вызывавший и вызывающий поныне споры. Обладают ли произведения искусства и литературы действенной силой, такой же,

как, скажем, политическое движение? Несомненно, литература есть идеологическое оружие. И это прекрасно понимают марксисты. Если мои книги хоть в какой-то мере помогут остановить врагов мира (я бы назвал их фашистами), то это потому, что в написанном мною нет лжи. Не устаю повторять, что тот, кто не верит сам, не сумеет убедить другого. Хочу надеяться, что мне удастся убедить, потому что я пишу лишь о том, что действительно думаю и чувствую, что меня волнует. Правда, нравственная проблема добра интересует меня больше, чем проблема мира. Но в конечном итоге разве это не одна и та же проблема? Ведь если бы мы стали истинно добрыми, на земле, конечно же, восторжествовал бы мир.

ГЮНТЕР ДЕ БРОЙН (ГДР)

1. Думаю, актуальность и значимость литературы тесно взаимосвязаны. Ведь отличительная черта хорошей книги состоит в том, что она говорит читателю больше того, что в ней непосредственно описано, в том, что приведенный в ней единичный случай носит обобщающий характер, представляет собой нечто большее, чем он есть сам по себе, в том, что она являет собой модель и прообраз жизни. Непременная же часть этого «бóльшего» (а только оно и позволяет читателю делать обобщения) — актуальность. Она может заключаться непосредственно в теме произведения, но может присутствовать и в ответвлении от нее. Актуальным может быть произведение даже с камерным или историческим сюжетом: все зависит от индивидуальности автора. Впрямую или подспудно, вольно или невольно любой автор выражает свое мнение по поводу современных проблем. И именно его отношение к актуальным вопросам определяет звучание произведения. Если, например, он ненавидит войну, это проявится даже тогда, когда он пишет о Тридцатилетней войне. И даже если он, как я сейчас, пишет роман, действие которого разыгрывается в современной ГДР и в центре которого — любовь между двумя молодыми людьми, этот роман тоже (я надеюсь!) не обойдется без критического рассмотрения некоторых общественных проблем новейшего времени.

2. Хотя известно, что никакая миролюбивая литература до сих пор еще не сумела предотвратить войну, мы не должны отказываться от попыток. Неустанно выступать против военного безумия, за взаимопонимание между народами — долг писателя, а издатели должны как можно шире распространять защищающие идею мира произведения — так, как это много лет образцово делает ваш журнал.



КЭНДЗАБУРО ОЭ (ЯПОНИЯ)

1. В недавно законченном большом романе «Игры современников», опираясь на народные поверья и легенды, я рассказал о том, как затерявшаяся в бескрайнем лесу крохотная деревенька, считая себя «независимым государством», сражается с городской цивилизацией, с системой государственных установлений, освященных именем императора и представляющих собой квинтэссенцию цивилизации, именуемой современной Японией. Это повествование о том, как в древности родилось такое «государство»-деревушка, как оно развивалось в средневековье и в период новой истории, как живет оно в наши дни. Центральное действующее лицо книги — мифический Патриарх.

События романа, который я пишу сейчас, разворачиваются примерно на том же фоне, только главный персонаж здесь — могущественная Матриархиня, если можно так выразиться. Новый роман должен, по замыслу, развивать тему «Игр современников», касаясь все тех же вопросов: неужели немыслимо государство, политика и культура которого не зависят от институтов, связанных с императорской властью, неужели невозможно создание истинно народного государства?

Своим романом я хочу также сказать: для того чтобы Япония вносила свой вклад в дело мира, у японцев должен прежде всего измениться взгляд на собственное государство. Им следует в идеале видеть свою страну страной равного благоденствия

всех людей. В международном плане это означает, что Япония не будет с позиции силы строить свои взаимоотношения с народами развивающихся стран Азии.

Я попытался рассказать об этом в гротескно-реалистической манере, весьма близкой (я в этом абсолютно уверен) тому художественному методу, который на материале произведений Достоевского, а также Рабле описал М. М. Бахтин.

2. Как уже упомянул, я пишу романы, но одновременно продолжаю заниматься и публицистикой. Основная тема моих публицистических работ — необходимость сделать общенациональной идею борьбы за предотвращение возможности новых Хиросимы и Нагасаки.

Перо японского публициста призвано показать, какие мучения принесло миллионам людей облучение, вызванное ядерными взрывами. Жертвы бомбардировки, по сей день гибнущие от лейкемии и рака, наследственное проявление лучевой болезни у детей — рассказать об этом всему миру гуманный долг каждого японского писателя.

Именно эта кардинальная мысль и побудила меня включиться в движение, направленное на то, чтобы заставить власти принять «закон о помощи жертвам атомной бомбардировки» и обеспечить всех пострадавших от ядерного взрыва необходимыми материальными средствами и лечением. Участники движения возлагают ответственность за трагедию Хиросимы и Нагасаки на американское правительство. Равным образом мы считаем и тогдашнее правительство нашей страны повинным в развязывании второй мировой войны. От нынешних японских властей мы требуем выступить за уничтожение ядерного оружия на всей земле.

В этом году — в марте в Хиросиме, а в мае в Токио — проходила в широких масштабах очередная кампания за запрещение ядерных вооружений. Если прежде, участвуя в таких кампаниях, я как писатель был одинок, то нынче более пятисот моих коллег — прозаиков, поэтов, критиков, литературоведов поставили свои подписи под нашим воззванием.

Полагаю, что присоединение к движению солидарности с жертвами атомной бомбардировки и борьба за превращение его во всеяпонское и всемирное движение и могут стать наиболее конкретным и эффективным вкладом японских писателей в дело мира во всем мире.

В ядерной стратегии Соединенных Штатов, направленной против Советского Союза и грозящей привести к третьей мировой войне, японское правительство играет роль пособника, пренебрегая той очевидностью, что, если начнется ядерная война, погибнет человечество как таковое. А ведь эта очевидность опирается — увы, вполне реально — на то, что уже пришлось пережить людям в Хиросиме и Нагасаки.

В Европе и Америке антиядерное движение, движение за мир приобретает сейчас общенародный характер. Так же широко разворачивается оно и в Японии, и писатели участвуют в нем наравне со всеми. Вот почему, хотя опасность катастрофы велика, ввиду мощи антивоенной борьбы ситуация все же не представляется мне безнадежной.

大江健三郎

■

Критика

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ЛИТЕРАТУРА

Я. ЗАСУРСКИЙ

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИТЕРАТУРУ В США

Часто говорят, что американцы читают мало художественных произведений. А американские писатели особенно жалуются на то, что у них в стране почти не читают романов. Это не совсем так. Американцы читают много романов, но в основном это романы, которые создаются в США по телевизионным фильмам и передачам или по кинофильмам. В чтении американцев они занимают гораздо большее место, чем наиболее значительные художественные произведения, те, с которыми мы стараемся знакомить в переводах советского читателя.

Такова же точка зрения и многих американских писателей. На последней встрече советских и американских писателей, которая происходила в Лос-Анджелесе[1], во время обмена мнениями между американцами Эдгаром Лоуренсом Доктороу и Элизабет Хардуик, с одной стороны, и нашими писателями — с другой, Хардуик категорически заявила, что обычно серьезная литература не может быть издана в США большим тиражом,— большими тиражами, утверждала она, издаются только книги «широкого потребления».

Не будет натяжкой сказать, что для нашей страны характерен иной подход: большими тиражами издаются лучшие произведения классиков русской литературы, литератур народов СССР и современных советских писателей. Это, правда, не означает, что и у нас иногда большими тиражами не издаются посредственные произведения, что отметил, в частности, Даниил Гранин, участвовавший в дискуссии. Но, как правило, большой тираж отражает качество художественного произведения.

Что касается Соединенных Штатов Америки, то для многих американских писателей,— скажем, для Доктороу, который в общем-то не может пожаловаться на невнимание читателей, или для Хардуик, чье творчество рассчитано на более камерную аудиторию,— несомненно, что массовый тираж означает уступки коммерческим вкусам издателей; настоящему, серьезному писателю к широкому читателю пробиться трудно.

Один из важнейших барьеров на этом пути — американское телевидение, кино, средства массовой информации. «Поточная» книжная продукция занимает сегодня очень существенное место в литературной жизни Америки и соответственно отражается на вкусах читателей, на издательских вкусах, которые навязываются массовой беллетристике, а иногда даже и серьезной литературе.

В повседневной информационно-пропагандистской деятельности телевидение в Соединенных Штатах Америки вышло на первое место и определяет повестку дня ежедневной печати, а во многом и деятельность журналов, издательств. В последние годы особенно серьезное значение стали приобретать так называемые «телевизионные книги», или телевизионные романы, написанные по наиболее актуальным и острым документальным программам, но самым известным и по тем или иным причинам привлекающим внимание общественности художественным или документальным передачам. Они распространяются массовым тиражом. Характерен в этом отношении недав-

[1] См. об этом статью И. Зориной «Диалектика взаимопонимания» в «ИЛ», 1981, № 11.

ЗАСУРСКИЙ ЯСЕН НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1929 г.). Советский литературовед и критик, доктор филологических наук, профессор. Вице-президент Международной ассоциации по научным исследованиям средств массовой информации. Автор работ: «Жизнь и творчество У. Уитмена» (1955), «Американская литература XX в.» (1966), «Американская массовая конформистская беллетристика» (1970), «Теодор Драйзер» (1957, 1964, 1977) и многих статей по проблемам литературы США.

ний пример — книга, сделанная по двадцатисерийному советско-американскому фильму «Великая Отечественная», который шел в Соединенных Штатах Америки под названием «Неизвестная война». Такое же название носит и книга, написанная по этой телевизионной эпопее американским журналистом Гаррисоном Солсбери [1]. Он воспроизводит наиболее интересные, с его точки зрения, видеоэпизоды и дает фильму свою интерпретацию. Солсбери добавил в книгу и материалы, не вошедшие в фильм, причем некоторые из них имеют сугубо пропагандистский характер и противоречат духу фильма. Обложку книги автор увенчал двумя военными наградами — фашистским орденом с изображением свастики и золотой медалью с пятиконечной звездой. И это тоже придает книге тенденциозную окраску. Поскольку фильм в США и в других странах вызвал живой отклик и пробудил интерес к самой истории Великой Отечественной войны, книга имела достаточно большой тираж, была переведена на французский, немецкий и некоторые другие языки, и показ фильма в странах Западной Европы сопровождался одновременным ее изданием. Она становилась своего рода «спутником телезрителя», его путеводителем по фильму. Но путеводителем не очень объективным.

Книга Солсбери — типичный пример взаимодействия телевидения, с одной стороны, и литературы — с другой.

За последние двадцать лет в структуре и развитии американских средств массовой информации произошли серьезные изменения — на первый план в информационно-пропагандистском бизнесе выдвинулось телевидение. В 1966 году в США приходилось более одной ежедневной газеты на семью, а телевизорами располагали 89,4 процента семей. В 1981 году разовый тираж ежедневных газет на 17 млн. 188 тысяч уступал общему количеству семей в США. Другими словами, по крайней мере 21,6 процента американских семей не читают сейчас ежедневных газет, а если учесть, что некоторые семьи покупают не одну газету, общее количество тех, кто ежедневных газет не имеет, окажется еще больше. Телевизоров же в США в 1981 году было более 100 миллионов; в 98 процентах домов есть, по крайней мере, один телевизор, а у 51 процента семей два и более. Таким образом, телевидение, как источник постоянной информации, оттеснило ежедневную газету на второй план. Неудивительно, что именно телевидение показом тех или иных художественных и документальных программ во многом определяет и читательские интересы своей аудитории: если по книге сделан телефильм (особенно если лента удалась), на книгу возникает повышенный спрос. Это обстоятельство в полной мере учитывают американские телевизионные компании и кинопромышленность, которые сегодня тесно связаны с книгоиздательством.

В случае с Солсбери речь шла о публицистике. Но теми же методами осуществляется взаимосвязь между художественной литературой и кино. Кино все больше зависит от информационно-пропагандистской промышленности, многие известные голливудские фирмы становятся не просто фабриками по производству фильмов, но так называемыми «коммуникационными компаниями». Скажем, знаменитая студия «Уорнер Бразерс» входит теперь как киноотдел в концерн „Уорнер коммьюникейшнс компани». Частью этой компании является и издательство „Уорнер букс». Эти новые информационно-пропагандистские концерны часто имеют также подразделения, обеспечивающие соответствующей кинопродукцией и телевидение. Как видим, подобный способ концентрации средств массовой коммуникации включает кино и тесно связан с книгоизданием.

Производство многотиражной книги входит в сферу деятельности средств массовой информации, а сама книга становится, таким образом, частью массовой культуры.

На поток поставлено не только изготовление фильмов, чем всегда славился Голливуд, или издание книг, но и организация спроса на книгу, а в ряде случаев и творческий, казалось бы, процесс создания книги, художественной или документальной,— в соответствии с организованным при помощи умело сделанной киноленты читательским спросом. Достаточно назвать хотя бы издающиеся сегодня особенно большими тиражами кинороманы. Как уже говорилось, по каждому сколько-нибудь значительному фильму создается кинороман, или переиздается книга, ставшая основой сценария.

Конечно, в тех случаях, когда фильм снимается по значительному художественному произведению, экранизация играет положительную роль, способствуя его продвижению к читателю. Скажем, когда вышел на экран «Великий Гэтсби», роман Фицджеральда был переиздан с иллюстрациями, заимствованными из фильма.

Более типичны, однако, случаи другого рода — как правило, резкое возрастание спроса на книги, экранизированные для телевидения или кино, используется для популяризации откровенно пропагандистских боевиков или дешевого чтива, где пропагандистские стереотипы упрятаны в упаковку занимательности и развлекательности.

Примером экранизации политического боевика может служить лента «Вся президентская рать», с выходом на экраны которой книга Вудварда и Бернстина об уотергейтском деле, прославляющая американскую буржуазную журналистику, была переиздана массовым тиражом с кадрами из фильма в качестве иллюстраций.

Более близкий по времени пример — телевизионная серия американской компании Эн-Би-Си по милитаристской книге «Третья мировая война», написанной семью отставными натовскими генералами под руководством и командованием отставного английского генерала сэра Джона Хэкета. После показа в феврале 1982 года этого антисоветского милитаристского боевика была переиздана и книга.

Чаще всего кинолента или телефильм становятся отправной точкой для новой книги.

[1] Harrison Salisbury. The Unknown War. Toronto-N. Y.-London, Bantam Books, 1978.

Здесь возможны по крайней мере три варианта изготовления книжной продукции.

Первый — в основе фильма лежит ходкая книга, бестселлер, а по ее экранизации создается новый роман. Так вышло несколько лент, использующих сюжет книги Артура Хейли «Аэропорт». Одна из них называлась «Аэропорт-77», под тем же названием вышел и кинороман (авторы-сценаристы Майкл Шефф и Дэвид Спектор). На обложке книги указано, что она «вдохновлена» романом «Аэропорт» Артура Хейли. Конечно, авторов и издательство вдохновляла в гораздо большей степени возможность выжать из закупленного кинокомпанией сюжета максимум прибыли. Надо ли говорить о том, что эта «художественная продукция», издающаяся большими тиражами, является по существу ремесленной поделкой.

Другой вариант подобной литературно-кинематографической акции — в основе сценария лежит рассказ, а по выходе фильма сценарий переделывается в кинороман. Таков фильм «Родилась звезда». Сюжетом его послужил рассказ Уильяма Чэлмана и Роберта Карсона. Сценарий был написан Джоном Грегори Данном, Фрэнком Пирсоном и маститой писательницей Джоан Дидион. После выхода на экраны фильма появился кинороман, сработанный Александром Эдвардсом. И книга «Родилась звезда» [1] с фотографией исполнительницы главной роли Барбры Стрейзанд на обложке широко распространилась в Соединенных Штатах. Это было произведение, созданное, как о том свидетельствует титульный лист, по крайней мере шестью литераторами.

Третий вариант «кинопрозы» — книга по оригинальному сценарию. Таков кинороман «Телесеть» [2]: сценарий известного американского драматурга Педди Чаевского был «романизирован» Сэмом Хедрином, как указано на обложке, тоже украшенной портретами снимавшихся в фильме актеров — Фей Данауэй, Уильяма Холдена, Питера Финча и Роберта Дюваля. Подобным же образом был сделан и кинороман «Война звезд» по одноименному фильму, с той только разницей, что автором и сценария и романа здесь выступал постановщик фильма Джордж Лукас[3].

Следует заметить, что для всех перечисленных вариантов кинороманов и телепрозы характерно упрощенное, стереотипное видение мира. Это литературная жвачка, предназначенная для самого невзыскательного массового читателя, но именно она сегодня определяет уровень и характер литературных интересов, вкусов и запросов среднего американца. Суть этой коммерческой операции передает реклама «Уорнер коммьюникейшнс компани»: «Посмотри фильм, прочитай книгу!»

Создание подобной «художественной продукции» в США поставлено на конвейер, ибо в современных условиях взаимодействие средств массовой информации и художественной культуры в этой стране является серьезным средством формирования социальной психологии, очень важным фактором идеологической борьбы. Связь здесь двусторонняя. Материалы массовой культуры играют существенную роль на телевидении и в печати, способствуя внедрению буржуазных идей и стереотипов мышления в общественное сознание. А телевидение, кино и другие средства массовой информации усиленно используются для создания, я бы сказал, псевдолитературы, имеющей широкое хождение среди населения.

Если журналистика прямо связана с политической жизнью и идеологической борьбой, то литература отражает их опосредованно, но также от них неотделима. Связи литературы и современной идеологической борьбы осуществляются по нескольким линиям.

Во-первых, существует апологетическая, якобы реалистическая беллетристика, которая обслуживает идеологические интересы американских монополий. Я уже назвал одну ветвь ее — кино и телевизионные романы. Здесь зависимость литературы от идеологической борьбы очевидна.

Другую ветвь представляют книги, написанные по политическому заказу. О некоторых таких «политических боевиках», например о «Парке Горького», писала «Литературная газета». Автор этого романа Мартин Круз Смит спекулирует на внешних деталях московского быта, но даже весьма благожелательный по отношению к антисоветской продукции и не скупящийся на похвалы в адрес Смита редактор отдела литературы еженедельного журнала «Сатердей ревью» Роберт Р. Харрис вынужден отметить, что «Смит, очевидно, провел мало времени в России» [1],— слишком заметны многие несуразности повествования, несмотря на всю изворотливость автора.

Еще пример. Вышла очередная книга Аллена Друри, которая называется «Вершина лета»[2]. В ней излагаются перспективы новой мировой войны с участием Соединенных Штатов Америки, Советского Союза и Китая. Автора страшит возможность улучшения советско-китайских отношений, и внешнеполитические концепции американского правительства, американских правящих кругов, стремящихся разыграть китайскую карту в своих антисоветских планах и акциях, представлены им с большой откровенностью.

Такого рода произведения тоже издаются в Соединенных Штатах Америки значительными тиражами и в списках бестселлеров, публикуемых в еженедельнике «Тайм», в «Нью-Йорк таймс бук ревью», занимают порой очень существенное место, о чем свидетельствует, например, анализ списков бестселлеров 1981 года, бывший в этом смысле особенно показательным.

Апологетическая литература, таким образом, отражает прямое воздействие монополий на художественное творчество, прежде всего через политический роман, детектив,

[1] Alexander Edwards. A star is born. N. Y., A Warner Communications Company, 1976.

[2] Network. By Paddy Chayefsky. Novelization by Sam Hedrin, N. Y., Pocket books, 1976.

[3] George Lukas. Star Wars. N. Y., Ballantine Books, 1976.

[1] "Saturday Review", December, 1981, p. 76.

[2] См. статью А. Мулярчика «Партитуры угроз и предупреждений» в «ИЛ», 1980, № 5.

фантастику, через многие виды псевдореалистической конъюнктурной беллетристики. В частности, и через произведения, связанные с модернистским ширпотребом.

Когда речь идет о литературе реалистической, ее связь с современной идеологической борьбой оказывается более сложной. Американские писатели-реалисты, стоящие на гуманистических позициях, очень остро и болезненно воспринимают бездуховность американского общества. Вместе с тем, живя в условиях буржуазной Америки, они остаются под сильным влиянием официальной политики и идеологии, и это сказывается в первую очередь на их публицистике. Многие американские литераторы, к сожалению, и сегодня в своих политических взглядах, в выступлениях по тем или иным острым политическим вопросам оказываются на позициях, далеких от истинного понимания существенных проблем международной жизни. Здесь можно говорить даже о писателях, казалось бы стремящихся к взаимопониманию,— об участниках советско-американских встреч, таких как Воннегут, Олби, Стайрон, Хардуик, Брэдбери, Доктороу. Их политические концепции обнаруживают нередко неточность и незрелость, особенно когда речь идет о социалистических странах. Тут предвзятость их суждений, плохая информированность, недоверие сказываются так ощутимо, что барьер этот очень трудно преодолеть.

Например, Эдвард Олби, конечно же являющийся одним из крупнейших современных американских драматургов, с предубеждением относится к нашим сообщениям о том, что его пьесы имеют успех в Советском Союзе. Он воспринимает это с непонятным для нас сомнением, обнаруживая непонимание как советской политики и действительности, так и советской литературы и театра. Между тем пьеса Олби «Все кончено» на самом деле пользуется успехом в Художественном театре и была несколько раз показана по телевидению. Эта и другие его вещи идут также в других городах нашей страны, привлекая зрителя бескомпромиссной и решительной критикой бездуховности американского буржуазного мира, господства обесчеловечивающего и нивелирующего чистогана, американского мещанства. И создается парадоксальная ситуация: Олби, который иногда выступает с резкими и непродуманными заявлениями в наш адрес, не может зачастую увидеть своих пьес на американской сцене. Его пьеса «Старая леди из Дебюка», по его словам, провалилась на Бродвее. Он сделал новую по известной книге В. Набокова «Лолита», которой дал свою интерпретацию. Но, несмотря на популярность книги, и эта пьеса, как признал сам автор, также провалилась на Бродвее. Мы не будем вдаваться в оценки художественных достоинств этих драм и утверждать, что у нас они прошли бы хорошо. Но ведь Бродвей не принял и имеющую у нас успех пьесу «Все кончено».

Говоря об этом, я хотел бы подчеркнуть существенное противоречие, непоследовательность позиции некоторых американских писателей. С одной стороны, их политические взгляды, складывающиеся под сильным влиянием буржуазной идеологии, политических кампаний, американских средств массовой информации, с другой — гуманистические убеждения, часто не согласующиеся с их же собственными политическими взглядами. Вот почему, понимая сложность современной политической борьбы, критикуя и отвергая домыслы, неточные, неправильные, а порой и враждебные высказывания тех или иных писателей, мы должны быть тем не менее внимательны к их художественному творчеству, которое часто этим высказываниям противоречит.

Обратимся, например, к творчеству даже такого писателя, который в последнее время сделал антисоветизм чуть ли не второй своей профессией. Я имею в виду Артура Миллера. Он часто выступает с позиции, предвзятой во многих, если не во всех отношениях, допускает самые грубые антисоветские заявления. Но вот последняя пьеса Миллера «Американские часы». В ней он рассказывает о своем детстве и юношестве в 30-е годы, годы кризиса. Кто же его герои? Молодые люди, которых привлекает газета «Дейли уоркер» и деятельность американских коммунистов. Конечно, их суждения кажутся немного наивными, но не смешными. Опасными же у Миллера оказываются фашисты и те американцы, которые им сочувствуют.

Пьеса «Американские часы» дает основания говорить о том, что один из крупнейших американских драматургов Артур Миллер в своем творчестве, пожалуй, стоит на позициях более точных, чем в политических высказываниях. Поэтому, критикуя Миллера-политика, Миллера-публициста, может быть, не стоит закрывать глаза на сильные стороны его художественного творчества, его драматургии. Это ставит перед нами очень серьезные и сложные задачи анализа и современной американской литературы, и тех процессов, которые являются достоянием ее истории.

Еще один момент, который хотелось бы отметить, говоря о связи литературы и идеологической борьбы,— определенное стремление к политизации мышления, очевидное сегодня среди американских писателей. Оно нашло отражение и на съезде американских писателей, который состоялся недавно в Нью-Йорке по инициативе журнала «Нейшн» [1]. Участвовало в нем более трех тысяч человек. И Воннегут, и Стайрон, и многие другие писатели больше всего говорили на этом съезде о тех трудностях, с которыми они сталкиваются в сегодняшней Америке, и о враждебности американского истеблишмента искусству. Знаменательно, что первым оратором на этом съезде была Мередель Лесюр, американская писательница, которую все мы знаем по 30-м годам, по эпохе пролетарского романа в США. Мередель Лесюр является членом Коммунистической партии США и активно участвует в работе ее организации в штате Миннесота. Выступление Лесюр перебросило мостик от писательских съездов 30-х годов к современному писательскому движению США. Конечно, не каждый участник нынешнего съезда подписался бы под документами съезда писателей 1937 года, но все они аплодировали Мередель Лесюр, потому

[1] См. статью В. Луговой в «ИЛ». 1982. № 4.

что ее выступление было направлено против истеблишмента, против идей конформизма, против превращения искусства в служанку империалистической политики — против тех зол, борьба с которыми служит объединению американских писателей и росту их политического сознания.

Этот вывод подтверждают и впечатления, полученные во время встречи американских и советских писателей в Лос-Анджелесе,— уже тогда многие американцы однозначно критически говорили о приходе к власти Рейгана. Правда, они надеялись, что новая администрация улучшит отношения между США и Советским Союзом, и строили по этому поводу разные домыслы, но не сомневались, что правление Рейгана принесет огромные бедствия американскому народу. «Нам от Рейгана достанется, он нам покажет!» Прогноз в отношении того, что Рейган «покажет» американской интеллигенции, оказался справедливым, иллюзии же, связанные с улучшением отношений с Советским Союзом,— увы, несостоятельными.

Наступление в США реакционных сил, активизация так называемых неоконсерваторов стали катализатором процесса политизации американской литературной жизни. Этот процесс захватил и многих писателей, не подготовленных к активному участию в политической жизни,— отсюда неточность их политических высказываний, непоследовательность, а в некоторых случаях даже неразборчивость. Повторяю, нам следует судить о писателях, поэтах, драматургах не только по политическим высказываниям, которые мы должны правильно и принципиально оценивать, критиковать и не затушевывать, но и по главной сфере их деятельности — их творчеству. Наш долг анализировать его с позиций марксистско-ленинского литературоведения, объективно, всесторонне и по-партийному глубоко, видя гуманистическую основу там, где она есть, и отвергая отступления от нее. Потому что с этой точки зрения некоторые крупные современные художники слова в Соединенных Штатах Америки могут оказаться нашими единомышленниками, борясь против бездуховности, бесчеловечности и агрессивности современной Америки — Америки монополий и транснациональных корпораций.

К. Воннегут издал недавно сборник статей о литературе и искусстве «Вербное воскресение. Автобиографический коллаж». Одна из них относится к советско-американским литературным связям. При всех выпадах, которые допустил в ней Воннегут, он признает необходимость и полезность общения советских и американских писателей, он против «холодной войны» и тем более против войны «горячей», но в целом его публицистическая программа оказывается очень эклектичной и неразборчивой, гораздо упрощеннее и наивнее, чем многие его произведения, с которыми знаком советский читатель, которые отражают гуманистическую основу творчества Воннегута и позволяют увидеть в нем противника бездуховности и жестокости буржуазного мира, противника социальной несправедливости и мещанства.

Существенным элементом воздействия буржуазных идеологических концепций, наконец, остается модернистская литература, где под маской нонконформистской элитарности, автономности и аполитичности искусства скрывается не столько протест против коммерческой массовой культуры, сколько апология абсурдности буржуазного мира. Больше того, модернистская литература, до недавнего времени кичившаяся своей антимещанской изысканностью, сегодня в Соединенных Штатах Америки существует в новых формах, в частности в «омещаненных» вариантах, очень близких массовой культуре [1].

Пик популярности модернистской продукции у американской литературной интеллигенции позади. Все чаще раздаются в ее адрес резкие критические голоса. Омещанившийся характер подобной литературы точно подметил Джон Гарднер в книге «О нравственной литературе»: «Правда модерниста стремится быть не ответственной и рассудительной, а просто модной»[2]. Модернизм тем не менее по-прежнему играет существенную роль в идеологической борьбе, диктуя наиновейшие литературные моды и фасоны и воздействуя на более узкий круг читателей, который, однако, особенно важен для развития литературы, поскольку включает в себя, как правило, и значительную часть писателей. Вот почему эта проблема требует специального исследования.

Американская литература является важным элементом современной идеологической борьбы и, следовательно, требует нашего объективного, всестороннего, основанного на марксистско-ленинском подходе изучения.

«Искусство,— отмечал в цитированной книге Джон Гарднер,— от поколения к поколению заново открывает, что необходимо для человечности» [3]. Выполнению этой благородной миссии литературы мешает давление на американских писателей информационно-пропагандистского комплекса и другие формы идеологического воздействия монополий. Однако в ряде случаев, как мы видели, их политическая позиция объективно приходит в противоречие с гуманистической направленностью их произведений. Тем более ценим мы вклад писателей, сохраняющих и отстаивающих принципы гуманизма.

[1] См. об этом статью А. Зверева «Тупик», «ИЛ», 1982, № 6.

[2] John Gardner. On moral fiction, N. Y., Basic Books, 1978.

[3] Ibid.

■

С. АВЕРИНЦЕВ

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ С ВЕРГИЛИЕМ

Перечитывая классику

У великих поэтов как бы две жизни. Две жизни и у Вергилия. Он родился в 70-м и умер в 19 году до нашей эры. А в памяти человечества живет уже две тысячи лет. 1982 год объявлен ЮНЕСКО Годом Вергилия.

Наследие поэта, вступающее ныне в третье тысячелетие своего существования, сравнительно невелико: это «Буколики» («Пастушеские стихи»), дидактическая поэма «Георгики» («Земледельческие стихи») и, наконец, героико-эпическая поэма «Энеида».

Ставшая вершиной римской классической поэзии, «Энеида» посвящена мифическому предку римлян — троянцу Энею. Согласно легенде, Эней, спасая себя и своего отца Анхиза, бежал из разрушенной греками Трои. После долгих и тяжких скитаний, побывав в Карфагене у царицы Дидоны, спустившись в Аид, чтобы узнать там от тени отца, какой славный удел ждет его род, Эней решил остановиться, наконец, в Италии, где его потомкам суждено основать Рим. Но и здесь, в Италии, Энея поджидали опасности. Правда, царь Латин принял его ласково и даже обещал руку дочери, но жених ее Турн пошел на Энея войной. Борьба их кончилась победой Энея: он сразил Турна в единоборстве, отомстив ему и за смерть своего друга Палланта. Всем этим, однако, содержание «Энеиды» отнюдь не исчерпывается, ибо Вергилий создал не просто мифологическую поэму, но эпос об исторических судьбах Рима.

Вергилий утвердил в мировой литературе (по-своему и в поэтически оригинальной форме) идею долга человека перед историей — то, что важно читателю всех времен и что входит по-разному в творчество великих поэтов различных эпох.

Как известно, Вергилий родился недалеко от Мантуи. Именно здесь осенью 1981 года, в ознаменование юбилея поэта, состоялся международный конгресс, посвященный его жизни и творчеству. Инициаторами конгресса были римская «Аккадемиа деи Линчеи» и мантуанская «Аккадемиа Вирджилиана». Некоторые тезисы доклада, с которым выступил на конгрессе С. Аверинцев, и легли в основу предлагаемой читателю статьи, раскрывающей грани восприятия Вергилия в литературе нового времени.

Когда 21 сентября 19 года до н. э. в калабрийском городе Брундизии, подле моря, соединяющего южную Италию с Элладой Гомера, на пятьдесят первом году своей тихой жизни трудолюбца скончался Публий Вергилий Марон — уже тогда, пожалуй, это событие означало для сознания одних современников и хотя бы для смутного чувства других нечто большее, чем просто смерть любимого и почитаемого поэта. Поэты у римлян были; но Вергилий — не один из великих, даже не первый, а единственный.

Особенно убедительное, хотя и забавное доказательство живости общего отклика на поэзию Вергилия — необычайное количество попыток осмеять и уничтожить ее: против «Буколик» были написаны «Антибуколики», против «Энеиды» — «Бич на Энея». Один римский литератор специально собирал Вергилиевы погрешности против латинского языка и хорошего слога, другие коллекционировали заимствования, сделанные поэтом у предшественников, изобличая его в плагиате.

Между тем сила Вергилия, как и других

АВЕРИНЦЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (род. в 1937 г.). Советский литературовед, переводчик, доктор филологических наук. Автор работ по истории позднеантичной и средневековой литературы, по западной философии культуры XX в. (К. Г. Юнг, О. Шпенглер, К. Ясперс и др.). Ему принадлежат стихотворные и прозаические переводы «Книги Иова», Платона, Каллимаха, Плутарха, писателей средневековья, немецкоязычных авторов XIX—XX вв. (Гёльдерлина, Тракля, Гессе) и другие работы.

гениев высокой классики, например Рафаэля или Пушкина, не в последнюю очередь определяется именно тем, сколь много чужого они умеют сделать своим, иначе говоря, тем, в какой мере их личное творчество перерастает в надличный синтез до конца созревшей и пришедшей к себе многовековой традиции...

Иногда кажется, что хулители — это какие-то пророки наизнанку, по-своему провидящие, насколько долговечно и полно сил то, что ими хулимо; иначе оно не задевало бы их за живое. Обилие нападок тем более знаменательно, что Вергилий, человек по натуре тихий, только однажды позволил себе в молодости выпад против Бавия и Мевия, в остальном же стоял вдали от литературных бурь и никого сам не задирал; и все же простым своим существованием он кому-то не давал жить — не потому ли, что в его поэзии ощущалась сила, независимая от его личной воли и при всей мирности своего проявления неумолимая, как всякая сила? И то сказать — тех же Бавия и Мевия он помянул недобрым словом так кратко, словно бы и безобидно, если вспомнить для сравнения злые стихи Катулла; но на века и века для десятков поколений, никогда не читавших ни Бавия, ни Мевия, имена обоих стали употребительным, каждому понятным бранным словом. Вот что значит говорить как имеющий власть.

За славой Вергилия стояла та самая объективная непреложность, заключенная в природе вещей, в составе бытия, которую поэт воспел как «рок», fata. Ничего не поделаешь с тем, что не Турну, а Энею суждено стать женихом Лавинии и положить почин будущему; так не старым Невию и Эннию и никому другому, а только Вергилию суждено было остаться в веках поэтом римской судьбы. Поэма Невия о Первой Пунической войне и некогда знаменитые «Анналы» Энния утрачены, потому что «Энеида» их вытеснила и сделала ненужными, на ином, более высоком, уровне удовлетворив потребность в самобытном римском эпосе, организованном вокруг идеи истории. Отныне римский эпос был поставлен в необходимость самоопределяться перед лицом «Энеиды», по отношению к заданным ею ориентирам.

Ценностям высокой классики очень идет быть школьными ценностями. Поэзия Вергилия нашла дорогу в школу предельно быстро; если верить преданию, уже грамматик Квинт Цецилий Эпирот, вольноотпущенник того самого Аттика, с которым переписывался Цицерон, начал читать с учениками стихи Вергилия, которые затем уже не переставали быть предметом преподавания две тысячи лет. Римские мальчики времен Квинтилиана с восковыми табличками в руках; питомцы монастырских школ средневековья; ученики гуманистов и воспитанники иезуитов; гимназисты и лицеисты совсем уже недавних времен, вплоть до вчерашнего и отчасти сегодняшнего дня,— всех их, из поколения в поколение, из века в век, учили читать сладкозвучные стихи о Титире, распевающем пастушескую песнь под покровом раскидистого бука, о трудах земледельца, о призвании Энея и страсти Дидоны. Под аккомпанемент этих стихов шла душевная жизнь юного Августина, юного Петрарки; но и для модерниста Т. С. Элиота Вергилий — основополагающее переживание школьных лет.

Известный немецкий литературовед Эрнст Роберт Курциус, отмечая, что по крайней мере со времен Данте до времен Гёте первая эклога из Вергилиевых «Буколик» была тем стихотворным текстом, при посредстве которого ученика впервые вводили в таинство поэзии, назвал эту эклогу ключом ко всей западноевропейской поэтической традиции; если это преувеличение, то не очень большое. Педагогическая роль Вергилия — ментора, дававшего при начале умственного пути некую исходную норму, дисциплинирующего воспитателя совсем молодых душ,— в истории настолько велика, что преувеличить ее едва ли возможно.

Что делало его как-то особенно пригодным для этой роли? Ну, конечно, присущая ему, классичнейшему из гениев, и важная для эпох нормативной поэтики образцовая безупречность и, так сказать, авторитетность вкуса; наряду с этим — безупречность нравственная, привлекавшая наставников примерная высота моральных правил (Гёте, не слишком любивший нашего поэта, однако же назвал его «ангельски чистым»). Но причины более тонкие назвать труднее. Отметим прежде всего ту открытость навстречу стихии молодости, которую молодые обычно угадывают. У Вергилия (в отличие, например, от Катулла) абсолютно нет ничего душевно незрелого, того, что называется инфантильным и что как раз сделало бы его непригодным для роли воспитателя; ниже о нем пойдет речь как об одном из самых «взрослых» поэтов, поэте жизненной зрелости, жизненного опыта, непрерывно отвечающем на вопрос: как принять горькие уроки этого опыта и все же сохранить надежду; но он любил так, как умеют любить только очень зрелые люди, чистоту юноши, мечтающего о героической дружбе и героической смерти. Юношей, подобных его Нису и Эвриалу или Палланту, не было ни у одного поэта до него. Эпос, лирика, даже трагедия классической Греции знали пластический облик юности, но не ее неповторимую душевную атмосферу, ее красоту, но не ее поэзию.

Нис и Эвриал — именно образы юности как состояния души, мы видим их не только извне, но изнутри. «Эвриал весь замер, уязвленный великою жаждой похвал»[1],— читаем мы в «Энеиде» (кн. IX, 197—8), а потом слышим, что ему не страшно идти на ночную вылазку, но страшно рассказать о ней своей старой матери: «Я не выдержу слез родительницы» (там же, 289). Образы эти стоят очень близко к самому центру поэтического мира Вергилия, и от них ведет прямая дорога к героическим и впечатлительным юношам европейской поэзии, вплоть до «Песни о любви и смерти корнета Кристофа Рильке». Из всех фигур позднейшей римской истории, возникающих как пророчество и предчувствие перед взором Энея, никто, даже сам Август, не удостоен таких прочувствованных слов, та-

[1] Здесь и далее, где это не оговорено, переводы принадлежат автору статьи *(прим. ред.)*.

кого апофеоза, как Марцелл, племянник Августа, предназначенный им в наследники, но умерший в двадцатилетнем возрасте (кн. VI, 861—87). За что ему эта честь? Именно за то, что он так и остался юношей, невоплощенной надеждой на будущее, чистым обещанием; он словно символизирует юность вообще, юность как таковую, представительствует за всех юношей Вергилия, столь часто обрекаемых в искупительную жертву богам истории, и надгробная похвала ему — нечто вроде памятника Неизвестному Юноше. «Судьбы только покажут его миру, но не дозволят ему быть долее» (VI, 869—70).

Античный источник говорит, что Октавия, мать Марцелла, лишилась чувств, когда Вергилий читал в ее присутствии печальные строки, и чувствительность этого рассказа хорошо подходит к атмосфере «Энеиды» в целом, где так часто слышен плач о великой надежде, погребаемой вместе с безвременно погибшим юношей: Эвандр оплакивает Палланта, суровый Мезенций— Лавза, даже Эней, принужденный убить Лавза как противника в бою, вне себя от жалости (кн. X, 825—30), и сам Вергилий скорбит обо всех. (В скобках заметим, что нравственная и эмоциональная связь между разными поколениями — отеческие чувства старших к младшим и сыновние чувства младших к старшим занимают в «Энеиде», в отличие от греческого эпоса, больше места, чем дружба внутри одного поколения. У Энея есть какой-то «верный Ахат», но имя этого товарища по оружию остается только именем; зато преданность Энея Анхизу — едва ли не самый выразительный образ преданности сына отцу во всей старой европейской литературе. Лавз гибнет, закрывая своим телом отца, Эвриал, как мы видели, отправляясь на опасный подвиг, думает только о матери. Месть Энея Турну за Палланта в «Энеиде» композиционно соответствует мести Ахилла Гектору за Патрокла в «Илиаде»; но Ахилл мстит за друга, Эней — за мальчика, доверенного его заботе, к которому он успел по-отечески привязаться.)

Если же юноша не гибнет, но остается жить, неся в себе будущность, его юность, во всяком случае, ничуть не менее значительна. Вот отрок Асканий, сын Энея и пращур Ромула, делает свой первый в жизни боевой выстрел (кн. IX, 590—637); это очень торжественный момент, одна из вех всего эпоса. В речи Аполлона, подбадривающего мальчика, звучат удивительные слова, не совсем переводимые, как все у Вергилия, но выразившие на века вперед патетику юношеских мечтаний и замыслов: «sic itur ad astra» — «так начинают путь к звездам» (там же, 641). Первый выстрел юного стрелка у Вергилия полон значения. Во всем контексте поэмы он воспринимается как еще небывалое для античной литературы, предвосхищающее новоевропейский роман сгущение биографического времени[1], сравнительно с которым все герои греческого эпоса — в той или иной мере вне времени и особенно вне возраста. Между юным Телемахом из «Одиссеи» и юношами Вергилия — точно такое же различие, как между куросами и эфебами греческой пластики и римскими портретами мальчиков с их окончательной, непревзойденной конкретностью возрастной психологии. Эллин нашел бы эту конкретность эстетически недопустимой.

Добавим, что на каждом шагу в самом тоне Вергилиева пафоса, в интонациях его чудной серьезности, не разрушенной опытом, не отравленной даже привкусом иронии, можно различить слегка «мальчишеский», юношеский тембр, сравнительно с которым такой пожилой и перезрелой кажется всезнающая фривольность Овидия («Вместо мудрости — опытность, пресное, неутоляющее питье», — как сказано у Ахматовой); и тембр этот всегда находил отголосок в сердцах отроков по возрасту, но также вечных отроков — таких, как Шиллер и Гёльдерлин, как Виктор Гюго и Шарль Пеги.

Это какая-то особая порода людей, и они всегда признавали Вергилия за своего. Все четыре названных здесь имени прочно связаны с именем римского поэта. Шиллер, в отличие от своего друга Гёте пропитавшийся поэзией Вергилия, перевел из «Энеиды» две самые патетические книги — вторую и четвертую; Гёльдерлин выбрал для перевода — что еще знаменательнее — эпизод с Нисом и Эвриалом. Шиллеровский культ священного огня дружбы и рвущейся к славному деянию молодой и целомудренно свежей воли, воспитавший столько душ в прошлом веке (в их числе хотя бы юных Герцена и Огарева), очень многим обязан Вергилию. Но для XX века голос Шиллера часто представляется чересчур громким, театральным и резонерским; напротив, ближе стал голос Гёльдерлина, вскрывающий в тех же вещах, о которых говорил Шиллер (оба — швабские провинциалы, под стать провинциалу Вергилию, и оба — «граждане мира» времен французской революции), более трудно выговариваемые глубины.

Когда в одном из своих ранних гимнов Гёльдерлин обращается к Свободе: «Еще горит моя щека, воспламененная твоими лобзаниями, достойными богов»,— это, конечно, язык, возможный только после Руссо; но в языке этом звучит отголосок не только вскипающей восторженности тех же Ниса и Эвриала, но и музыка тончайшей влюбленности, любовности —можно было бы говорить об «эротичности» в платоновском смысле, если бы это слово не было так непоправимо испорчено,— которая чуть уловимо возникает в том месте «Энеиды», где говорится о грядущем подвиге Брута Старшего «pulchra pro libertate», «ради прекрасной свободы» (кн. VI, 822).

Из Гюго вспомним только слова: «На самом темени стиха Вергилия часто вспыхивает странный отблеск» (конечно, здесь обыгрывается вергилиевский образ чудесного пламени вокруг головы Аскания, кн. II, 682—5). Ни классическая правильность римского поэта, ни его учтивая цивилизованность не закрыли от французского романтика того, что в нем «романтично»,— захватывающей тайны, сладкой жути, трепетности.

[1] Заметим, вобравшего в себя еще и время историческое: первая воинская удача новичка Аскания — одновременно предвосхищение побед римского оружия.

Наконец, Шарлю Пеги, замечательному, ни на кого не похожему поэту, к сожалению, слишком мало у нас известному, и горячему вергилианцу, радовавшемуся, что «Вергилий присутствует и в Расине, и в Гюго не как усвоенный умственным усилием чужак, но как брат и как отец», принадлежат строки, не содержащие никаких определенно вергилиевских мотивов, никаких «аллюзий» и «реминисценций», за которыми так охотятся специалисты по сравнительному литературоведению, но которые, может быть, ближе к подлинному Вергилию, чем что бы то ни было другое в новой европейской поэзии, и которые во всяком случае без Вергилия не были бы возможны:

Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre
et leur feu,
Et les pauvres honneurs des maisons paternelles.

(«Блаженны те, кто принял смерть за свой очаг, и огонь очага, и за бедную честь отеческих домов».)

Эти строки, возникшие, как известно, меньше чем за год до того, как сам Пеги принял именно такую смерть в битве на Марне, написаны, конечно, не для того, чтобы быть комментарием к «Энеиде», однако очень хорошо ее поясняют: Эней, хранитель троянских пенатов, то есть богов очага, символы которых он несет с собой из Трои в Италию, из прошедшего в будущее, готов на подвиг смерти и более тяжелый для него (см. кн. 1, 94 и др.) подвиг жизни, на последовательное отречение от счастья только ради того, чтобы передать святыню, отеческую святыню, вверить ее молодой верности своего сына и его потомков. Таким Эней раз и навсегда врезан в сердца своих читателей: с престарелым отцом на плечах и с рукой сына в своей руке. Герой Вергилия знает: стоит думать только о будущем, но о нем не стоило бы думать, оно не заслуживало бы ничьих жертв, если бы не было всего, что «отцовское» и «отеческое» — заповеданного наследия чести и благоговения. Без «отцовского», без «отеческого» весь пыл и вся жертвенная готовность Ниса и Эвриала стали бы беспредметными, ушли и там потерялись, без «сыновнего», «отроческого» без мальчишеской радости Аскания или тех же Ниса и Эвриала из самого состава чести и благоговения ушла бы субстанция надежды.

Можно и часто необходимо во имя долга отказаться от счастья: так поступает Эней в IV книге, по приказанию богов покидая любимую женщину и приютные стены Карфагена, и так поступает «Юноша Честь» (Jeun Homme Honneur), с его «вергилианским сердцем» в катренах Пеги. От чего нельзя отказаться — это от надежды. Храбрость Ниса и Эвриала вызывающихся идти в опасный путь, важна как подтверждение надежды на будущность рода:

Молвил на это Алет, поседелый и опытом зрелый:
«Отчие боги, всегда в вашей воле судьба Илиона!
Но до конца погубить вы тевкров род не хотите,
Если с такою душой, с таким бестрепетным сердцем
Юноши есть среди нас!»...

(Кн. IX, 246—250. *перевод С. Ошерова*[1]).

И две из мистерий Шарля Пеги о Жанне д'Арк начинаются грандиозными монологами о надежде, без которой все святыни превратились бы в кладбища, о побеге, зеленом и хрупком, но сосредоточившем в себе всю силу жизни будущего дуба.

Но так же, как от надежды, нельзя отказаться от верности «отеческому», от благоговения — энеевской pietas. Друг другу противостоят не прошлое, как таковое, и будущее, как таковое, но счастье сегодняшнего дня, своеволие индивида — и связь времен, окупаемая жертвой и стоящая на жертве. Так было для Вергилия, и так было для Пеги. Два человека, жившие в очень непохожие времена,— римлянин I века до н. э., язычник, современник Августа, и француз XX века, парадоксально совместивший республиканские, дрейфусарские, социалистические убеждения, побуждавшие его волноваться всеми страстями века, с католической верой,— в этом пункте действительно одних мыслей. Духовный мир Вергилия понятен Пеги с полуслова, без всякого искусственного «вживания» или умственной натуги. Он не «вживается» в это, он этим живет. Какой эстетизированной и декоративной, или археологической, или теоретической и «высоколобой» предстает античность поэтов парнасской школы, или Анатоля Франса, или Поля Валери рядом с античностью Пеги: тут все реально до грубости и одновременно свято, то есть предъявляет к человеку властные, жесткие требования — форум, и гражданство, и боги домашнего очага, и сам этот очаг, отнюдь не метафорический, и пламя очага, символ той верности и той надежды, ради которых стоит мучиться и стоит умереть.

Конечно, приведенные строки Пеги рискуют быть оценены современным вкусом определенного типа как невыносимая моралистическая риторика; но ведь эту опасность они до конца разделяют с поэзией Вергилия, по крайней мере с теми ее аспектами, которые были для самого Вергилия самыми важными (есть способ читать «Энеиду», для которого существует страсть Дидоны, но не существует призвания Энея).

Положение Пеги нелегко: «бедная честь», да еще честь «отеческих домов» — разве современный вкус может это вынести? Какая сентиментальность, какая высокопарность! Чеканная латинская формула о пути к звездам, открывающемся перед юной доблестью Аскания, логически должна подпасть под тот же приговор. Ну что же, сентиментальность так сентиментальность, риторика так риторика. Ясно одно: Пеги был бы счастлив оказаться смешным в обществе своего Вергилия — таким же старомодным как Вергилий, таким же высокопарным бестактным, не попадающим в тон, как Вергилий.

Возможно, что современный вкус — «ироничность», «раскованность», и прочая, и прочая — доведет свое торжество до того,

[1] См.: Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. Перевод с латинского. Вступительная статья М. Гаспарова. М., «Художественная литература», 1979.

что во всем свете не сыщется больше мальчика, мальчика по годам или вечного мальчика, чье сердце расширялось бы от больших слов Вергилия и Пеги. Об этом страшно подумать. Если это случится, нечто будет утеряно навсегда.

Конечно, с недоверием к большим словам, к большому словесному жесту, к звенящему голосу дело обстоит не так просто. У него есть свои основания: большие слова легко использовать для лжи.

Восприятие наследия Вергилия в последние два столетия в определенной мере стоит в тени вопроса о Вергилии как «певце Августа», «певце империи». Для господствующего умонастроения XIX столетия, сформированного, во-первых, романтическим и позитивистско-натуралистическим влечением к необработанному, неприкрашенному, спонтанному или казавшемуся таковым и отвращением к праздничной прибранности и учтивой церемонности нормативной поэтики, во-вторых, либеральным негодованием против цезаризма, монархии и тому подобного,— для этого образа мыслей поэзия Вергилия была вдвойне и втройне одиозна, как поэзия «придворная» и «льстивая», чуть ли не «заказная» и «казенная». Таковы были чувства многих: «Вергилий казался им певцом рождающейся Римской империи — если не наемным, а искренним, то тем хуже для него»[1].

Постепенно перед лицом проблемы «Вергилий и Рим Августа» выявляются две крайние эмоциональные позиции. Первая из них, продолжающая либеральную традицию XIX века, сводится к тому, что «августовские» мотивы поэзии Вергилия, рассматриваемые как простая функция раннеимперской пропаганды, суть позорное пятно на облике поэта, и если мы не решимся без дальних слов его осудить, то во всяком случае должны находить ему смягчающие обстоятельства и, так сказать, за него извиняться.

Вторая точка зрения, связанная с отталкиванием от либеральной традиции XIX века и характерная, в частности, для некоторых ведущих специалистов немецкой школы (например, К. Бюхнера), характеризуется безоговорочной, не терпящей возражений оценкой «августовских» мотивов как непререкаемо истинного осмысления исторической необходимости, которая права, собственно, уже тем, что необходима.

В западной науке пытались делать и актуальные политические выводы из «мудрости Вергилия», разумеется всякий раз зависевшие от позиции того или иного ученого. Профашистские историки и филологи Германии и Италии, писавшие, между прочим, по случаю юбилея Августа в 1937 году, не замедлили свести уроки Вергилия к апологии сильной власти как таковой. Напротив, в речи того же Бюхнера, произнесенной сразу после разгрома Германии, Вергилий оказывается изобличителем гитлеризма: нацисты, своевольцы, взбунтовавшиеся против объективной логики истории, против разумного смысла «судеб», уподоблены Турну (что довольно обидно для этого персонажа «Энеиды», благородного при всей ложности своего выбора,— но это в скобках). Бюхнер, конечно, ближе к истине, чем его фашизоидные коллеги: осуждение своеволия, непослушания истории — более глубокий смысл «Энеиды», чем апология власти. Курьезно, однако, до чего просто средствами интерпретации поворачивать предполагаемый совет двухтысячелетней давности на сто восемьдесят градусов.

Для одних Вергилий похож на существо, которое в прошлые века называли льстецом, а в нашем веке предпочитают называть официозным пропагандистом; для других он «пророк» и «провидец»,— и все это за одни и те же его слова. Ясно, что ни одна из крайних точек зрения — ни либеральная, ни антилиберальная — не соответствует существу Вергилиевой поэзии. Сама их однозначная жестокость несовместима ни с глубоким страданием, лежащим в основе этой поэзии, ни с несравненной деликатностью Вергилия.

Вспомним: Титир из первой эклоги радуется, что державшему власти его пощадил, он полон к нему самой искренней благодарности и готов назвать его богом — но он, как и его поэт, совершенно отчетливо видит рядом с собой Мелибея, которого та же власть не пожалела и не спасла, который должен без всякой вины идти в изгнание, и оба, Титир и поэт, не отворачиваются от его беды; плач Мелибея звучит ничуть не менее громко, чем благодарения Титира. Это две стороны единой, очень непростой правды, и Вергилий ничего не делает, чтобы дать одной из двух чаш весов несправедливый перевес.

Или еще лучше: Эней покинул Дидону по прямому приказу богов, во имя долга перед будущим, причиняя своему сердцу жестокое насилие,— но когда он встречает тень Дидоны в мире теней (кн. VI, 450—75), уверенность в своей правоте, точное знание об этой правоте ничуть не защищают его от чувств боли и стыда; ни долг, ни собственное страдание его не оправдывают, он виноват, ему некуда деваться:

Слез Эней не сдержал и с любовью ласково молвил:
«Значит, правдива была та весть, что до нас долетела?
Бедной Дидоны уж нет, от меча ее жизнь оборвалась?
Я ли причиною был кончины твоей?..
Стой! От кого ты бежишь? Дай еще на тебя поглядеть мне!
Рок в последний ведь раз говорить мне с тобой дозволяет».
Речью такой Эней царице, гневно глядевшей,
Душу старался смягчить...
Но отвернулась она и глаза потупила в землю,
Будто не внемля ему, и стояла, в лице не меняясь,
Твердая, словно кремень иль холодный мрамор марпесский.
И наконец убежала стремглав, не простив, не смирившись,
Скрылась в тенистом лесу, где по-прежнему жаркой любовью
Муж ее первый. Сихей, на любовь отвечает царице.
Долго Эней, потрясенный ее судьбою жестокой,
Вслед уходящей смотрел, и жалостью полнилось сердце[1].

(Перевод С. Ошерова)

«Дело не в том,— говорил об этом месте Т. С. Элиот,— что не прощает Дидона; важ-

[1] М. Гаспаров. Вергилий — поэт будущего. (См. цитированное выше издание.)

[1] Там же, с. 253.

нее, что сам Эней не прощает себя, хотя отлично знает, что все содеянное им — в послушании року»[1]. Элиот был прав: это действительно очень важно. В стихах Ахматовой, отождествлявшей себя с Дидоной (и с шекспировской Клеопатрой, у которой явные черты Дидоны), стилизовавшей собственные переживания в формах этого образа, есть поэтическая укоризна Энею:

Ты забыл те, в ужасе и в муке,
Сквозь огонь протянутые руки
И надежды окаянной весть...

Но настоящий Эней, Эней Вергилия, не забыл ничего. Он вправду не прощает себя, и это непрощение — очень тонкая, едва уловимая для невнимательного взгляда, но очень твердая грань между поэзией Вергилия, какова она на самом деле, и тем беспроблемным — все равно, «пропагандистским» или «пророческим» — возвеличиванием власти, силы и успеха или хотя бы «исторической необходимости», какое из нее вычитывали.

Но Вергилий не был ни пророком, ни льстецом; он был поэтом, и поэтом именно такого типа, который обречен всю свою жизнь одиноко, наедине со своей совестью, стоять между двумя открытыми, всегда открытыми возможностями, двумя пределами своего существования: нижний предел — если не «льстец», то впечатлительный, сверхчувствительный, до пассивности сговорчивый восприемник и артистический выразитель внушений своего века, какой-то медиум, наделенный даром слова; верхний предел — если не «пророк», то по меньшей мере мудрец, высвободившийся из пут своего малого времени и окидывающий взглядом большую связь времен, видящий, как «сызнова зачинается великий ряд столетий», «magnus ab integro saeclorum nascitur ordo», а потому имеющий право авторитетно учить своих современников и раскрывать им смысл их судеб. Обе возможности остаются и присутствуют в каждом творческом акте Вергилия. Собственно, этот творческий акт — вновь и вновь победа «мудреца» над внушаемым артистом, но такая победа, после которой противники будут встречаться снова, и так без конца.

Если бы Вергилий был сполна и без остатка либо одним, либо другим, ему, наверное, было бы легче. Положение отягощалось тем, что в силу глубокой серьезности его нравственного темперамента, то есть той его черты, которую мы выше описывали как нерастраченное отрочество души, для него был совершенно закрыт выход, к которому все время прибегал его друг Гораций: превратить двузначность образа поэта как «пророка» («vates»), «жреца муз» («Musarum sacerdos»), фигуры сакральной, и словесного искусника, фигуры вполне мирской — в игровую тему для поэзии, разрешая противоречие в тонкой и жовиальной шутке. Для Вергилия противоречие оставалось неразрешенным. Не здесь ли — наряду с мучительной, почти болезненной требовательностью поэта к себе, наряду со стыдливостью мастера, не желающего, чтобы потомство видело его недовершенный труд (вспомним Шопена, уничтожившего перед кончиной все свои наброски),— причины его предсмертного желания сжечь рукопись «Энеиды»? Этого мы не знаем и никогда не узнаем. Но мы доподлинно знаем другое: всю жизнь им владела мечта уйти от поэзии, от усладительного искусства слова к чему-то более строгому — к философскому познанию и философской аскезе. Всю жизнь — это не преувеличение. Вот мы слышим голос юноши в совсем ранней эпиграмме, где начинающий поэт уже оценивает поэзию как искушение, как сладкий, но запретный плод. А в конце жизненного пути он строил планы, дописав «Энеиду», покончить с поэзией и «остаток жизни целиком посвятить философии» (любопытно, что мечты об отказе от поэзии и уходе в философию порой посещали и Горация — это было в воздухе эпохи, хотя бы только на вершинах).

Над этим стоит задуматься больше, чем об этом думали до сих пор: гениальный поэт, лучший поэт своего народа, овладевший предельными возможностями звучного латинского слова, достигший совершенного равновесия нежности и силы, подлинно классического мастерства, но не нашедший в мастерстве удовлетворения, искавший чего-то иного, стремившийся уйти от прекрасного вымысла — к реальности без метафор, от эстетической иллюзии — к познанию и духовному освобождению через познание, сулимому философией; а перед смертью порывавшийся сжечь поэму, которая была для читателей неведомым, но уже долгожданным чудом, для него же самого — плодом одиннадцатилетнего труда, итогом всей литературной биографии немолодого человека. Внутреннее величие поэзии обеспечено именно тем, что для самого поэта поэзия — не последнее слово, не высшая ценность.

Факт предсмертной воли Вергилия, засвидетельствованный традицией, заданный как загадка нашим размышлениям — не только научным, но и попросту человеческим,— нашел достойный упоминания отклик в художественной литературе XX века: это роман австрийского писателя Германа Броха «Смерть Вергилия» (1945). Роман рождался в годы второй мировой войны, в изгнании, после пережитого писателем ареста в оккупированной нацистами Вене — короче говоря, в условиях крайнего обострения всех вопросов, задаваемых искусству совестью и эпохой. Он не похож на то, что обычно называют «историческим романом»; это роман философский. Его действие уложено в последние восемнадцать часов жизни Вергилия — если можно называть действием длящийся внутренний монолог поэта, перемежаемый полосами диалога с Августом, с друзьями, с призраками любимых людей, населяющими его предсмертный бред. Конечно, как всякое произведение художественной литературы, «Смерть Вергилия» — в существе своем высказывание не об опыте Вергилия, а об опыте Броха и его времени; но он возник из такой настоящей, понятливой, конкретной любви к Вергилиевой поэзии, что имеет свое законное место как реплика в двухтысячелетнем

[1] В речи 1944 года «Что такое классик?», почти от начала до конца посвященной Вергилию, как наиболее полному воплощению классического начала.

диалоге Вергилия и европейской культуры, отбрасывающая какой-то свет на лицо самого Вергилия. За романом стоит некая концепция судьбы Вергилия, в своем наличном виде непригодная для науки о Вергилии, ибо неизбежно проникнутая модернизацией — а как же иначе? — но положительно заслуживающая, чтобы над ней задумался и специалист по Вергилию, ибо она по-своему компенсирует жесткость некоторых научных схем. Художнический взгляд Броха остро видит, например, как на сдвиге времен вещи перестают быть равны себе; современность его этому научила. Нет слов, две тысячи лет назад это происходило в несравнимо ином масштабе; если поэзия отчасти становилась проблемой для самой себя, этот процесс был настолько ограниченным, что не мог помешать самоосуществлению вергилиевского классического стиля, размыть его форму, нарушить его равновесие. Но когда мы видим классичность Вергилия не как самоуверенную, заранее гарантированную победу (какой она виделась старому классицизму, и еще более, может быть, неоклассицизму), а как смертельный риск на краю пропасти, это не закрывает, а открывает дорогу к адекватному пониманию; по крайней мере, к тому пониманию, на которое способны мы, ныне живущие. Есть правда и в том, что Брох акцентирует религиозно-утопический аспект содержания поэзии Вергилия, а в этой связи — служебную функцию всей «августовской» топики как символа, или «подобия», приготовленного, чтобы воспринять иной, еще не воплощенный смысл.

«— Так ты настаиваешь на том,— гневно переспрашивает император,— что государство в нынешнем его облике есть пустое подобие?

— Подлинное подобие,— возражает поэт.

— Хорошо, подлинное подобие... Но ты настаиваешь, что свою действительность оно получит только в будущем?

— Это так, Цезарь...»

В этом вымышленном, исторически невозможном диалоге найдена, однако, какая-то мера, которой и впрямь можно мерить отношение Вергилия к империи Августа. Что сделал Вергилий? Допустив в состав своего эпоса политические мотивы, и притом с характерно римской конкретностью, проявившейся еще у Невия и Энния, но чуждой греческим образцам, он не ограничился (в отличие, например, от Лукана, воспевшего конец республики) их стилизацией и «поэтизацией», не обработал, а переработал их, преобразовал в нечто принципиально иное — в символическую конструкцию, почти что предлог для зримого обнаружения того, что для него было самым важным: связи времен. Слово «подобие», «Gleichnis» — это гётевское, библейское слово[1] — здесь и вправду к месту.

Образ Августа, например, показан читателю «Энеиды» в глубине колоссальной временной перспективы, как бы в отдаленно маячащем просвете на выходе из очень длинной галереи или из глубокого колодца; и перспектива эта сама по себе эстетически значимее, как-то даже реальнее, чем образ, через который она выявлена и доведена до восприятия. Так пейзажисты времен Клода Лоррена размещали в пространстве своих ландшафтов «стаффаж» — крохотные фигурки, занятые не столько разыгрыванием условных ролей, сколько исполнением своей подлинной функции: дать глазу почувствовать огромность раскрывающихся далей и сложность перспективных отношений. Еще ничего не было, даже не начиналось — ни сената, ни консулов, ни легионов, ни триумфов, ни форума; Нума Помпилий, царь полусказочной древности,— еще невоплощенная тень, дожидающаяся выхода на сцену истории (кн. VI, 808—812); вот когда мы слышим ушами Энея имя Августа, далекое, далекое обещание. Но Август — родич Энея, и цепь веков — ряд поколений одного рода. Итак, мифическое время, то есть чистый начальный исток, священная старина (как звучат у Вергилия эпитеты «antiquus», «vetus», «priscus» — «древний», «старинный», «исконный»!); приходящая затем теснота исторического времени с его границами; наконец, утопическое время как снятие границ и выход на простор («не полагаю ни пределов, ни сроков»,— обещает Юпитер в кн. I, 278) — все эти три качества времени увидены как единое время, связанное семейной историей.

Мифические генеалогии для живых людей, попытки укоренить историю в мифе — все это было и раньше, и притом на каждом шагу. Но у Вергилия впервые в истории европейской культуры с такой полнотой эстетически прочувствована и превращена в особую поэтическую тему близость дальнего и удаленность близкого, поражающая воображение читателя, когда, например, Эней впервые вступает на берег еще неведомой ему реки, и река эта — Тибр: там, где будет шумный римский порт Остия, покуда лесное безлюдье:

Видит с моря Эней берега, заросшие лесом,
И меж огромных дерев поток, отрадный для взора:
Это струит Тиберин от песка помутневшие воды
В море по склонам крутым. Над лесами стаи пернатых,
Что по речным берегам и по руслам вьют себе гнезда,
Носятся взад и вперед, лаская песнями небо...

(Кн. VII, 29—34, *перевод С. Ошерова*)

Это прием, отлично известный русскому читателю по начальным строкам «Медного всадника»: «На берегу пустынных волн...» — эффект зачина основан именно на том, что и автор, и читатель знают невский ландшафт отнюдь не «пустынным». Увидеть в уме те места, которые сейчас насыщены историей и человеческой жизнью, еще пустыми, но ожидающими уготованного им наполнения, патетично. Берега Тибра, берега Невы, привычные, до мелочей знакомые и совсем иные; подразумеваемый подтекст — вот как история меняет лик земли. И Вергилий, и Пушкин апеллируют к пафосу истории; но в контексте

[1] Нельзя не вспомнить знаменитое изречение в конце «Фауста»: «Все преходящее — только подобье» («Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis»). То же слово обозначает по-немецки притчи Библии.

историзма XIX века было само собой разумеющимся многое, что в эпоху Вергилия еще только надо было открывать для чувства и воображения. Поэтому Вергилий целеустремленно повторяет прием,— например, в книге VIII, когда его герой навещает Эвандра на месте будущего Рима и видит там бедные и скудные кровли. Тема близости дальнего и удаленности близкого очень явственно дана в той же книге, когда Эней вскидывает на плечо щит с непонятными для него изображениями персонажей римской истории — Катона и Катилины, Августа и Антония: обещание будущего осязаемо дано уже в настоящем, но для человеческих глаз оно загадочно. В самом начале «Энеиды» поэт не может назвать Карфаген, не оглянувшись сразу назад — на происхождение города от выходцев из Тира, и вперед — на его гибель в Пунических войнах. Здесь задана сквозная линия поэмы. Настоящее так важно потому, и только потому, что через него таинственная глубина прошедшего и таинственная широта будущего раскрываются навстречу друг другу.

Если глубина прошлого для Вергилия, конечно, миф, то широта будущего — то, что мы выше уже отважились, не слишком настаивая на слове, назвать утопией. Субстанция религиозной утопии, как бы растворенная или входящая в сложные соединения внутри целого «Энеиды», в наибольшей чистоте предстает в IV эклоге «Буколик» — знаменитой вариации на темы древних прорицаний о возврате Золотого века («Сатурнова царства»), символ которого — целомудренная и справедливая Дева Астрея:

Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять грядет Сатурново царство,
Снова с высоких небес посылается новое племя...

(4—7, *перевод С. Шервинского*)

И для Вергилия донельзя характерно утверждение, что божественный младенец, которому предстоит вернуть время мифа и начать время утопии, родится не когда-нибудь, а сейчас — в год консульства Азиния Поллиона:

При консулате твоем тот век благодатный настанет,
О Поллион! — и пойдут чередою великие годы...

(11—12, *перевод С. Шервинского*)

Именно потому, что прошлое и будущее так богаты тайной, насыщеннее всего настоящее, ибо все решается в нем. Чудо со всей конкретностью локализовано, и эта хронологическая прописка чуда звучит как «при Понтийском Пилате» из христианского символа веры, где тоже имя римского магистрата вплетено в «священную историю». По ассоциации трудно не вспомнить, что в последующие века христиане долго понимали IV эклогу по-своему: Дева — Мария, чудесный младенец — Христос. Данте заставляет человека, принявшего христианство под действием слов Вергилия, обращаться к поэту в загробном мире:

Ты был как тот, кто за собой лампаду
Несет в ночи и не себе дает,
Но вслед идущим помощь и отраду,
Когда сказал: «Век обновленья ждет:
Мир первых дней и правда — у порога,
И новый отрок близится с высот».
Ты дал мне петь, ты дал мне верить в бога!

(«*Чистилище*», *XXII, 67—73, перевод М. Лозинского*)

Ученые нового времени, в отличие от наивных людей средневековья, исходили из того, что истинный смысл эклоги — это смысл преходящий, злободневно-актуальный, и потратили немало усилий в безрезультатных попытках выяснить, в каком именно из важных семейств Рима — у самого Августа, у Поллиона или у кого иного — должен был родиться чудесный отпрыск. Если бы эклога значила не больше этого, она устарела бы через год. Но средневековое перетолкование при всей своей наивности, по крайней мере, воздает должное двум первостепенным фактам: во-первых, центральный смысл стихотворения Вергилия, рядом с которым должны отступить все прочие его смысловые аспекты,— это пророчество о наступлении нового цикла жизни человечества, об обновлении времен; во-вторых, Вергилий оказался прав. Он чувствовал время. Что касается перетолкований, таков уж объективный характер Вергилиевой поэзии, что она не просто для них открыта, но несет в себе их необходимость, *эстетически их предвосхищает*. Голос поэта сам летит в будущее и, можно сказать, акустически рассчитан на отзвук в сердцах тех, кто придет позднее.

У Киплинга есть слегка неожиданные для него стихи, стремящиеся передать присущее Вергилию ощущение тайны исторического времени. Они написаны от лица Горация, размышляющего в день своей смерти о предчувствиях друга, и называются «Последняя ода».

As watchers couched beneath a Bantine oak,
Hearing the dawn-wind stir,
Know that the present strength of night is broke
Though no dawn threaten her
Till dawn's appointed hour — so Virgil died,
Aware of change at hand, and prophesied

Change upon all the Eternal Gods had made
And on the Gods alike —
Fated as dawn but, as the dawn, delayed
Till the just hour should strike —
A Star new-risen above the living and dead;
And the lost shades that were our loves restored
As lovers, and forever. So he said;
Having received the word...

(«Словно стражи, прилегшие под дубом в Бантии, услышав, как повеял предрассветный ветерок, знают, что сила продолжающейся ночи уже сломлена, хотя никакой рассвет не грозит ей ранее часа, назначенного рассвету,— так умер Вергилий, зная о грядущих переменах, и возвестил приход перемен для всего, что сотворено вечными богами, и для самих богов тоже, неизбежный, как рассвет, но, как рассвет, отсроченный, пока не пробьет должный час: восход новой звезды над живыми и мертвыми, и утраченные тени нашей любви, которые будут нам возвращены уже

как любящие, и навеки. Так он сказал, приняв весть...»)

Вергилий — это поэт истории как времени, насыщенного значением, поэт «знамений времени», определяющих конец старому и начало новому; и он сумел превратить свой Рим в общечеловеческий символ истории — конца и нового начала. К этому Риму обращается в сонете, навеянном бурями истории нашего века, русский вергилианец Вячеслав Иванов:

Мы Трою предков пламени дарим;
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурий мирового ипподрома:
Ты, царь путей, глядишь, как мы гори...

И ты пылал и восставал из пепла,
И памятливая голубизна
Твоих небес глубоких не ослепла;

И помнит, в ласке золотого сна,
Твой врáтарь кипарис, как Троя крепла,
Когда лежала Троя сожжена[1].

[1] «Римские сонеты» (Вячеслав Иванов. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, с. 296).

Пастернак сравнил все, как он выразился, вековечное с «записной тетрадью человечества», в которую каждое поколение пишет свое, и добавил: «Оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие от него века».

Стихи Вергилия были записной тетрадью европейского человечества в течение двадцати веков и остаются ею поныне. Если в свое время они говорили Данте о наследии Рима, об утопии справедливой вселенской монархии, Петрарке — о благородном славолюбии и нежной чувствительности, Марко Джироламо Виде и Скалигеру — о непогрешимом каноне эстетической гармонии, Тассо и Расину — о патетической борьбе долга и страсти, если они на время сделались немы для романтиков и позитивистов прошлого века, нам они говорят о человеке, преодолевшем себя в искусе истории, отрекающемся от своеволия, о конце и новом начале. Они обращаются к нам, и мы их слышим.

■

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

«Блокадная книга» АЛЕКСАНДРА АДАМОВИЧА и ДАНИИЛА ГРАНИНА. Издательство «Партиздат».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Старик». Издательство «Народна младеж».
Стихотворения АЛЕКСАНДРА МЕЖИРОВА. Издательство «Народна просвета».
Роман КОНСТАНТИНА ФЕДИНА «Города и годы». Издательство «Народна култура».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Роман ВЛАДИМИРА САВЧЕНКО «Открытие себя». Издательство «Макмиллан».
Избранные стихотворения МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Оксфорд юнивёрсити пресс».

ВЕНГРИЯ

Научно-фантастический роман АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА «Ариэль». Издательство «Мора».
Повесть ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Двухчасовая прогулка». Издательство «Кошут».
Сборник статей ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Литературный факт». Издательство «Гондолат».
«Судьба человека» и другие рассказы МИХАИЛА ШОЛОХОВА. Издательство «Европа».
Киноповесть ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Калина красная». Издательство «Европа».

ГДР

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Навеки — девятнадцатилетние». Издательство «Фольк унд вельт».
«Кануны (Хроника конца 20-х годов)» ВАСИЛИЯ БЕЛОВА. Издательство «Фольк унд вельт».
Сборник стихов АЛЕКСАНДРА БЛОКА. Издательство «Инзель».
Пьесы МИХАИЛА БУЛГАКОВА. Издательство «Фольк унд вельт».
Пьеса-сказка САМУИЛА МАРШАКА «Кошкин дом». Издательство «Киндербух-ферлаг».
Трилогия КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Живые и мертвые». Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть ГАВРИИЛА ТРОЕПОЛЬСКОГО «Белый Бим Черное ухо». Издательство «Ауфбау».

ИСПАНИЯ

«Заметки из дневника» МАКСИМА ГОРЬКОГО. Издательство «Планета».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Грихальбо».

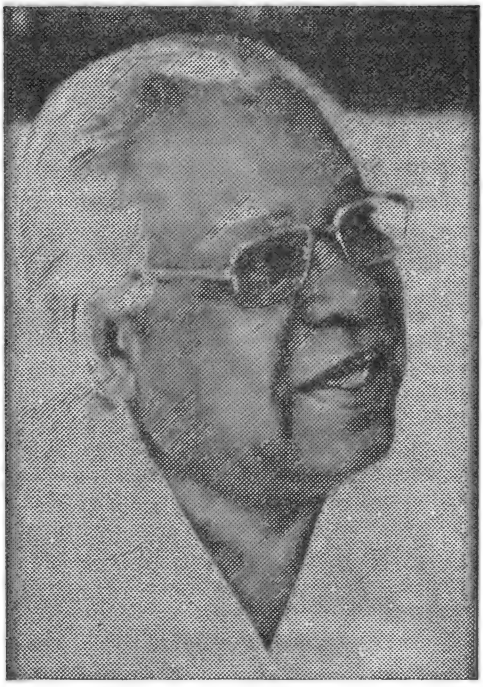
ПОЛЬША

Исторический роман ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА «Огненный ангел». Издательство «Чительник».
Роман БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «В списках не значился». Издательство «Искры».
Повесть ГАЛИНЫ ДЕМЫКИНОЙ «Две весны». Издательство «Наша ксёнгарня».
Рассказ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА «Беседы при ясной луне» и другие произведения. Издательство «Чительник».

К восьмидесятилетию Николаса Гильена

АНХЕЛЬ АУХЬЕР

«ЧИСТЫЙ, ПРОЗРАЧНЫЙ, ЖИВОЙ ГОЛОС НАДЕЖДЫ...»



В этом году Куба и читатели во многих странах мира отмечают знаменательное событие: нашему национальному поэту Николасу Гильену исполняется восемьдесят лет. Юбиляр полон творческих сил, о чем свидетельствуют его книги, вышедшие за последние годы: сборник любовной лирики «Сердце, с которым я живу» (1975), книга стихотворений, трогательно адресованных юным читателям и «взрослым детям», — «По Карибскому синему морю мчится бумажный кораблик...» (1975), «Камерная музыка» (1979), сборник «Десимы» (1980), а также «Воскресное солнце» (1982), куда вошли его историко-литературные очерки и стихотворения, ранее не публиковавшиеся, и первая часть воспоминаний «Перелистанные страницы» (1982) — последние произведения вышли совсем недавно. Читая эти книги, не перестаешь восхищаться зрелым талантом мастера, прожившего долгую творческую жизнь и запечатлевшего в своих произведениях этапы национального унижения, жестокой и упорной борьбы за свободу и, наконец, победу революции, которая навеки утвердила на кубинской земле справедливость, достоинство новой, независимой нации, уважение к человеку.

Попробуем еще раз оглянуться на пройденный поэтом путь, проследить, как крепла революционная направленность гильеновской поэзии, как шла она от разработки негритянских тем и стихийного протеста к осознанию общности всех антильских народов, к истинной, убежденной революционности, к осмыслению законов, по которым развивается человечество в наш бурный век.

Не будет преувеличением сказать, что с опубликованием в апреле 1930 года «Мотивов сона» Николас Гильен не просто вошел, а ворвался в кубинскую и испаноамериканскую поэзию. Эти восемь стихотворений, появившиеся в воскресном выпуске газеты «Диарио де ла марина», стали важнейшим событием в культурной жизни страны — и это произошло тогда, когда никого уже не удивляли мнимые дерзания авангардистов и была далеко не новой негритянская тема, столь модная в Европе и Америке в первой четверти XX века.

АНХЕЛЬ АУХЬЕР — ANGEL AUGIER (род. в 1910 г.). Кубинский поэт, критик, литературовед. Начал печататься в 1928 г. Был редактором первой на Кубе коммунистической газеты «Палабра». Среди его поэтических сборников — «Один» («Uno», 1932), «Песнь любви и войны» («Canto de amor y de guerra», 1942), «Остров на ощупь» («Isla en el tacto» 1965), «До свиданья» («Dosvidanya», 1971), «Солнечный кубок» («Copa de sol», 1978) и другие. Исследователь творчества Николаса Гильена, автор многих литературоведческих статей. Публикуемая статья получена в рукописи.

Что же принесло такой успех молодому поэту? Секрет заключался в том, что Гильен ввел в поэзию новый ритм — «сон», художественно воплотивший сплав креольской и негритянской традиций в кубинской культуре. В то время многие музыкальные группы — среди них Гаванский секстет и трио Матаморос — пропагандировали новый ритм, горячо подхваченный народом. И эта истинно кубинская музыкальная форма — танец и песня — превращалась в руках Гильена в новый поэтический размер, насыщенный живой выразительностью. Причем в рамках революции формы в кубинской поэзии совершалась еще одна революция — концептуальная: героем поэзии становился народ, главным образом кубинцы с темным цветом кожи.

Казалось бы, присутствие в стихах негров и мулатов не имело ясно выраженной политической окраски. Однако в этих набросках было нечто большее, чем только ритм и живописность. Гильен нашел своих персонажей в гаванских «соларах» — подворьях, где жили в отчаянной скученности цветные семьи. Не все ощутили горький подтекст сонов. Для многих они оставались жанровыми сценками, представленными красочно и ярко, с веселым креольским изяществом, с заразительной музыкальностью. Однако в них обнажалась чудовищная несправедливость бесчеловечного общества, против которой поэт начинал личную борьбу.

В сборнике «Сонгоро Косонго» (1931) Гильен уже с большей определенностью и четкостью размышляет о проблеме рас, о вкладе черных и белых в формирование кубинской нации. Вспомним, что сам он назвал стихи книги «мулатскими». Вот что говорится в авторском предисловии к сборнику:

«Наконец, скажу, что эти стихи мулатские. Они родились, быть может, из тех же элементов, которые входят в этнический состав Кубы, где все мы немного метисы. Жаль? Не думаю. Во всяком случае, следует сказать об этом, пока мы еще все не забыли. Африканское проникновение в жизнь Кубы настолько глубоко, а в нашей насыщенной социальной гидрографии скрещивается и перекрещивается столько капиллярных течений, что расшифровать эту иероглифическую путаницу доступно разве лишь миниатюристу.

Вот почему я утверждаю, что креольская поэзия, в точном смысле этого слова, у нас невозможна, если забыть о негре. Негр, на мой взгляд, входит стойкой составной частью в наш коктейль. И обе эти столь различные на вид расы, которые вышли на поверхность нашего острова, соединяются подводной цепью, подобной тем глубинным связям, что тайно соединяют два континента... Настанет день, и люди скажут: «Цвет кожи — кубинский». Мои стихи стремятся приблизить этот день» (перевод Р. Линцер) [1].

В стране, где цветных позорили и унижали, поэт поднимает голос в защиту ценностей чернокожих людей, он призывает их гордиться тем, что они негры («Маленькая ода кубинскому боксеру-негру»), превозносит красоту темнокожей женщины («Новая женщина», «Мадригал»), но не ради того, чтобы взять у белых реванш, а затем, чтобы они также признавали и уважали в любом человеке право на человеческое достоинство. Две большие баллады — «У гроба Монтеро» и «Похищение жены Антонио» — написаны размером испанского народного романса. Поэт утверждает в них свою связь с поэзией народа, на языке которого мы говорим. И впервые в этой книге прозвучала антиимпериалистическая нота, столь характерная для последующего творчества Гильена; мы находим ее в удивительно лаконичном и точном стихотворении «Сахарный тростник»:

Негр
на плантации тростника.

Янки
над плантацией тростника.

Земля
под плантацией тростника.

Кровью
так и будем мы истекать?

(Перевод О. Савича)

И в отдельных строках «Маленькой оды кубинскому боксеру-негру»:

...тот же Бродвей
тянется влажным своим языком
и мордой своей,
чтобы жадно вылакать
всю кровь нашего тростника.

(Перевод П. Грушко)

Революционные события начала 30-х годов, приведшие к свержению диктатуры Херардо Мачадо, последующее наступление империализма, который сумел подавить революцию руками своих ставленников-военных, наложили большой отпечаток на творчество Гильена. В 1934 году выходит новая его книга «Вест-Индская компания» («West Indies Ltd.»),— само название ее свидетельствует об острой политической направленности нового произведения поэта. «Вест-Индская компания» — это весь Антильский архипелаг, превращенный империалистами в огромное предприятие, безжалостно эксплуатирующее земли и народ островов. Гильену удается охватить проблемы родной земли в их совокупности и даже шире — вписать поэтический образ многострадальной Кубы в панораму архипелага, где яркие краски тропиков не могут заслонить человеческих страданий.

Открывает книгу стихотворение «Слово о тропике». В нем поэт с гордостью и радостью ощущает себя человеком, выплавленным в горниле тропиков, окруженным всеми атрибутами антильской природы, спаянным со всеми этническими элементами, которые вносят свежую созидательную струю в жизнь своих стран. Вновь с большим волнением поднимает Гильен столь важную для Антил тему смешения рас («Баллада о двух предках», «Дед»). Однако большая часть стихов книги носит сугубо социальный характер. Выступив в крестовый поход за права чернокожих собратьев, поэт уже отдает себе отчет в том, что решение частных расовых проблем в кубинском обществе зависит от решения общих проблем нации, стонущей

[1] Здесь и далее см.: Николас Гильен. Избранное. М., «Художественная литература», 1982.

под империалистическим гнетом. Такие стихи, как «Баллада о Симоне Карабальо» — драма чернокожего певца, умирающего от голода под дверьми чужого дома, или «Сабас» — о нищем негре, безропотно просящем милостыню, не могут вызвать иной реакции, чем протест, но в других стихотворениях книги Гильен уже не разграничивает бедняков черных и бедняков белых, наоборот, подчеркивает, что всех их, эксплуатируемых и униженных, объединяют общие страдания. Подтверждение тому мы видим в стихотворении «Два мальчонка»:

Два мальчонка, два отростка
на великом древе бедности...
...они сдружились, как две добрые
собаки,
стали всюду неразлучны, как две добрые
собаки.
черный пес и белый пес.—

(Перевод М. Лозинского)

в раздумчивых, пронизанных мужественным состраданием терцетах «Ночи на пристани», в широкоизвестном стихотворении «По дороге» с его монотонным и грозным ритмом и, наконец, в полной душераздирающего отчаяния «Песне обреченных»:

И мы по городу бредем,
похожие на псов бездомных,
гонимых вихрем и дождем.

(Перевод М. Самаева)

И хотя об этом не говорится прямо, поэт дает понять, что выход у них один — в совместной борьбе.

Наиболее ярко и объемно предстает драматическая действительность Антильских островов в поэме «Вест-Индская компания», давшей название сборнику:

Вест-Индия!..
Вест-Индия!.
Вест-Индия!..
Это народ, отлитый из меди,
многоликий, суровый прибитый к земле,
замаранный грязью, присохшей к шкуре.
Это — каторжная тюрьма:
умри в оковах, не надейся воскреснуть!
Это асфальтовые озера и рудники,
плантации кофе,
гавани яхты, и доки, и медяки.
Этот народ говорит «all right»,
но вокруг далеко не рай
Этот народ «very well» говорит,
когда земля под ногами горит.

(Перевод Н. Горской)

Поэт гневно обличает тех, кто поверг народ Антильских островов в нищету, прежде всего алчных хозяев-североамериканцев и их многоликих местных прислужников — продажных политиканов, представителей буржуазии, вместе с империалистами-янки выжимающих из людей последние соки, реакционных военных, всегда готовых направить винтовки солдат против собственного народа. Но Гильен рисует и борцов против тяжкого гнета, против преступлений и нищеты, безымянных героев, которые жертвуют всем, чтобы построить мир справедливости и свободы:

И есть силачи,
при свете молний долбящие камень
в ночи,
твердеют у них кулаки и твердеет воля,
это они над высохшим полем
рассыпают зерна огня
и кричат: «Мы идем!» И голоса другие,
звеня,
«Мы идем»,— отвечают.

(Перевод Н. Горской)

Завершается поэма пророческими строками о том, как на антильской земле пробиваются ростки надежды:

Медленно из-за камней вырастает рука
над стеной,
сжимаясь в кулак для возмездия и для
расплаты.
Чистый, прозрачный, живой
голос надежды звенит над землей, над
морями.
Солнце росткам обещает, что станут
лесами...
По-английски — Вест-Индия.
Наше наречье — кастильское,
мы говорим: острова Антильские.

(Перевод О. Савича)

Следующая книга Гильена «Песни для солдат и сны для туристов» была опубликована в Мехико в 1937 году, когда автор, к этому времени сблизившийся с Коммунистической партией Кубы, полностью пришел к убеждению, что освобождение народ обретет в борьбе, возглавляемой партией рабочего класса. То были годы первой диктатуры Батисты. В стране царил дух казармы, гражданские институты отступили на второй план. Поэт ясно видел, как империализм превращает армии латиноамериканских стран в жандарма, чья обязанность — топить в крови любые попытки трудящихся выступить за свои права, за достижение экономической и политической независимости. Поэтому всю книгу пронизывает идея о непреложной необходимости союза между армией и народом. Гильеновские песни будили в солдате сознание того, что он происходит из народа, что он тоже часть народа и потому его настоящий долг — стрелять не в своих братьев, а в общего врага.

Солдат, стрелять научись,
и ты не ранишь меня.
Длинна как дорога, жизнь,
Стрелять надо вверх а не вниз,
чтоб не попасть в меня.

Внизу мы с тобою в паре
солдат-товарищ,
Внизу мы к плечу плечом
в болоте одном.

Стрелять вниз нельзя:
внизу — я.

(«Солдат, стрелять научись». Перевод О. Савича)

И тут же поэт-провидец рисует картину будущего, когда армия сольется с народом, станет служить его интересам:

Близок час, и я и ты —
мы пойдем одним путем,
локоть к локтю, ты и я,
не враги ни ты, ни я,
зная твердо, ты и я,
как поступим я и ты.

(«Нет, солдат...». Перевод М. Лозинского)

Строки Гильена наполняются все большей социальной силой, когда он, не поступаясь поэтичностью, раскрывает перед солдатом регулярной армии его истинную роль — палача своих же братьев, бедняков:

Я не хочу быть солдатом.
Не заставят меня никогда
стрелять в ребенка и негра,
бить голодных, служить богатым —
не буду таким солдатом.

(«Я не буду таким солдатом». Перевод Л. Осповата)

Но может быть, одно из самых сильных стихотворений в книге — «Элегия живому солдату». Пожалуй, никогда еще не удавалось гильеновской поэзии подняться до такой яркой социальной обличительности. Солдат-наемник изображен здесь как неживое, механическое существо, утратившее собственную волю, марионетка в чужих руках: «...бедняга солдат, распятый на кресте своего мачете./Сухие, стеклянные губы. / Кукольная голова».

Гильен торопит солдата пробудиться, вернуться к жизни, к своему народу: «О родной, родной! / Ты не мертвый солдат, / ты солдат спящий. / Проснись и выйди, крича, на мои улицы, / и ноги поведут тебя к верной победе» [1].

Герой второй части книги — народный певец Хосе Рамон Канталисо. Исполняемые им соны открывают перед слушателями «другое лицо Кубы», которое было не принято показывать богатым американским туристам. Это соны «не для танцев». В них с гневом и скорбью описывается, как живут обитатели гаванских трущоб. Но в то же время кубинский певец протягивает руку беднякам с Севера. «Вы здесь в почете»,— обращается он к туристам,—

вы песен ждете —
вы их не ждите.
Идите к черту!
Сюда пришлите
всю голь Нью-Йорка,
всех без жилья,
таких, как я,
таких, как я.

Я дам им руку,
споем мы вместе
про ту же муку
все ту же песню.

(«Хосе Рамон поет в баре». Перевод И. Эренбурга)

Летом 1937 года Николас Гильен публикует в Валенсии книгу «Испания. Поэма четырех скорбей и голоса надежды». Участник Второго международного конгресса писателей в защиту культуры, в том же году вступивший в коммунистическую партию, Гильен полностью отождествляет себя с героической борьбой испанских республиканцев. Три первые части поэмы проникнуты раздумьями о прошлом и настоящем Испании, о тесной духовной связи испаноамериканцев со своей прародиной, а последняя ее часть — «Голос надежды» — страстная клятва на верность правому делу:

Я, сын Америки,
сын Испании, и Африки,
вчерашний раб белых надсмотрщиков
с их бешеными бичами,
а сегодня раб рыжих алчных
плантаторов-янки,
я, капля в смуглой крови,
в которой купаются Антильские острова,
...я, сын Америки,
бегу к тебе, за тебя умираю.

Клятва солидарности во имя грядущей
революции:

да, с вами, руки вчерашних
конкистадоров,
да, с тобой, страсть нынешнего дня,
сметающая все на свете границы,
да, с вами, руки, которые тянутся
к мерцанию незапамятных звезд,
хотят вымыть трепещущую глубь неба,
собрать воедино острова южного моря,
острова Карибского моря...
...чтобы высоко леталось
смытой кровью экватора и всех полюсов,
чтобы высоко леталось
оглушительной, как шквал, который
не умолкает и никогда не умолкнет,
чтобы высоко леталось
свободной, строгой, беспощадной, алой,
жаркой, бурной и шумной,—
чтобы высоко леталось
работящей жнице — Революции!

(Перевод П. Грушко)

В годы второй мировой войны Гильен, находясь на Кубе, активно сотрудничает в прогрессивной прессе, участвует в национальном антифашистском движении, горячо поддерживает борьбу советского народа против фашизма. В середине сороковых годов он побывал во многих странах Латинской Америки, знакомясь с политической и культурной жизнью братских народов. В 1947 году в Буэнос-Айресе выходит его «Собранье сонов». На страницах сборника, ставшего новой ступенью в творчестве поэта, Гильен с большой художественной силой рассказывает о своей родине, о ее приметах, столь дорогих сердцу каждого кубинца («Гитара», «Королевский эбен», «Акана», «Одинокая пальма»), и подчеркивает, что народы Латинской Америки связывают общие исторические судьбы. Скорбные строки знаменитого гильеновского стихотворения «Моя родина кажется сахарной...»

Моя родина кажется сахарной,
но сколько горечи в ней!
Моя родина кажется сахарной,
она из зеленого бархата,
но солнце из желчи над ней.—

(Перевод И. Эренбурга)

перекликаются здесь со жгучей болью, звучащей в его «Венесуэльской песне»:

О том, как горька моя нефть,
знает кубинский сахар...

Я видел твой флаг на Кубе,
флаги мои я знаю,
их держат чужие люди,
нами они управляют.

(Перевод И. Эренбурга)

Важное место в революционном творчестве Гильена занимают «Элегии». Его твердо устоявшиеся антиимпериалистические убеждения выражены с большим художественным мастерством в «Элегии в память о Жаке Румене» (1948) и особенно в великолепной «Элегии памяти Хесуса Менендеса» (1951), посвященной видному профсоюзному руководителю, коммунисту, убитому кубинской охранкой по указке североамериканских империалистов. Поэт убежден, что деятельность Хесуса Менендеса и других отважных рабочих организаторов открывает дорогу к новому дню, когда

колосья, сталь и плоть
в одной победе
разом воплотятся.

И с полным правом Менендес сможет тогда сказать о себе:

...«Я пал, сраженный пулей,
но лес взрастил я на своей груди,
и в том лесу уже запели птицы,
а значит — день сияет впереди!»

(Перевод С. Гончаренко)

А в «Кубинской элегии», воскрешающей страницы борьбы кубинского народа за независимость, Гильен предсказывает, что

[1] Перевод В. Спасской *(прим. ред.)*.

борьба эта скоро приведет к полной победе:

Восстанет сын
под стать отцу,
под стать мужчине
и бойцу.
вберет огонь отчизны
в грудь
и завершит отцовский
путь:
преодолеет ров, и вал,
и с вражьих стен
свинцовый шквал —
и осенит его в пути
звезда Масео
и Марти!

(Перевод С. Гончаренко)

Накануне победы кубинской революции в Буэнос-Айресе выходит сборник Гильена «Голубь окрыленного народа» (1958), ставший как бы итогом деятельности и творчества поэта в пятидесятые годы, когда он, снова оказавшийся в эмиграции, посещает многие страны, активно участвует в борьбе за мир, отстаивает правоту социализма. Поэзия Гильена в этом сборнике выходит за пределы континента, как бы протягивая руку тем силам во всех странах, которые борются за независимость, за справедливый мир и братство между народами:

Чтобы вал неприступный построить,
возьмитесь, руки, за дело:
и черные руки негров,
и белые руки белых.
Устремленный к простору и свету
от морей и до горных цепей
и от горных цепей до морей, да, да,
пусть наш вал оградит всю планету!

(«Вал». Перевод О. Савича)

После победы революции на Кубе Николас Гильен с огромной энергией включается в общественную и политическую работу. Революционные события, героическая атмосфера послереволюционных лет послужили могучим стимулом для его творчества: в стихотворных сборниках «Что есть у меня» (1964), «Большой зверинец» (1967), «Зубчатое колесо» (1972) поэзия Гильена с неослабевающей страстью и мастерством утверждает идеалы победившего народа. Его стихи теперь светлы, оптимистичны, они наполняют кубинского читателя гордостью за свою революцию, открывают перед ним путь к новым свершениям, к новым подвигам.

Добрый день, моя гордая родина,
одетая по-воскресному:
добрый день, сеньор и сеньора;
добрый день, мальчишка на улице,
зарю встречающий песнями,
и горец, рожденный для жизни там,
где вздымаются горы.
Добрый день, рабочий с винтовкой.
Добрый день, винтовка.
Добрый день, трактор.
Добрый день, сахар...

Добрый день, о земля моих вен,
зажатый в стальном кулаке победный
початок.
Поле пахнет недавним дождем.
Синий ветер ерошит
зелень влажной листвы.
Чернокожий и белокожий
рядом идут по дороге.
Солнце взошло над долиной.
Где-то синсонте поет. И хрустальная
трель
льется со склона Туркино...
Добрый день! Добрый день, Фидель!

(«Поет синсонте на вершине Туркино». Перевод М. Самаева)

Книги нашего знаменитого соотечественника продолжают выходить в свет, поучая, радуя и восхищая многочисленных почитателей его таланта на Кубе и за рубежом.

Многое можно сказать о творчестве Николаса Гильена. В этой небольшой статье мы лишь попытались проследить в общих чертах процесс становления гильеновской поэзии и на примере его долгой творческой жизни продемонстрировать, каких высот может достичь поэтический талант, когда он становится выразителем сокровенных чаяний народа.

Перевод с испанского
ВЕРОНИКИ СПАССКОЙ

ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО

В конце прошлого лета английская газета «Таймс» поместила небольшую заметку, обрамлявшую два портрета: на одной, несколько большей по размеру, фотографии Норман Мейлер смотрел в сторону, репортер поймал раздражение уставшего от жизни человека. Соседний снимок запечатлел изможденное лицо, выражение глаз отсутствовало, превращая лицо в маску. Начало этой заметки стоит привести целиком:

«Мейлер и убийца-гений»

«Легкий поворот к нему твоего правого плеча, и мир переворачивается вверх дном. Ты погрузил нож по рукоять в середину его груди. Медленно он начинает бороться за свою жизнь. Пока он оседает, ты должен убить его или тебя схватят.

Он произнесет: «Почему?» или: «Нет». Больше ничего. Ты почувствуешь, как его жизнь дрожит на ноже в твоей руке. Она почти переполняет тебя, эта изысканность чувства посреди вульгарного акта убийства...»

«Джек Генри Эббот, автор этих строк, писатель, близкий к зениту славы. Описание достоверно, потому что сам он — убийца...

Из тюрьмы он отправил письмо американскому писателю Норману Мейлеру, на которого оно произвело впечатление, Мейлер ответил Эбботу, и завязалась переписка. Письма Эббота были недавно отредактированы и изданы с предисловием Мейлера.

Благодаря усилиям Мейлера и издателя книги, Эббот был освобожден на поруки и поселился неподалеку от Нью-Йорка. Двумя неделями позже он вновь совершил убийство — на этот раз швейцара ресторана, помешавшего ему воспользоваться служебным туалетом.

В то утро, когда «Нью-Йорк таймс» характеризовала его творчество как «наводящее ужас, блистательное и извращенно откровенное» (номер ее литературного приложения вышел через 12 часов после убийства, в нем Эббота сравнивали с Джозефом Конрадом), Эббот скрывался, а двадцатидвухлетний Ричард Эдан, актер и драматург, подрабатывавший вечерами в бистро, был мертв, убит единственным ударом ножа в сердце...»

Далее автор заметки Майкл Хэмлин сообщал следующие факты: убийство Эббот совершил хладнокровно — не сразу же на людях, а вызвав свою жертву на пустынную улицу. Будучи в бегах, он прислал издателю два письма: его интересовали вопросы авторского права.

Впервые Эббот попал в тюрьму в отрочестве. В 21 год убил соседа по заключению. Восемь лет спустя бежал, грабил банки, вновь был схвачен. К 37 годам, моменту выхода на поруки, провел в одиночке 14 лет.

В письмах Мейлеру он описывал жизнь тюрьмы и впечатления от интенсивного чтения. Мейлер писал тюремным властям:

«Эббот имеет задатки сильного и важного для Америки писателя».

Книга Дж. Г. Эббота вышла в одном из крупнейших издательств США «Рэндом хаус» под названием «В брюхе зверя».

Культура формирует мировосприятие, для нас это прежде всего русская классика. Естественно, что первыми ассоциациями были пушкинские строки из диалога Моцарта и Сальери: «...правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?.. Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные». Потом подумалось, что Достоевский уже в названии связал «преступление» и «наказание».

Заметка потрясла: наверное, Мейлер испытал чувство мистического ужаса, когда узнал об убийстве, совершенном открытым им «гением». Меньше двух лет прошло со времени шумного успеха его последней книги «Песнь палача», посвященной другой «звезде» американской уголовной хроники — Гэри Гилмору, судьба которого очень сходна с биографией Джека Эббота. Разница заключалась в причине «славы»: Гилмор оказался в центре внимания средств массовой информации из-за отказа от пожизненного заключения, он настаивал и настоял на казни. Эббота вызвал из безвестности литературный «талант», открытый Мейлером.

Автор заметки позволил себе лишь одно замечание:

«Дело Эббота важно для США, поскольку оно ставит проблему отношения цивилизованного общества к своим преступникам».

Нас интересует более узкая, но связанная с очерченной Майклом Хэмлином проблема — отношения американских писателей к «героям» национальной судебной хроники, к «своим преступникам».

Одной из самых значительных книг среди множества работ, посвященных проблеме насилия в США, которые появились в последние десять лет, была вышедшая в 1970 году книга видного американского публициста Овида Демариса «Осквернённая Америка». В предисловии говорилось, что книга написана с целью «восполнить пробелы национальной памяти... По знаменательному совпадению, я начал работу в день, когда газеты сообщали об убийстве Шарон Тейт, а один из ее убийц признался в местной газете, что ему «нравится убивать».

«Что за страна, что за люди?!»— воскликнул на похоронах жены кинорежиссер Роман Полански.

«Это пример нашей национальной забывчивости»,— комментирует его слова Демарис. Его книга убеждает в том, что история США неотделима от насилия. В специальной главе «Средства информации— эскалация насилия» он утверждает, что политические и социальные убийства превратились в национальный «театр». В этой связи он цитирует слова Эдварда Кеннеди, сказанные на похоронах брата Роберта: «Антон Чехов справедливо заметил, что, если в первом акте на стену вешают ружье, оно неминуемо выстрелит в третьем».

Характерным примером отношения американских журналистов к «своим преступникам» может служить вышедшая в 1971 году книга известного журналиста Гэя Талиса «Чти отца своего» — о главе мафии. Достаточно привести ее эпиграф: «Детям Бонано, которые теперь, возможно, лучше поймут и все же будут любить своего отца».

В современной американской литературе можно назвать три яркие публицистические работы, посвященные «обыкновенным убийствам»: «Обыкновенное убийство» (1965) Трумэна Капоте[1], «Сползая к Бетельгейзе» (1968) Джоан Дидион и «Песнь палача» (1979) Нормана Мейлера. Интересно в самых общих чертах сравнить эти книги.

Герои Капоте и Мейлера (хоть и признанные вменяемыми)— с детства ущербные личности — совершают так называемые «немотивированные» убийства. Предмет исследования Дидион — молодая красотка из адвентистской семьи, продуманно и хладнокровно убившая своего неудачника мужа, который стоял на пути к желанной для нее жизни. В этой связи приведем рассуждения Р. П. Уоррена о воплощении «американской мечты» в романах Т. Драйзера: героя «Трилогии желания» Фрэнка Каупервуда Уоррен называет «принцем мечты», Клайда Гриффитса — героя «Американской трагедии»—«рабом мечты», им обоим писатель отказывает в сознании собственного «я», то есть моральных устоях.

По Уоррену, героиня Дидион — раба мечты, символ американской трагедии обманутых надежд. Что до героев Капоте и Мейлера, здесь уместно вспомнить широко используемую американскими исследователями триаду: мечта — трагедия — кошмар, в них, бесспорно, воплощен кошмар современной американской действительности.

Книга Дидион — исследование аморализма самой героини и окружающей ее действительности. В сборнике публицистики последнего десятилетия «Белый альбом» (1979), характеризуя атмосферу тех лет, Дидион писала, что «психопатия воспринималась как норма жизни США». Газетные заголовки, сообщавшие об очередном убийстве, читались как «идеограммы будущего». Об одних только «Ангелах ада», бандитах на мотоциклах, она видела семь фильмов, которые «подняли этих дебилов на уровень национального мифа». В день убийства Шарон Тейт больше всего ее поразило то, что никто не был удивлен. Отбывая наказание, один из ее убийц Роман Новарро написал книгу «Полуночные откровения» (1975), которая получила премию ПЕН-клуба в области прозы. В предисловии автор сообщал: «Писательство помогло мне осмыслить жизненный опыт». Дидион пишет, что много думает обо всем этом, но ей писательство не помогло уловить «смысла» происходящего вокруг.

Сочтя Гэри Гилмора «достойным внимания Достоевского», Мейлер посвятил ему более тысячи страниц. Критика называла его героя «Раскольниковым Скалистых гор», книгу Мейлера, как и в свое время работу Капоте, сравнивали с «Американской трагедией» Драйзера.

Любопытна реакция Джоан Дидион на роман Мейлера о Гилморе, который она считает четвертым Великим американским романом Мейлера. На этот раз — о Западе страны, который «трудно передать словами», потому что Запад — «это пустота», пустота вокруг человека и в его душе. Здесь мало что «меняет ситуацию»: все, что происходит,—«всего лишь еще одно несчастье, которое ложится на дно бытия». Таким образом, Дидион, сама уроженка и жительница американского Запада, цепенеет от сознания всесилия рока, торжества пустоты.

При том, что мы никак не можем принять пассивности позиции Дидион, нельзя отказать ей в проницательности: независимо от желания Мейлера, подлинным объектом изображения в его книге стала пустота, пустота души, жизни, ее иррациональность. Именно она заполняется как бы независимыми от воли людей поступками, душевными движениями, которые автор «вынужден» нагнетать в изображаемый им вакуум, заполняя его фактами, сохраненными в памяти свидетелей и восстановленными его воображением. Ощущение символичности, сюрреализма происходящего нарастает. И вот — последнее, тщательно описанное событие: в соответствии с волей Гилмора, его прах развеивают с самолета. Книга заканчивается стихами, посвященными Гэри

[1] «ИЛ», 1966, № 2—4.

Гилмору согражданами. Ощущение сюрреализма перерастает в чувство отвратительной безвкусицы, дешевого фарса. Гилмор превращен в жертву, не общества, а чего-то гораздо более масштабного и неопределенного в своих очертаниях — «условий человеческого существования», как говорят экзистенциалисты. Позиция автора представляется, мягко говоря, односторонней. Хочется вернуться к проводимому американскими критиками сравнению героя Мейлера с Раскольниковым, чтобы напомнить, что взгляды Мейлера и Достоевского прямо противоположны.

Творчество Достоевского, его мировоззрение проникнуты сознанием ответственности художника перед обществом. Критерий художественности для него — стремление художника отыскать в «хаосе» «нормальный закон и руководящую мысль». Писатель обязан судить героя судом совести, потому что безнравственный человек бессилен в борьбе со злом — как в себе самом, так и в обществе. Уродство общества, по Достоевскому, не может служить абсолютным оправданием преступника, иначе правомерно утверждение:

«Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках... учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного долга...

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче,— легче... чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете... соблазнительный вопрос и насмешку над вами же... над судом всей страны!.. Значит, оно можно и в другой раз также... Главное, что вера в закон и в народную правду расшатывается».

«Трагизм подполья», по Достоевскому, состоит «в сознании уродливости», в «самоказни, в сознании лучшего и невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться!».

Интересуясь отношением Мейлера к общественному резонансу его романа, английский критик Мелвин Брэг спросил его:

«Когда вы принялись за книгу о Гилморе, вас не тревожила мысль, что вы прославляете того, кого лучше не прославлять?»

«Должен признаться,— ответил Мейлер,— хотя кого-то мои слова могут шокировать, что я беспокоился за судьбу самой книги... Очень многие могли бы сказать, что есть что-то элементарно скотское в прославлении плохого человека, к тому же дважды убийцы. И я отнюдь не уверен, что могу полностью защититься от этого обвинения...»

Прошло полгода со времени первой публикации, сообщавшей о деле Эббота на страницах английской «Таймс», и в конце января 1982 года английский же еженедельник «Обсервер» напомнил о нем читателям. На этот раз портрет «убийцы и литератора», как охарактеризован Эббот, в два раза больше фотографии Нормана Мейлера.

«В Верховном суде царит карнавальная атмосфера, которой Нью-Йорк всегда встречает знаменитых убийц»,— пишет на страницах «Обсервер» Мартин Эмис.

Среди присутствующих писатели, деятели кино, уже идет разговор о будущем фильме.

Суд происходит в день 38-летия Эббота.

«Поздравляю, Джек»,— говорит ему один из судей.

«*Словно ты режешь масло горячим ножом — никакого сопротивления...*» Это описание ощущений убийцы принадлежит вам? — спрашивает его прокурор. «А ведь хорошо написано?»— отвечает ему вопросом Эббот

На бурной пресс-конференции Мейлер выразил надежду, что за последнее убийство Эббот много не получит.

«Ради культуры стоит и рискнуть. Иначе у нас будет фашизм... И я готов рисковать вместе с некоторыми элементами нашего общества, чтобы спасти талант этого человека»,— сказал Мейлер. «Мейлер хочет рисковать. А общество, оно тоже так думает?» — спрашивает автор корреспонденции в «Обсервер».

«Все это дело — сплошная трагедия»,— утверждал Мейлер на пресс-конференции.

«И фарс,— комментирует его слова Мартин Эмис.— Это американское родео вывернутого наизнанку бездушия и претенциозности. Могло ли такое произойти в другой стране?

А мир с любопытством и не без удовольствия глазеет на это зрелище».

В историко-литературных аналогиях особенно впечатляет даже не совпадение ситуаций, а хода мысли и самих слов: «Но признáемся же и мы, живущие в веке признаний: с нетерпеливостью, хотя и с отвращением...» — это слова Пушкина из его заметки в «Литературной газете».

1830 год, Пушкин комментирует сообщение французских журналистов о предстоящем выходе первых томов мемуаров, составленных Бальзаком и Леритье на основании записок знаменитого палача времен французской революции Анри Сансона, которого Пушкин, вслед за издателями, называет Самсоном. Публика ждет «признаний» (ей уже знакомы «Исповедь» Руссо, «Записки Казановы», мемуары знаменитых авантюристок, актрис наконец записки начальника парижской сыскной полиции Видока).

«Этого должно было ожидать,— пишет Пушкин.— Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений... Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке и в шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее... Недоставало палача в числе новейших литераторов. Наконец и он

явился, и к стыду нашему скажем, что успех его «Записок» кажется несомнительным.

Не завидуем людям, которые, основав свои расчеты на безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо повторению сказаний, вероятно, безграмотного Самсона... На каком зверином реве объяснит он свои мысли? (Перед читателем пройдут чередой все «и славные, и неизвестные» «его минутные знакомцы»,— пишет Пушкин)... И, насытив жестокое наше любопытство, книга палача займет свое место в библиотеках, в ожидании ученых справок будущего историка».

Сегодня «палачи» не ждут «будущих историков». Как сообщает Эмис, переписка Мейлера и Эббота началась, когда Мейлер еще работал над «Песней палача», тогда же отрывки из нее публиковались в литературном приложении к «Нью-Йорк таймс». По выходе из тюрьмы Эббота сфотографировала Джил Кременц, пользующаяся репутацией одного из лучших фотографов-портретистов, снимающих представителей современного искусства Запада. Вместе с Мейлером Эббот появился на телеэкране в одной из передач «С добрым утром, Америка». За Эббота поднимали тосты на литературных сборищах, его талант превозносили.

«Весть о новом убийстве заставила радетелей Эббота примолкнуть,— пишет Эмис.— Но вот его поймали в Луизиане, и цирковое представление возобновилось...

Как можно было принять эту писанину за разумную полемику, не говоря уже о литературе,— настоящая загадка».

Виновником этого заблуждения Эмис считает Мейлера:

«То, что написал Мейлер в предисловии к книге Эббота, постыдно и смешно... поскольку вступление это построено на заведомо ложных посылках...»

Эмис приводит следующие высказывания Мейлера:

«Угрозу таких людей нашим пригородам нужно игнорировать. (Откуда взялись эти «пригороды»? — недоумевает Эмис. Эббот убил человека в центре Нью-Йорка и снова сделает это, если сбудется американская мечта Мейлера)... Творец не может быть злодеем».

Уверенность в том, что «гений и злодейство — две вещи несовместные», не позволяет Моцарту верить слухам о том, что Бомарше кого-то отравил, а Мейлер отвергает факты, хуже того — подводит под них философскую базу, заявляя, что «писатели — тоже изгои, непризнанные пророки... жизнь прежде всего — тюрьма».

Последние факты, которые сообщает Эмис: симпатии публики на стороне жертвы Эббота, по иронии судьбы тоже подававшего надежды писателя. А книга Эббота «В брюхе зверя» уже вышла в одном из самых крупных английских издательств «Хатчинсон».

Нормана Мейлера не раз справедливо называли выразителем американского сознания (подразумевая сознание буржуазной интеллигенции). И когда он брался за самые актуальные и модные темы, в этом сказывалось желание понять время, осмыслить самые сложные проблемы эпохи, но также и стремление к популярности, присутствующее во всем поведении Мейлера, на личность которого «массовая культура» наложила свой легко различимый отпечаток. Естественно, что при этом его философские претензии и заблуждения обнаруживались гораздо отчетливей, чем у других, более осторожных в суждениях и менее талантливых художников.

Модернистские и экзистенциалистские мотивы выявились в его творчестве с первого романа — уже в «Нагих и мертвых» ненависть к милитаризму уживается с лозунгом: «Живите опасно» — драматическая смерть желанием существования. Потом он заявит: «Скука убивает больше, чем война». То его мучат ужасные подозрения относительно изначально порочной природы человека, то он верит, что даже пораженный духовным разложением человек жаждет возвышенной жизни. Но как у большинства буржуазных художников, когда дело доходит до конкретных представлений об этой жизни и путях к ней, путаница представлений усугубляется, нонконформизм сменяется конформизмом. Даже в 60-е годы, период взлета демократических и радикальных настроений американской интеллигенции, сам Мейлер так характеризовал свои взгляды: «Смесь марксизма, консерватизма, нигилизма и больших порций экзистенциализма»,— смесь слишком пестрая, чтобы отнестись к ней как к серьезной идейной позиции. Наличие в ней марксизма — дань моменту, остальные ее компоненты легко прослеживаются в творчестве и поведении Мейлера. В этой связи вспомним, что Маркс говорил о мелком буржуа: «Он — воплощенное противоречие... Таков он в своих экономических интересах, а *потому* и в своей политике, в своих религиозных, научных и художественных воззрениях... А если при этом он человек остроумный, то быстро привыкает жонглировать своими собственными противоречиями и превращать их, смотря по обстоятельствам, в неожиданные, кричащие, подчас скандальные парадоксы».

Что понимает Мейлер под фашизмом, который якобы грозит Америке, если открытому им «гению» не будет гарантирована абсолютная свобода? На какие «элементы» американского общества он опирается в стремлении сохранить «талант» Эббота для культуры? Какой видится ему эта культура? Ответы на все эти вопросы обнаружили бы, очевидно, наличие все той же характерной смеси представлений, которая и делает Мейлера типичным представителем современной буржуазной культуры Запада. Именно мировоззрение сужает возможности Мейлера осуществить свою заветную мечту — написать Великий американский роман, мешая ему последовательно противостоять влиянию законов современной «массовой культуры» США, все более властно подчиняющей художника

диктату рынка. История мировой литературы не знает великого писателя, утверждающего аморализм и безответственность художника перед обществом. Моцарт ошибается, называя Сальери сыном гармонии, встав на защиту «таланта» Эббота, Мейлер оказывает дурную услугу американской культуре. Еще в начале века Фрэнк Норрис писал: «Нам следует желать появления не Великого Американского Романиста, а Великого Романиста, который к тому же будет американцем».

Кошмар американской реальности толкает писателей к беспросветному нигилизму, экзистенциализму. Как отмечает в заключение своей статьи «Два понимания нигилизма (Достоевский и Ницше)» Ю. Давыдов[1]: «...в культуре буржуазного Запада, конституировавшегося в форме государственно-монополистического капитализма», вновь и вновь воспроизводится «влечение» к ницшеанскому аморализму и нигилизму», что сегодня, сто лет спустя, определяет актуальность нравственной философии Достоевского.

Но как бы ни были печальны последствия торжества неоконсерватизма для современной культуры США, как бы ни было сильно воздействие «массовой культуры»— факторов, подрывающих не только социально-критическую, но и художественную основы творчества талантливых американских писателей, будущее американской культуры за ее демократическими и гуманистическими традициями, которые продолжают сегодня те ее представители, которые, говоря словами Уильяма Фолкнера, «возвышают свой голос», чтобы помочь человеку «выстоять» и «победить».

Т. РОТЕНБЕРГ

ТЯЖЕЛЕЕ СВИНЦА

Уже ставшая привычной для итальянцев тема терроризма зимой этого года приобрела новое звучание в связи с делом генерала Доузера и успешной операцией по его освобождению.

Тем временем на экраны страны вышел фильм, приглашающий зрителя обратиться вспять, к истокам терроризма, как бы прокрутить пленку назад — к 1977 году, когда в ФРГ, в тюрьме Штамгейм, коллективным самоубийством основных ее лидеров завершилась история группы «Баадер-Майнхоф». Эта картина западногерманского режиссера Маргарет фон Тротты «Свинцовые времена»—«фильм-сенсация», по словам еженедельника «Панорама»,— была показана на кинофестивале в Венеции в 1981 году и получила, «в буре самых страстных дискуссий», его высший приз — «Золотого льва».

Выход фильма на экраны Италии вновь оживил этот спор.

Фон Тротта избрала необычный ракурс, который резко выделяет ее фильм среди довольно большого числа кинолент, посвященных жгучей проблеме терроризма, что уже само по себе привлекает внимание. Фильм построен как рассказ о взаимоотношениях двух сестер — Марианны, «террористки», и Юлианы, «реформистки», связанных тесными узами детской и отроческой дружбы, но избравших противоположные жизненные пути. Псевдонимы прозрачны: в Марианне легко опознается Гудрун Энслин, одна из центральных фигур в группе «Баадер-Майнхоф», Юлиана — это ее сестра Кристина, в тесном сотрудничестве с которой фон Тротта делала свой фильм.

Журнал «Эспрессо», одним из первых открывший дискуссию вокруг фильма, прямо идентифицирует персонажей. На первой странице — фотография: Андреас Баадер и Гудрун Энслин в 1968 году, счастливые, смеющиеся, окруженные для многих героическим ореолом. Рядом, на цветных фотовкладках,— Маргарета фон Тротта с Кристиной Энслин и кадры из фильма «Свинцовые времена». Жизнь и искусство смотрят друг другу прямо в лицо; журнал же держит в руках читатель, вполне возможно, тоже потерявший брата, сестру или мужа — террористов или убитых террористами.

Неудивительно поэтому, что фильм стал предметом бурных дискуссий, пламенных «за» и «против». С одной стороны, раздаются призывы не требовать от художника социального и политического анализа терроризма или судебного разбирательства, с другой — высказывается возмущение позицией режиссера, который, прикрываясь видимостью чисто семейной истории, занимается настоящей апологетикой терроризма и предъявляет все-таки судебный иск. Но этот иск предъявляется не террористам, а обществу и государству.

Итак, что же это такое — «фильм о любви двух сестер», как пишет «Эспрессо», «обвинительный акт государству», как утверждает «Ринашита», или рассказ с «позиции сердца», дело которого — не судить, а понять (точка зрения, высказанная еженедельником «Панорама»)?

Для начала лучше всего предоставить слово самому режиссеру.

Оценка фон Тротты служит самым убедительным аргументом против тех, кто пытается представить фильм как своеобразную «семейную хронику», а не «фильм о терроризме».

> «Свинцовые времена»— это фильм о склонности немцев забывать все, что порождает сомнения и конфликты: уже отдаленное прошлое (нацизм) и совсем недавнее («самоубийство» террористов в Штамгейме)».

Позиция автора, весьма далекая от аполитичности, заявлена здесь с достаточной откровенностью, а слово «самоубийство», взятое в кавычки, вполне точно указывает адресат обвинения.

Краткая история событий, послуживших основой для сценария фильма, такова. В 1968 году Гудрун Энслин и Андреас Баадер были привлечены к судебной ответ-

[1] «Вопросы литературы», 1981, № 9.

ственности за преднамеренный поджог крупного универмага во Франкфурте-на-Майне. Это была первая террористическая акция, предпринятая в ФРГ, и ее инициаторы объявили, что они намеревались «зажечь факел в честь Вьетнама». Выпущенные на срок апелляции, они бежали в Париж, а позже, нелегально вернувшись в Германию, вошли в состав центрального ядра террористической группировки «РАФ» («Роте Арме Фракцион», более известной под именем группа «Баадер-Майнхоф»). Арестованные и представшие перед судом в 1975-м, они в 1977 году покончили с собой. В некоторых кругах это самоубийство, хотя и подтвержденное судебно-медицинской экспертизой, продолжает ставиться под сомнение.

Покончил с собой и первый муж Гудрун, Бернвард Веспер. Их сын Феликс остался сиротой.

Личность Энслин уже не раз привлекала к себе внимание историков и исследователей этой проблемы. В яркой художественно-репортерской манере ее портрет набросала английская писательница Джулиан Беккер в своей хорошо известной книге «Дети Гитлера: история банды Баадер-Майнхоф».

Само название книги достаточно хорошо выражает позицию автора, очень далекого от весьма распространенных в последнее время тенденций создания героического мифа о террористах. В этом мифе Энслин отводится особая роль, что, безусловно, имеет определенные основания в ее личности и характере. Беккер, опросившая многочисленных свидетелей, дает о ней достаточно полное и неоднозначное представление. Так, лично знавший Энслин писатель Гюнтер Грасс рисует ее «идеалисткой с врожденной ненавистью к компромиссам, верующей в Абсолют, в совершенное решение».

Психиатр Р. Редхардт, наблюдавший Гудрун во время ее первого тюремного заключения, сформулировал то же самое несколько иначе: редкостная способность к элементарной ненависти, ярко выраженная воля к власти, фанатизм эпохи религиозных войн и нацизма, в годы которого протекало ее детство.

Двусмысленные штрихи в этот образ «непреклонной идеалистки» вносятся сделанным ею и Баадером в тюрьме заявлением, согласно которому они зажгли не «факел в честь Вьетнама», как было заявлено на суде, а свой «свадебный факел». Кроме того, добавила Гудрун, для нее эта акция (поджог) была «акцией самоосвобождения». Яростные обличения «общества потребления» («клубничного рейха», по выражению Энслин) в сочетании с такими деталями, как дорогие подарки для «малыша» (Баадера), 2000 марок, истраченные за два дня «шикарной жизни» в Париже, полная неспособность переносить житейские неудобства (от которых ее спасало особое положение в группе), вносят свои коррективы.

Тип поведения Энслин, каким он вырисовывается из многочисленных и неоднозначных свидетельств, пожалуй, ближе всего к поведению тех лидеров средневековых «еретических» сект, которые, будучи чрезвычайно суровы к пастве, лично для себя руководствовались принципом «для чистого все чисто».

«Итак,— комментирует «Эспрессо»,— тема объявлена с самого начала: ключом семейных воспоминаний заводят пружину кинематографического действия... это фильм очень «частный» и очень «публичный», перенасыщенный «сенсациями»...»

После самоубийства Марианны (в которое сестра не верит) Юлиана берет племянника, ранее отданного в приют, к себе, и наступает развязка фильма, в которой «частное» и «семейное» становятся общезначимым и социальным. Жители городка, опознав в ребенке «сына террористки», обливают его бензином и поджигают. Мальчика удается спасти, и вот, угрюмый и озлобленный, он рвет фотографию матери. Тетка останавливает его: «Ты неправ. Твоя мать была необыкновенной женщиной». «Но тогда,— восклицает Ян,— я хочу все знать. Расскажи, расскажи!» Зритель присутствует при зарождении легенды — очевидно, уже не только семейной, но призванной вызвать громкий общественный резонанс.

Эта символически обобщенная сцена (ибо никаких подобных актов чудовищной агрессии «общества» не было по отношению к детям террористов) приобретает особое, ключевое значение в фильме, где не показана ни одна из реальных террористических акций и где как реальную, живую жертву насилия и жестокости зритель видит ребенка.

Именно этот, центральный для фильма вопрос «Кто убийца?» оказался и в центре дискуссии, в том числе и для тех, кто стремился представить «Свинцовые времена» как фильм сугубо частный, сдержанный, «овеянный поэтическим чувством любви-ненависти двух сестер». Подобная точка зрения была высказана, в частности, обозревателем еженедельника «Ринашита» Мино Арджентьери, еще в прошлом году опубликовавшим отзыв о фильме. Арджентьери с раздражением и явным полемическим преувеличением утверждает, что «Свинцовые времена» — это вообще не фильм о терроризме.

«Меня раздражает, что делаются попытки воспринимать и оценивать «Свинцовые времена» таким образом, как если бы Маргарета фон Тротта, дерзнув предпринять эту попытку, отмеченную венецианским призом, имела в виду проинформировать нас о терроризме в ФРГ...»

И дело здесь не в том, что фон Тротта — не политолог и не социолог, изучающий весьма актуальный, что и говорить, феномен терроризма; не в том, что режиссер фильма вовсе не задавался целью создать своего рода справочник по терроризму, снабженный притом надлежащими моральными выводами.

«Мне кажется неуместным призывать ее говорить о том, что, по самой сути сложного вопроса, находящегося в центре фильма, остается за скобками и только подразумевается...»

То, что, на взгляд Арджентьери, «только подразумевается», то есть сложный и

острый вопрос о природе терроризма и его политической оценке, на деле, как показала дискуссия, возбуждает самый пристальный интерес и ведет к непримиримым размежеваниям.

Вместе с тем формальная структура фильма, построенного как «семейная хроника», сузив рамки обсуждения (что, в свою очередь, вынуждает и нас оставить за скобками «этот, вероятно, самый существенный аспект проблем»), чрезвычайно выпукло поставила проблему нравственной ответственности художника.

Автор статьи в «Ринашита» одобряет «частный», по видимости безоценочный ракурс, выбранный режиссером: не дело художника быть трибуном, пусть даже и защищая самые высокие ценности. Дурным примером такого рода Арджентьери считает, в частности, фильмы Стенли Крамера,

«...вменившие себе в обязанность защищать правое дело, но всегда выбивающие барабанную дробь ораторий, выпевающие «душещипательные» теноровые арии протеста, трепещущие от негодования...».

О каких именно фильмах Крамера повествуется с такой желчной иронией? Автор не уточняет; но неужели действительно проникнутые гуманистическим пафосом «Нюрнбергский процесс» или «Корабль дураков» можно отнести к разряду «душещипательных теноровых арий»?

Автор весьма язвительно, но малоубедительно прокламирует тезис о несовместимости нравственной ангажированности художника с эстетическим совершенством его произведений. Едва ли не хрестоматийных примеров обратного рода слишком много для того, чтобы на этом тезисе стоило останавливаться.

Важно другое: фильм фон Тротты отнюдь нельзя назвать ни сделанным беспристрастным наблюдателем, ни лишенным самой откровенной публицистичности.

Это, впрочем, признает и Арджентьери. Заявив, что режиссер работает «на струнах интимного, частного, личного», он сам определяет фильм как «язвительное» «J'accuse» («Я обвиняю»)...

«Обвинительный акт, предъявляемый свирепости немецкой репрессивной системы, странным обстоятельствам кончины Гудрун и других заключенных, короткой памяти благомыслящих и заговору молчания...».

Но когда говорят: «Я обвиняю»,— это значит, что есть обвиняемый и есть преступление, на которое указует обвинитель.

Арджентьери как заслугу фон Тротты отмечает то, что режиссер

«не демонизирует терроризм, не подчиняется логике манихейского преображения, но призывает нас понять его»

Фон Тротта, действительно, «не демонизирует» терроризм; но избегла ли она «логики маннхейского преображения», то есть резкого деления мира на враждебно противостоящие друг другу царства «добра» и «зла»?

Журнал «Эспрессо», занявший в этом бурном споре сравнительно спокойную, третейскую позицию, предоставил свою трибуну

«трем свидетелям наших лет свинца: времени терроризма и его показательных акций»

Каждый из них пережил это время по-своему: министр юстиции, Клелио Дарида,— на уровне государственной ответственности за разрешение проблемы терроризма; судья Доменико Сика — непосредственно занимаясь делами террористов; наконец, Амбра Пири, сестра Флоры Пири, приговоренной к 9 годам тюремного заключения за участие в террористической деятельности, имеет опыт знакомства с терроризмом, наиболее близкий опыту одной из героинь фильма — Юлианы. Кроме того, будучи студенткой, она лично знала одного из основателей «красных бригад» Ренато Курчо.

На нее фильм произвел громадное впечатление, ибо

«каждая история о терроризме — это также и семейная история: это всегда брат, сестра или сын в тюрьме или еще не в тюрьме...».

Со времени ареста сестры, продолжает Амбра,

«моя жизнь полностью изменилась: как это произошло и с Кристиной Энслин, я тоже на годы оказалась поглощенной ужасающей реальностью — тем, что Флора в тюрьме...».

Может ли человек, не переживший подобного опыта, понять эти чувства? Конечно. Такое понимание выказали, в первую очередь, те, чьим прямым долгом была борьба с террористами и чьи критические высказывания о фильме вызвали бурю среди его сторонников.

Так, по словам Клелио Дарида, попытка режиссера взглянуть на проблему терроризма изнутри семьи террориста заслуживает внимания,

«потому что жертвами терроризма являются не только те, кто подвергся их агрессии, то есть убитые и раненые; существуют также безмолвные жертвы, родственники террористов Заслугой режиссера является, по крайней мере, попытка проникнуть в эту ужасающую реальность».

Но в целом его оценка фильма негативна. Почему?

«Фильм кажется мне весьма пристрастным; мы видим героиню только тогда, когда она является жертвой пенитенциарной репрессивности, и на этом режиссер настаивает с каким-то раздражающим упоением. Но ничего не говорится о террористических акциях Гудрун Энслин, которая — и об этом стоит напомнить,— прежде, чем оказаться в тюрьме, убивала, грабила, похищала и психически терзала людей»

Позиция фон Тротты, по мнению министра юстиции, совершенно определенна:

«Она претендует на понимание терроризма, но сплошь и рядом у меня возникает впечатление его оправдания»

Аналогичную мысль, но в еще более резкой форме, высказал судья Доменико Сика:

«Меня раздражала настойчивость, с которой фон Тротта фиксирует камеру на прутьях тюремной решетки. Эта решетка, эти прутья совершенно отчетливо подаются как символ агрессии, совершаемой против героини фильма. Нам хотят дать

образ репрессивного насилия... Но нигде не сообщается о жестокостях, совершенных теми, кто находится за этой решеткой».

Огромную роль этого образа не отрицает и такой страстный защитник фильма, как Мино Арджентьери. Назвав заслугой режиссера то, что ему удалось избежать «манихейской» картины мира, он затем описывает стилистику фильма, совершенно недвусмысленно создающую такую картину. Изменен лишь знак, и зло представляют не те, кого судят, а те, кто судят.

Взгляды, которыми обмениваются сестры сквозь эту решетку, связующий их, недоступный другим, но исполненный значения и очарования для них мир общих воспоминаний создают образ

«человеческого тепла», противостоящего «холодной бдительности функционеров, ведущих процесс Марианны».

Но враждебны, «не-человечны» не только «функционеры». Инцидент с маленьким Яном требует объяснения, и Арджентьери вынужден дать его:

«Вне всякого сомнения, фон Тротта — и это явственно обнаруживается в фильме — больше боится диффузного, размытого конформизма, коллективной неспособности встревожиться событиями в Штамгейме и их последствиями, чем преступных действий изолированных и рассеянных экстремистов-одиночек».

Фильм фон Тротты далек от какой бы то ни было камерности и непредвзятости. Сколь бы ни был автор встревожен событиями в Штамгейме, сама по себе эта встревоженность не может объяснить бьющую в глаза односторонность в изображении терроризма, его плакатную спрямленность. Плакат — несомненно, искусство, но искусство особого рода, которое вовсе не стремится к пониманию всей многообразной сложности жизни и ее явлений. Его цель иная: емким, «стреляющим» образом запечатлеть в сознании зрителя простую, но цельную, объемную и не допускающую никаких возражений мысль. Таким образом и является в фильме его ключевая, хотя и скрытая «за кадром» сцена агрессии против «сына террористки», а сконцентрированная в ней мысль столь же проста, сколь и значительна как выражение совершенно особого умонастроения: агрессивная, давящая, убивающая сила — это «общество», его жертвы — террористы и их близкие.

Но разве «общество» — это абстракция, а не живые люди, тоже могущие любить своих близких и страдать?

В своем выступлении на страницах «Эспрессо» Амбра Пири заметила, в частности:

«Я не разделяю идеологии «красных бригад», но для меня важно одно: я на стороне моей сестры...»

Неизбежно возникает вопрос: а на чьей стороне может находиться тот, кто тоже не разделяет идеологии «красных бригад», но чьи брат или сестра не были террористами? Тем более — тот, у кого близкий человек был убит террористами?

Этим людям слово в фильме не предоставлено. Не прозвучало оно и в дискуссии вокруг фильма. А между тем их стоило бы выслушать.

В ходе зимней кампании против «красных бригад» в числе прочих документов, захваченных на конспиративных квартирах, была изъята и видеопленка с заснятым на ней убийством Роберто Печи — брата Патрицио Печи, одного из крупнейших лидеров «красных бригад», раскаявшегося, то есть «предателя». Сам Роберто никакого отношения к «красным бригадам» не имел и послужил лишь орудием отмщения в руках террористов.

Трагический рассказ его жены, Антонии Печи, журнал «Эспрессо» опубликовал летом 1981 года, когда еще была надежда на спасение. Антония вспоминает тот ужасный вечер, когда муж не вернулся домой, свои звонки в полицию, грубые шутки карабинера («Да он сейчас где-нибудь пиво пьет... Развлекается с другой красоткой»), поездку с кем-то из родственников по пустынному ночному городу,

«и — как если бы мы увидели кошмарный призрак, которого страшились,— брошенную, пустую машину Роберто. Я сразу поняла, что произошло».

Отчаяние и одиночество ожидающей ребенка женщины, наталкивающейся на глухую стену равнодушия, ее упрямая вера:

«Роберто должен вернуться. Я это знаю, он это знает. Мы ждем кого-то, мы заключили соглашение, которое Роберто не может нарушить. В декабре ребенок будет уже здесь».

Но в декабре Роберто был уже мертв, а в январе в журналах можно было видеть картину его казни: над головой его доска с надписью «Смерть предателям!», в полуметре от него — дуло автомата.

Когда смотришь на эту фотографию, когда читаешь рассказ Антонии Печи,— зная, что все это правда,— «J'accuse» фон Тротты не звучит убедительно: слишком сильно ощущается та боль, о которой умалчивает фильм.

И слишком сильно ощущается тот привкус самодовлеющего культа политических убийств, который связан с понятием «нечаевщины» и в свое время побудил Энгельса назвать Нечаева «форменным революционным людоедом».

«Равнодушие людей,— заметила Амбра Пири в своем интервью журналу «Эспрессо»,— давит теперь, как свинец».

Она говорила о равнодушии общества к террористам и их судьбам: родственникам трудно представить, что их любимые братья и сестры, сыновья — для кого-то просто убийцы, хотя они действительно убивали. Но какой же тяжестью должно давить равнодушное умолчание о тех, кто пал жертвой террористов, на их близких? В героическом мифе о терроризме, в плакатном образе «репрессивного общества» они ничего не значат. Принципиальное нежелание выслушать и даже заметить их, выказанное режиссером, делает неубедительной его «позицию сердца» и выступает скорее как прием, подкрепляющий весьма двусмысленную и уязвимую политическую оценку терроризма.

К. МЯЛО

Публицистика

ЧЕМ ЖИВ ПИСАТЕЛЬ

Французские зарисовки: интервью нашего специального корреспондента

ЕВГЕНИИ СТОЯНОВСКОЙ

Главное, чем одарило меня первое свидание с Францией,— встречи и беседы с писателями, которые живут и работают на ее прекрасной земле.

Примерно в двух десятках магнитофонных кассет спрессовано время, которое они столь великодушно и щедро смогли этим беседам уделить. На страницах, предлагаемых вниманию читателей журнала — им по праву это время принадлежит,— оно преобразовано в одиннадцать монологов, или, вернее, «диалогов от первого лица» — с ведущим за кадром — рассказ мастеров литературы наших дней о времени и о себе.

В сущности, рассказ этот можно было бы назвать новой главой повествования, шесть лет назад начатого автором данных строк на страницах «Иностранной литературы» венгерскими записями (в работе над ними и сложился тогда сам не вполне традиционный его жанр) и продолженного позже публикациями «Софийского дневника» и «Портрета в диалогах» литературы ГДР [1].

И здесь в центре внимания — личность писателя «с близкого расстояния»; внутренний его мир и мир внешний, в котором он живет и который питает его творчество; диалектика этих двух миров, их взаимодействие, взаимопроникновение в процессе творчества — начиная с того, что́ предшествует рождению замысла, и кончая жизнью произведения, вышедшего в свет,— судом читателей, критики, собственной оценкой его писателем с дистанции времени...

Первое слово — ровесникам века: Андре Вюрмсеру и Натали Саррот

Самый молодой в «Юманите»

Андре Вюрмсер

Что ж, пожалуй, начнем с вашего вопроса о том, Евгения, чем больше всего заняты последнее время мои мысли... Если бы вы задали мне его месяц назад, я ответил бы, что очень тревожит меня здоровье одной молодой особы, в которую я влюбился лет эдак шестьдесят назад. К счастью, сейчас она поправляется...

По правде сказать, главная причина моих тревог связана не с тем, что происходит теперь во Франции. Хотя политическая ситуация у нас крайне сложна, кое-что все-таки вполне обнадеживает. Во всяком случае, сегодня наши надежды можно сопоставлять со степенью нашей ответственности — высокой степенью. А вот с положением в мире дело обстоит, на мой взгляд, куда серьезнее.

Мы с вами привыкли повторять, что война вовсе не является фатальной неизбежностью. В принципе это верно. Но ведь и мир тоже не гарантированная данность, разве не так? Мне часто приходится слышать рассуждения некоторых моих товарищей-коммунистов, что нынешняя буржуазия уже не может, дескать, как прежде, видеть в войне средство выхода из кризиса. Признаться, я далеко не так убежден в этом, как они. Капитализму действительно сейчас труднее, чем прежде, рассчитывать, что самые тугие узлы развяжет война. Но легко ли ему примириться с неотвратимостью крушения своей системы? Вот в чем вопрос. Конечно, когда мы с вами осуждаем действия президента Рейгана, мы, безусловно, правы: мы рассуждаем с точки зрения здравого смысла, мы рассуждаем с точки зрения интересов

[1] См.: Евгения Стояновская. «Жизнь писателя — повесть об ответственности. (С магнитофоном в Будапеште)», «ИЛ», 1976, № 6; «Софийский дневник», «ИЛ», 1977, № 10, 11, 12. «Преображая время... (Литература ГДР, портрет в диалогах», «ИЛ», 1978, № 5 и 9 *(прим. ред.)*.

всего человечества. А с позиции капитализма, который зашел в тупик? Полезно ведь, дорогой мой друг, попробовать встать на его место — для трезвости взгляда, так сказать... На что способен капитализм решиться в нынешнем положении?

Я, например, этим тупиковым его положением объясняю явное распространение хаоса в мире. Я даже что-то вроде коллекции нынешних абсурдов завел. Ну в самом деле, не абсурден ли, если вдуматься, хотя бы тот факт, что самое могущественное государство капиталистического мира возглавляет сегодня киноактер, долгое время подвизавшийся на экране в амплуа ковбоев? Или что довольно грозным врагом империализма выглядит в наши дни религиозный фанатизм? Конечно, каждый из подобного рода казусов имеет конкретное объяснение, особую социально-историческую подоплеку, но связь их с тем, о чем я говорил, по-моему, легко обнаружить... Однако о парадоксах — между прочим...

Если же говорить всерьез, то действительной опасностью, угрожающей миру, я считаю нынешнюю эскалацию антисоветизма, в том числе и во Франции. Возможно, вы возразите мне: видали мы, дескать, и не такое. Да я и сам еще очень хорошо помню эдакую всклокоченную бородатую личность со свирепым взглядом и окровавленным ножом в зубах — так изображали у нас русских большевиков на стендах и плакатах 1919 года... И все же, мне кажется, никогда антисоветизм не носил такого упорного, такого злокачественного, что ли, характера, как сегодня. К несчастью, не так уж мало французов — и не одних только тупых мещан — силам нашей реакции удается подчас ввести в заблуждение, настроить против Советского Союза. Конечно, вина за это лежит на определенных кругах политиков правой ориентации, на их газетах, на телевидении, они, можно сказать, на голову встать готовы, чтобы представить Советский Союз сущим исчадием ада, к тому же чуть ли не потенциальным врагом Франции, ну, наподобие Германии в 1913 году — я тоже сам это время помню...

Однако почему же сейчас опять кто-то клюет на удочку антисоветизма? В чем тут дело?

Лично я не допускаю, чтобы французы всерьез могли поверить, будто Советский Союз угрожает независимости Европы, что они в самом деле боятся «советского военного вторжения» — я это исключаю,— ну разве какие-то единицы, и то вряд ли даже они примут за чистую монету эти версии. Несмотря на самую яростную пропаганду правых.

Я думаю, те, кому внушает страх Советский Союз, просто опасаются больших перемен. Известно ведь, что СССР — синоним, собственно, сам символ понятия «новый мир». А в людях вообще, хоть и в разной мере, довольно часто уживаются два противоположных чувства — стремление к переменам и страх перед ними. Я знаю многих, кто видит необходимость изменить общество, хотя с трудом представляет себе, как лично он расстанется со старым укладом. Вот так и сосуществуют в наши дни: с одной стороны, смутное ощущение, что какой-то этап, эпоха исчерпали себя, что конец его — вот он, уже виден, и с другой — тревога: а что принесет с собой новое взамен привычного? И потому я еще раз вернусь к одному из парадоксов нашей действительности: набрав меньшее, чем ожидалось, количество голосов на выборах, французские коммунисты едва ли не благодаря этому вошли в состав правительства. ФКП не добирает голоса на кантональных выборах, а между тем ее идеи на наших глазах привлекают все больше сторонников... Страх перед социализмом и в то же время мечты, пусть не всегда осознанные, о социализме — вот диалектика нынешних дней. А вообще, как же быстро шагает история! Подумайте, Евгения, ведь когда мне исполнилось пятнадцать, даже восемнадцать лет, среди европейских государств было всего-навсего две республики — Франция и Швейцария — и ни одного социалистического государства! А ведь при этом в годы первой пятилетки мы (я имею в виду свое поколение) считали — я вижу в этом нашу ошибку,— что история, как ни быстро она идет, может, нет, должна идти еще быстрее, нестись, словно ветер. Стоит, например, только представить себе, сколько столетий понадобилось для того, чтобы в мире утвердили себя христианская религия и католическая церковь, и что, собственно, произошло при этом? Всего лишь замена многих богов одним, хоть и в трех лицах! Можно ли сравнить масштабы этой перемены с неслыханным поворотом, выходом человечества к социализму, на путь, которого никто и не ведал до тех поры?

А ведь нам казалось тогда вполне естественным ожидать, что этот строй может достигнуть совершенства на протяжении жизни всего лишь одного поколения, превратиться в норму для целого мира меньше чем за один век! Мы были наивны, дорогой друг, сомнений нет. Правда, с другой стороны, без такой «наивности» — мы с вами хорошо знаем и это — продвинулась бы настолько вперед история? Вы скажете, что это уже прошлое... Что ж, верно. Да, такому романтическому — так бы я его назвал — нетерпению мы не раз отдавали дань именно в прошлом, а сейчас мы с вами толкуем о днях нынешних. Все верно...

Так вот, корень н ы н е ш н е г о драматизма, если позволено так выразиться, я вижу во все увеличивающемся разрыве между темпами прогресса внешнего мира и эволюции духовного мира человека. Наука движется вперед гораздо быстрее человека. Капитализм катится к закату быстрее, чем растет политическое сознание его жертв. И в то

самое время, как усугубляются его трудности и близится его гибель, он еще более цепко держится за власть над душами людей, над сознанием, которое, не забывайте этого, сам же формировал! Разве когда-нибудь прежде мы испытывали такой грубый нажим прессы, разве современные средства массовой информации — радио и телевидение — оказывали когда-нибудь столь сильное воздействие на умы, как сейчас? И вот один из результатов: никогда прежде информация не доходила до людей до такой степени искаженной, фальсифицированной.

И что же в конечном итоге, вы спрашиваете? А то, что концепцию мира и истории сегодня, оказывается, невероятно трудно в истинном ее виде утвердить в сознании довольно большого еще числа людей. Иначе говоря, никогда прежде коммунизм не был таким могущественным, а антикоммунизм таким упорным, как сегодня. Вот вам ответ на ваши вопросы о том, какие мысли занимают сегодня меня — писателя, коммуниста, журналиста, партийца-бойца, которого называют старым под тем пустячным предлогом, что ему 83 года.

А ведь это еще как посмотреть, уверяю вас! Вот, говорят про меня: старейшина «Юманите»... Не значит ли это всего лишь, что я дольше всех в «Юманите» сохраняю молодость? Так, во всяком случае, до поры до времени сам я склонен еще полагать.

Реализую ли я себя сполна как творческую личность, выступая партийным журналистом? Как вы знаете, вот уже более тридцати лет я ежедневно пишу свои публицистические заметки — комментарии к текущим событиям для «Юманите»... Друзья иногда спрашивают меня, как мне удается каждый день находить сюжет для очередного выступления, словно каждый день не приносит нам повода для негодования или раздумья! Словно это не естественная форма существования, самовыражения того, кто соединяет в одном лице публициста, писателя, активного деятеля партии... С тех пор как я стал коммунистом, я опубликовал немало книг. Журналистика, писательство были для меня лучшей, самой действенной формой борьбы. Скажите, чем стала бы моя жизнь, если бы я прекратил служить своему делу? Конечно, не так уж трудно представить себе тот день — приходится мириться с этой мыслью,— когда «Юманите» вынуждена будет обходиться и без Андре Вюрмсера. Но представить себе Андре Вюрмсера, который продолжал бы жить, но прекратил сражаться с антикоммунизмом, просто немыслимо, во всяком случае сам я этого вообразить не в состоянии.

Путь мой в литературу? Я бы сказал, что уже в возрасте восьми лет я был поэтом, очень плохим, разумеется, но все-таки поэтом. Моих родителей — они были прекрасными людьми, но весьма далекими от сферы культуры — просто в ужас приводила мечта сына стать писателем. Но не только их сопротивление оказалось преградой. Во мне самом боролись стремление к профессии литератора (впрочем, какая же это профессия: во Франции так мало писателей, живущих литературой!) и необходимость зарабатывать — я вырос в неимущей семье. Да, нужно было избрать для себя такое ремесло, которое оставляло бы достаточно досуга для писательской работы. Став коммунистом, я нашел выход.

Как это было? Помню февраль 1934 года. Гитлер уже год находился у власти, во Франции предпринимались попытки фашистского переворота. Я был тогда одним из секретарей антифашистского комитета французских деятелей науки и культуры. Секретарей было четверо: коммунист, социалист, радикал и беспартийный. Беспартийным был я. Мне, в ту пору политически совершенно неграмотному, довелось присутствовать на всех заседаниях комитета, они проводились у Поля Ланжевена, выдающегося ученого, который умер коммунистом,— в тот период, о котором я вам рассказываю, он тоже еще не вступил в ФКП. При всей своей политической наивности я был достаточно честен, чтобы признать: правы те, кто был действительно прав. Не от меня зависело, что всякий раз ими оказывались коммунисты.

После того как я это понял, прочувствовал, осознал, не вступить в коммунистическую партию было бы просто подлостью с моей стороны! Да и что во мне могло этому противиться? Признавать их правоту и не встать на их сторону — это был бы не я. Конечно, отсюда вовсе не обязательно вытекало — ведь верно? — что мне потом доведется работать в стольких направлениях сразу: ежедневный комментарий, еженедельный критический обзор в «Юманите» — это требует много времени,— и мои собственные книги. Пожалуй, скорее из скромности я отвожу книгам третье место — конечно, в них полнее всего выражаешь себя.

В какой мере присутствует политика в моих книгах? В той мере, в какой я один человек, а не два. По правде говоря, я принадлежу к тем людям, кто считает, что не существует двух разных писательских ипостасей. Перо у меня одно. Романиста и журналиста волнует одно и то же, и тот и другой прежде всего стремится к ясности. Не знаю, как отзовется бóльшая часть нашей критики на мою последнюю книгу [1] — она выйдет в свет в следующем месяце,— не исключено, что и обойдет молчанием.

Правда, тут вряд ли стоит огорчаться: как коммунист я не вижу оснований рассчитывать, что классовая борьба в обозримом будущем утихнет и в области литературной критики... Тем более что до выхода в свет книги я успею еще напечатать около тридцати ежедневных своих заметок и прекрасно знаю, как их воспримут те, для кого, собственно, я их пишу, мои единомышленники. Вы даже

[1] Речь идет о третьем сборнике новелл А. Вюрмсера «Калейдоскоп» *(здесь и далее прим. Е. Стояновской).*

не представляете себе, как я дорожу письмами, откликами читателей, какую поддержку они мне приносят. Одобрение, солидарность товарищей — гордость моей жизни, и это вовсе не громкие слова, поверьте... Их братские чувства намного перевешивают для меня заведомую враждебность противников. В общем, в своей личной судьбе я вижу итог жизни каждого коммуниста на склоне дней: любой из нас, я думаю, готов был бы подписаться под словами Габриэля Пери: «Если бы нужно было начать сначала, я вновь избрал бы тот же путь...»

Этапы творческой биографии... В возрасте девятнадцати лет я встретился с личностью, оказавшей на меня такое влияние, что оно определило около двадцати последующих лет моей жизни,— я говорю о Бальзаке. Да, о книгах Оноре де Бальзака. В молодые годы меня более всего влекли те стороны в творчестве отца критического реализма, на которые обычно обращало внимание большинство его исследователей. В конце войны я вновь перечитал романы Бальзака, и на этот раз взгляд коммуниста позволил какие-то акценты расставить немного по-новому. Возможно, это очень нескромно с моей стороны, впрочем, что же делать, если я считаю, что передо мной открылась тогда главная пружина творчества Бальзака, которой авторы современных критических работ о нем, по крайней мере многие из них, не придавали решающего значения... Ведь марксистская библиография Бальзака насчитывает не так уж много названий!

Итак, самое существенное, что передо мной открылось: если устранить из романов Бальзака мотив денег, все гигантское сооружение рухнет; главным элементом «Человеческой комедии» было то, что сам Бальзак называл восходящим движением денег. И когда я выпустил свою объемистую книгу, внушительный том (в самом деле, целый килограмм весит моя «Бесчеловечная комедия»!), критики не знали, как реагировать. Меня упрекали в том, что я одновременно и принизил Бальзака, и узурпировал его в пользу коммунистической партии. И в том, и в другом. На деле же, как мне кажется, все совершенно ясно. Я вовсе не претендовал на какую-то особо оригинальную или хитроумную интерпретацию Бальзака. Просто я показал, по крайней мере хотел показать, в чем вижу истинную суть «Человеческой комедии»...

Что сказать о моих мемуарах... «Преданно ваш» называются они... Все очень логично: почти каждый, кому посчастливилось достигнуть преклонных лет, часто убеждается с грустью, что в силу случая, везенья, жизненных обстоятельств он, когда многие его сверстники ушли из жизни, остается единственным или почти единственным свидетелем каких-то важных событий, о которых история ничего не узнает, если они тем или иным образом не выплывут на поверхность. Одна из главных причин, побуждающих людей писать воспоминания,— не дать умереть тому, что хранится в их памяти. У меня же был и другой мотив: я хотел рассказать, на этот раз уже не в беллетризированной форме (как в цикле моих романов под заглавием «Человек приходит в мир»), о человеке, входящем в мир. Я хотел поделиться тем, что помню, но не в форме романа, не опосредованно, а прямо — так, как происходило в действительности; мне хотелось поведать о долгом пути к истине скромного буржуа-интеллигента, писателя по призванию и коммуниста в силу природной честности. К тому же действие моих романов заканчивается к 1934 году, в то время как мемуары написаны 45 годами позже, да, почти на целых полвека позже...

Вы просите поделиться моими мыслями о современной французской литературе, о настроениях молодежи... Отвечу на эти вопросы совсем кратко.

В сегодняшней Франции появляется немало книг — среди их авторов немало талантливых писателей,— которые отворачиваются от человека, от истории. Появление этих книг трудно объяснить, не принимая в расчет растерянности, распада, разорванности окружающего мира, отсутствия в нем реальной перспективы для людей. И тут я предостерег бы от прямолинейных осуждений с порога такого рода литературы — на этом пути, если речь идет, конечно, о настоящей литературе, а не о поделках, легко было бы впасть в фарисейство или конформизм. Не могу сказать, что эта литература близка мне по духу, что она мне особенно нравится или что я понимаю ее лучше, чем литературу реалистическую. Но как критик и читатель, я всякий раз опасаюсь упустить из виду, что не всегда виновен автор, если художественное произведение кажется непонятным,— иной раз мысли его в самом деле недостает ясности, но может статься, что и читатель не проявил подчас достаточной настроенности на понимание. Не следует забывать и такую особенность шедевров — от «Эрнани» (и конечно, задолго до «Эрнани») до наших дней, что, помимо всего прочего, их миссия — взрывать воображение. Разве не ставят иной раз поначалу в тупик критиков и ценителей некоторые шедевры искусства социалистического мира?..

Что касается молодежи, я указал бы на два типа наших нынешних о ней суждений. Одни, говоря о молодых, захлебываются от восторга, словно быть двадцатилетним означает обладать какой-то особой добродетелью; другие нападают на молодежь с обвинениями, как будто первейший ее долг — в точности воспроизвести модель юности предшествующих поколений. По-моему, не следует ни восхвалять ее, ни осуждать. Нужно понять условия, в которые она поставлена. Конечно, безработица, невозможность найти применение своим способностям и знаниям подавляют молодежь капиталистического мира. И хотя судьба безработных сегодня все же несколько иная, чем в тридцатые годы, хотя нынешнее общество больше озабочено их положе-

нием порой трагической безысходности,— в каких-то формах материальная поддержка начинает понемногу осуществляться,— морально они унижены и растеряны не меньше, чем в прежние времена. Некоторые молодые люди стремятся получить как можно больше дипломов, зная в то же время, что никаких гарантий на работу по специальности они не обещают. Так стоит ли удивляться, что нынешняя молодежь нередко лишена твердых принципов, что ее нравы, привычки, реакции часто столь неразумны... Общество должно быть построено на разумных началах, тогда и молодежь стала бы разумнее...

Расслышать голос подсознания

Натали Саррот

Тревожит больше всего личное — старость, хотя я до сих пор стараюсь думать, что меня это не касается, что это видят только другие, ну и смерть, конечно,— не столько даже сама смерть, сколько то, к а к все произойдет. Недаром говорят, когда мы молоды, наше тело наш друг, когда стареем, оно становится нашим врагом. Вот волей-неволей и прислушиваешься к нему: не отсюда ли э т о подбирается или, может быть, оттуда... Войти-то очень легко, а вот выйти трудно (с м е е т с я). Потому и думаешь, с каким трудом придется уходить, насколько это будет болезненно,— словом, чувство, которого я никогда прежде не испытывала, даже, может быть, еще пять-шесть лет назад, новое какое-то чувство... Вдобавок боишься за ближних, за друзей, кто одних с тобой лет,— звонишь им и каждый раз опасаешься услышать траурную весть. Это внутреннее беспокойство, конечно, очень тяжелая вещь, подспудный этот страх перед тем, что неминуемо должно произойти, почти никогда не покидает...

В работе я этого пока не чувствую. Часто говорят: надо торопиться, спешить закончить то, что задумано. Я разницы за письменным столом пока еще не ощущаю — писать мне так же трудно, как было и в тридцать пять и в сорок лет. Перед новой страницей словно все начинаешь сначала, никогда не знаешь, что получится, как получится, всегда думаешь, что все будет, конечно, плохо,— словом, так же, как пятьдесят лет назад. Так что в этом отношении особенных перемен вроде бы и нет — каждая книга всегда требует чего-то такого, чего ты прежде не писал, не делал, чего-то для тебя нового...

Повторяю, старость видна со стороны, сам человек инстинктивно отодвигает от себя это сознание, даже когда он болен... Недавно у меня оперировали катаракту — конечно, я знаю, что это болезнь старости, но внутренне воспринимала операцию так, как если бы мне нужно было что-то снять с глаза в двадцать пять лет (с м е е т с я). В этом смысле я похожа на свою мать. Когда ей было уже восемьдесят семь лет, приходит однажды — она еще хуже меня была, жила словно вне всякой реальности — и спрашивает: что, разве я сегодня так плохо выгляжу? — Нет, почему? — А потому что в автобусе мне одна дама уступила место (с м е е т с я). Я в этом смысле на нее очень похожа...

Считается, что художники с возрастом обретают то, что по-французски называют «métier», знание ремесла, позволяющее в профессиональном отношении чувствовать себя уверенно. К писателям, по-моему, это чувство не приходит, они всегда начинающие. Или, может быть, только ко мне оно не пришло, не знаю. Во всяком случае, уверенной в успехе я никогда себя не чувствовала. Каждый раз все-таки форма немножко другая, чем в предыдущих книгах, и потому снова и снова чувствуешь себя перед какой-то бездной, словно надо прыгнуть во что-то неизвестное, и прыгнуть можно так, что сломаешь себе спину...

Что сейчас пишу? Воспоминания раннего детства — в форме мозаики из отдельных мазков, «вспышек», «flash» по-французски, зарисованных мгновений того, что я действительно помню, что чувствовала. Это не обстоятельное автобиографическое повествование, не подробный рассказ о детстве с описаниями людей и так далее — просто минуты, которые отпечатались в сознании, начиная с самых первых — с пробуждения сознания и кончая двенадцатью годами, потом, по-моему, детство кончается, я не люблю писать о себе, то есть рассказывать о себе взрослой.

Вы спрашиваете, что в этой работе принципиально нового для меня? Главное — тут опираешься только на то, что было в самом деле. Обыкновенно я, как и все писатели, воспроизводила и то, что могло бы иметь место, что я где-то, как-то уловила или почувствовала или почувствовала, что другие чувствуют, а тут совершенно исключаю все, что не было мною пережито в действительности. Стараюсь ни на йоту от этого не отклоняться... Почему так жестко? Мне кажется, почти все воспоминания детства на три четверти выдуманы, вот и борешься постоянно с желанием что-то такое присочинить, прибавить, чтобы так вышло правдоподобнее или лучше. Приходится строго следить за собой: нет, это ты прибавила, этого не нужно, оставить только ощущения, которые были моими в реальной жизни,— что происходило, скажем, когда я гуляла в Люксембургском саду...

Очень сложно воспроизводить эти воспоминания — они как бы сплетены из двух потоков жизни. первые два года — конечно, о них я ничего не помню — прошли в России, в Иванове (тогда Иваново-Вознесенск). Когда мне исполнилось два года, меня перевезли в Париж, первые воспоминания относятся к этой поре, первым моим языком был французский...

Потом, между пятью и восемью годами, опять Россия, уже Петербург — тоже очень детские воспоминания, конечно. Потом опять Париж. Вдобавок, когда я жила с матерью в Париже — она к тому времени разошлась с отцом, он остался в Иванове.— два раза в год она посылала меня на месяц к нему в Иваново... Так что остались еще воспоминания о доме, о зиме в Иваново в начале века в переплетении с тем, что помнится о Париже...

Между прочим, одно из очень сильных петербургских впечатлений — книга «Ледяной дом» Лажечникова. Какое-то замечательное, волшебное, совершенно божественное ощущение оставило в памяти чтение этой книги, связанной с русской зимой, со льдом. Когда я недавно очередной раз побывала в Советском Союзе, обратилась к кому-то из знакомых: «Ах, если б мне опять подержать эту книгу в руках!» И вот, представьте, достали мне «Ледяной дом», открываю — такие там ужасы, просто мороз по коже, издевательства, пытки... Неужели шести-семилетний ребенок мог упиваться всеми этими кошмарами? — спрашивала я себя. Оказалось, существовал вариант этой книги, специально предназначенный для детей, он и попал, видимо, в мои руки тогда, оставив на всю жизнь ностальгию по чему-то сказочному...

В какой стадии моя книга? Окончательно написаны 165 страниц, будет еще — ну, может быть, страниц 75 или 100...

Самая последняя из законченных работ? Недавно вышла моя короткая пьеса, вернее, диалог; в ней только два действующих лица — он и она... Знаете, начиная с 1965 года я после каждого романа пишу обыкновенно пьесу — для меня это передышка, что-то полегче, чем роман... И вот, закончив «L'usage de la parole» [1], я снова написала пьесу — это уже шестая, не так давно ее передавали по радио... Правда, бывало и так, что вслед за романом появлялась теоретическая работа, их тоже написано довольно много. Тут уже не в порядке передышки, тут другие причины...

Видите ли, в смысле литературном — вы это, конечно, знаете — я всегда была очень одинока. Книги мои очень, очень долго решительно никого не интересовали. Первая вышла в 39-м году и почти абсолютно никаких откликов не вызвала. А вскоре началась война. Для второй книги — дело было уже после войны — тоже очень трудно было найти издателя несмотря на то, что Сартр тогда написал к ней предисловие. Издатели — все подряд — отказывали, говорили, что ни слова в «Тропизмах» моих нельзя понять, что все это сумасбродство, чушь, бред...

И вот, оказавшись в таком одиночестве, я стала допрашивать себя: в чем же причина, почему я не могу писать так, как пишут все? То есть ввести в повествование настоящих персонажей, описывать их, давать им, как полагается, имена, почему это мешает тому, что я хочу выразить? Вот тогда и увидели свет теоретические эссе с изложением моего творческого кредо. Когда в 1956 году вышла книга этих моих эссе [1], впервые то, что я делаю, заинтересовало критиков. Да, вероятно, пришел такой момент, когда это стало соответствовать чему-то, в чем литература ощутила подспудно зревшую потребность. Во всяком случае с тех пор, собственно, и началась история нашего с Роб-Грийе «нового романа». О нем много писали, спорили, кричали...

Только не подумайте, пожалуйста, что я когда-либо писала свои вещи для того, чтобы выразить эти теории. Пишу я всегда то, что чувствую. Если бы я видела необходимость в этом, конечно, мне было бы удобнее давать персонажам имена, описывать их — прежде, чем отказаться, я это пробовала делать. Суть вовсе не в том, что я решила, надо, чтобы это был модерн,— так я совершенно не могла бы работать... В книге, над которой я сейчас тружусь, когда нужно назвать именем мою мачеху — я ее называю... А раньше имена мне мешали, потому что моей целью было занять позицию где-то, где имен нет...

Когда я думаю о своей дочери, когда вы думаете о том, кого вы знаете, мысленно вы ведь не произносите никакого имени — просто каким-то чутьем, каким-то образом представляете себе это лицо, оно возникает перед вашим мысленным взором как бы безымянным. Имя я употребляю, когда я должна кому-нибудь о ком-то говорить. Появление кого-то, кого я знаю, каждый раз — в разных формах — вызывает представление «промелькнувшего» образа — я нахожу, что это представление более реалистично, если принять в расчет то, что я хочу показать именно эти внутренние движения психики. И потому, когда я пробовала давать имена, то сразу оказывалась снаружи, вне объекта своего наблюдения. Мне это мешало — мешало показать изнутри психические движения, которые я стремлюсь запечатлеть.

И для своей работы я принуждена была от имен отказаться. Но, повторяю, я вовсе не считаю, что все должны следовать моему примеру. Здесь у нас потом эта манера вошла в моду, молодые писатели стали нередко ее копировать, в то время как это не только не вызывалось никакой необходимостью, но лишь раздражало, выглядело претенциозно, смешно.

Я отлично понимаю, что можно создавать прекрасную литературу в манере во всех отношениях традиционной, все зависит от подхода, от характера задачи, которую ставит перед собой писатель, изображая внутреннюю жизнь героя...

Но я вернусь к своим терзаниям начальной поры. Помню, я даже, кажется, уже думала тогда, что никогда не буду писать, никогда не найду своей собственной, только мне присущей формы, чего-то своего, индивидуального, что именно

[1] Употребление слова *(франц.)*.

[1] Речь идет о манифесте «Эра подозренья».

мне хотелось бы выразить. И первая моя книга родилась из этой жгучей потребности. Так, как это бывает в молодости, хотя на самом деле я была совсем уже немолода. мне уже было далеко за тридцать, но в молодости так пишут первые стихи — просто под влиянием сильного чувства...

Так увидел свет мой первый фрагмент зарисовок внутреннего психического движения. Потом он вошел в книгу «Тропизмы», о которой я упоминала.

Рассказать подробнее о главном, что меня интересует? Я слежу за тем внутренним движением, которое, к примеру, побуждает человека, впервые оказавшегося в обществе другого человека, много говорить. Он даже не может остановиться, словно его что-то толкает... Я пробовала выразить это в рифме, в ритме фраз, в образах, которыми старалась передать чувство, иногда заставляющее нас вести себя не так, как мы бы хотели. Как будто что-то повелительное со стороны того, рядом с кем вы оказались, диктует вам эту реакцию, несмотря на то, что он вам ничего не говорит — сидит напротив вас и молчит, а вы вдруг ни с того ни с сего начинаете либо слишком возбужденно, поспешно говорить, либо произносить вещи, которые вам, быть может, не следовало бы ему сообщать, и все это оттого, что от него исходит н е ч т о, какое-то излучение, которое вас заряжает,— то ли вы инстинктивно стремитесь добиться его расположения, то ли чего-то в нем опасаетесь и вроде бы заискиваете перед ним, почему-то хотите его задобрить.

То есть речь идет о внутренней потребности, вызванной чем-то не вполне постижимым, о чем никто никогда не говорит,— о том, что свершается в отношениях людей на уровне подсознания. Правда, ведь нередко бывает так, что, встретив кого-то для тебя нового, «другого», потом, после встречи, испытываешь смутное недовольство собой, как будто ты держал себя не так, как должен был, или говорил не то — почему, самому не ясно,— тот вроде ничего от тебя не требовал, а ты принялся лихорадочно ему о себе рассказывать или о своих ближних, к тому же то, что вообще никому знать не полагалось. Почему, отчего ты «расстилался» перед ним, сам не знаешь... Вот такого рода состояния мне было интересно прослеживать в движении, находить для их воплощения средства и слова.

Потому что, мне кажется, самого по себе этого феномена в литературе никогда не показывали. В каком-то смысле он оставался как некая «вещь в себе», литературой необследованным,— я говорю о тех случаях, когда принципиального значения не имеет, с кем это происходит, какой их возраст, чем они занимаются, кто они — мужчины или женщины... В пьесе-диалоге, о которой мы говорили, недавно законченной, я избрала мужчину и женщину, чтобы отличить — «он» и «она», исследуя то, что происходит между двумя сознаниями, или, вернее, подсознаниями, воплощая результаты своего поиска в слова...

Мораль? Она к этому отношения не имеет. Это не сфера осознанной воли, это вне моей воли, это не то, что я могу остановить или изменить.

Вы только представьте себе конкретную ситуацию: кто-то мне что-то сказал, и я чувствую, что я краснею,— ничто в мире не может отменить тот факт, что я покраснела. Значит, во мне что-то такое произошло, что заставило меня покраснеть. Для меня, как писателя, это отправная точка для исследования — что в этом было? — именно за это я, как говорится, и зацеплюсь. Причем мне всегда нужно, чтобы внешне ситуация выглядела совершенно лишенной значения: ничего не произошло, и почему-то я покраснела, когда услышала эти слова,— реакция эта абсолютно вне моей воли...

Вы спрашиваете, в каком пункте все-таки пересекаются проблемы морали, нравственности и задачи художника, искусства? Я думаю, главная особенность искусства в том, что оно увеличивает объем того мира, в котором мы живем. Благодаря тому, что мы читаем, мы знаем больше, чем знали бы, если бы не читали. В этом смысле можно сказать, что настоящее искусство всегда морально, всегда нравственно, всегда несет в себе некое послание людям.

Целый мир Пруста или Кафки был бы для меня совершенно неизвестен, не прочти я их книги. Теперь это уже часть моего мира. Или мир Чехова... Чехов, конечно, показывает, как все плохо вокруг, но ведь он никогда не судит, он просто показывает. Вот я сейчас перечитывала его — ну, что? Мы видим, как безрадостно все, ничто, ни одно чувство не обещает счастья, включая любовь, разве что когда-нибудь, лет через триста. Идеал его мы, конечно, видим, но «уроков» нет...

Меня часто спрашивают: почему вы всегда показываете момент, заключающий в себе неприятное, а не наоборот. Но ведь «неприятное» — это своего рода катализатор, как в химии, что ли... И не напоминают ли эти претензии вопросы типа: «Почему вы пишете трагедии, где всех убивают,— так в жизни не случается»...

Я действительно выбираю моменты, когда что-то неизвестное, непонятное происходит, неладное что-то. Если все хорошо и ладно, то вряд ли стоит на этом особенно задерживаться — для меня, во всяком случае, это так, хотя, бывает, описываешь моменты и очень счастливые. Когда же речь идет о чем-то тяжелом, не хочется усугублять ощущение трагизма — это было бы довольно легко сделать, но нажимать на эти педали я избегаю. Главный мой интерес, скажем, в той вещи, над которой я работаю сейчас и с которой мы начали разговор,— показать на уровне моих «тропизмов», что чувствует ребенок... Мне кажется — я возвращаюсь к вашему вопросу о том, что нового может открыть эта вещь в моем подходе к литературе,— что фактура распространенных

рассуждений о детстве построена, как я говорила уже, на желании описать все с позиции взрослого. Я же принципиально отказываюсь конструировать что-либо, просто хочу воспроизвести то, что ощущала ребенком в такой-то момент. В конце концов, очевидно, можно будет сделать какие-то выводы и о характере среды, и отдельных людей, но это не то, чего я добиваюсь прежде всего,— ведь самато я в детстве этого не чувствовала, понимаете...

Что я думаю о современной политической атмосфере в мире?

Конечно, для нас, для наших детей и внуков было бы хорошо, если бы не было никаких атомных бомб. Ведь никогда нельзя знать, у кого, в каких руках они могут очутиться, какой безумец может когда-нибудь нажать на кнопку. Конечно, хотелось бы, чтобы они вообще не существовали и чтобы люди жили мирно — это ясно. Сейчас все, конечно, в тревоге за судьбы человечества — дошло уж до того, что обсуждается возможность уничтожения части человечества, как «не самая страшная...». И в этом я, как и все. могу только желать того, что каждый разумный человек желает,— то есть мира, мирной жизни всем народам, всеобщего взаимопонимания.

Как отношусь к нынешним средствам массовой информации? Ужасно, что по телевидению постоянно показывают убийства, избиения так, как будто речь идет о какой-то норме. И смотрят на это мальчуганы, которые начинают воспринимать эти кадры чуть ли не как образец мужества, доблести. Это действительно ужасно. И в то же время благая его роль, конечно, тоже очень велика: людям, которые, например, безвылазно живут в деревнях, оно каждый вечер открывает совершенно новый мир, они видят, что происходит в самых разных концах света... Недавно вот показывали, как играют в Китае французскую оперу «Кармен» — европейская музыка для них невероятно далекой, наверно, кажется,— и рабочий, и крестьянин, у которых нет возможности путешествовать, нет времени на самообразование, переносится вдруг за эти кулисы китайского театра, где все для него выглядит неправдоподобным... Но, повторяю, очень часто включишь экран и буквально содрогаешься: кровь льется рекой, а бандиты представлены какими-то героями. Видимо, те, от кого зависят все эти программы, боятся, что без допингов подобного рода зрителей вообще не заинтересуешь, что они просто будут выключать приемник. Не так давно раздавались с экрана упреки по поводу скучных программ, «профессорских комментариев»: постоянное противоречие это пока никак не получит у нас разрешения. С одной стороны, в последнее время явно обозначились новые тенденции. Миттеран, видимо, многое хочет изменить в этой системе, поднять уровень культуры нашего телевидения, с другой стороны, есть опасение засушить программы; «слишком много культуры!», «люди засыпают», раздаются уже и такие голоса — реакция на появление ряда серьезных программ с комментариями ученых, историков, деятелей культуры. Конечно, нужны и хорошие, развлекательные передачи, и мюзик-холл, и варьете — только не такие, от которых люди глупеют, тупеют, ожесточаются...

Контакты культур... Конечно, они всех делают богаче. Хотя осуществить их не всегда просто. Вот я назвала вам передачу из Китая. Прежде чем показать «Кармен», они играли свою собственную старинную традиционную оперу, и она была так удивительна и так прекрасна, столько в ней было чего-то для нас совершенно незнакомого, трудно понятного и вместе с тем сказочно-прекрасного. Правда, еще одна опера, не такая замечательная, как «Кармен»,— я имею в виду европейскую оперу — вызывала в их старательном исполнении даже что-то вроде досады, хотя и здесь были и добрая воля, и желание приобщиться к другой культуре, таким образом, познакомиться с ней ближе. Но тут мы не могли ответить взаимностью — по-настоящему играть китайские оперы, сделать их своими мы не способны. И все же всякие контакты в сфере культуры, конечно, большое благо. Очень это важно, мне кажется,— ближе узнавать друг друга...

Женский портрет в интерьере

Мадлен Риффо

Главная моя забота сейчас — писать. Вы скажете, что это всегда было моей главной заботой. Я могла бы согласиться с вами. Конечно же, это всегда было моей главной заботой. Однако теперь я ощущаю ее по-иному. Когда я была... Мне придется вернуться чуть ли не ко дням детства — простите, если это покажется вам не очень интересным.

Я родилась в полном смысле слова среди книг, точнее, букварей, потому что мои родители были простыми сельскими учителями, и, когда я научилась ходить, мать не знала, на кого меня оставить, а потому брала с собой в школу, и, сидя сзади у стены, я слушала все уроки вместе с крестьянскими детьми... Атмосфера была совсем как в «Большом Мольне» Алена Фурнье, и вот так я сама, без всякой посторонней помощи, научилась читать. И тут возникла трудность: я скрывала от матери, что умею читать и писать: очень хотелось ходить в класс, как большой, с ранцем и в школьной форме, чтобы быть полноправной ученицей, а не малышкой, которая смотрит со стороны, как ее мама учит детей. Вот я и боялась признаться, что уже умею читать. Я думала: вдруг меня совсем не возьмут в школу? В общем, пыталась свои познания скрывать, хотя выучилась читать очень быстро:

повторяю, я родилась, можно сказать, в школе...

Но учиться пришлось недолго — началась война... В школе я особенно себя не утруждала, ученицей была посредственной: ленилась, историей и географией не занималась совершенно, математикой и подавно, не говоря уж о химии, физике и тому подобных предметах. Правда, по родному языку я всегда была первой — без малейших усилий — и благодаря сочинениям все-таки более или менее соответствовала ужасному положению «дочери нашей мадам». Ведь ученики называют учительниц «мадам», вот я и стала «дочкой мадам». Сейчас я пишу небольшую книгу о своем детстве, и, разумеется, назову ее «Дочка мадам». Собственно, тогда я и начала писать. Сочиняла стихи, но никому их не показывала, ото всех прятала, но твердо решила, что стану писательницей. Ну, о дальнейшем расскажу коротко.

Началась фашистская оккупация. Я стала партизанкой, попала в тюрьму к нацистам. Впрочем, друзья в Советском Союзе должны знать мою историю — о ней у вас писали, в частности Борис Полевой. Когда я сидела в тюрьме, приговоренная к смерти — было в моей жизни и такое,— писала стихи на стенах камеры. Хотела запечатлеть в этих стихах свою последнюю волю. Позже некоторые из них были опубликованы в сборнике «Конь красный», если не ошибаюсь, частично его перевели в Советском Союзе...

Поль Элюар, с которым меня свела судьба, первый сказал, что мне надо быть писательницей. Но так просто писателями не становятся. Писательство для меня — очень трудная борьба с самой собой, можно сказать, борьба всей моей жизни. Я разрываюсь, то есть я разрывалась, да и теперь еще тоже отчасти разрываюсь между письменным столом и необходимостью отдавать все силы в качестве рядового участника борьбы за изменение нашего общества, за то, чтобы Франция могла строить подлинно социалистическое общество... Вот я и разрывалась... Когда кончилась мировая война, я заняла свое место среди борцов против колониализма. Мы не хотели, чтобы Франция угнетала другие страны: ведь для себя мы желали свободы! И потому не соглашались отнимать ее у других. Во всяком случае, народ не соглашался. И я считала себя мобилизованной, как журналистка сражалась за дело рабочего класса. Быть журналисткой и быть писателем — далеко не одно и то же. Пришлось, как говорил Маяковский, стать на горло собственной песне. Довольно решительно я подавляла в себе писателя, чтобы он не мешал журналисту-борцу. Вот вам и вся моя жизнь — с конца мировой войны и до последних двух лет...

Книги, которые мне удалось написать, все были на грани репортажа. Настоящий репортер всегда ощущает бессилие слов. Я бы сказала, что он все время мучается, если любит свое призвание, особенно если любит людей. Я бы даже сказала, если он коммунист. Есть, конечно, и другие. Я вовсе не хочу сказать, что некоммунист не может быть хорошим репортером. Хочу только повторить, что я-то, во всяком случае, прежде всего коммунистка.

Да, я сказала, что репортер всегда мучается. Почему? Когда я была в Индокитае, во Вьетнаме, в Алжире, каждый день приносил мне тысячи впечатлений. Я могла бы рассказать множество историй о людях, которых встречала там во время работы. Но моей обязанностью было передать вечером для «Юманите» ровно сто пятьдесят строк — ни одной больше, сообщить, что в такой-то день и час было столько-то бомбардировок, столько-то раненых. И точка! Vsio khoroch o! Правда, я сохраняла записи о встреченных мной людях, о детях. Но, конечно же, у репортера в вихре событий почти никогда не находится времени, чтобы из этих отрывочных заметок, бессвязных записей создать книгу. Вот почему он так часто чувствует свое бессилие, мучается...

Вот так и шла моя жизнь, ну а потом я тяжело заболела, очень тяжело, после того как написала «Ночное белье» — у вас печатались фрагменты из этой книги [1].

Вы хотите, чтобы я сказала о ней несколько слов? Почему я написала «Ночное белье»? И почему стала потом тем, кем стала? Потому что за тридцать лет, пока я была прежде всего репортером, я превратилась... Не знаю, как это выразить... Читатели, даже благожелательные, стали относиться ко мне определенным образом. Правда, с большой симпатией. Но они говорили: Мадлен Рифо? А, это та самая девчушка, которая в сорок четвертом году ударила нацистского офицера, та журналистка с косичками, которая писала о бомбардировках Хайфона, которая побывала в маки Вьетконга, которая поехала в маки Анголы, которая была ранена оасовцами? Обо мне говорили как-то так, словно я была цирковой дрессированной зверушкой, как будто мне полагалось прыгать все выше, крутить опасные тройные сальто-мортале и обязательно приземляться на ноги.

И вдруг, когда мое здоровье пошатнулось, я увидела, что в привычной сфере моей деятельности — а это почти все время была Азия, Вьетнам — к семьдесят четвертому году, ко времени переговоров с американцами, уже трудно было найти что-нибудь новое, что привлекло бы пристальное внимание читателей. Кажется, все, что заслуживало внимания, я уже передала своей газете. Так что пришло чувство какой-то неудовлетворенности, и мой шеф Этьен Фажон — я его чрезвычайно уважала — сказал одну очень верную вещь: «Мадлен, ты мало-помалу отрываешься от собственного народа. Ты шла на это ра-

[1] См.: Мадлен Риффо. «Больница как она есть». «ИЛ», 1976, № 2.

ди газеты, но теперь тебе следует вернуться к своему народу и написать о нем большой репортаж».

Правда, приняла я его слова не очень хорошо: сначала даже не вполне их поняла. И была неприятно удивлена (теперь я бесконечно ему благодарна). Но потом подумала: да, он прав. Докажу, что я и здесь журналистка, возьму и напишу большой репортаж, прямо не покидая своей улицы. Ведь в конце-то концов можно написать настоящий репортаж, не покидая собственной улицы. Даже дома, где живешь... В этом, подумала я тогда, у меня были великие предшественники: Горький, Джек Лондон, Дос Пассос, Хемингуэй — писатели, которые оставили немало образцов такого репортажа...

Что же избрать мне, чтобы вернуться в свою страну, вглядеться в собственный народ и написать то, что можно будет назвать антирепортажем? И я нанялась в больницу уборщицей, санитаркой, сиделкой в приемный покой, на самую черную поденную работу. Сейчас условия труда этих женщин стали много лучше. Но в те времена нельзя было пасть ниже. Работать там было гораздо тяжелее, чем домашней прислугой,— ведь эти женщины должны были выливать утки, отмывать пол от крови, экскрементов и бог знает еще от чего... И сверхурочная работа, неоплачиваемая или почти неоплачиваемая — только установленный законом минимум зарплаты...

Скрывая, кто я на самом деле, я работала там три месяца, все более убеждаясь, как много может зависеть от этих женщин, как они способны влиять на настроение больных.... Ведь в капиталистическом обществе, где здоровье стало товаром, где человека просто кое-как ремонтируют — да и не его вовсе, а его рабочую силу, именно ремонтируют, как машину... Ну так вот: очень велик в больнице дефицит доброты, человеческого внимания. И эти простые женщины чаще всего оказывались больным ближе всех остальных, потому что утешали, разносили еду, выливали судна... Эти женщины, и еще медсестры, если сумеют выбрать время, эти простые, зарабатывающие гроши женщины способны сделать очень много, чтобы поднять дух больного, подарить тепло участия — без них не может существовать никакая больница, даже самая современная...

Работая там, я открыла для себя новый слой французского общества, тот глубинный слой, о котором раньше почти ничего не знала. Словно впервые увидела мою страну, заново познакомилась с ней. Хотя очень бегло, поверхностно, как бы со стороны. И все же в палате, где обслуживаешь сорок больных, перекрещиваются сорок человеческих судеб...

Так я написала «Ночное белье». Сначала думала сделать репортаж для «Юманите», чтобы доставить удовольствие Этьену Фажону. А потом его так хорошо приняли, что мне даже стало несколько неловко — настолько были мне за него благодарны.

Один из издателей предложил написать на материале этого репортажа книгу: конечно, он прежде всего преследовал чисто коммерческие цели. И я согласилась — в процессе работы у меня накопилось очень много невысказанного, меня это мучило, хотелось выразить себя сполна. Кое-что удалось уместить в очерки для «Юманите», но потребность показать все оставалась: у меня было сорок персонажей и столько разных происшествий, забавных, мрачно-юмористических! Смерть, жизнь, рождение, любовь — вы понимаете, как важно было рассказать обо всем этом! Ведь в таком дневнике на протяжении трех месяцев в конце концов сплетаются все глубинные течения, все, что люди втайне думают, все их беды, тревоги, трудности общения друг с другом, их нищета — прежде всего нищета сердца и души, нехватка любви и в то же время сокровища нежности... Все это вдруг обнаруживаешь именно у этих, таких простых, людей, чью историю никому и в голову не придет записывать — вроде сиделки-бретонки Жюстины, такой грубой на язык и такой переполненной любовью к ближним...

Кроме того, в этом рассказе мне, видимо, отчасти удалось передать то, что хотели бы выразить французы, принадлежащие к самым разным слоям общества — ведь в больнице лежали люди разного достатка,— словом, коснуться сокровенных струн души моего собственного народа, от которого я оторвалась, надолго погрузившись в проблемы «третьего мира». Мне казалось, что если у людей есть еда, если они богаты, то все в порядке. Но слушая их, я увидела великую духовную, нравственную их нищету, огромное одиночество. Мне захотелось слушать их, суметь их понять, передать миру их послание. Ведь в их послании не только бунт, не только повторяемый всеми вывод типа: «Так оставаться не может, не должно». В нем заключена и еще одна идея. Хотя она и очевидная, я ее в, так сказать, диалектическом двуединстве раньше не осознавала и только теперь сформулировала для себя. Что, с одной стороны, простого милосердия, сострадания к людям недостаточно для того, чтобы изменить мир: за это нужно бороться, и борьба классов — это всерьез. Бесспорно. И что, если, с другой стороны, за этой классовой борьбой перестать видеть человеческую боль, если не подержать хотя бы пять минут за руку своего страдающего ближнего, ты не сможешь сделать на земле того, что необходимо сделать, то есть участие твое в классовой борьбе будет малого стоить. Нужно и то, и другое. Это очевидная истина, старая как мир, но мне ее повторили простые женщины, товарки по работе, и больные — жившие, любившие, умиравшие у меня на глазах. Надо было знать и то, как умирают в сегодняшней Франции и как иногда возрождаются к жизни...

И вот у меня есть эта книжка... Она принесла мне много радостных минут,

благодаря ей я получила сотни, тысячи писем — такого множества писем раньше мне никогда не приходило. После моих вьетнамских репортажей и после сценариев моих фильмов я тоже получала письма от читателей и зрителей, но гораздо меньше. Это и понятно: ведь людям у нас так трудно найти кого-то, кто тут, рядом, выслушал бы рассказ об их бедах и страданиях. Решив, что я способна их выслушать, они писали мне так... ну, как бросают в море бутылку с запиской. Врач у нас вечно перегружен, никогда у него нет времени выслушать, что хочет сказать больной. Медсестра, быть может, и выслушала бы, но у нее тоже нет времени. Санитарка... но ведь это просто санитарка: ее не привыкли принимать в расчет. К священнику тоже не обращаются, это в дни моего детства шли к господину кюре, теперь к нему идти не хотят. Ходили в свое время к моему отцу, учителю. А сейчас приходят, звонят, пишут таким, как я. Журналистам, писателям. Иногда попадают удачно, иногда неудачно, да разве мыслимо было бы и при самом большом желании откликнуться на все горькое, чем есть у людей потребность поделиться — всем тем, о чем прежде сказали бы врачу, священнику, с чем теперь обращаются к психологу. Они рассказывали мне о своих делах. Таким образом, я, можно сказать, попала в ловушку собственного успеха. С одной стороны, это дало мне возможность сознавать, что я приношу пользу, участвую в реальной борьбе за перемены во Франции. Политика в области здравоохранения, которой придерживалось предыдущее правительство, неопровержимо доказывала, что стране невозможно дальше жить при режиме, для которого прибыли, сверхприбыли трестов куда важнее человеческой жизни. Письма, которые после опубликования «Ночного белья» я получала от людей, совершенно непохожих на моих обычных читателей, показывали, что все сыты этим по горло...

Подумать только! Даже «Христианское книжное агентство» объявило «Ночное белье» книгой месяца! Оно очень широко распространяло мою книгу. Ко мне стали обращаться люди самых разных политических убеждений.

Тут я, можно сказать, сама того не зная, провела социологическое исследование — подобно господину Журдену, с удивлением обнаружившему, что говорит прозой. Опять же, не зная того, я провела и психологическое исследование. На самом-то деле я просто нанялась работать санитаркой, но после выхода книги люди начали считать меня уж я не знаю кем. В глазах некоторых я уже была не той, кто сам сражался во Вьетнаме, кто был способен убивать немцев-фашистов: думали, что теперь, наверное, я могла бы ухаживать за ними, лечить их... (Задаю себе и сама этот вопрос — нет, на это я все же и сейчас не была бы способна!..)

И что же происходит потом? Я заболеваю сама, заболеваю очень тяжело. Так тяжело, что белый мир больницы, закулисную сторону которого я досконально изучила, пока работала санитаркой, замкнул меня в себе. Я оказалась по ту сторону барьера. Больше года я пролежала в больнице в гипсе. Костное заболевание и, соответственно, столько проблем! О многом довелось передумать с тех пор. Заниматься большими репортажами здоровье больше не позволяет. До сих пор я очень быстро устаю. Пришлось изменить образ жизни: как-никак уже пятьдесят семь, на баррикадах сорок четвертого было всего двадцать. Пожалуй, слишком много довелось повидать в жизни. Мне повезло — немало удалось сделать. Но теперь с репортажами, вероятно, покончено. Правда, коль скоро ты живешь, необходимо и осмысленное занятие. А раз уж мне посчастливилось написать бестселлер, расходящийся большими тиражами, буду продолжать писать книги. Вот такие дела...

На днях перечитывала конец романа Пруста «В поисках утраченного времени». Не знаю, помните ли вы две-три последние страницы... Нет, я вовсе не пытаюсь сравнивать себя с Прустом, только в одном отношении позволяю себе провести параллель. Спрашивая себя о себе, он заключает: если бы мое здоровье не было таким хрупким, наверное, я не написал бы моих книг — мои светские обязанности не оставили бы мне для этого времени. Ну, а мои «светские обязанности» — это борьба, большие репортажи и все прочее. Но по крайней мере одно сходство с Прустом у меня есть — мое здоровье очень плохо, и я должна оправдать надежды по поводу моего будущего, высказанные Полем Элюаром после конца войны. Теперь мне больше ничего не остается: если я хочу жить, существовать, я должна писать. Писать книги, работая над ними дома, за своим письменным столом. Понимаете, иного решения для себя я просто не вижу. Не могу сказать, чтобы эта запрограммированная «оседлость» так уж меня радовала...

За минувшие три года я пережила тяжелый кризис — в то самое время, когда мои книги продолжали хорошо расходиться,— для Франции это редкий случай. Мои книги для детей... Я ведь написала несколько книг для детей, и они хорошо расходятся. Правда, последнюю начатую работу пока еще не удалось закончить, это было еще физически не под силу мне. Но теперь я хочу это сделать, хочу продолжать. И как можно внимательнее слушать моих современников. Слушать их, а не говорить вместо них. Мне кажется, прошло время, по крайней мере для меня... когда нужно было говорить вместо них. Теперь нужно слушать их, что-то объяснять им, вселять в них уверенность, которая поможет им сделать еще шаг в нужном направлении. Вот что я пытаюсь делать теперь...

Я вижу, сколько насущных вопросов возникает сегодня перед молодыми людьми. И перед писателем, перед свидетелем тридцати с лишним лет мировой истории — а мне посчастливилось

быть таким свидетелем — стоят очень сложные задачи. С тех пор как стало ясно, что вокруг нас буквально неистовствует пропаганда против социалистических стран, и особенно против Советского Союза, каждый из нас, коммунистов,— все мы так остро ощутили, как важно нам выступать с разоблачением этой пропаганды, выступать лично, рассказывать о прошлом молодым, да и не таким уж молодым, потому что мировую историю так подделывали, так подтасовывали, так фальсифицировали империалисты, и прежде всего Америка, рейгановская Америка... Вы сами понимаете, как я могу к ней относиться после того, что сама пережила во Вьетнаме, после всего, что видела собственными глазами. Но я ее нисколько не боюсь. Не будь социалистических стран, не будь Советского Союза, она могла бы раздуть пожар, опасность мировой войны могла бы стать реальностью. Социалистические страны вновь заслоняют нас от этой угрозы. Хотя от Рейгана можно ожидать самого худшего...

Когда я думаю о том, что происходит в Сальвадоре, в Турции, в Гватемале, сердце у меня обливается кровью. И это не просто слова. Когда я слышу, что в Сальвадоре сожжено столько-то крестьян, что столько-то людей арестовано или подвергнуто пыткам, я представляю себя там, рядом с ними. Ведь столько раз своими глазами я видела, как по вине американского империализма подобное творилось во Вьетнаме и других местах! Вот мы говорим с вами о долге писателя... Есть работа репортера, которой я занималась до сих пор,— чтобы делать ее, надо находиться на месте событий. Это чрезвычайно важно, но не менее важно, по-моему, побудить более молодых поехать туда, помочь им советом, как-то объяснить, что это за ремесло,— вот это я и стараюсь делать теперь, пытаясь очень скромно изложить собственные воспоминания. Многое из того, чему я была свидетелем, окажется новым для тех, кто слушает только французское радио, смотрит только передачи французского телевидения и ничего другого не читает и не слышит...

Подумать только, наша так называемая «элита» позволяет себе сегодня ставить под сомнение даже существование нацистских концлагерей! Нас уже спрашивают: да и впрямь, было ли это? Пытаются реабилитировать нацизм, объявляют нормой расизм — преступление, которому нет названия! Сейчас наше правительство возглавляют социалисты и коммунисты, но мы все должны отстаивать правду, борьба далеко не окончена...

Мемуары свои я собираюсь писать в виде зарисовок отдельных случаев, эпизодов, как бы располагая кинокамеру то с одной, то с другой точки обзора... В одной из начатых мною в этом жанре книг есть глава «Рынок золотых рыбок». Такой рынок работает в Москве с утра по воскресеньям: страничка обычной повседневной московской жизни... Читая эту главу, некоторые люди у нас удивятся, другие, быть может, скажут: а они симпатичные, эти москвичи, и вид у них вовсе не несчастный. Отдельные зарисовки. И в них я, как всегда, гляжу как бы со стороны. Так же, как в рассказах о больнице, о Жюстине. Обычная повседневная жизнь. Не хочу завершать какими-то выводами свои зарисовки, просто запись о том, что видела. Я всегда говорю только о том, что видела, о чем знаю сама. Говорю о том, что вижу, о том, что знаю, о том, что правда, как говорил Элюар — мой духовный отец... Знаю, что мой долг — выступить со своим личным свидетельством, чтобы помочь людям утвердиться в определенных истинах, которые пытаются поколебать. Я отлично знаю, с какими трудностями сталкиваются страны, строящие социализм, тем более возмущают меня попытки оболгать этот строй, оклеветать его в глазах среднего француза, проводящего вечера перед телевизором, не так-то легко у нас вернуть истинам их подлинный облик. И, по-моему, все, что люди вроде меня — истинные очевидцы — могут написать, становится вкладом в борьбу, которую мы должны вести во имя мира, во имя самой же Франции, самого французского народа. А также, я надеюсь, ради будущего строительства нашего собственного социализма, социализма цветов Франции, как у нас говорят. Это подлинная революционная истина, правда?

Ну и о молодых... Третья книга, над которой я сейчас работаю — (о двух я вам рассказала),— третья, очень для меня дорогая и важная, что-то вроде продолжения «Ночного белья». Ее главные герои — мои читатели, двое молодых людей двадцати трех лет. Вот еще одна сторона, весьма драматическая сторона писательского ремесла, которой я даже побаиваюсь,— ты влияешь на людей, даже почти того не желая. Во всяком случае, я испытала потрясающее ощущение, когда получила письмо от одного молодого человека, молодого своего читателя, совершенно мне незнакомого. Он рабочий и написал мне вот что: «Мадлен, я читал ваши очерки в «Юманите», ваши репортажи о Вьетнаме и поэтому обращаюсь к вам. Я читал и «Ночное белье». Пишу я вам потому, что мне двадцать два года и я обречен. У меня рак. Я скоро умру и постараюсь умереть достойно, не уверен, удастся ли мне это. Я молодой активист и хотел бы переписываться с вами».

Когда к тебе обращаются с таким посланием, чувствуешь себя ужасно. Я с ним переписывалась, потом он в самом деле умер. Узнав этого юношу, повидавшись с ним, познакомившись со многими его родственниками, я лучше поняла, что это такое — быть молодым в эпоху, когда кризисы потрясают мир капитализма, экономические кризисы, как это ужасно — быть молодым и не иметь места в жизни. Вы ведь знаете, что миллионы молодых людей остаются у нас без работы. Вот, скажем, этот юноша — он был таким способным, чутким, открытым для всего лучшего...

Он много читал, много думал. А вот найти работы не мог. Недолгое время служил упаковщиком в большом магазине в Рубе. И все. Одна из причин его болезни, его и во всяком случае тех, кого я видела на кроватях рядом с ним, вполне ясна. Знаете, психологи и психиатры теперь приходят к выводу, что существует нечто вроде синдрома безработных. Когда вступаешь в жизнь, в которой для тебя нет места, возникает ощущение, что тебя никто не ждет, что ты никому не принесешь пользы, будешь просто есть хлеб отца с матерью, хотя они и так-то зарабатывают не слишком много, что ты не нужен обществу, никому не нужен. Ходишь месяцами в бюро по трудоустройству, но работы для тебя все нет и нет.

Тревога, чувство возмущения, протеста часть этой молодежи приводят в ряды борцов. У Всеобщей Конфедерации Труда, например, есть превосходный плакат для безработных: «С меня хватит, я вступаю в борьбу!» Да, именно так. «С меня хватит, я вступаю в борьбу!» Плечом к плечу с другими, потому что тебе становится ясно — ты не один! Ты уже не думаешь, что ты одинок в своем несчастье, ты борешься. Это — верный путь! Но очень многие из юных обращают свою тревогу, свою беду против самих себя. Кто-то оказывается в тисках депрессии, кто-то кончает самоубийством. Их беда как бы обрушивается на их организм, многих настигают так называемые психосоматические заболевания — желудка, головы, почек. Короче говоря, заболевают от горя. Одни ощущают себя виноватыми, потому что для них нет места в обществе, другие скатываются на дно — насилие, грабеж, разврат...

Все это я хотела бы вместить в свою книгу... Тот молодой человек, который обратился ко мне с письмом, как-то сказал страшную вещь: «Только когда я узнал, что тяжело болен, когда меня взяли в больницу...» Он сказал, что только тогда ему показалось, будто для него все-таки есть место. Место в обществе. И ему стало чуть-чуть легче. Правда, ненадолго. Но в первую минуту он испытывал что-то вроде облегчения. Наконец он обрел место. Им занимались, хотя бы немного интересовались... Для этого надо было оказаться на пороге смерти. Как это жестоко, что ему никто никогда ничего не предлагал раньше. Это был чудесный интеллигентный юноша, активист, он мечтал помогать другим...

Вот вам картина будней капиталистического мира в эпоху кризисов и отчаяния — без преувеличений и прикрас. Средства массовой информации, особенно американские, старательно обрабатывают молодежь, всеми способами мешают ей выкарабкаться из сетей отчаяния. И все-таки французы проголосовали за изменения, это очень важно, это прекрасно. Но правые отнюдь не сдались. Классовая борьба, пожалуй, никогда еще не была такой сложной и напряженной, как сейчас. Это — глава, у которой обязательно будет продолжение. Мы находимся в совершенно небывалой ситуации, когда нельзя стоять на месте, обязательно надо идти вперед, шаг за шагом отвоевывая у старого что-то новое, ведя свой поиск на верной основе. Может быть, именно так, на этом пути мы сумеем помочь молодежи вновь обрести надежду. Правда, в среде литераторов, в буржуазной среде той самой «элиты», о которой я говорила и которая все еще ежедневно командует на телеэкране, слово «надежда» пока считается неуместным, почти одиозным. Говорить о надежде, написать произведение, исполненное оптимизма, революционного оптимизма, считается почти неприличным. Так что в этом смысле я намерена оказаться более чем неприличной...

Новое знакомство

Пьер Мустье

Если сочетание слов «данный момент» понимать буквально, то в данный момент я пытаюсь поставить себя на ваше место, коль скоро вы великодушно согласились говорить на моем языке. Придется мне постараться не только экономнее (боюсь, это вряд ли получится) и точнее отвечать вам, но и как-то сладить со своей скороговоркой — так, чтобы вы меня вполне понимали...

Вас интересует роман, который сейчас переводят у вас в «Радуге». Это совершенно особая книга, не такая, какие я до сих пор писал. Совсем на них не похожа. И никак не связана с Тулоном, где я сейчас живу. Действие происходит в Париже, в одном не слишком привлекательном районе — я его всегда недолюбливал. История очень печальная, довольно много ей подобных я встречал в газетах. Настолько много, что однажды сказал себе: вот ты, литератор, как же ты можешь сохранять свое лицо писателя, проходя мимо вопиющих обыденностей реального мира, в котором ты живешь?

Почему бы тебе, например, не задуматься над тем, что случилось со стариком, с четой стариков, на которых в метро напала банда хулиганов? Обычно в информацию такого рода я не особенно вникаю. Понимаете, считаю себя слишком занятым, чтобы тратить время на какую-то там газетную хронику. Но ведь хроника эта — она же и есть зеркало жизни, во Франции, к несчастью, такие вещи случаются очень часто. И я задал себе вопрос: что, происшествие такого рода — всего лишь теорема для социолога или оно способно всерьез заинтересовать романиста? Преступление — всего лишь материал для авторов полицейских романов, литературы второго сорта, попросту говоря, макулатуры, или писателю — настоящему писателю! — тоже не грех однажды попробовать окунуться в материю, которая стоит за ним, прикоснуться к ней инструментом искусства. То есть не по вуль-

гарным, лежащим на поверхности рецептам, а поглубже, справляясь с законами психологии. Ведь волнует эта проблема, можно сказать, всех. Почему молодые лоботрясы, хулиганы — прямо говоря, тупые подонки — могут безнаказанно напасть на улице большого города на двух стариков и забавы ради убить одного из них? И я спросил себя: если бы я оказался тем, кто остался в живых, что бы происходило со мной? Случилось так, что в живых остался муж. Только что он потерял жену — таким чудовищным, жутким образом. Как с этим смириться, как жить дальше? Я перестал спать, потому что вдруг понял, как все это жестоко, и я начал говорить и мыслить, как будто я — это он, и мне было тоже, как и ему, семьдесят пять лет.

Поставил себя на место старика, принадлежащего совершенно иному времени. Сам я занимаюсь альпинизмом, спортом, я еще не стар. Но я влез в его кожу и начал все ощущать совсем иначе, воспринимать жизнь иначе — как человек, чьи физические силы подточены возрастом, хотя голова еще ясная. Я решил, что он учитель, старый учитель. Мои собственные родители были учителями, и пределом их честолюбивых помыслов было выбраться из провинции и жить в Париже. Знаете, как у Чехова сестры все время твердят: «В Москву! В Москву!» И мне вспомнилась их наивная мечта. Как будто в Париже все было бы иначе! Но этому учителю хотелось ходить в театры, посещать премьеры кинофильмов. И он приехал в Париж, и с ним произошла эта катастрофа.

Прежде он верил в людей, он многому верил, верил в идеи и вдруг столкнулся с тем, что на самом деле происходит у нас во Франции: он обнаружил, что никому до его несчастья нет ровно никакого дела; вы потеряли жену — да, да, это печально, и тут же журналисты переходят к самому происшествию, внешняя сторона события, его сенсационная оболочка, его грязная сторона — больше ничего их не интересует. Потому что для них это развлечение, это как в театре, об этом пишут в газетах, понимаете? А для него все по-другому. Он потерял самого близкого, самого дорогого человека, вся эта возня его ужасает: он словно попадает в петлю этого безразличия, и в конце концов ему кажется, что она его душит, он почти сходит с ума. И все кончается в клинике для душевнобольных, где он пишет эту книгу. Теперь я оказываюсь уже на месте человека, который почти помешался, и попробовал писать, как писал бы он. Видимо, мне это в какой-то мере удалось, я получил много писем, в том числе и от тех — очень страшные письма, — кто сам пережил что-то подобное или у кого так погибли близкие.

Когда я опубликовал книгу, нашлись у нее и противники — те, кто говорил мне: видишь ли, дело в том, что может сложиться впечатление, что ты — за ужесточение наказания, ну и так далее. Вовсе нет. Вовсе нет. И еще меня спрашивают: вы за смертную казнь или против? Хотя — здесь и вопроса нет — конечно же, я против смертной казни, в силу своих убеждений против. Но здесь дело в другом. В том, что, столкнувшись с очень ясным явлением, которое требует вполне определенной и ясной реакции, вы сразу же, сразу же его отбрасываете и хватаетесь за всякие побочные соображения. Вы расставляете их на шахматной доске, и это вас развлекает, а взять на себя какую бы то ни было ответственность вы отказываетесь.

То есть перед лицом человека, который потерял самое дорогое, который, как мой герой, потерял жену, вы начинаете рассуждать об отвлеченных материях, о демократизме юридической процедуры, о самочувствии преступников и тому подобное... А надо знать, как вы бы поступили. Я считаю, самое главное в таких случаях — не быть безразличным, чувствовать себя причастным, и так далее. В парижском метро кого-то убивали прямо на глазах у сорока человек, и никто даже пальцем не шевельнул. Разве можно с этим смириться! По-моему, если человек действительно гражданин своей страны, он не должен позволить, чтобы такое могло произойти... И мне стыдно. Я спрашиваю себя: неужели это возможно? Неужели это возможно повсюду? Во всяком случае, в больших городах такое происходит постоянно, и я хочу поднять свой голос против... этого безразличия, против этого бездушия, против кокетничания демократизмом... Но эта книга вышла уже довольно давно.

Последний мой роман, только что написанный, — «Сердце — скиталец» тоже не похож на другие. Действие его развертывается в годы Директории после революции. Директорию я выбрал потому, что та эпоха кое в чем, мне кажется, похожа на нашу. Это эпоха перемен, перехода. Революция во Франции сменилась термидорианской реакцией, роялистской реакцией. А люди еще не успели толком переварить революцию — ведь она была слишком беспощадной, слишком стремительной. И очень важно осмыслить, что же тогда происходило с обществом.

Таков фон, на котором действует один молодой человек.

Ему девятнадцать лет, и он решил отправиться путешествовать. Но это он родителям так объясняет, а на самом деле он хочет бежать от своей семьи. Он рос в буржуазной среде, но хочет приключений, хочет пуститься, что называется, во все тяжкие, стать настоящим мужчиной. Во время путешествия он встречает... ну, всяких происшествий там много. Однако две самые важные вещи он и впрямь находит — любовь и призвание. Ведь призвание, профессия — это чрезвычайно важно... А любовь — была у него подруга детства. Он не понимал, что любит ее, — ведь они каждый день виделись. А того, кого видишь каждый день, перестаешь замечать — вроде как привычную мебель. Не обращаешь никакого внимания. Во время путешествия такие воспоминания

становятся дорогими. Вернувшись, он встречается с ней. Вот и все. На этом роман кончается. Я хочу сказать еще о том, что, странствуя, человек открывает новое понятие времени. Не похожее на прежнее. И в себе открывает много такого, чего прежде не знал. Как видите, это совсем иная тема, чем преступление наших дней...

Роман мой «Обрыв» получил премию Французской академии, которую присуждают романистам. Обрыв большой горы, и на нем два альпиниста. Прежде они были друзьями, потом стали врагами. Один — убежденный сторонник сохранения природы, и его возмущает, как другой изуродовал гору, проводя там трассы для слалома и так далее. Второй служит прогрессу, первый немножко консервативен, и вот тут, у обрыва, между ними происходит примирение. Почему? Да потому, что в момент смертельного риска они по-настоящему осознают, что́ чего стоит. Идеи — это хорошо, но их нужно проверять. А чтобы их проверить, нужно... нужно вот так испытать их на прочность.

Потому что в такую минуту, когда жизнь твоя в полном смысле слова висит на кончике веревки, тут уж — вы понимаете — не станешь плутовать и хитрить... У меня... как бы это сказать? У меня есть твердое убеждение, мысль, которая меня преследует... что только такое испытание — лицом к лицу с настоящей опасностью — может быть проверкой действительных ценностей. Взять двух людей, исповедующих прекрасные идеалы, и поместить их на тонущее судно — вот тогда будет видно, устоят ли их идеи. Скажем, это мужественные люди... Но часто из-за эгоизма, страха и тому подобного от идей ничего не остается. Сила духа, сила характера — вот что всего важнее, и они особенно интересуют меня в нашу эпоху, в нашей цивилизации и прежде всего у нас во Франции. Люди постоянно играют идеями, но очень редко ставят на карту жизнь, испытывают свое мужество. Поэтому я даже рад, что существуют минуты, когда человек не может больше притворяться. Ход событий ставит его в такое положение, когда он не может больше блефовать, он вынужден пойти в открытую и показать истинное свое лицо, вынужден действовать в соответствии со своими идеями, своими настоящими идеями, а не теми, которые провозглашал, быть может, всуе. Меня чрезвычайно это интересует. Например, в моем романе «Фарисей» академик, выдвигавший всегда самые возвышенные социальные постулаты, попадает на необитаемый остров и показывает себя законченным эгоистом. О товарищах по несчастью он вовсе не думает.

Другими словами, это лицемерие, фарисейство привилегированных, тех, кто живет в условиях комфорта. Комфорт хорош, когда он заслужен, но очень часто люди комфорта не заслуживают — те, кто никогда не голодал, не мерз, кто не знает, что такое голод и холод. В конечном счете они не знают жизни. Видимо, необходимо хотя бы раз по-настоящему почувствовать голод, понять, что это такое. Необходимо хотя бы раз... Занимаясь альпинизмом, я попал однажды в жуткое положение: три дня мы находились на краю гибели. Уроки этого испытания, я думаю, перевесят мой школьный опыт, должен признаться, сильно перевесят...

Во всяком случае, меня, бесспорно, интересует современность, а не прошлое... Разумеется, мало просто интересоваться своей эпохой, надо еще стараться ее понять. Не утверждаю, что я уже все понял, но делаю все, что могу, все, что в моих силах, стараюсь ее понять. Для этого время от времени приходится возвращаться в прошлое, сравнивать, потом вновь отправляться в прошлое или даже пытаться проникнуть в будущее, чтобы посмотреть, как все будет через двадцать лет. Но не перегибая палки. Главное — стараться понять. Настоящее всегда сопоставляешь с прошлым...

Но проследуем дальше. Значит, вопрос ваш: как возникают так называемые «немотивированные преступления»... Вопрос действительно важный, потому что это мерзко. Не правда ли? Отсюда вовсе не следует, что мотивированное преступление — это не так уж плохо. Всякое преступление отвратительно. Но преступление без мотива хуже всего. Помимо прочего, оно абсурдно. Это какой-то Кафка. Абстракционистское преступление. Причин, мне кажется, много, но одна, самая первая... То, что я сейчас скажу, немножко банально, избито. Я думаю, прежде всего, это преступление испорченных детей. Кого во Франции называют «испорченными детьми»? Тех, кому не внушили никакого чувства ответственности. Ребенок, который в двенадцать-тринадцать лет отправляется гулять с сотней франков в кармане, понимаете? Их дали ему родители. Он не задумывается над тем, что в них кое-что вложено, что в них вложен труд. Это не просто бумажка. Это — власть. А власть нельзя давать тому, кто ее не заслужил хоть немножечко.

На мой взгляд, такие родители совершают огромную ошибку, и бьет она по ним же самим в первую очередь. Например, рассказывают про богатого мальчишку, который прикуривал от банкнот. По-моему, это уже почти преступление. Потому что есть люди, умирающие от голода. Конечно, это самый банальный, самый избитый аргумент. Испорченные дети. Да. И есть еще другая проблема, она — много важнее и серьезнее. Тут дело в обществе, в атмосфере всеобщего отчуждения. Во всяком случае, наше общество разобщено. Оно плохо устроено. И люди постоянно спрашивают себя: в чем, собственно, заслуги того или иного человека? Они думают, почему преуспевает он? Я его знаю: самая заурядная личность, так как же случилось, что он надо мной? Как же так, почему он богат? Ну и так далее. Это уже ревнивая зависть. Согласен, от зависти до преступ-

ления еще далеко, и немедленно ничего не происходит, но потихонечку, незаметно в сознании людей что-то утрачивает ценность. Если хотите, ценность утрачивают нравственные понятия, понятия Добра и Зла. Естественно, Добро не всегда должно быть розовым, а Зло — не обязательно черным. Между ними существуют все степени оттенков. Это само собой разумеется, это истина начальной школы. Но, несомненно, в душе ребенка и — что еще важнее — в душе взрослого рано или поздно между черным и белым должна пролечь граница, хотя бы в определенной мере. А если они смешиваются, что мы видим? Анархию! А анархия — это самое худшее из всего, что может постичь общество. Анархия — это антипод прогресса.

Я так говорю и всегда так думал. Некоторых французских прогрессистов подобное утверждение раздражает, но в нем — истина. Когда они путают анархию с прогрессом, они попросту путают дерево с лесом, который оно заслоняет, понимаете? А в результате может произойти катастрофа, они не предлагают ничего конструктивного и все хотят сокрушить, под предлогом «революции» им удобнее воровать, под покровом анархии — грабить. Это очень опасно, так компрометируется идея революции, это грязнит ее, подобные декларации — серьезная угроза. И вообще, крайне мило — начинать заботиться о ближних с самообогащения. Бесстыдно! Позорно! А ведь таких рассуждений много, разве не верно?

Да, так откуда же берутся безмотивные преступления? Отчасти, мне кажется, причина еще и в том, что в какой-то момент в стране появляется слишком много людей, которые презирают все, имеющее отношение к порядку. Для них порядок — явление отрицательное, означающее произвол и тиранию. Но нет, тирания — это одно, а порядок — совсем другое. Я сам не так уж люблю порядок. Я мечтатель, меня влечет поэзия, и, если хотите, в природе я предпочитаю некоторый естественный беспорядок. Но, заметьте, естественный беспорядок — это тоже порядок, а не анархия. Растения не растут как попало: чтобы выросло дерево, его надо посадить, а не просто швырнуть на землю. А потому я говорю себе, что презрение к порядку в какой-то мере равносильно презрению к природе. Я отнюдь не обожаю полицейских, но знаю, что полицейский регулирует уличное движение и без него машины столкнулись бы. А тогда что? Тогда какофония и хаос. В любом случае что-то очень малоприятное. Вот почему мне не слишком по душе некоторые французские теоретики, которые принципиально презирают порядок. Конечно, я должен оговориться. Так называемый «порядок» может и отдавать фашизмом — такой порядок я ненавижу. И не только ненавижу, но считаю своим долгом всеми силами бороться против него. Но ведь это вовсе не тот порядок, это совсем другое дело...

Почему же все-таки испорченные дети вдруг совершают бессмысленные преступления? Иногда просто потому, что нигде не работают. Нередко это безработные. Нередко, или даже часто, они безработные не по своей воле — и это крайне серьезно! Но бывают и безработные, так сказать, по собственной воле — те, кто просто не хочет работать. Им предлагают работу, а они отвечают: э, нет, я этого делать не буду. Потому что я живу в Тулоне и хочу работать в Тулоне. Но когда тебе двадцать лет и тебе предлагают работу в пятидесяти километрах от Тулона, ты, если хочешь работать, сразу за нее ухватишься. Прошу прощения, для меня это не безработные, а лентяи. Но в любом случае люди, совершающие бессмысленные преступления, почти всегда не работают, они бездельничают. Им нужны деньги. Три четверти своего времени они мечтают о тугом бумажнике, ну и хватают его где попало. Вот ответ на ваш вопрос...

Говоря о порядке, я не исключаю и порядок в мыслях, и в языке тоже. Я отдаю себе отчет, что сегодня у интеллектуалов — и, должен сказать, в том числе у левых интеллектуалов — есть один недостаток, который мне представляется довольно серьезным: они желают сокрушить все условности. Впрочем, это еще не так страшно, это просто инфантилизм. Они хотят жить, как дети. Но условности необходимы. Если угодно, я бы сравнил общество с теннисным кортом. Если, играя в теннис, вы откажетесь от сетки, с условностью вы покончите, но играть будет нельзя.

То же и с языком. Существует орфография, существует грамматика, существуют правила языка, и их нельзя уничтожить. Меня раздражают те писатели, которые хотят упразднить пунктуацию. Ведь пунктуация — это дыхание текста. Вот как актер, как певец прежде всего должен учиться дышать. Это очень важно. Если вы не дышите, ну что же — вашего текста никто не услышит. Нельзя говорить на теме. Или дышать темой. Это совершенно одно и то же. Условности важны и тут.

И в социальном плане тоже. В социальном плане тоже есть свои условности. Учтите — условности, которые абсолютно необходимы. Надо же, чтобы люди в чем-то соглашались. Если кто-то — ну, кто угодно — в своем классе первый, то с какой стати ему ради чьего-нибудь удовольствия становиться последним? Это же так просто, так понятно. Мой рост — метр шестьдесят пять. Мне и в голову не придет завидовать черной завистью Валерию Брумелю, вашему чемпиону, который прыгнул в высоту на два двадцать восемь. Наоборот, я им восхищаюсь, я считаю, что его достижение великолепно. Тем не менее мне не хотелось бы, чтобы Валерий Брумель давал мне директивы, как писать романы. Да, на стадионе мне с ним не равняться. Я принимаю его превосходство. И восхищаюсь им. Тут речь идет не о равенстве. Равенство — это когда каждому дают его шанс. Но надо уважать чье-то превосходство в какой-то

области. Это необходимо. Иначе равенство превратится в нечто весьма прискорбное. И на мой взгляд — антиреспубликанское...

Да, существует так называемая цивилизация потребления. Во Франции ее много критиковали. Мне кажется, это не та проблема, о которой мы говорим. Не совсем та. Мы говорим об обесчеловечивании. Люди плохи или безнравственны не потому, что потребляют больше или меньше. Не следует преувеличивать значение потребления.

Когда люди думают об одном: о том, чтобы обладать или потреблять,— умнее они от этого не становятся. Но, на мой взгляд, по-настоящему дурными их делает не это. Дурными их делает то, о чем я только что говорил,— глубокое равнодушие. Равнодушие к человеку. Видите ли, мои родители — я говорил — были учителями, и меня даже не крестили. Так что я неверующий, но в чем-то напоминающем религию я испытываю потребность. То есть я во многое верю. Я не могу жить, ни во что не веря.

Мое первое знакомство с Советским Союзом... Я побывал в Москве и потом в Тбилиси. И меня поразили приветливость, дружелюбие людей, их гостеприимство. Эта поездка была для меня очень важной. Я ездил с Робером Сабатье, и когда мы вернулись во Францию, то оба почувствовали настоящую ностальгию, досадовали, что не остались там подольше. Такое у нас было ощущение. В первую очередь меня поразила теплота, непринужденность людей, с которыми мы говорили... ну и так далее. По-моему, русские любят французов. За границей французам всегда кажется, что их любят, но тут, по-моему, так оно и есть на самом деле. По-моему, русские действительно любят французов...

Поразила меня Грузия — тем, что она совершенно непохожа, например, на Москву. Совершено непохожа. Ну, как Прованс не похож на Париж. Грузия совсем другая. Я обнаружил, что в чем-то мне ближе грузины, понимаете, гораздо ближе, чем некоторые уроженцы Северной Франции. Потому что они южане, как я,— и по своему образу жизни, и по темпераменту. Например, много говорят — вроде меня... У меня сложилось впечатление, что люди там счастливы: все время шутили, смеялись, в Москве они кажутся гораздо более озабоченными — в климате дело, видимо. Хотя вообще мне показалось, что у русских отличное чувство юмора. Считается, что особое чувство юмора отличает англичан. Возможно, но лично мне в этом смысле везло на встречи с южанами и русскими...

Я очень люблю театр, и мне представилась возможность посмотреть в театре... мольеровского «Дон Жуана» на русском языке. Играли его потрясающе, режиссура — на самом высоком современном уровне. Я ведь видел постановку Жана Вилара в Национальном народном театре, когда-то видел Луи Жуве. Но ваш Дон Жуан, по-моему, был не менее хорош, а может быть, даже лучше. Это было великолепно, Дон Жуана советский режиссер воспринимает совсем так же, как я. То есть он не считает его холодно-расчетливым человеком, он делает его гораздо более непосредственным, и, по-моему, это много вернее. Дон Жуан у него — словно источник тепла, женщины падали в его объятия, как будто притягиваемые какими-то лучами. В нем было что-то «роковое». Настолько «роковое» и фантастическое, что он тоже выглядел жертвой собственного обаяния и той власти, которая, собственно, лишала свободы его самого: ведь при виде женщины он просто был не в силах удержаться и не прибегнуть вновь к своей комедии. Просто изумительно, как это играл актер. И декорации были превосходны. По-моему, все это очень хорошо и интересно. Я был просто захвачен.

А разговоры о литературе! Один писатель — литературовед, критик, он прекрасно говорил по-французски,— да, Борис Сучков, к сожалению, он умер,— о нем была статья в советском журнале «Произведения и мнения». И еще критик Александр Михайлов — особенно мне запомнились беседы с ними. Самые хорошие воспоминания я сохранил о той поездке. Самые хорошие.

Современную литературу вашу я знаю очень мало. Не в пример русской литературе девятнадцатого века. То есть я по-настоящему знаю Достоевского, почти всего. Я читал все. Хорошо знаю Толстого, Лермонтова, Гоголя и Чехова. В пьесе Чехова я даже играл на сцене. Для меня эта литература очень важна. Так же важна, как французская. Все они повлияли на формирование моего духовного мира. Я хорошо знаю Пушкина, хотя, к сожалению, не могу читать его по-русски. Он оказал на меня очень большое влияние. Мне кажется вообще, что обмен между двумя нашими культурами весьма плодотворен — характер мышления у нас, у русских и французов, хотя, конечно, и не одинаков, но тем не менее близок.

Русских всегда в первую очередь интересует психология. В русских романах автор невероятно глубоко проникает в психологию, но не так, как немцы, то есть очень детально, очень аналитично и притом тяжеловесно — это я, разумеется, говорю о немцах,— гораздо интуитивнее, гораздо тоньше. И еще, что меня восхищает в русских романах, именно русских — французским это не свойственно,— у нас даже самые великие писатели, например, Бальзак или Стендаль, обязательно стоят за своими персонажами... Вот это мне и не нравится. То, что они никогда не дают своим персонажам свободы. Француз с его рационализмом и склонностью к менторскому тону — вы замечаете, у меня самого уже такое ощущение, будто я читаю вам лекцию,— всегда склонен вести свой персонаж на ниточках и время от времени как бы заявлять в скобках: видите, я тут! А это мой персонаж, и он, например, встревожен. Русский вам ни-

когда не скажет, что его персонаж встревожен, он заставит вас почувствовать это. Для современной литературы это крайне важно.

Впрочем, современная литература приходит к этому — в тех произведениях, которые пишут сейчас и французы или такие американцы, как, например, Стейнбек или Фолкнер. Могу ли я привести такой русский пример? Вот, например, сцена в «Идиоте», когда князь Мышкин у Аглаи и Аглая в полной уверенности, что он в нее влюблен и хочет с ней объясниться. Она поворачивается к нему, а он уснул. Это великолепно. Когда читаешь, сердце сжимается. Спрашиваешь себя: ну как же он уснул?

При чтении французских книг такое впечатление возникает редко — постоянно чувствуешь, что автор наблюдает за всеми и немножечко подготавливает эффект. На киножаргоне это называется «телефонировать», то есть заранее объяснять, что произойдет. Хорошее кино исключает «телефонирование». Надо, чтобы образ удивлял вас, чтобы он был неожиданным. Это крайне важно. Я всегда стараюсь добиваться этого. Ведь когда читаешь, получается совсем иначе. То есть когда я разрабатываю свой сюжет, я стараюсь забыть, что будет дальше, и вспоминать мало-помалу. Так хороший актер должен забыть текст роли, но при этом знать его назубок. Настолько назубок, чтобы как бы создавать его заново. Иначе он не хороший актер. Другого не дано. Умение жить в данном моменте у актера, по-моему, то же самое, что умение жить в данном моменте у писателя. Совершенно то же самое. Но ему нельзя выучиться. Оно или есть, или его нет. Хотя развить его, пожалуй, можно.

Как я смотрю на современное положение в мире? Нахожу его серьезным, не на шутку серьезным. Над миром вновь нависла нешуточная угроза. Конечно, это повторяют, можно сказать, все чуть ли не изо дня в день, это, можно сказать, общее место. Тем не менее сам я очень сильно ощущаю эту напряженность... Существуют — и их немало — очень серьезные проблемы. В Африке есть люди, умирающие от голода, черные, которые знают, что такое настоящий голод: так продолжаться не может... И это в то время, как в других краях — даже у нас, например, есть люди, которые время от времени опрокидывают грузовики в море, сжигают мясо, овощи. У меня сердце болит из-за подобных вещей, разве они нормальны?

Место писателя в обществе... Думаю, не в том его роль, чтобы проповедовать, словно священник с кафедры. Многие скажут: ладно, пусть тогда пишет статьи... Нет, писатель — я отвечаю на ваш вопрос,— писатель должен вызывать чувства, а не просто о них говорить. Он должен вызывать у своих читателей волнение, тревогу, поселять в их сознание какую-то неотвязную мысль... Так, чтобы читатель подумал: да, правда, ведь я был тогда в метро и не вступился... Это мерзко.

Я не выношу, когда выбрасывают хлеб, во Франции есть люди, которые это делают. Хлеб дешев, вот они им и швыряются... Для меня это просто невыносимо... Надо добиваться, чтобы люди с уважением относились к определенным ценностям, к определенному равновесию между идеями и фактами, идеями и реальностями жизни. И чтобы интеллектуалы раз и навсегда нашли в себе смелость посмотреть в лицо некоторым реальностям. Именно интеллектуалы. Я живу в рабочем квартале, в бедном квартале и нередко замечаю, что его обитатели смотрят на вещи совсем не так, как мои парижские друзья. И интересуются совсем другим. Я вовсе не утверждаю, что интеллектуала должно волновать только то, что волнует каждого «человека с улицы», книга его должна поднимать уровень читателя, но так, чтобы читать их могли почти все, а ведь подчас у нас пишут на языке, на котором никто не говорит, на переусложненном языке, который почти невозможно воспринимать... Когда я работал на телевидении, иной раз рабочие сцены приходили ко мне и говорили: посмотрите, господин Мустье, вот тут орфографическая ошибка. Значит, они обращают внимание на ту орфографию, которую мои родители преподавали в школе. И я не понимаю, почему нужно эту орфографию третировать. Для этого нет ни малейших оснований...

Вы хотите в заключение вернуть меня к началу нашего разговора, к источникам моих творческих тревог...

Знаете, все чаще и чаще, по мере того как годы тяжелее давят на плечи, я задаю себе очень простой, тривиальный вопрос: долго ли еще удастся не терять формы, двигаться в творчестве по восходящей — как удавалось это не очень многим настоящим мастерам, не знавшим одряхления в работе. Увы, мастерство многих писателей, режиссеров, актеров с годами тускнеет, выдыхается. Ужасно страшит мысль: не подкараулит ли тебя творческое бесплодие? Это один из самых главных вопросов.

И еще — удастся ли оставаться человеком своей эпохи, не порывая в то же время с прошлым, с традицией. Не превратиться в раба традиции, но и не сжигать мостов, двигаться вперед, не следуя слепо моде. В моде есть что-то заведомо преходящее, что-то от такого журнализма, который годен лишь в качестве истины-однодневки. Очень важно для романиста, по-моему, не плыть по течению, но нельзя и забирать против течения — это было бы смешно,— держаться, что называется, на самом стрежне, наблюдая, во все глаза глядя на происходящее, стремиться быть свидетелем происходящего, заботясь при этом, разумеется, о том, чтобы не оказаться под пятой у событий.

Нет, все это вовсе не самоедство и не пустые рефлексии,— поверьте, просто я видел вокруг себя слишком много примеров — как-никак мне пятьдесят

семь... Большинство писателей как раз между пятьюдесятью и шестьюдесятью (надо учитывать, что продолжительность жизни возрастает) и создают свои главные книги. А я своих самых главных книг пока не написал. И хочу надеяться, что еще напишу,— об этом заветном для каждого писателя желании обычно не смеют говорить вслух, опасаясь прослыть смешными. Эти декларации действительно получаются немного смешными, амбиция, тщеславие читается в них, во всяком случае. Что не мешает этой амбиции оставаться в самом деле заветной мечтой каждого писателя, хоть и редко сбывающейся...

Во всяком случае, моя честолюбивая мечта — именно написать шедевр. Остальное меня не интересует. И я не боюсь в этом признаться. Хоть отдаю себе отчет в том, насколько предпочтительнее в обиходе скромность и насколько невыносимо тщеславие само по себе. Невозможно объявить по радио: «Я хочу написать шедевр». Это прозвучало бы по-идиотски. Но раз уж разговор у нас откровенный и прямой, то вот вам и ответ — да, это мое единственное честолюбивое желание, моя главная в жизни цель.

Ведь, если подумать — сколько уже написано посредственных книг! Стоит ли добавлять к ним еще одну, когда их уже тысячи и тысячи? Я хочу, чтобы эта моя книга не была похожа ни на одну другую, чтобы она не оказалась товаром разового пользования, из таких поделок, которые, прочитав один раз, тут же выбрасывают. По-моему, книга ничего не стоит, если ее не перечитывают. Книга обретает смысл, только если ее перечитывают много раз — только такая книга достойна быть названной истинным произведением искусства слова. Более того, я думаю, что далеко не всегда эстетические достоинства такого произведения способны открыться с первого прочтения. Возьмите, например, картины в музее: полотно броское, кричащее, останавливающее взгляд — вовсе не обязательно лучшее. Висящая рядом малозаметная, вся из полутонов, в сравнении с соседними как будто явно проигрывающая картина вдруг, через двести лет, оказывается живой, в то время как соседние давно забыты. Словно их никогда и не было. И в музыке, по-моему, то же самое...

(Продолжение следует)

Советская литература за рубежом

ФРАНЦИЯ

«Поэма без героя» и другие произведения АННЫ АХМАТОВОЙ. Издательство «Масперо».

Роман НОДАРА ДУМБАДЗЕ «Закон вечности». Издательство «Пигмалион».

Роман БОРИСА ПИЛЬНЯКА «Голый год». Издательство «Галлимар».

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Пигмалион».

ФРГ

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Ранние журавли». Издательство «Бертельсман».

Ранняя проза МИХАИЛА БУЛГАКОВА. Издательство «Загнер».

Роман МАКСИМА ГОРЬКОГО «Жизнь Клима Самгина». Издательство «Винклер».

Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «На первом дыхании». Издательство «Бертельсман».

Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Затмение». Издательство «Зуркамп».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман ФЕДОРА АБРАМОВА «Дом». Издательство «Лидове накладателстви».

Повествование в рассказах ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Царь-рыба». То же издательство.

Роман АНДРЕЯ БЕЛОГО «Петербург». Издательство «Одеон».

Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Хозяйка гостиницы». Издательство «Обзор».

Повести ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА. Издательство «Лидове накладателстви».

«Стихи для детей» СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА. Издательство «Младе лета».

Повесть ВЛАДИМИРА СОЛОУХИНА «Прекрасная Адыгене». Издательство «Словенски списователь».

ШВЕЦИЯ

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Бромбергс».

Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Нетерпение». Издательство «Тиден».

Антирубрика

СИЛЬВИЯ ТАУНСЕНД УОРНЕР (Англия)

КАК МЫ ПРАЗДНОВАЛИ КОРОНАЦИЮ

Перевод с английского ИННЫ ЛЕВИДОВОЙ

Юбилейные весенние торжества прошли в нашей дорсетской деревушке весьма успешно. Всем детям до четырнадцати лет были розданы короны из золотой бумаги. Много было припасено и еды и питья, вечером устроили праздничный фейерверк, играл оркестр из трех аккордеонов и корнета, танцы продолжались до четырех утра. Но потом стали раздаваться разного рода критические замечания, главным образом со стороны наших, как мы называли их, вышестоящих лиц. Так мисс Уоден — она играла в церкви на органе — выразила сожаление, что мистер Трубон, которому было поручено после запуска самой большой ракеты провозгласить троекратное «ура» в честь короля Георга, счел возможным вслед за этим трижды прокричать «ура» в честь «будущего короля Эдуарда», что было подхвачено с не меньшим энтузиазмом. Контр-адмирал Пинн (в отставке) указал, что флаги, взятые нами напрокат и по нашему разумению представлявшие различные дружественные державы, на самом деле были карантинными флагами и в глазах любого компетентного зрителя обозначали, что деревня наша не празднует серебряный юбилей британского монарха, а объявляет об одновременной вспышке эпидемий холеры, чумы и желтой лихорадки. А мисс Пинн, которая усердно внедряла среди жителей идеи бойскаутского движения, установила путем опроса, что семьдесят процентов детей считали, будто отмечался юбилей нашей почтмейстерши, старейшей обитательницы деревни, поскольку именно она раздавала юбилейные кружки-сувениры.

Наши вышестоящие лица решили, что впредь все местные торжества должны проводиться под более четким руководством, и это руководство они возложили на себя. Правда, они не успели провести какие-либо особые мероприятия в связи с августейшими похоронами, но зато к коронации Эдуарда VIII начали готовиться загодя и основательно.

Распланировано было решительно все: список ораторов, украшение деревни, каждый момент и каждый пункт нашего поведения, начиная с утренних фанфар, которыми открывали наш праздник бойскауты и брауни [1], и до 11.30 вечера, когда нам следовало прекратить танцы. Весь этот ритуал был разработан и утвержден на общем собрании всех жителей деревни.

А затем пришло известие об отречении [2]. Принес его нам мистер Пиджион, наш почтальон.

— Король отрекся от престола,— сообщил он,— и все поезда опаздывают!

Мы стояли возле почты. День был туманный и настроение весьма меланхоличное. И, кроме того, мы сочувствовали семейству Пинн.

— Бедняги Пинны теперь на глаза никому не смогут показаться! — размышлял вслух мистер Пиджион.— Ведь сколько трудов они положили на эту коронацию!

Я заметила, что какая-то коронация все же состоится.

— Для них это уж будет совсем не то,— уверенно заявил мистер Пиджион.— Адмирал любил этого молодого человека как родного сына!

— Да, на рождество уже не похоже,— уныло отозвалась миссис Пиджион. Пока мы обсуждали, должен ли красивый молодой человек на обложке подарочного календаря, что продавался в бакалейной лавке, изображать короля Георга или короля Эдуарда, в окне почты появилось объявление: «Собрание жителей деревни.

27 января 1937 года в 7.30 состоится общее собрание жителей для обсуждения вопроса о коронации. Желательно присутствие всех. Достопочт. Бренда Пинн, секретарь».

Собрания наши обычно проводились в школе. Это было мрачное здание, готиче-

[1] Девочки-скауты.

[2] Вынужденное отречение короля Эдуарда в связи с его женитьбой на разведенной американке миссис Симпсон.

ские окна которого выходили на церковное кладбище. Председательствовал мистер Притти, наш всеми уважаемый кузнец. Вид у него был крайне озабоченный. Рядом с ним за столом президиума сидела мисс Пинн, дочь адмирала. Место в первом ряду занимала миссис Притти, устремившая упорный взгляд на мисс Пинн. Между ними возникло резкое несогласие по вопросу о том, следует ли юному Стенли Притти вступать в ряды бойскаутов. Миссис Притти выиграла этот бой, но не проявляла великодушия, свойственного победителю.

Протокол предшествующего собрания, отразивший планы подготовки к коронации, планы уже недействительные, лишний раз подчеркнул печальную превратность человеческих судеб. Когда мистер Притти дошел до фразы: «Решено, что адмирал Пинн возьмет на себя заказ пятидесяти трех сувенирных кружек»,— слушатели стали вздыхать и покачивать головами. Зачитав протокол, мистер Притти сказал несколько слов от себя. Человек справедливый и сострадательный по натуре, он выразил мнение, что оба монарха — как отрекшийся, так и вступающий на престол — обладают своими достоинствами и обоим пришлось немало перенести. Когда мистер Притти дважды упомянул «прежнего короля Эдуарда», мисс Пинн подалась к нему и свистящим шепотом поправила: «Герцог Виндзорский!» Мистер Притти сказал несколько добрых слов по адресу королевы Елизаветы, а затем, поглядывая на миссис Притти, выразил надежду, что «прежний герцог Эдуард» в свое время также узнает радости семейного очага.

Адмирал, викарий и мисс Уоден разом закусили губы, а мисс Пинн воскликнула: «Боже избави!» — на что миссис Притти намеренно громко отозвалась: «Извините, я не расслышала!»

— Таким образом, леди и джентльмены,— заключил свое выступление председатель,— мы собрались сегодня, и мне сдается, что мы можем поздравить себя с очень полным присутствием, хотя я и замечаю несколько отсутствующих лиц, чтобы, так сказать, покончить с этим дельцем по пересмотру коронации.

Теперь, отпустив свою нижнюю губу, заговорил адмирал:

— Разумеется, часть принятых нами решений остается в силе. В другие же пункты надо внести изменения. Прежде всего нельзя упускать из виду один факт: во время предстоящей коронации всех нас будет радовать мысль, что рядом с нашим добрым монархом находится и наша добрая монархиня.

Мы прислушивались к унылому шуму дождя, падающего на могильные плиты.

— Какая удачная мысль! — театральным шепотом произнесла миссис Пинн, нагнувшись к мисс Уоден.

— Вероятно, придется переменить кружки,— заметил мистер Трубон.

— Прежние кружки, разумеется, придется выбросить за борт,— ответил адмирал.— Но это не должно нас беспокоить. Я снесся с изготовителями и, насколько я понимаю, они готовы взять обратно эту партию без оплаты, с тем что мы приобретем новые кружки у этой же самой фирмы.

Теперь в задних рядах началось некое движение, стал раздаваться громкий шепот. Игнорируя эти помехи, мисс Пинн объявила:

— А вот и образчик новой кружки. Все мы, конечно, хотим рассмотреть ее как следует.

— Вот что! — воскликнула миссис Притти.— Я желаю ту кружку, с Эдуардом. Уж будьте любезны! Не хочу я огорчать моего ребенка. У меня патриотичный ребенок, что бы там ни болтали некоторые! — И она бросила испепеляющий взгляд на мисс Пинн.

Тем временем шушуканье в аудитории переросло в возбужденный ропот, среди которого можно было расслышать: — Да она и теперь уже стоит в пять раз больше! — Ни за какие деньги! — Когда ребенок подрастет, она станет исторической!..

Затем послышались возгласы, обращенные непосредственно к мисс Пинн:

— Мисс, будьте добры, запишите моего Эдди, и мою Дорис, и мою Шийлу, и мою Элис на кружки с Эдуардом! Уж так им хочется!

— И мою Дорис, и моего Джимми тоже, мисс, будьте добры.

— И моего Билли, и мою Элис, и моего Джорджа, мисс...

— И моего Гарри, и мою Хэзел, мисс...

— Мою Руби!

— Моего Рональда, и моего Алана, и моего Бобби, и мою Сузи!

Карандаш мисс Пинн летал по бумаге со скоростью молнии.

— Похоже, нам придется голосовать,— сказал мистер Притти.— Пусть матери, желающие взять для своих детей кружки с Эдуардом, поднимут руки.

Поднялся лес рук.

— А теперь кружки с Георгом.

Поднялись три руки, две из них — в перчатках. Снова наступило молчание, и снова мы явственно услышали шум дождя, бьющегося о могильные плиты. Мистер Трубон встал и медленно зашаркал к двери.

— Что, если,— предложил мистер Притти,— мы решим так: пусть дети получат обе кружки!

— Моему Катберту,— заявила миссис Локкет,— не надо никакой кружки с никаким Георгом!

— Вообще-то говоря,— вступил мистер Локкет,— зачем им кружки? Разве ребенок не может пить из чашки?

Миссис Пиджион припомнила, что на предыдущем собрании некоторые высказывались не за кружки, а за медали. Быть может, лучше вернуться к медалям? На что миссис Ноукс отвечала, что с таким же успехом можно дать ребенку яду, потому что медаль ребенок проглотит обязательно. Она еще добавила, что, даже если вы припрячете медаль, пока ребенок не вырастет, то почти наверняка заложите ее так, что и не найдете.

В этот момент нашего адмирала, видимо, осенила стратегическая идея. Мы видели, что он тихо совещается с миссис Пинн и мисс Уоден, которые энергично и утвердительно кивают головами. Затем идея была сообщена викарию, который также кивком выразил свое одобрение.

— Мне пришла в голову одна мысль,— решительно произнес адмирал.— Мы могли бы найти выход из положения с помощью совершенно новой альтернативы. Что вы скажете о книге?

Среди сторонников Эдуарда воцарилось ошеломленное молчание, но мисс Уоден тут же воскликнула:

— Прекрасная мысль! Куда лучше, чем кружка. Книгу вы никогда не исчерпаете до дна!

— И младенцам от нее не может быть вреда,— вступила мисс Пинн.— А малыши порадуются картинкам.

— Книгу с изображениями короля и королевы и разных мест нашей империи,— продолжила миссис Пинн.— Мне всегда казалось, что мы слишком мало думаем о нашей империи.

— Адмирал,— подытожил викарий,— вы попали в самую точку! Адмирал предлагает, ввиду того, что кружки не для всех приемлемы, чтобы каждый ребенок получил по книге. Я поддерживаю это предложение.

Мистер Притти только собрался поставить вопрос на голосование (и хотя никто решительно не хотел книги, единодушие наших вышестоящих было столь неотразимым, что, вероятно, все проголосовали бы за книгу), как вдруг мистер Трубон, который уже доплелся до двери, повернулся и с отсутствующим видом зашаркал обратно.

— Я, значит, насчет моих кружек,— начал он.

— Сейчас мы обсуждаем вопрос о книге,— вкрадчиво обратился к нему викарий.

— Я, значит, насчет того, как за них платить,— невозмутимо продолжал мистер Трубон.— Значит, Эдуардов этих самых назад брать не хотят, ежели мы не купим этих самых Георгов, а мне сдается, Георгов-то никто и не желает...

— Похоже, что нам пришлось бы платить за кружки, которых мы не берем,— рассудил мистер Пиджион.

— Сомнительное обстоятельство,— заметил председатель.

Пока мы пребывали в сомнении, миссис Ноукс громким шепотом говорила своей соседке миссис Уолли, какая, мол, жалость, что кружки были куплены заранее... На что миссис Уолли отвечала:

— А какая жалость, что переменили королей, сколько из-за этого получилось неудобства...

Мистер Ноукс справился о цене книги. Адмирал заявил:

— Об этом вы, друзья, не беспокойтесь, мы с миссис Пинн с удовольствием оплатим эти книги сами.

— Таким образом,— поднялась мисс Уоден,— благодаря адмиралу мы с легкостью разрешили наши маленькие затруднения.

— Ничего подобного! — заорал мистер Ноукс.— А как насчет денег, что мы отдали за Эдуардов, раз Эдуардов мы не получим?

— Мы желаем кружки, и пусть нам дают кружки,— возвысила голос миссис Притти.

— Заплатить за кружки и ничего не получить, для этого надо, чтобы голова была как пустая кружка! — добавил мистер Локкет.

И тут поднялся настоящий шум: все громко требовали кружки.

— Кто за кружки, поднимайте руки,— закричала миссис Притти. И снова поднялся лес рук.— Вот видите, проголосовали. Мы желаем кружки!

— Очень хорошо! — сказал адмирал.— Но разрешите мне внести ясность. Мы не можем праздновать коронацию короля Георга с кружками, на которых изображен герцог Виндзорский. Если вам угодны кружки, это должны быть правильные кружки!

— Желаем кружки с Эдуардом! С Эдуардом давайте!

Несчастный мистер Притти, обливаясь потом, стучал по столу чернильницей, тщетно призывая к тишине.

— Леди и джентльмены, леди и джентльмены, прошу вас, пожалуйста!.. Разрешите мне предложить небольшой компромисс? Поскольку коронация происходит в несколько, как бы сказать, напряженной обстановке, нельзя ли прислушаться к голосу и той и другой партии?..

— Слушайте, слушайте! — крикнул мистер Трубон.

— Я предлагаю выдать каждому ребенку кружку с Георгом...

— Но моя Дорис, и моя Шийла, и мой Эдди...

— И, кроме того, кружку с Эдуардом!

Мистер Трубон поддержал это предложение. Оно было принято единогласно. И тогда миссис Пинн вскочила с места и произнесла:

— Отлично. Но за ваших Эдуардов будете платить сами!

Мистер Притти осведомился, нет ли еще вопросов. Но наши вышестоящие уже двинулись к выходу. Я чуть задержалась с мистером Трубоном и мистером Притти — помогла им поставить стулья на место и прикрутить керосиновые лампы. Мистер Трубон угостил мистера Притти сигаретой, и они стали толковать о семенном картофеле. Снаружи доносился плеск дождя, раздавалось шарканье ног, тарахтели автомобили адмирала и викария, готовясь сдвинуться с места. Проходя мимо, я услышала голос миссис Пинн, перекрывавший чиханье упрямого стартера:

— Большевики!

КАК Я ПОКИНУЛА ФЛОТ

Еще в самую раннюю пору моей жизни мама отдала меня во флот. Это произошло зимой и должно было продолжаться как можно дольше. Я была маленькой девочкой, а в те времена маленькие девочки в Англии еще не обрели права носить брюки. Поэтому ниже талии я оставалась гражданским лицом и прикрывала свои длинные, облаченные в шерстяные чулки ноги коротенькой жестко плиссированной юб-

кой из синей шерсти. Британский флот начинался с прочного, квадратного покроя полупальто — одеяния, которому не страшны бризы и битвы,— с медными пуговицами, называвшегося бушлатом. На голове моей красовалась шляпа наподобие той, что носят британские матросы: круглый плоский блин синего цвета, нашитый на жесткий ободок в дюйм шириной. Вокруг ободка шла черная ленточка с короткими свисающими концами, а на ленточке золотыми буквами было начертано имя того или иного военного судна королевского флота: «Корабль Военно-морских сил Великобритании «Непобедимый», либо «Медуза», либо что-нибудь еще в этом роде. Блин держался на голове при помощи черной резинки, стянутой под подбородком, обычно слишком тугой, что было неудобно. Наши матросы никогда не носят резинок — ни под подбородком, ни на затылке. Наверно, с резинкой им было бы сподручнее встречать грудью бризы и битвы.

Не знаю, чем руководствовалась мама, решив предназначить меня британскому флоту. Возможно, патриотическими соображениями, а может быть, тем, что наш дальний родственник (вернее, свойственник) был адмиралом и одним из первых моряков, привезших из Китая на военном корабле собаку породы чао-чао. А может быть, тем, что в девичестве мама много танцевала с моряками и считала их хорошими танцорами. Но не исключено, что мотивы ее носили более практический характер. Я принадлежала к числу детей того типа, которому противопоказаны светлые тона и слишком изящные фасоны, а кроме того, довольно безжалостно обходилась со своими вещами. Мне была свойственна страсть к экспериментам, а также неодолимая склонность к канавам, разного рода ямам, свежепросмоленным воротам и очень живым собакам с большими лапами. Экипировка, которой меня снабжало Адмиралтейство, не так быстро обнаруживала следы износа. Разумеется, я вырастала из своих одежек, но вырасти из британского флота мне так и не удавалось. Зима сменялась зимой, а мне приобретали все те же бушлаты и новые синие блины-бескозырки, менялось лишь название корабля на ленте.

Хотелось бы припомнить имена всех этих боевых кораблей, к которым я была приписана. Был среди них, кажется, «Агамемнон», во всяком случае слово это вызывает во мне какой-то странный, знакомый отклик, а также несколько «Молниеносных», «Грозных» и «Тигров». Славные имена, ничего против них я не имела.

А потом, в один прекрасный день, все это и произошло. Я только что вернулась домой с прогулки не грязнее обычного, в своем обычном моряцком облачении, благоухая океанскими бризами, потому что в моем мешочке лежали наловленные у берега креветки к чаю (у меня в общем и целом было очень счастливое детство), и няня понесла креветки вниз на кухню, а часы в прихожей со стонами и хрипеньем стали готовиться пробить четыре, а я искала кошку, чтобы сообщить ей о креветках. Но тут из гостиной вылетела мама — вылетела, словно ею выстрелили из пушки. Лицо у нее было бледное, а глаза пылали, и вся она излучала немую ярость раскаленного снаряда. На один только миг мы с ней соприкоснулись, но в этот миг я успела ощутить, что мне — конец, а кошка наша взметнулась вверх по лестнице со стремительностью арпеджио в каденции. Я почувствовала, что с головы моей срывают флотский блин. Резинка проехалась по моим ушам и подбородку. И наконец, открыв глаза, я увидела, что мама сдирает ленту, швыряет на пол и ленту, и бескозырку и топчет их ногами.

Потоптав некоторое время, она подняла с пола бренные останки головного убора и пошла в гостиную, бросив мне через плечо: «Ты этого больше никогда не наденешь!»

Это-то было ясно. Как бы ни назывался тогда мой головной убор — «Галатея», «Тайфун» или «Грозный»,— для дальнейшего употребления он не годился. Но во всем остальном происшествие это оставалось для меня загадкой. Загадок вокруг меня было достаточно, и я прибавила к ним и эту. Вопросов не задавала, а когда назавтра получила новую касторовую шляпу и обнаружила, что мой бушлат основательно трансформирован — медные пуговицы заменены роговыми, а воротник украшен полоской меха,— приняла это без всяких комментариев. На касторовой шляпе тоже была резинка — жизнь шла по прежнему курсу.

Лет через десять мы с матерью как-то приехали в Лондон за покупками и оказались возле магазина, который я узнала.

— Кажется, ты здесь покупала мне мои матросские шапки?

— Гнусная, отвратительная лавка! Мерзкая фирма! — энергично заявила мама.

Я стала размышлять о возможных причинах подобного отношения матери к данному торговому предприятию. Может быть, ей известны какие-то порочащие факты о председателе правления фирмы? А может быть, при магазине есть ресторан, где ей однажды подали недоброкачественное кэри? А может, у нее произошел там конфликт на почве подбора пуговиц? Проще всего было спросить, и я спросила:

— Почему?

— Я с первого взгляда поняла, что эта самая миссис Перивейл — хорошая штучка,— сказала мама.— И она понимала, что я это понимаю!

— Та самая миссис Перивейл, что жила напротив, а дом ее назывался Линден Лодж, и она устраивала религиозные вечера в саду, и ты терпеть не могла там бывать? Я не знала, что она имела какое-нибудь отношение к магазину.

— Никакого,— отвечала мама.— И ко мне тоже она очень долго не имела никакого отношения.

— Вот как?

— У всех этих набожных женщин грязное воображение,— продолжала мать.— Я так и сказала ей тогда. «Как удачно,— сказала я,— что вы так хорошо информированы о темной изнанке жизни нашего флота. Лично я предпочитаю думать о том, как наши корабли несут свою службу в глубоких водах, посреди океана. Я и знать не хочу о том, что наш гордый, чистый ко-

рабль может подвергнуться такому унижению». Вот что я ей сказала!

— Какой корабль?

— Да тот, конечно, на твоей матросской шапочке. Разве ты не помнишь, как я отобрала ее и больше ни разу не позволила надеть?

— Это я помню. Но я так и не поняла почему.

— Тогда я не могла тебе объяснить,— отвечала мама,— но теперь ты уже достаточно взрослая. В тот день миссис Перивейл явилась ко мне с визитом. И трещала и болтала, все вокруг да около, со своими жеманными улыбочками и ужимочками, пока не добралась до цели всей этой отравной жвачки: она, мол, считает долгом сообщить, что корабль, имя которого стоит на твоей шапке,— уже не корабль. Он где-то там пришвартован на вечную стоянку и служит госпиталем для моряков, больных такими болезнями, названия которых она даже не решится произнести вслух! Кому же было знать об этом, если не ей?! С тех пор ноги моей не было в этом магазине,— заключила мама.— Мерзкое заведение! Сделать такую гадость невинному ребенку!

ХУАН ХОСЕ АРРЕОЛА (Мексика)

ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ...

Перевод с испанского РОСТИСЛАВА РЫБКИНА

Всем лицам, заинтересованным в том, чтобы верблюд прошел через игольное ушко, следует внести свое имя в список содействующих эксперименту Никлауса.

Покинув некую смертельно опасную группу ученых (из тех, что имеют дело с ураном, кобальтом и водородом), Арпад Никлаус ныне посвятил свою исследовательскую работу достижению благой и глубоко гуманной цели: спасению душ богачей.

Согласно разработанному Арпадом Никлаусом плану, для этого нужно будет превратить верблюда в пучок элементарных частиц и этот пучок пропустить через игольное ушко. Приемное устройство, очень похожее принципом своего действия на кинескоп телевизора, мгновенно соберет элементарные частицы в атомы, атомы — в молекулы, а молекулы — в клетки, и верблюд будет воссоздан в его первоначальном виде. Никлаусу уже удалось, к ней не прикасаясь, переместить каплю тяжелой воды. Оказалось также возможным измерить (с разумными допущениями) энергию верблюжьего копыта, превращенного в кванты. Нет смысла обременять память читателя соответствующей астрономической цифрой.

Единственную серьезную трудность создает для профессора отсутствие у него собственного атомного реактора. Эти установки величиной с целый город очень дорогостоящи. Однако специальный комитет уже работает над разрешением денежных проблем путем сбора пожертвований. Первые приношения, еще несколько робкие, расходуются на издание тысяч брошюр, проспектов и рекламных листков, и они также обеспечивают профессору Никлаусу скромное жалованье, позволяющее ему, пока возводятся огромные лаборатории, продолжать теоретические изыскания и расчеты.

В настоящий же момент комитет располагает лишь иглой и верблюдом. Поскольку общества защиты животных одобряют этот проект, не только не опасный, но даже полезный для здоровья любого верблюда (Никлаус говорит о вероятной регенерации всех клеток организма), верблюдов из зоопарков страны поступило на целый караван. Нью-Йорк без колебаний предоставил своего всемирно известного белого верблюда.

Что же касается иглы, Арпад Никлаус очень ею гордится и считает ее краеугольным камнем эксперимента. Это не простая иголка, а чудо, подаренное миру талантом и трудолюбием профессора. На первый взгляд иголка совсем обыкновенная. Госпожа Никлаус, обнаруживая незаурядное чувство юмора, находит удовольствие в том, чтобы штопать ею одежду мужа. Однако ценность ее, по сути, беспредельна. Сделана эта игла из тяжелого металла, место которого в периодической таблице еще не определено, а буквальное обозначение, если исходить из крайне туманных намеков профессора, наводит на мысль, что речь идет о физическом теле, состоящем исключительно из изотопов никеля. Ученые до сих пор ломают себе голову над этим таинственным веществом. Немало нашлось таких, кто поддерживает смехотворную гипотезу о синтетическом осмии или отклоняющемся от нормы молибдене, или таких, кто осмеливается публично повторять слова одного завистливого профессора, уверявшего, что он узнал металл Никлауса в крохотных кристаллических вкраплениях внутри плотных масс железного шпата. Точно известно одно: игла Никлауса вполне способна противостоять трению о нее потока элементарных частиц на сверхкосмической скорости.

В одном из разъяснений, которые так любят давать высокие теоретики, профессор Никлаус сравнивает верблюда в момент прохождения сквозь игольное ушко с нитью паутины. Он говорит, что если мы захотим соткать из этой нити кусок ткани, то для того, чтобы его расстелить, нам потребуется все мировое пространство, и все звезды, видимые для нас и невидимые, будут блестеть на фоне этого куска ткани капельками росы. Если начать сматывать нить

в клубок, окажется, что длина ее исчисляется миллионами световых лет, и тем не менее профессор Никлаус предполагает смотать ее в верблюда всего за три пятых секунды.

Как ясно каждому, проект этот абсолютно осуществим и, мы бы даже сказали, в высшей степени научен. Он уже пользуется симпатией и моральной поддержкой (правда, еще не подтвержденными официально) лондонской Лиги межпланетной информации, председателем которой является маститый Олаф Стейплдон.

Ввиду повсеместной растерянности и беспокойства, вызванных предложением Никлауса, комитет считает очень важным привлечь к проекту внимание всех состоятельных людей мира, чтобы те не попались на удочку к шарлатанам, проводящим сквозь отверстия небольшого диаметра не живых, а мертвых верблюдов. Эти личности, у которых еще поворачивается язык называть себя учеными, на самом деле всего лишь мошенники, охотящиеся за простаками. Действуют они крайне примитивно: погружают верблюда в растворы серной кислоты все меньшей и меньшей концентрации. Затем, превращая образовавшуюся жидкость в пар, они в таком виде пропускают ее через игольное ушко и думают при этом, что совершили чудо. Как ясно каждому, эти лжеученые потерпели полную неудачу, и финансировать их деятельность бессмысленно. Нужно, чтобы верблюд был живым как до, так и после невозможного перемещения.

Вместо того чтобы изводить тонны свечей и тратить деньги на сомнительную благотворительность, лицам, заинтересованным в вечной жизни и отягощенным лишними капиталами, следует остановить свой выбор на превращении верблюда в поток элементарных частиц: оно научно, красиво и в конечном счете выгодно. Говорить об излишней щедрости в случае, подобном этому, абсолютно неуместно. Здесь просто надо закрыть глаза и пошире открыть карман, твердо зная, что все расходы возместятся сторицей. Награда будет одинаковой для всех вкладчиков; сейчас важно внести свой вклад как можно скорее.

Какая общая сумма потребуется, станет известно лишь при завершении эксперимента, исход которого, вообще говоря, предсказать невозможно; и профессор Никлаус, со свойственной ему честностью, соглашается работать, только если смета будет достаточно гибкой. Вкладчики должны терпеливо, и не один год, выплачивать свои взносы. Нужно будет нанять тысячи техников, администраторов и рабочих. Придется создать региональные и национальные подкомитеты. И должно быть не только предусмотрено, но и разработано во всех деталях положение о преемниках профессора Никлауса, поскольку реализация проекта, как вполне разумно предположить, может растянуться на несколько поколений. В этой связи нелишне указать на преклонный возраст профессора.

Как любое человеческое начинание, эксперимент Никлауса допускает два возможных исхода: провал или успех. Успех Никлауса, помимо того, что он разрешит проблему их личного спасения, превратит финансировавших этот мистический эксперимент в акционеров сказочной по своим возможностям транспортной компании. Будет очень легко разработать практичный и экономически выгодный способ превращать людей в пучки элементарных частиц. Растворенные в молниях, люди завтрашнего дня за какое-нибудь мгновенье и без малейшего риска будут перемещаться на огромные расстояния.

Но еще более многообещающим представляется возможный провал. Если Арпад Никлаус и в самом деле фабрикант химер и на нем оборвется целый род обманщиков, гуманитарное значение его труда от этого только возрастет. Ничто тогда не помешает ему войти в историю в качестве славного инициатора превращения капиталов в пучки элементарных частиц. И богачи, оставаясь один за другим без средств, целиком ушедших на выплату взносов, будут легко входить в царство небесное через узкую дверь (игольное ушко), хотя верблюд в нее не прошел.

Среди книг

Издано в СССР

ЧУЖЕСТРАНЕЦ В РОССИИ

Мицос Александропулос. Сцены из жизни Максима Грека. Перевод с новогреческого С. Ильинской и Н. Подземской. Послесловие Б. Фонкича. Примечания Н. Чистяковой. Москва, «Художественная литература», 1980.

Роман греческого писателя Мицоса Александропулоса «Сцены из жизни Максима Грека» — книга о судьбе светлой, странной и мученической: с лучшими помыслами приехал когда-то на Русь просветитель-монах, необычайного дара и ума человек, полиглот, богослов, филолог, с почетом был встречен он, в окружении почета он начал трудиться, а после...

Звали монаха отцом Максимом, а прозвище ему было — Грек.

«Сцены из жизни Максима Грека» — книга дальновидная, трезвая и, я бы сказал, предупреждающая. Кого? И о чем? Предупреждающая о том, чтобы не очень-то уж спешили мы идеализировать себя в прошлом. Вспышку подобной тенденции писатель как бы предвидел. Предвидел и показал нам наш XV, XVI век. Века величавые: завершается освобождение Руси от татаро-монгольского ига, централизуется мощное государство. Века стенающие, пронизанные злой социальной болью: распри, склоки при дворе и в митрополичьих палатах, коварство, алчность, экономический гнет, проникновение в сознание суеверий. Сюда, в омут социальных противоречий, неожиданно попадает гость. Чужестранец-мудрец Максим Грек.

Странно, что домонашеское, светское имя Максима Грека историки установили в общем-то лишь недавно, в годы второй мировой войны; в миру выдающегося деятеля русской общественной мысли звали Михаил Триволис, и происходил он из знатного и просвещенного византийского рода. Всплыли громадной важности подробности его биографии: принятие им католичества во Флоренции, возвращение в исконное для него православие. Михаил-Максим становится монахом Ватопедского монастыря на Афоне. И отсюда, по приглашению великого князя Василия,— путешествие или, как мы сказали бы теперь, командировка в Москву, на короткий вначале срок, по относительно локальному делу: Максим, опять же говоря в современных понятиях,— консультант по переводу священных книг на русский язык, интерпретатор непроясненных мест в этих книгах.

Все просто, но судьба есть судьба: монах-то вовсе не собирался на Русь. В Москву его послали вместо другого монаха, ибо тот был в преклонных летах; Максим оказался в Москве неожиданно для себя. Оказался да и застрял здесь на долгие годы, пожизненно; гость буквально пришелся ко двору: ко двору великого князя. Его оценили настолько, что просто не отпустили на родину. А потом низвержение: из почетного гостя Максим Грек превращается во врага государства, против него сооружают замысловатое судебное дело, и вместо Афона — заточение под Волоколамском да в старинной Твери. Глубоким старцем, уже в царствование Ивана IV, Грозного, кончает Максим Грек свои дни. Он на свободе, но он оторван от родины.

Роман Александропулоса тактично назван «сценами». Это, стало быть, не совсем роман-биография. Но даже в таком намеренно эскизном виде, в виде цепочки эпизодов-догадок, роман не мог бы возникнуть без интенсивной работы историков последних десятилетий. Роман на них опирается, погружаясь, естественно, и в глубь частных судеб, отдельных характеров. «Сцены из жизни...» — своего рода роман-видение, роман-прозрение, в котором лирические догадки писателя демонстративно соседствуют с перебивающими или дополняющими их голосами историков. Вымысел апеллирует к историографии, стремится добрососедствовать с нею. И не только в фактах, а и в каких-то общих тенденциях роман идет в русле исторической мысли.

Важнейшие подробности биографии Грека стали открываться до странности поздно, почти четыреста лет он был безымянен. И объясняется это отнюдь не небрежением ученых-историков. Его труды изучали. О нем много и обоснованно спорили, и отзвуки споров о нем в виде фрагментов из научных исследований удачно вкраплены в роман Александропулоса. Но разыскания в сфере биографии Грека просто не осознавались как насущная задача науки, равноправная с другими проблемами: с истолкованием генезиса его этического учения; с объяснением его роли в борьбе, раздиравшей русскую церковь в начале XVI столетия; с раскрытием подоплеки обвинений, ему предъявленных. Максим Грек был довлеющей себе фигурой. Он был названием, историографической формулой.

Соприкасаясь с историей, до какой-то поры мы неизбежно оперируем достаточно общими формулами: «Татаро-монгольское иго», «Средневековье», «Наполеон» (называю имена и события наугад). Удаляясь от нас, события и люди превращаются в устойчивые отвлеченности. Но рано или поздно наступает пора уточнений. Они приходят, и сложившиеся формулы не без внутреннего сопротивления дифференцируются: татарское нашествие, не переставая быть национальной драмой, оказывается вместе с тем и достаточно прозаическим переплетением экономических, социально-психологических, политических, бытовых тенденций; смерть Наполеона утрачивает загадочность, и злополучный завоеватель выступает как жертва уголовного преступления; а средневековье, утрачивая предписанную ему однозначную мрачность, оказывается наполненным позабытой нами живой и по-своему радостной повседневностью.

От общей и, в сущности, романтической формулы — к прозаизации. К историографическому реализму в изъяснении событий или характеров отдельных людей — таков путь научных исканий. Переход совершается обязательно; и почему-то именно в XX столетии интерес к Максиму Греку как к историческому деятелю шаг за шагом стал дополняться интересом к нему как к индивидуальности, к одной из трагически реальных причуд далекого прошлого.

Роман Александропулоса — книга, в которой угадана назревающая потребность проникнуть и за кулисы жизни Максима Грека, войти в его келью, увидеть в нем титана, участвующего в огромной борьбе, однако опутанного и сетью мелких придворных склок. Роман есть роман: он не только имеет право, он просто обязан что-то угадывать, предполагать; его долг — пытаться опередить науку. Что ж, «Сцены из жизни...» по-своему предвосхитили даже «Сибирскую находку» наших историков: как известно, в 1968 году Археографическая комиссия Сибирского отделения Академии наук в селе Мульта на Алтае обнаружила документы, проливающие новый свет на злоключения гостя-пленника Грека; и, нисколько не умаляя заслуг руководителя этой экспедиции, можно все же сказать: нужные источники словно бы сами приходят к потомкам тогда, когда потомки очень хотят их найти, когда в обществе пробуждается потребность в демонументализации какого-либо героя истории. «...Я испытываю некоторое удовлетворение от того, что образ Максима, каким он предстает на страницах романа, не опровергается... новыми данными»,— скромно пишет Александропулос в предисловии к русскому переводу «Сцен...». Он, однако, имеет право на большее; тут не «некоторое удовлетворение» можно было бы испытать, а триумф: Максим Грек, предстающий в романе, подтвержден наукой.

Есть в романе споры, есть цитируемые в нем документы, есть вещие сновидения. Есть герой-праведник, есть его оппоненты, возражающие ему, выражаясь опять-таки в современных понятиях, «справа» и «слева». О чем идет спор? И почему Максим Грек завяз на Руси, мечтая о теплых краях, но оставшись где-то в верховьях Волги?

Грек оказался вовлеченным в известную борьбу «нестяжателей» с «иосифлянами», сторонников секуляризации монастырских земель с поборниками монастырских землевладений. Гибкий, тонко мыслящий, терпимый, всегда старавшийся понять противную сторону, Максим Грек в каких-то заветных для него вопросах был несгибаемо категоричен: да — да, нет — нет; а что сверх того, то идет от лукавого. Он оказался в рядах «нестяжателей»: монах, владеющий материальными ценностями, да еще и землей, с его точки зрения, греховен, абсурден. Сочинения Грека, обличающие монашество в алчности и в неизменно сопутствующей ей жестокости, всегда будут восхищать потомков своей прямотой, проповеднической непримиримостью и суровостью. Да и актуальностью тоже, ибо речь идет о проблеме, терзающей умы и в XX столетии: человек и вещь, душа и материя, дух и быт, как примирить их? Как их соотнести? Далекие от нас монахи XVI столетия вдруг приближаются к нам: пресловутая бездуховность, вещизм, предрассудки престижности,— батюшки, да не бродят ли и меж нами прямые потомки далеких «иосифлян», душа коих порабощена, превращена в служанку сугубо материальных стремлений? Может быть, аргументация оппонентов и врагов Грека в романе упрощена, как-то смазана: враги героя романа просто рвутся к землевладению, сметая с дороги всех возражающих, шпионя за ними, по-мелкому провоцируя их и, наконец, учиняя над ними постыдно неправедный суд. Когда речь заходит о противниках героя романа, на страницах книги начинают мелькать силуэты каких-то плакатно схематичных служителей культа, жадных попов, пришедших в монастыри из боярства. А дело, видимо, обстояло чрезвычайно сложно: в основе аргументации сторонников монастырской собственности лежали по-своему серьезные рассуждения о соотнесенности духа с телесным началом, с плотью. Дух не может быть не воплощен, не вочеловечен, отчужден от материи. Аскетизм и — в идеале — принципиальное нищенство грозят привести к разрушению духовной работы, духовного роста. Целиком отмести подобные возражения невозможно: они диалектически содержательны, и они опять-таки актуальны, ибо возведенный в идеал аскетизм, который, начинаясь с монашества, рано или поздно

должен распространиться на весь народ,— такой тотальный аскетизм тоже знаком нашему XX веку, и слишком известно, что ни к чему хорошему он не ведет. В общем, споры были чрезвычайно сложными, считать их решенными мы не можем, ибо громкие отзвуки этих, казалось бы, внутримонастырских споров нас окружают сегодня; и схематизм в изображении врагов героя романа затрагивает и созданный писателем обаятельный образ его.

Александропулос, видимо, любит своего героя настолько, что ему просто не хочется подыскивать для своего любимца достойного оппонента, эрудита, сильного умом, духом, волей. Не потому ли так бегло очерчен и оппонент, критикующий Грека «слева»? Мелькает в романе Феодосий, монах-бунтовщик, предводитель повстанцев-крестьян. Он не просто бунтовщик. Он идеолог, но идеолог наивно прямолинейный: «Учат терпеть во имя Христа, сделали из него бога. А кто был Христос? Человек, как и мы! Человек светлого разума и большого сердца». Мысли, высказанные Феодосием, беспомощно эклектичны. Древни они, но веет от них и добротным позитивизмом XIX столетия. А герой романа внемлет им, будто какой-то неслыханной новости, и, не касаясь их существа, он лишь предупреждает собеседника об опасностях крайностей бунта. И такой спор с таким оппонентом не обогащает образ героя романа, а нас он ведет к простодушной мысли: Максим Грек и хорош был душой, и добр, и умен, но все же немного жаль, что он не дорос до призывов к антимонастырским и антибоярским восстаниям.

Но главное в образе героя романа выявлено: он вдохновенно целеустремлен; он несгибаем в жажде творить, сближая Русь со своею далекой отчизной. Он осознал кровную необходимость единства греков и русских на фоне исламской экспансии: турки совсем недавно овладели Константинополем, на Москву совершаются набеги из Крыма, на востоке угрожающе маячит Казань. Максим Грек в романе спокоен. Не суетится он, не расточает торопливых пророчеств. Но он неизменно взволнован духом: за судьбы единоверия, за Россию, за Грецию. Отсюда — его протест против второго брака великого князя Василия: пусть бесплодие супруги его, великой княгини, грозит угасаньем династии, так тому и быть; но второй брак греховен и грозит он расплатой, бедой (герой романа и его единомышленники оказались правы: династия все равно прервалась, а в результате брака великого князя с красавицей Еленой Глинской родился мальчик, который после многих мытарств, унижений вырос в Ивана IV, властелина, коего даже при самом объективном признании прогрессивности многих его деяний сознание упорно отказывается признать благом, ниспосланным государству).

«Сцены из жизни...» — роман о словах. Роман о филологах. Слово — своеобразный герой романа греческого писателя; и жизнь слова, существенность его освещаются на разных уровнях, от грамматики до какой-то заклинательной силы, в слове сокрытой. «Поймать на слове» — этот фразеологизм разворачивается в целую сюжетную линию. В романе есть эпизоды, в которых вокруг Максима Грека сгущается атмосфера политического террора, с неизменно присущей ему жаждой ловить людей на слове, впиваться в обмолвки, припирать человека к стене и терзать, грызть написанное или сказанное им слово, усматривая за словом тучи каверз и ересей. Слово в таких случаях беззащитно, бессильно перед лицом палачей. Но зато как могущественно оно в сцене пророчества: Максим Грек умоляет молодого царя Ивана IV не ехать на север с малолетним сыночком; он знает, что мальчик в дороге погибнет. Царь высокомерно пренебрегает пророчеством мудреца. Но по слову сбылось, и со смерти царевича начинается то, чего пытался избегнуть отец Ивана IV, дерзнув на вступление в брак при живой жене: династия Рюриковичей уходит с арены истории.

Слово в романе Александропулоса связано со светом, со зрением. «...Нельзя одним глазом смотреть на землю, а другим на высоту небесную. Обоими нужно смотреть или кверху, или вниз»,— отвечает Грек своим судьям. «Мировоззрение», «точка зрения», «взгляды» — говорим мы на каждом шагу, не очень-то вдумываясь в исходную реальность этих метафорических терминов. Но они же прямо указывают: идея начинается в глубинах наших очей, они фундаментальны, первичны, они духовно рождают слово, а уста лишь продолжают их дело, материализуя его. Роман интересен тем, что конечное, идею он постоянно соединяет с исходным, с простым: герой романа наделен необыкновенным для нашей эпохи, но вполне органичным для его времени зрением, не оптическим, разумеется, а интеллектуальным, духовным. Как только не пытались его ослепить! А он не дал ослепить себя, он не впустил в свое сердце вражду, ненависть, жажду реванша; он не спустился на уровень тех, кто его гнал и преследовал. «Странные люди! Горе ему, если бы все эти годы он и в самом деле был прикован к тому, к чему стремились приковать его враги. Горе ему, если бы не сумел он возвыситься, устремить свой взгляд к дальнему горизонту...»

Максим Грек созерцает страну, призвавшую его в свое лоно. Он чужестранец-доброжелатель; и образ его, интерпретированный Александропулосом, оказывается в конце значительной вереницы образов, созданных нашей отечественной литературой,— образов чужестранцев в России. Я миную, естественно, фигуры различного рода военных интервентов; речь идет о чужестранцах вполне мирных: от «Арапа Петра Великого» Пушкина до его же, Пушкина, гувернеров, учителей, офицеров («Евгений Онегин», «Дубровский», «Капитанская дочка»). А после — в произведениях Толстого, Лескова, Достоевского, Чехова. Ныне преувеличенно популярная доктрина о всемирной отзывчивости нуждается, вероятно, в существенных коррективах: отзывчивость наша остается при нас, но в масштабе каждой индивидуальной судьбы сколько же горьких недопониманий! Тут и жажда общения с чужеземцем, и здоровое желание у него поучиться; но тут же и какая-то детская ревность; а детское может быть и же-

стоким, Максим Грек познает сие на судьбине своей.

Роман Александропулоса непринужденно, как что-то естественное и долгожданное, вписался в огромную традицию русской литературы — в традицию размышлений о чужестранцах. Размышлений честных, самокритичных. Лишенных иллюзий. Трезвых и все же оптимистических: чужестранецгость в России желанен.

Срастание романа с русской литературной традицией настолько органично, что даже и забываешь: написан-то он не русским писателем, он написан по-гречески, греком. Но тем лучше: на нас в нашем прошлом посмотрели со стороны, нас поняли, и четыреста лет спустя после светлой кончины своей Максим Грек пришел к нам вторично, гостем желанным, необходимым учителем.

В. ТУРБИН

Издано за рубежом

НЕОБЫЧНАЯ АНТОЛОГИЯ

Парус-Puri-Purje-Segel. Морская тематика в поэзии на четырех языках. Helsinki, «Otava», 1980.

Когда на прилавках книжных магазинов в Москве и Таллине появилась поэтическая новинка — синий том большого формата под названием «Парус», от наблюдательного книголюба не ускользнуло примечательное обстоятельство: название это значилось на обложке на четырех языках. Русский, эстонский, финский и шведский — вот языки антологии, первой в своем роде в нашей литературной практике.

История этого не совсем обычного издания такова. В 1973 году в Ленинград приехала группа писателей из Финляндии, пишущих на шведском языке, во главе с председателем Союза шведских писателей Финляндии профессором Ларсом Хульденом. Следует отметить, что, хотя шведское население Финляндии не превышает восьми-девяти процентов, оно является носителем давней и прочной литературной традиции. Поводом для поездки в Ленинград послужило пятидесятилетие со дня смерти выдающейся финляндско-шведской поэтессы Эдит Сёдергран, родившейся в Петербурге и большую часть жизни проведшей в поселке Райвола на Карельском перешейке.

В ходе тогдашних встреч два замечательных поэта, Михаил Дудин и Ларс Хульден, задались мыслью о более тесном сотрудничестве на поприще поэзии. Так зародилась первоначальная идея совместного издания, и к следующему лету Хульден и Дудин договорились, что это будет «антология Финского залива», объединяющая поэзию всех народов, живущих на побережье Финского залива, и решили привлечь к работе эстонских и финских коллег. В качестве представителя финской литературы был приглашен известный литературовед и переводчик Кай Лайтинен, эстонскую же поэзию довелось представлять автору этих строк. В конце 1975 года, вскоре после Хельсинкского совещания, мы впервые собрались вчетвером в Хельсинки с тем, чтобы заложить реальную основу будущей книги.

Каждую из литератур должны были представлять десять поэтов двадцатого века, каждый из них — одним стихотворением, поначалу хотели ограничиться лишь стихами, посвященными Финскому заливу, однако принцип этот оказался неприемлемым, он вынудил бы отказаться от участия в книге многих крупных поэтов, не писавших столь географически конкретных стихов. Поэтому решили раздвинуть тематические рамки и обратиться к морской тематике вообще. Согласие на издание книги выразило финское издательство «Отава» в Хельсинки. Оформить книгу поручили известному в Финляндии книжному графику Хенрику Тикканену.

Работа оказалась весьма кропотливой. Варианты переводов путешествовали между Ленинградом, Хельсинки и Таллином, пока удовлетворили наконец требованиям столь представительного издания. Немало хлопот было с библиографическими справками и сведениями обо всех участвующих в антологии поэтах и переводчиках. При встречах вчетвером мы в присутствии хотя бы части переводчиков часами читали переводы стихов на разных языках, сверяли с оригиналами и расшифровывали наиболее сложные образы, трудно поддающиеся переводу — ведь языки издания антологии весьма разные и по лексическому строю, и по стилистическим традициям.

Результатом всей этой работы явилось издание в своем роде уникальное. В литературной практике не так уж редки параллельные поэтические издания на двух языках — оригинала и перевода. Однако четырехъязычная антология представляет собой довольно большую редкость. Тем более приятно, что она родилась в добром сотрудничестве литераторов наших двух соседних стран, взаимоотношения которых уже не одно десятилетие являют собой прекрасный пример плодотворного и разностороннего сотрудничества стран с различным общественным строем.

В русской части антологии «Парус» представлены ленинградские поэты от Александра Блока и Анны Ахматовой до Вадима Шефнера и Михаила Дудина. Из эстонских включены Юхан Лийв, Аугуст Алле, Юхан Смуул, Дебора Вааранди и другие. Среди финских поэтов наиболее известные имена — это Эйно Лейно, Арво Туртиайнен и Вильё Каява, из финско-шведских Эдит Сёдергран и Эльмер Диктуниус, кроме вышеупомянутых в книге участвует еще целый ряд выдающихся авторов более молодых поколений. Таким образом, издание расширяет взаимное знакомство четырех столь разных по традиции литератур, объединенных близким соседством, одним небом и одним морем.

Заключительным аккордом издания антологии явилась торжественная передача первого экземпляра вышедшей книги редакторами-составителями в присутствии директора издательства «Отава» Х. Реенпяя тогдашнему президенту Финляндской Республики, лауреату Международной Ленинской премии Урхо Кекконену, которому принадлежала выдающаяся роль в борьбе за установление в Европе «духа Хельсинки». А спустя некоторое время антология «Парус» поступила в продажу в Финляндии и в Советском Союзе и была с интересом встречена литературной общественностью обеих стран.

ВЛАДИМИР БЭЭКМАН

РОМАН О МУЖЕСТВЕ И ЛЮБВИ

Jaromíra Kolárová. Voda! Ostrava, Profil, 1980.

Яромира Коларова. Вода! 1980.

В становлении чешской прозы необычайно активную роль сыграли женщины. Какие женские имена можем мы поставить рядом с именами классиков русской прозы XIX—начала XX веков? Между тем значение творчества Божены Немцовой и Каролины Светлой для чешской прозы XIX века можно соизмерить лишь с историко-литературной ролью самых крупных чешских прозаиков — таких, как Ян Неруда или Алоис Ирасек. А вслед за этими великими первооткрывательницами приходят Ружена Свободова, Тереза Новакова, Божена Бенешова, Анна Мария Тильшова, Мария Майерова, Мария Малиржова, Мария Пуйманова, Ярмила Глазарова — писательницы, имена которых известны каждому чеху. В их книгах, естественно, немалое внимание уделено судьбе женщины, проблеме ее социального и духовного раскрепощения, ее месту в семье и обществе. Но если для Ружены Свободовой тема женской эмансипации была самой важной и всепоглощающей, то у большинства ее последовательниц женщина и мир, в котором она живет, выступают как равнодействующие. Некоторые чешские писательницы нарочито выбирали мужские псевдонимы (Иржи Сумин, Феликс Тевер), не желая «выделяться» из общего литературного потока и как бы наперед отвергая суждения и оценки, применимые только к книгам, которые женщины пишут для женщин.

Это стремление видеть женскую судьбу в неразрывном единстве с судьбой мира свойственно и Яромире Коларовой, уже известной читателям «Иностранной литературы» по ряду публикаций[1]. И все же писательница обычно исходила из жизненного восприятия женщины. Многие ее произведения носили сугубо автобиографический характер. В последнем романе Коларовой «Вода!» «мужской» и «женский» миры равноправны.

Чуть приметная струйка воды, пахнущей сероводородом, неожиданно превращается в поток. Восемь шахтеров из бригады Ярослава Стршалки остались в затопленном штреке. Что их ждет — спасенье или смерть?

В замечательной повести Карела Чапека «Первая спасательная» (1937), где мы сталкиваемся со сходной ситуацией, внимание читателя сосредоточено не на поведении отрезанных от мира шахтеров, а на мотивах действий их товарищей, которые первыми добровольно вызвались участвовать в спасательных работах, несмотря на угрозу нового обвала. Автора этой прозаической поэмы о шахтерской солидарности интересовали истоки и сущность героизма. Повесть была написана от лица недоучившегося гимназиста Станды Пулпана, лишь недавно и ненадолго приобщившегося к шахтерскому коллективу. Это был восхищенный взгляд со стороны. Во многом — взгляд самого Чапека.

У Яромиры Коларовой происходящее оценивается с точки зрения самого шахтерского коллектива. Это взгляд более требовательный и строгий.

Если бы все члены бригады Стршалки действовали в критический момент согласно инструкции, если бы сам бригадир был более решителен, шахтеры успели бы покинуть штрек, в который хлынула вода. Почему же этого не произошло? Писательница отвечает на этот вопрос, анализируя внутренние мотивы поступков персонажей. На наших глазах люди, оказавшиеся в экстремальной ситуации, проходят экзамен на выдержку, в котором выявляется их человеческая суть. В литературе подобная коллизия использовалась неоднократно (впрочем, чаще в драматургии и в кино, чем в прозе, недаром и сама Коларова — драматург и киносценарист). Дело не в самом сюжетном приеме, а в его идейно-смысловой и жизненной наполненности. Среди попавших в беду шахтеров есть люди сильные и слабые, умные и недалекие, есть люди, сжившиеся с шахтой, и новички. В типологии персонажей Коларова во многом следует за Чапеком. Не столько участниками, сколько свидетелями событий оказываются совсем разные Станда Пулпан у Чапека и Йожин у Коларовой. Героическую самоотверженность проявляют шахтеры-ветераны — дед Суханек в повести Чапека и старый Пьёнтек в романе Коларовой. Огромной силой, которой не соответствует духовное развитие, обладают — соответственно — Матула и «Комар». В чем-то похожи чапековский Адам, страдающий от неразделенной любви, и бывший партизан Эрих Выметал, возлюбленную которого казнили гитлеровцы. Особую симпатию у авторов и читателя вызывают исполненные спокойствия молодые силачи — Мартинек и Михал Колига. Сходную роль «черной овцы» в бригаде играют при всем их несходстве чапековский надзиратель Андрес, компенсирующий недостаток в росте придирчивостью, и «перепуганная мышка» Пицмаус, бессмысленно суетящийся и бессмысленно погибающий в припадке панического страха. Все эти многократные характерологические совпадения, конечно, не результат подражания. Талант Чапека ска-

[1] Главы из романа Я. Коларовой «Мой мальчик и я» (1975, № 1), повесть «О чем не сказала Гедвика» (1979, № 2).

зался и в том, что он нащупал в шахтерской среде такие человеческие типы, которые свойственны ей и в наши дни, хотя время, конечно, вносит в человеческие характеры свои специфические черты.

Сопоставление книг Чапека и Коларовой наглядно демонстрирует, насколько изменился за годы, разделяющие их, такой первичный рабочий коллектив, как шахтерская бригада. В повести Чапека спасательными работами руководят инженер Гинсен, швед по национальности, и пес-надзиратель Андрес. Совместная работа в условиях смертельной опасности сближает их с шахтерами, но некая непреодолимая грань остается, как ни старается автор доказать возможность единства людей вопреки социальным и идеологическим преградам. В романе Коларовой центральная фигура низового шахтерского коллектива — бригадир. Именно поэтому одна из идей романа — мысль о величайшей ответственности, ложащейся на плечи такого рабочего вожака. Тут недостаточно знаний, опыта, сноровки. Вредна излишняя покладистость. Нужны принципиальность и неуступчивая требовательность и в отношениях с начальством, и в отношениях с товарищами. В трудную минуту шахтеры инстинктивно тянутся к сильному, норовистому и умному Михалу Колиге, которому впоследствии будет суждено сменить своего друга на посту бригадира.

В рецензии на «Первую спасательную» Юлиус Фучик отмечал, что Чапек постиг в жизни шахтеров «почти все», но книгу портят несколько страниц, рисующих взаимоотношения между шахтерами и правлением шахты: «В естественной книжке о естественном героизме это нечто совершенно неестественное, как если бы в ней вдруг появилась бородатая фея и все зло превратилось в добро». Яромира Коларова может с полным основанием рисовать спасение шахтеров из бригады Стршалки как дело всего коллектива шахты — от директора, в не столь отдаленном прошлом рядового шахтера, до подростка Йожина, только что принятого в шахтерскую семью.

Книга Коларовой, действие которой относится к началу 50-х годов, явственно связана с традицией романов о социалистическом строительстве, характерных для чешской литературы той поры. Обилие персонажей, широкий охват событий, стремление дать картину общества в социальном разрезе — все эти черты, свойственные книгам тех лет, присущи и роману Коларовой. Вместе с тем на события прошлого писательница смотрит глазами человека, умудренного опытом десятилетий. Это помогает ей отнестись с пониманием и к ушедшему на пенсию бывшему главному инженеру шахты, в котором нынешний ее директор еще недавно видел чуть ли не классового врага, и даже к жене этого представителя старой технической интеллигенции, озлобленной на весь мир из-за тяжкого недуга. Хотя все на шахте живут интересами дела, самым важным для автора остаются люди.

Отрезанные от внешнего мира шахтеры не перестают ощущать себя частью мира. Как солдат на фронте живет воспоминаниями о семье и доме, так и попавший в катастрофу шахтер, едва избегнув смертельной опасности, мысленно возвращается к своим близким. И его поведение в немалой мере зависит от того, что он оставил на поверхности, каков у него бытовой, семейный, нравственный «тыл». Вот почему роман Коларовой о шахтерском мужестве — это и роман о шахтерской любви. Мечтает о любви недоучившийся студент Зденек, мучающийся чувством вины перед старым Пьёнтеком, который, отдав ему свою защитную маску, обрек себя на смерть. Мечта о подлинном счастье живет в душе всех шахтеров, сколь бы по-разному она ни воплощалась в их сознании.

Из галереи шахтерских жен писательнице более всего удались портреты жизнерадостной и чуть легкомысленной Верки, жены Михала Колиги, и ее подруги — завистливой и расчетливой Милушки, жены Ярослава Стршалки. Первую выпавшее на ее долю испытание как бы очищает от всего случайного и поверхностного, заставляет глубже и полнее понять себя и свое чувство к мужу. Вторую горе ожесточает.

Роман завершается отнюдь не однозначным смысловым аккордом. Михал Колига предлагает назвать бригаду именем Стршалки. Того Стршалки, который погиб, спасая себя и товарищей, и при этом сам был ответствен за жертвы, понесенные бригадой.

Такая неоднозначность подхода, стремление сопоставить разные точки зрения на один и тот же факт, показать человека или явление в противоречии внешнего и внутреннего, кажущегося и подлинного составляют главную ценность книги. В ее композиции принцип объективного изображения, свойственный прозе 50-х годов (например, шахтерскому роману К. Ф. Седлачека «Луизиана пробуждается»), сочетается с традициями психологической прозы и прежде всего с композиционными приемами философско-психологических романов Чапека, подчеркивавшего множественность точек зрения на мир, субъективность человеческого восприятия жизни, сложность процесса познания.

В Чехии нет моря. Но есть подземные угольные бассейны. И шахтерская тема богато представлена в чешской литературе. «Люди подземного континента» — так назвал свою повесть о шахтерах молодой современный писатель Йозеф Фрайс. Следует вспомнить и такие классические произведения, как «Сирена» и «Шахтерская баллада» Марии Майеровой. Новый роман Яромиры Коларовой займет в этом ряду достойное место.

ОЛЕГ МАЛЕВИЧ

ДЕТСТВО, ОКРАШЕННОЕ ВОЙНОЙ

Frédérique Hebrard. La Chambre de Goethé. Paris, Flammarion, 1981.
Anne Cuneo. Les Portes du Jour. Vevey, Editions Bertil Galland, 1980.

Фредерик Эбрар. Комната Гёте. 1981.
Анн Кюнео. У порога Дня. 1980.

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка по имени Фредерик, или Рикетт,

как называли ее папа, мама и бабушка. Жизнь Рикетт походила на сказку: она была волшебно прекрасна. Девочка росла, окруженная любовью, и не сомневалась, что все ее желания сбудутся — ведь у нее все впереди. И когда она вырастет, то, «как и все, станет писательницей», потому что отцом девочки был известный французский писатель Андре Шамсон (в книге не раз звучат фрагменты его произведений), и в его доме постоянно собирались такие знаменитости, как Роже Мартен дю Гар, Андре Мальро, Андре Жид и многие другие прозаики и поэты, в том числе советский писатель Илья Эренбург[1]. Лишь бы время бежало побыстрее и поскорее бы вырасти, а пока Рикетт больше нравилось угощать живых классиков собственноручно приготовленными пирожными, чем заниматься сочинительством.

Что же было дальше?

А дальше сказка была прервана войной, хотя беззаботная Рикетт никак не хотела в нее верить. Девочка не сомневалась, что такие умные и интеллигентные люди, как ее папа и его друзья, ни за что не допустят, чтобы началась война.

И когда война все-таки вступила во Францию; она мгновенно нарушила еще вчера счастливую жизнь и разметала в разные стороны близких и любящих людей: отца Рикетт призвали в армию и отправили на Эльзасский фронт, а мать, работавшая библиотекарем и архивариусом Лувра, вместе с дочкой поехала в Шамбор, сопровождая эвакуированные сокровища. Началась кочевая жизнь; захват оккупантами все новых территорий заставлял беженцев покидать временные пристанища и искать другие безопасные места.

На какой-то срок семья (демобилизованный Андре Шамсон с большими трудностями разыскал жену и дочь и во время дальнейших странствий уже с ними не разлучался) обосновалась в Монтабане, где часть картин можно было разместить в музее Энгра. Хранители же луврских богатств подыскали себе скромную квартирку, где комнату, отведенную девочке, отец сразу назвал «комнатой Гёте».

Так называется и книга, написанная Фредерик Эбрар после того, как в октябре 1980 года она посетила Монтабан и «комнату Гёте», с которой у нее связано столько воспоминаний.

«Почему же «комната Гёте»? Почему?» — недоумевала когда-то маленькая Рикетт, оставшись дома одна и занявшись изучением квартиры. На пианино она обнаружила ноты Шумана, открыла одну из книг и прочла: Генрих Гейне. Уже сам готический шрифт символизировал для нее немцев, фашистов, а значит, войну, поражение, оккупацию, смерть. И вечером, не успели родители переступить порог, Фредерик заявила, что она не желает жить в этой квартире, где столько всего немецкого, и что она ненавидит Гитлера.

— Но не Гёте! — воскликнул отец.— Ты понимаешь,— объяснял он дочери,— Гёте не принадлежит Гитлеру. Он принадлежит нам всем, как картины Лувра... как Мольер... как солнце! Война идет за то, чтобы их защитить. Гёте... он — твой!

Действие романа будет развиваться и дальше, и последующие годы вынужденных странствий, опасностей и лишений многому научат будущую писательницу. Но самый важный из жизненных уроков она усвоила именно во время того вечернего разговора. Именно тогда, в комнате, напомнившей писателю Андре Шамсону комнату великого гуманиста в Веймаре, маленькая Рикетт узнала о существовании бессмертной мировой культуры, которая принадлежит всем векам и народам. Узнала о том, что, отстаивая эту культуру, люди разных национальностей не щадят своих жизней. Именно в тот момент пробудился в ней жадный интерес познать и увидеть как можно больше. Именно в тот вечер девочка поверила («я заразилась неизлечимой болезнью — надеждой»), что война когда-нибудь окончится и она сможет осуществить все свои мечты.

В те далекие годы ей хотелось стать актрисой. По соседству с монтабанской квартирой находился театр, и Фредерик с утра до вечера могла из окна наблюдать скрытую от зрительских глаз повседневную жизнь театра. Увиденный вне огней рампы, во всей своей будничности, со всеми бытовыми неурядицами, театр не оттолкнул, а еще сильнее стал манить к себе девочку. Она поняла, какой ценой достигают сценического перевоплощения совсем юные актрисы, почти ее ровесницы, как и она, страдающие от голода, зябнущие и простуженные. Театр, поняла Фредерик,— это искусство, служить которому нужно преданно и бескорыстно.

В дальнейшем Фредерик Эбрар (избравшая псевдонимом фамилию прадеда по материнской линии) действительно станет актрисой.

А пока шла тягостно долгая война, «нужно было молчать и не подавать виду, что на что-то надеешься, и запираться, чтобы послушать радиопередачу «Французы обращаются к французам». Только смотри, никому об этом не говори, даже самым близким подружкам, никому ничего не говори...»

«Никому ничего не говорить» — это правило девочка также усвоила с первых дней войны, потому что ее родители укрывали подвергавшихся преследованию людей. Были вызовы в гестапо, ночные обыски, облавы и бесцеремонные вторжения полиции — французской, что было особенно стыдно, подчеркивает Фредерик Эбрар. Да, находились предатели, добровольно сотрудничавшие с оккупантами, но было множество других людей, разных возрастов и профессий, и среди них — старики, женщины и дети, которые помогали Сопротивлению.

Война, участие в Сопротивлении еще больше сблизили старых друзей: в монтабанское убежище приезжали и Андре Вюрмсер, нагруженный чемоданом с листовками, и Жан Люрса, который оставил на хранение свой (впоследствии столь знаменитый) рисунок для ковра, символизирующий Свободу. Приходили письма от Андре

[1] У И. Эренбурга в книге «Люди годы, жизнь» мы читаем: «Порой я встречался с Андре Шамсоном; он был пылким южанином, милым и добродушным, но... казнил всех подозреваемых в фашизме, называл себя «якобинцем». Теперь и он академик; раз в пять или десять лет мы встречаемся и мирно вспоминаем прошлое».

Мальро, от Ромена Роллана. Но приходили и печальные известия о гибели давних и недавних друзей и товарищей по Сопротивлению.

Совсем близко был Орадур. И мать обучила девочку, как обращаться с револьвером.

Однако, как ни опасно было существование в ту пору, Фредерик в ее тринадцать лет жизнь все равно представлялась замечательной: «Чем больше угрожала мне жизнь, тем более прекрасной она мне казалась. И я жаждала прочитать ее залпом, как самую увлекательную книгу, от которой невозможно оторваться...»

Книги — их как раз не хватало Фредерик в годы войны. Но ее отец помнил множество стихов и наизусть читал их дочери. Сокровища, которые хранила память Андре Шамсона, были поистине неисчерпаемыми. «Я все думала, что вот-вот наступит момент, когда папа скажет, что больше не может вспомнить ни одной строчки. Но нет! Час за часом, день за днем раскручивал он передо мной шелковый свиток поэзии...»

Одним из самых счастливых открытий явилось для Фредерик чтение романа «Война и мир» Л. Толстого, который ей дал преподаватель лицея. «Я взяла эту книгу. И больше уже не расставалась с ней. Я спала, прижав ее к сердцу... Я была влюблена. В князя Андрея, конечно. И в Пьера... И в Наташу... Мне было очень стыдно возвращать книгу господину Байру. Она выглядела так, словно проделала путь из России в бауле офицера императорской армии. Увидев ее, господин Байру рассмеялся:

— Она тебе понравилась, да?

Я покраснела.

— Раз она тебе так понравилась, можешь оставить ее себе. Книга, зачитанная до такой степени,— счастливая книга.

По ночам я прижимала к себе «Войну и мир» и чувствовала себя в безопасности».

В те военные годы Фредерик не раз могла убедиться, как много значат книги. Однажды Андре Шамсон, не очень надеясь на успех, отправился к секретарю мэрии, чтобы защитить подвергавшуюся высылке в Германию девочку, которую приютила его семья. Войдя в дом, он увидел на полках собственные книги — девочка была спасена.

И совершив тридцать с лишним лет спустя паломничество в Монтабан, в «комнату Гёте» (неважно, что в ней ничего не сохранилось, кроме стен, да и те оклеены новыми обоями — ее былая атмосфера, ее дух навсегда остались в памяти автора), Фредерик Эбрар написала книгу-напоминание о пережитом, обращенную и к своим ровесникам, и к поколениям, не знавшим войны.

Такое же побуждение руководило, видимо, и швейцарской писательницей Анн Кюнео, рассказавшей о своем военном детстве в книге «У порога Дня». Опубликовав уже целый ряд имевших успех романов, французская и швейцарская писательницы одновременно ощутили потребность оглянуться назад и заново перелистать начальные страницы своей жизни, чтобы осмыслить испытания, предопределившие судьбу их поколения.

Анн Кюнео родилась в Париже, родители ее были итальянцами. Самые ранние воспоминания — самые солнечные. Но ее сказка длилась совсем недолго. Война началась, когда девочке было четыре года. Ее отцу, Альберто Кюнео, высокооплачиваемому инженеру-строителю, сразу отказали от места, и найти другую работу оказалось невозможно: никто не хотел иметь дело с выходцем из страны, в которой царил фашизм. Многие откровенно советовали ему возвращаться на родину.

Но приехав в Италию, семья Кюнео оказалась не в лучшем положении. Чтобы получить работу, необходимо было вступить в фашистскую партию, что претило Альберто Кюнео. Трудности были и с языком: нужно было немедленно забыть французский и отучить говорить на нем маленькую Анн, для которой он до сих пор был родным языком. Однажды в миланском трамвае какой-то фашист, услышав французскую речь, начал оскорблять мать с дочкой и грозился вызвать полицию. Пришлось спасаться бегством. Непредвиденные осложнения вызвал и гражданский брак Альберто и его жены Лидии: в Италии он не считался действительным. И Альберто Кюнео, убежденному атеисту, пришлось в спешном порядке венчаться со своей женой.

Наконец, после долгих поисков ему удалось найти работу не по специальности на одном из заводов.

Наступил период относительного благополучия, но война надвигалась со всех сторон, и, как у Фредерик Эбрар, у Анн Кюнео эти годы были наполнены бесконечными скитаниями. Не успевала она свыкнуться с новым домом, полюбить новое пристанище, снова нужно было срываться с места, снова трогаться в путь, в неизвестность.

Однако Фредерик Эбрар, видимо, более жизнерадостная по натуре и росшая в дружной и любящей семье, даже в самые тяжелые моменты сохраняла веселый и задорный нрав — ее книга буквально переливается блестками юмора.

Интонация романа Анн Кюнео — более трагическая. Ранимая до болезненности, она в детстве очень страдала из-за того, что родительскую любовь была вынуждена делить с младшим братом: ей казалось, что на ее долю этой любви выпадает все меньше и меньше. Скрытная и нелегко сходившаяся с людьми, девочка горько переживала свое постоянное одиночество. Разногласия между родителями, их педагогические просчеты еще больше обостряли это чувство.

Но вопреки бесконечным переездам, голоду, бомбардировкам и бесчинствам немецких фашистов (после того, как Италия объявила о выходе из войны и «гости» превратились в безжалостных оккупантов), тот процесс радостного открытия жизни и познания мировой культуры, которым в эти годы была захвачена Фредерик Эбрар, не миновал и Анн Кюнео. И у нее была своя «комната Гёте», даже не комната, а целый город — дольше всего семья Кюнео прожила в годы войны в городе, где родился Леонардо да Винчи. Здесь сами улицы и стены домов хранили память о ве-

ликом наследии прошлого. Едва научившись читать и писать, девочка глотала книгу за книгой, которые отец приносил ей каждый день после работы. Худшим наказанием для Анн было лишить ее этого ежевечернего подарка. С раннего возраста у нее пробудился дар к сочинительству. Изо дня в день она рассказывала перед сном младшему брату придуманные ею истории, писала драмы, романы, вела дневник, подробные записи которого помогли будущей писательнице при создании целого ряда произведений, в том числе и этой книги.

Роман «У порога Дня» включает также записи из дневника матери Анн Кюнео, который та вела на протяжении многих лет. Писательница не стремится к тому, чтобы ее воспоминания полностью совпадали с наблюдениями и оценками матери при воспроизведении внешней и внутрисемейной атмосферы. Иногда Лидии Кюнео казалось, что в ее доме царит полная гармония, а дочке, мучимой ее детскими проблемами и тревогами, виделось все совсем в ином свете.

Для Фредерик Эбрар и ее близких окончание войны означало возвращение в Париж и начало новой, полной счастливых возможностей жизни.

Для семьи Кюнео война продолжалась и после ее официального завершения. Отец Анн, связанный с Сопротивлением, спасший немало рабочих от высылки в Германию и занимавшийся саботажем в разных формах, был убит 8 мая 1945 года. Дневниковые записи дочери и матери рассказывают о новых испытаниях, которые ждали эту семью. Лидия Кюнео с утра до вечера тщетно искала работу: в послевоенной Италии миллионы людей оказались без работы. Вынужденная разъезжать, она пристроила детей в монастыри. Жизнь в тисках монастырского гнета была невыносимой, особенно для Анн, которая унаследовала от отца атеизм и с ранних лет отличалась недетской самостоятельностью и независимостью суждений. Здесь же душили все живое, здесь царил один закон — смиряться и покоряться.

Отчаявшись найти работу в Италии, Лидия Кюнео уехала в Швейцарию, в эту не знавшую войны страну, которая представлялась итальянцам землей обетованной. Сколько итальянских эмигрантов отправлялось туда с твердой надеждой подзаработать денег и вернуться на родину. Пройдя унизительную процедуру медицинского осмотра и карантин, Лидия получила место служанки в пансионе, где за мизерную оплату она с утра до позднего вечера выполняла самую черную работу. А дети, которых Лидии пришлось оставить в Италии (лишь значительно позже она смогла забрать их к себе), не зная о тяготах, выпавших на долю матери, страдали от заброшенности и чувствовали себя навсегда покинутыми.

Для Фредерик Эбрар Швейцария была также первой страной, куда она поехала с отцом после войны. Здесь, в доме, где они поселились, Фредерик встретила двух немецких мальчиков, потерявших родителей во время войны. Заметив, как резанула слух дочери немецкая речь, Андре Шамсон сказал ей: «Плохих наций нет. Война окончилась, дочка».

В жизненных дорогах Фредерик Эбрар и Анн Кюнео много общего, однако одни и те же события, послужившие поворотными моментами в их судьбах, оставили в душе у каждой разный след — у Анн Кюнео, как правило, более горький. Для ее семьи переезд в Швейцарию был не туристическим путешествием, а еще одним вынужденным изгнанием.

Еще в детстве у Фредерик Эбрар родилась мечта побывать в Италии, на родине ее предков, с которой она постоянно ощущала нерасторжимую связь. И когда спустя полвека эта мечта, наконец, осуществилась и писательница ступила на итальянскую землю, она с восторгом вглядывалась здесь в каждый камень, в каждый дом, в каждую улицу.

В памяти Анн Кюнео Италия осталась горестной страницей ее жизни. Сюда ее семья была практически изгнана из Франции, здесь был убит ее отец, которого она так горячо и преданно любила, и здесь ей с матерью и братом не нашлось места и после войны, которая столько у них отняла.

Но эти разные и одновременно похожие писательницы, то сближающиеся, то удаляющиеся друг от друга, единодушны в главном: они не хотят, чтобы у кого-то повторилось их детство, окрашенное войной. И как важно и своевременно появление этих двух книг — и для Франции, где наметилась тенденция реабилитировать коллаборационизм, и для Швейцарии, где благополучного обывателя побуждают забыть об истоках второй мировой войны и запугивают мифической угрозой, исходящей якобы от нашей страны, которая столь дорогой ценой оплатила победу над фашизмом.

Н. ПОПОВА

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

ПАМЯТИ ГУГО ГУППЕРТА

Газета «Фольксштимме» посвятила статью памяти недавно скончавшегося известного поэта и переводчика Гуго Гупперта.

В этом году Гупперту исполнилось бы 80 лет. Он родился в 1902 году и еще в студенческие годы связал себя с революционным рабочим движением. В 1928 году появились в печати его первые стихи, сразу обратившие на себя внимание. В том же году он был приглашен на работу в Москву, где пробыл до 1929 года.

Важную роль в судьбе Гупперта сыграла встреча с Владимиром Маяковским. «Этой встрече, — пишет «Фольксштимме», — мы обязаны превосходными переводами, которые теперь опубликованы в десятитомном собрании сочинений поэта. Гупперт был также автором монографий «Нетерпение века», «Воспоминания о Маяковском», «Маяковский в высказываниях и изобразительных документах», в которых возникает перед австрийским читателем облик великого советского революционного поэта».

В 1938 году коммунист и патриот вынужден был покинуть родину. Он эмигрировал в Советский Союз, жил в Москве, был заместителем главного редактора журнала «Интернациональная литература». В эти годы он перевел на русский язык многих австрийских поэтов и писателей, таких, как Грильпарцер, Ленау, Штифтер, Эбнер-Эшенбах, Цвейг, Рильке. Вместе с Советской Армией он участвовал в освобождении своей страны от фашизма.

После войны Гупперт опубликовал множество работ в разных жанрах. Среди них книги стихов «Времена года», «Логарифм радости», «Пути облаков и земные дороги», «Приметы, или Луна по заказу», «Венские уголки», автобиографическая трилогия «Притворенная дверь», «Настенные часы с передним планом», «Шах двойнику», книга путевых очерков «Монеты в фонтане», сборник публицистических статей «Минуты и мгновения».

По предложению Бертольта Брехта Гупперт был удостоен Национальной премии ГДР, а также премии им. Гейне. С 1963 года он член-корреспондент Академии наук ГДР. Высоко были оценены переводческие заслуги Гупперта в Советском Союзе, и он был награжден орденом «Знак почета». В 1979 году ему была присуждена премия Советского Фонда мира.

У себя на родине, замечает «Фольксштимме», Гуго Гупперт долго не имел возможности печататься. Но в последние годы и Австрия отдала должное его заслугам. Он был удостоен Почетного Креста за достижения в области науки и искусства, а в 1969 году получил звание профессора.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«АВТОБИОГРАФИЯ»

Под таким названием в издательстве «Фабер» вышла недавно автобиография английского драматурга Джона Осборна, известного советскому читателю по его нашумевшей в свое время пьесе «Оглянись во гневе» и «Неподсудное дело» («ИЛ» № 7, 1967).

Автобиография охватывает период с 1929 по 1955 год, то есть до того момента, когда Королевский придворный театр принял для постановки пьесу «Оглянись во гневе», которая в несколько месяцев принесла Осборну славу одного из веду-

БОЛГАРИЯ

Людмил Кирков известен как режиссер, проявляющий глубокий интерес к проблемам современности. «Он не просто летописец сегодняшнего дня,— пишет Атанас Свиленов в газете «Софийские новости»,— он стремится проникнуть за рамки повседневности и открыть в привычном быту людей богатство духовного мира одних и выявить несовершенства других. Однако Людмил Кирков, говоря о человеческих недостатках, не выступает как обличитель, он пытается постигнуть логику поведения людей, понять их слабости и сказать об этом так, чтобы они захотели что-то в себе изменить». В этом отношении характерен и последний фильм Людмила Киркова «Оркестр без названия». Его герои — юноши и девушки, на долю которых выпадают жизненные испытания, они не идут на компромисс, не изменяют своим идеалам. Фильм отличается остротой проблематики и гражданским зарядом.

На снимке: сцена из фильма «Оркестр без названия».

(Газета «Софийские новости»)

щих драматургов в послевоенной Великобритании.

В книге Осборн рассказывает о своей недолгой карьере журналиста, о первых шагах в театре — сначала в качестве рабочего сцены, а потом помощника режиссера и даже актера; о своих первых опытах в области драматургии.

По мнению рецензента журнала «Бритиш бук ньюс», книга Осборна помогает понять особенности его творчества последующего периода (после написания «Оглянись во гневе»).

Как считает тот же рецензент, автобиография драматурга написана живо и занимательно. Она заинтересует не только театральных критиков и историков театра, но и самого широкого читателя, поскольку в ней Осборн прекрасно воссоздает атмосферу культурной жизни Великобритании 30-х начала 50-х годов.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧАРЛЬЗА РАЙДЕРА

В одном из номеров английского еженедельника «Таймс литерари сапплмент» опубликовано ранее неизвестное произведение Ивлина Во — «Школьные годы Чарльза Райдера».

Как известно, Чарльз Райдер — герой романа «Возвращение в Брайдсхед», который, по словам самого писателя, стал «некрологом обреченному высшему классу Англии». Во описывает в романе студенческие годы своего героя, а потом — его долгий путь прозрения, в конце которого он, тридцатидевятилетний офицер, «почувствовал себя стариком», разочаровался во всем и вся.

Майкл Сиссне, подготовивший публикацию, в своей сопроводительной заметке пишет о том, что в августе 1981 года его коллега, работающий над архивом писателя, нашел отпечатанную на машинке 34-страничную рукопись. Судя по приложенной записке, Во намеревался направить ее своему литературному агенту Э. Д. Питерсу.

«Школьные годы» — по композиционной, сюжетной завершенности рассказ. Но дневниковые записи 1945 года говорят нам о другом. 2 октября 1945 года Во пишет: «...жизнь моя течет тихо и счастливо, как никогда прежде. Начал роман о школьной жизни, действие его происходит в 1919 году —удивительно необычная история». 28 октября: «Последние три недели прошли безмятежно и без особых событий: Лаура стала лучше готовить, вина хватает, дни стоят чудесные. Пишу свою школьную историю...» На этом упоминания о работе над романом о детстве Райдера обрываются. До сих пор ни в архиве писателя, ни в архиве Питерса не найдены следы, которые помогли бы прояснить дальнейшую судьбу романа. Донат Голлегер, готовящий «Полное собрание эссе и статей Ивлина Во» (оно выйдет в 1983 году в Лондоне), обратил внимание на то, что в рукописи «Возвращения в Брайдсхед» много материала, посвященного детству Чарльза Райдера, его семье, который в окончательный вариант романа не вошел. Вероятно, эти главы и послужили толчком к решению Во написать самостоятельное произведение.

Была ли 34-страничная рукопись предложена какому-нибудь журналу? Почему Во прервал работу над ней? На эти вопросы ответа у английских исследователей пока нет.

ВЕНГРИЯ

ЕЩЕ ОДНА КНИЖНАЯ СЕРИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЕВРОПА»

Вот уже более тридцати пяти лет будапештское издательство «Европа» знакомит венгерских читателей с произведениями зарубежной литературы. К многочисленным сериям, таким, например, как «Историческая библиотека», «Воспоминания», «Школьная библиотека», «Карманные книжки», «Мыслители», «Современная библиотека», «Библиотека Победы», «Поэзия наших дней», «Библиотека советской литературы», «Шедевры мировой литературы» и многие другие, сейчас прибавилась еще одна: «Классики мировой литературы».

О задачах и характере этой серии рассказал на страницах газеты «Мадьяр немзет» один из руководителей издательства Ласло Антал. Он, в частности, отметил, что новая серия явится самой репрезентативной из имеющихся. Проект этой серии широко обсуждался литературоведами, писателями, критиками, переводчиками, редакторами, библиотекарями, сотрудниками учреждений по пропаганде и распространению книг. В результате родился план выпуска серии, согласно которому в течение тринадцати лет ежегодно будет выходить по пятнадцати томов. Вся серия составит двести томов.

«Издательство «Европа», — подчеркнул Ласло Антал, — всегда стремилось к тому, чтобы классическая и современная литература взаимно дополняли друг друга. Ведь было бы неправильно, если бы мы довольствовались только сегодняшним днем. Современный человек должен ощущать прошлое, оглядываться на него, заимствовать духовный опыт.

«Памяти Тибора Дери» — в заметке под таким заголовком журнал «Фильм, синхаз, мюжика» сообщил о том, что снимается телевизионный игровой фильм о жизни и творчестве известного венгерского писателя. В фильме будут использованы многие его произведения, в том числе и публиковавшаяся на страницах журнала «Иностранная литература» повесть «Милый бо-пэр!..» Режиссеры фильма—Эрика Санто и Ева Шульце.

На снимке: кадр из фильма. Тибора Дери — в молодости и в последние годы жизни играют актеры Иван Дарваш и Андраш Кем.

Когда сегодня речь идет о мировой литературе, то подразумевается совокупность национальных литератур. И мы будем все делать для того, чтобы в нашей новой серии была представлена каждая национальная литература мира лучшими своими образцами. Мировая литература расширила сегодня свои границы, на наших глазах в нее вливаются, к примеру, произведения латиноамериканской и африканской литературы».

Серия «Классики мировой литературы» — это серия художественной литературы. В ней будут издаваться эссе, статьи, историко-философские сочинения писателей-мыслителей: Платона, Августина Блаженного, Руссо, Монтеня. В серию войдут произведения народного эпоса, сборники сказок и антологии рассказов народов мира, предусматривается издание Библии, в которое будут включены наиболее ценные с литературной точки зрения главы.

Книги будут печататься на специальной бумаге, в красивых и добротных переплетах. Часть тиража наиболее популярных среди читателей произведений будет издаваться в мягких обложках, более компактного формата.

Первый том новой серии «Классики мировой литературы» — роман Эмили Бронте «Грозовой перевал» венгерские читатели получили к весеннему празднику книги.

На снимке: писатель Нгуен Туан в фильме «Лампа гаснет».

(Еженедельник «Ван нге»)

ВЬЕТНАМ

«ЛАМПА ГАСНЕТ»

В Ханое и других городах Социалистической Республики Вьетнам с большим успехом прошла премьера нового художественного фильма «Лампа гаснет» (режиссер Фам Ван Кхоа). Фильм снят по роману писателя-классика Нго Тат То (1892—1954) «Лампа гаснет», повествующему о тяжелой доле женщины в дореволюционной вьетнамской деревне, о засилье власть имущих и богачей, закабалявших крестьян, лишавших их человеческого достоинства. Роман Нго Тат То «Лампа гаснет» переведен на русский и другие языки народов СССР.

В роли главной героини фильма дебютировала молодая актриса Ле Ван. Роль волостного начальника исполнил известный вьетнамский писатель Нгуен Туан, произведения которого не раз печатались в СССР, в том числе и в журнале «Иностранная литература». В связи с премьерой фильма Нгуен Туан выступил со статьей в еженедельнике «Ван нге» («Литература и искусство» — орган Союза писателей Вьетнама), где он вспоминает о своих встречах с Нго Тат То, говорит о долге художника, о задачах культуры, участвующей в построении нового общества.

ГДР

«ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»

Так называется новый роман молодого писателя Гюнтера Росса о сложной жизни геологов, выпущенный издательством «Мительдойчер ферлаг».

«Гюнтер Росс рассказал в своем романе о трудностях, с которыми сталкиваются геологи, о суровой природе,— пишет рецензент журнала «Нойе дойче литератур».— Рядом с главным героем Росс показывает рабочих, инженеров, научных работников, артистов и художников, в его романе много отдельных самостоятельных историй из жизни этих людей. Писателю удалось передать особенности языка своих персонажей... На этом фоне разворачивается главный конфликт романа — возможно ли сочетать личную жизнь с работой». Герой романа — геолог Франк, человек, увлеченный своей профессией. Работа захватывает его настолько сильно, что он не уделяет достаточно времени своей жене Ирене, которую нежно любит. В их отношениях назревает кризис...

Автор не дает однозначного ответа на поставленный вопрос о сочетании личного с общественным. В конце романа взаимоотношения Франка и Ирены по-прежнему остаются сложными. Росс как бы ждет ответа от читателей. «Гюнтер Росс написал очень живую и интересную книгу о нашей действительности, — отмечает Вернер Нойберт в газете «Берлинер цайтунг».— Он хорошо знает материал, он затрагивает важные моменты нашей жизни. Я считаю, что его можно назвать талантливым и очень честным писателем».

ГРЕЦИЯ

ПОЭЗИЯ, ОРОШЕННАЯ СЛЕЗАМИ И КРОВЬЮ

В стране широко отмечается пятидесятилетие творчества замечательного поэта Никифороса Вреттакоса.

Издательство «Темелио» провело в афинском клубе книги неделю Вреттакоса, в которой приняли участие видные представители творческой интеллигенции, а также многочисленные любители поэзии. Большой интерес у участников недели вызвала выставка произведений поэта. На ней были представлены и ученические тетради с первыми стихами, и напечатанный на дешевой газетной бумаге первый поэтический сборник «Под тенью и светом», и последнее двухтомное собрание сочинений, и переводные издания стихов и поэм Н. Вреттакоса (в том числе изданный в 1962 году в Москве сборник «Лирика»).

Для творчества Н. Вреттакоса характерна ярко вы-

раженная гуманистическая направленность. Уже в своих ранних стихах поэт призывает к борьбе со злом, борьбе за человеческое достоинство. Участие в антифашистском Сопротивлении в годы второй мировой войны обогатило его творчество. Идея сопротивления агрессору, национально-освободительная тематика, призыв к коренному переустройству общества приобретают в его стихах все более конкретные формы.

В послевоенные годы лейтмотивом поэзии Н. Вреттакоса становится идея братства народов. После поездки в 1957 году в Советский Союз Н. Вреттакос написал книгу «Один из двух миров», в которой с большой симпатией повествует о достижениях советского народа. Стихи и поэмы 60-х годов, отмеченные смелой образностью, оригинальностью формы, внутренней собранностью стиха, посвящены борьбе колониальных народов за свободу, теме освоения человеком космического пространства, сложным проблемам жизни современной Греции.

После установления в стране в 1967 году военно-фашистской диктатуры Н. Вреттакос был вынужден эмигрировать и долгое время жил в Швейцарии и Италии. Вернувшись на родину, поэт издал книгу «Протест», в которую вошли антифашистские стихи и поэмы, написанные в годы «черного семилетия». В последующие годы увидели свет поэма «Прометей, или Игра одного дня», сборники «Полуденные подсолнухи», «Свидетельства сурового времени», «Путь 1929—1970» и другие.

Значительным событием в литературной жизни Греции явился выход в прошлом году поэмы Н. Вреттакоса «Литургия под Акрополем», представляющей собой философско-поэтическое осмысление исторических судеб греческого народа. Композитор Т. Антониу создал по мотивам поэмы одноименную ораторию, премьера которой состоится в древнем театре, расположенном у подножия Акрополя.

Большим успехом у греческих читателей пользуется также изданная в 1981 году поэтическая книга Н. Вреттакоса «Память. 1940—1944», посвященная 40-летию национального движения Сопротивления. В нее, в частности, включена поэма «Героическая симфония»—о Сталинградской битве. Написанная еще в годы фашистской оккупации, эта поэма распространялась в народе в рукописях, ее читали на нелегальных собраниях.

«Поэзия Вреттакоса,—говорит известная греческая писательница Элли Алексиу,— обильно орошена слезами и кровью. Мы находим в ней свои собственные слезы, наши кровоточащие раны».

На снимке: Никифорос Вреттакос.

ИОРДАНИЯ

КНИГА ОБ АРАБСКОМ РОМАНЕ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», Арабская организация исследований и публикаций выпустила книгу известного иорданского литературоведа и критика доктора Абд ар-Рахмана Яги. «Творчество писателей-романистов от Селима аль-Бустани до Нагиба Махфуза».

Это своего рода небольшая энциклопедия арабского романа. В начале книги рассказывается о творчестве ливанца Селима аль-Бустани (1848—1884) — одного из первых арабских писателей-драматургов, основоположника жанра исторического романа в арабской литературе. (Наиболее известен его роман «Любовное ослепление в глубокую ночь в Дамаске» из эпохи завоевания Сирии арабами, впервые опубликованный в 1874 году.) Заканчивается книга главами о творчестве Н. Махфуза и других современных арабских писателей-романистов.

ИТАЛИЯ

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ГУТТУЗО

Девятнадцать лет назад в Парме состоялась самая крупная из всех выставок итальянского живописца и графика Ренато Гуттузо. На ней было представлено пятьсот работ, охвативших период творчества художника с 1931 по 1963 год. И вот теперь в связи с семидесятилетием Ренато Гуттузо — юбилеем, который отмечает вся прогрессивная и художественная общественность Италии, — организована вторая представительная антологическая выставка художника. На выставке экспортировано около двухсот полотен и рисунков художника.

На снимке: работа Гуттузо из цикла «Пир», посвященная памяти Пабло Пикассо. На картине — Пабло Пикассо в окружении людей, которых он рисовал, и вымышленных персонажей своих картин. Композиционно картина Гуттузо строится так, что за пиршественным столом как бы остаются места для самого Гуттузо и для зрителей.

(Журнал «Тенденцен»)

Газеты отмечают строгость, экономность отбора, произведенного для выставки среди множества произведений Гуттузо, созданных в разные годы в различных жанрах и манере. Внимание посетителей выставки приковывают в первую очередь такие известные работы художника, как антифашистское и антивоенное полотно «Распятие» (1940—1941), созданная во время подпольной борьбы серия рисунков «gott mit uns!» («С нами бог!», 1944—1945), а из ранних работ — «Портрет матери в интерьере» (1947). Наиболее широко представлены на выставке в Венеции произведения последних лет — «Пляж», цикл работ «Автобиография», «Стенгазета» — о событиях мая 1968 года, «Посещения», «Похороны Тольятти», «Вуччирия», серия «Аллегории», новый портрет писателя Альберто Моравиа и многие другие.

Художественный критик Дарио Микакки в посвященной выставке статье пишет, что Гуттузо всем своим творчеством доказал, что он, художник-реалист, всегда отражал свое время, свою эпоху, сумел создать собственный стиль, выражающий социальный и политический протест. Его выставка 1963 года, устроенная в момент наибольшего расцвета на Западе абстрактного искусства, явилась как бы ответом и отпором художника-реалиста этому направлению. В своем творчестве Гуттузо проделал долгий путь, отмечает Микакки, от кубизма в духе Пикассо к неореализму, от «героического» реализма к более интимному и меланхолическому видению действительности; в разные периоды его творчества ему были близки разные художники — Гойя, Пикассо, а в последние годы, возможно, Дюрер, Кранах, Грюневальд. «К концу посещения выставки, — заканчивает свою статью Дарио Микакки, — я понял, что художник-реалист никогда не найдет себе покоя, и мне вспомнились проникновенные слова самого Гуттузо в журнале «Иль сельваджо» еще в 1939 году: «У меня такое впечатление, что никто не замечает, что мы ныне переживаем времена опасные, но необыкновенные. Если бы я мог — по милости всевышнего — выбрать момент истории и ремесло, то я выбрал бы именно это время и ремесло художника. Нынешняя историческая эпоха ставит художника в привилегированное положение, конечно, при условии, что он обладает силой и внутренней свободой, необходимыми в столь опасные времена».

Антологическая выставка Ренато Гуттузо — признанного главы социально-реалистического направления в современном итальянском искусстве, видного общественного деятеля, почетного члена Академии художеств СССР, лауреата Золотой медали Мира и Международной Ленинской премии — заметное событие в культурной жизни Италии.

НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ

Журнал «Иностранная литература» (1975, № 1) уже сообщал, что Джузеппе Гарибальди, национальный герой, в последние годы жизни посвятил себя литературе. Он писал романы, мемуары, стихи. Его литературные опыты были известны не только итальянскому читателю: первый роман «Клелия» по выходе из печати в 1870 году был переведен на русский язык.

В настоящее время итальянцы познакомились с неизвестным произведением Гарибальди, о существовании которого в течение почти ста лет никто не знал. «Манлио» — так называется последний роман Гарибальди, законченный незадолго до его смерти,— был несколько лет назад обнаружен среди архивных рукописей Римского музея Рисорджименто профессором Туринского университета Марциано Гульельминетти. Рукопись романа находилась среди других материалов фонда Гарибальди, принадлежавшего раньше его сыну Пиччотти.

Ясный почерк первых страниц рукописи сменяется дрожащими буквами, местами почти не поддающимися расшифровке: страдающий артритом, Гарибальди в последние годы жизни с большим трудом держал в руке перо. После тщательной работы над рукописью одной из учениц Гульельминетти роман теперь напечатан неаполитанским издательством «Гуида эдитори» — к 100-летию со дня смерти автора.

В последние годы жизни Гарибальди, усталый, отстраненный от политической деятельности, разочаровавшийся в результатах героической борьбы итальянского народа, с большим вниманием следил за всеми формами социального протеста, вспыхивавшего в те годы в Италии. Герой его последнего романа Манлио, мужественный 18-летний красавец, несправедливо арестованный, бежит из тюрьмы, сталкивается в вооруженной схватке с карабинерами, а затем включается в борьбу различных направлений: он посещает кружки корсиканских и сардинских сепаратистов, симпатизирует даже «разбойникам».

Проза Гарибальди явственно тяготеет к романтическим традициям. Марциано Гульельминетти, который является и автором предисловия к неаполитанскому изданию «Манлио», непосредственными учителями Гарибальди-писателя считает Эжена Сю и Доменико Гверрацци, обращает внимание и на то, что вождь Рисорджименто «был очень внимательным читателем Виктора Гюго, восхищался Мандзони».

Хотя «Манлио» и нельзя причислить к выдающимся литературным произведениям, Гульельминетти считает, что книга представляет «огромный интерес с точки зрения идеологической и политической, очень важна для изучения последних лет жизни Гарибальди».

КУБА

ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Национальному поэту Кубы, члену ЦК Коммунистической партии Кубы Николасу Гильену исполнилось 80 лет.

В преддверии юбилея в кубинской прессе появилось множество статей, посвященных поэту, состоялись его чествования, поэтические вечера в разных городах страны, вышли новые издания его произведений...

Каждое новое издание стихов Николаса Гильена, пишет на страницах газеты «Гранма» известный кубинский литератор Мигель Коссио Вудворд,— это событие исключительной важности, строфы гильеновской поэзии вливают новые силы в кубинскую, подлинно революционную поэзию.

Исследуя творческий путь этого поразительно своеобразного поэта, отмечает Мигель Коссио Вудворд, мы можем убедиться, что в его стихах отражена наша современная история и многие из наиболее значительных событий, происшедших на латиноамериканском континенте и во всем мире. Мы уже не говорим о богатейшей прозе поэта. Книги Гильена воссоздают жизнь дореволюционной Кубы. После победы Революции Гильен пишет стихи, повествующие о завоеваниях народной власти.

Известный кубинский поэт и литературовед Анхель Аухьер подчеркивает: «Выражая духовную силу кубинцев, поэзия Николаса Гильена из прошлого триумфально шагнула в грядущее».

Президент Союза писателей и деятелей культуры Кубы (УНЭАК), Николас Гильен одним из первых был награжден орденом Феликса Варелы первой степени. Это высшая награда, которую Государственный совет Кубы присуждает за выдающийся вклад в развитие кубинской культуры.

В день рождения Николаса Гильена в Гаване был открыт очередной съезд Союза писателей и деятелей культуры Кубы.

КУВЕЙТ

НОВЫЕ КНИГИ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ

По сообщениям арабской прессы, в Кувейте вышла книга известного писателя-новеллиста и романиста Исмаила Фахда Исмаила «Арабская новеллистика в Кувейте». В книге исследуются произведения совре-

менных прозаиков, а также рассказывается об истории новеллистики в этой стране.

Опубликована также книга критика и литературоведа Саида Фархата «Критические статьи о современной кувейтской литературе», в которой автор анализирует произведения прозаиков, поэтов и публицистов.

НОРВЕГИЯ

КАКИМ ОН БЫЛ

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося норвежского писателя Юхана Боргена (1902—1979). В издательстве Гюльдендаль» вышла книга воспоминаний, написанная вдовой писателя. Книга называется «Ты» или, точнее, «Тебе». Корреспондент «Афтенпостен» считает, что ее можно было бы назвать «Мы». Ведь издание мемуаров было задумано писателем совместно с женой еще при его жизни. Сознавая, что дни его сочтены, и стремясь к тому, чтобы его облик не был искажен некоторыми представителями буржуазной прессы и критики, Юхан Борген составил план книги и сделал наброски к ней — последнее из написанного Юханом Боргеном.

Книгу предваряет эпиграф Боргена: «Опасная это практика — анализировать творчество писателя, выставляя на передний план первопопавшиеся биографические сведения». В книге много личного, много говорится о том высоком чувстве, которое связывало Юхана Боргена и Анну-Марту и которое поддерживало писателя в дни тяжелых жизненных испытаний, в период заключения в концлагере Грини во время фашистской оккупации. Но в то же время книга «Ты» отнюдь не только об этом. В ней говорится прежде всего о той роли, которую писатель на протяжении всей своей жизни играл в духовной жизни Норвегии.

«Свою цель я вижу в том, чтобы в воссоздаваемой картине бытия найти точки соприкосновения с современностью, биографические элементы мне нужны только для того, чтобы уловить связь между жизнью писателя и его творчеством, что представляется мне важным»,—говорит Анна-Марта Борген. Регулярное сотрудничество в газете «Дагбладет», театральные постановки, выступления в еженедельной воскресной радиопрограмме (особенно дорогие Боргену тем, что он чувствовал себя как бы живым собеседником людей в рыбацких поселках и на отдаленных хуторах, куда еще не пришло телевидение) — таковы многообразные аспекты кипучей творческой деятельности писателя.

В книге приводятся не публиковавшиеся ранее письма Ю. Боргена, его высказывания, отрывки из его выступлений, фрагменты критических статей, откликов, рецензий на его произведения. Перед читателями проходят соратники и друзья Боргена, видные деятели норвежской культуры: писатели Сигурд Хёль, Артур Омре, Юхан Фалькберг; поэты Рудольф Нильсен и Арнульф Эверлани и, прежде всего, поэт-коммунист Нурдаль Григ, образ которого Борген всегда носил в своем сердце и который, по выражению писателя, наполнил его жизнь «истинным смыслом». Во время войны Борген занимался изданием и распространением нелегальных стихов Грига. Им была написана и издана в 1944 году в Швеции книга «Нурдаль Григ», в которой говорится о жизни, творчестве и героической, «исполненной глубокого смысла», гибели Грига.

Человек, который всегда жил тревогами и заботами нашего времени, участник движения Сопротивления, борец за мир, всегда занимавший активную гуманистическую позицию, неутомимый журналист и писатель, о трудолюбии которого ходили легенды, откровенный и ироничный собеседник, любящий муж и отец — таким предстает Юхан Борген со страниц книги «Ты».

На снимке: встреча Юхана Боргена с женой во время работы узников концлагеря в лесу.

ПОЛЬША

ШИМАНОВСКИЙ НА ЭКРАНЕ

Как уже сообщалось, 1982 год объявлен ЮНЕСКО Годом Шимановского («ИЛ», 1982, № 5). Польские кинематографисты впервые создали полнометражный фильм о выдающемся композиторе, который, как пишет газета «Трибуна люду», является ценным документом, причем, при фактической точности, этот фильм эмоциональный, «создающий настроение».

В фильме представлены чудом уцелевшие в исторических бурях семейные и детские фотографии композитора, воспоминания престарелого Артура Рубинштейна, который рассказывает о первой встрече с молодым Шимановским на пороге будущего столетия. Представлены современники композитора, такие, как выдающийся скрипач Виктор Шеринг, их рассказы о нем. Все действие фильма происходит на фоне музыки Кароля Шимановского в исполнении лучших музыкантов мира.

Газета отмечает, что авторы фильма Людвиг Перский и Здислав Серпиньский сделали доброе дело, собрав такой обширный документальный материал.

Этот фильм будет демонстрироваться во многих странах, и многим людям, пишет газета, станут понятней и ближе и сам композитор, и его выдающиеся творения.

США

«ФЛАГ В ЧЕСТЬ РАССВЕТА»

Так озаглавлена новая книга Роберта Стоуна, которого читатели «ИЛ» знают по роману «В зеркалах» (1973, № 4—6). Действие произведения развертывается в вымышленной латиноамериканской стране Текан, которая вызывает ассоциации с Сальвадором. Герой Стоуна, американский ученый-антрополог Холливелл, отправившийся читать лекции в местном университете, впрямую сталкивается с господствующей в Текане военной диктатурой, с происками ЦРУ и каждодневным насилием, чинимым тайной полицией.

Зарождающееся национально-освободительное движение привлекает все больше сторонников, в том числе и среди честных американцев, живущих в Текане. Католическая монахиня сестра Джастина, побуждаемая велением этического долга, устраивает для повстанцев подпольный госпиталь на территории миссии. Разгром этого госпиталя, гибель Джастины в застенках охранки и бегство Хол-

ливелла, не выдержавшего испытания сопричастностью к реальной трагической истории, потребовавшей от героя ясного политического и нравственного выбора,— такова сюжетная канва книги, признанной многими критиками наиболее значительным произведением литературы США последних лет.

По замечанию рецензента «Нью-Йорк таймс бук ревью» М. Вуда, в романе Стоуна «история буквально преследует людей, словно прилипая к ним». Книга насыщена отзвуками острейших политических конфликтов современности, связанных с революционной борьбой в колониальных и зависимых странах. Эти конфликты непосредственно вторгаются в судьбы персонажей Стоуна, заставляя каждого из них размышлять о своей нравственной ответственности в сегодняшнем мире. Однако лишь сестре Джастине, которую критик журнала «Атлантик» Р. Тауэрс назвал «героиней в настоящем значении слова», дано обрести желанную всем персонажам Стоуна целостность этических убеждений и конкретных поступков в ситуациях, представляющих особенно строгие требования к личности. Перед читателем романа проходит целая галерея персонажей, которых Стоун в интервью назвал «людьми, лишившимися корней и оттого эмоционально искалеченными» — как все поколение, пережившее Вьетнам. Холливелл принадлежит к тому же поколению, которое тщетно «стремится к новому началу и поднимает флаг в честь рассвета». Однако рассвет для него так и не настает.

Здесь надо сказать о некоторой односторонности и примитивности в показе повстанцев, которых Стоун явно придумывает, а не знает.

Рецензенты единодушно отмечают значительность затронутых в романе проблем и сложность духовных коллизий, переживаемых главными героями книги. Отмечая созвучие книги Стоуна некоторым произведениям Грэма Грина и Хемингуэя, критика особенно высоко оценивает тот факт, что писатель отверг модные концепции обреченности человека перед лицом жестокостей и парадоксов движущейся истории, напомнив о долге каждого и всех в борьбе за торжество гуманности и справедливости.

ФРАНЦИЯ

КОНЧИНА ПИСАТЕЛЯ

Скончался известный французский писатель Жорж Перек (род. в 1936 г.), знакомый советскому читателю по повести «Вещи», опубликованной в «Иностранной литературе» в № 2 за 1967 г., первому произведению писателя, за которое он получил премию Ренодо 1965 года. Повесть «Вещи» принесла молодому автору мировую известность, поскольку он талантливо, убедительно и фактически первым во французской современной литературе раскрыл пагубную антигуманистическую природу «вещизма», характерного для «общества потребления». Это одно из самых значительных явлений французского критического реализма 60-х годов.

Дальнейшее творчество писателя отличается удивительным разнообразием и разноплановостью. В 1967 году он пишет повесть «Спящий человек», где передает душевное состояние юноши, внутренне полностью отрешенного от жизни, как бы «спящего» в ней, показывает «отчуждение» личности, доведенной до предела. В 1970 году большим успехом пользуется его сатирический скетч «Прибавка к жалованью», поставленный в театре. В 1969 году Перек совершает своеобразный формалистический «подвиг» — пишет роман «Исчезновение», где ни разу не употребляется буква «е», а все получается вполне связно.

От чисто словесной игры писатель переходит к описанию снов, раскрытию подсознательного начала в человеческой психике («Темная лавка», 1973). В книге «В, или Воспоминание детства» (1975) звучат искренние нотки и автобиографические мотивы. Читатель узнает о трудном детстве писателя, оставшегося сиротой (отец погиб на войне, а мать — еврейка — была уничтожена в Освенциме).

Самое крупное (более 700 стр.) произведение Жоржа Перека — его роман «Жизнь. Способ ее использования» (1978), получивший премию Медичи. Книга чрезвычайно оригинальная, не поддающаяся никакому жанровому определению. Это своеобразный роман-игра, нечто вроде мозаики-головоломки, в которой из мелких частей нужно сложить единое целое. Автор показывает жизнь одного парижского дома в разрезе, дает гипертрофированное описание множества вещей и рассказывает множество историй и случаев, происходящих с обитателями дома. Все это сложное построение — своего рода грустная притча о таком человеческом существовании, в котором тот, кто погнуснее, выплывает на поверхность, а остальных безжалостно крутит и нередко топит грязный поток жизни. В этой, по сути, трагической книге содержится обобщенное, сублимированное выражение бесчеловечной сути капиталистической действительности.

За несколько дней до смерти Жорж Перек сдал своему издателю первую часть своей новой книги — «Пятьдесят три дня» (название условное), которая представляет собой нечто вроде пародии на полицейский роман, состоящий из нескольких нанизанных друг на друга историй. Издательство «Ашет» решило выпустить эту книгу даже в незаконченном виде.

Новелла Мериме «Коломба» легла в основу сценария телефильма, созданного режиссером Джакомо Батиато. Газета «Юманите» отмечает, что режиссер сумел воссоздать атмосферу оригинала, избежав дешевой подделки «под фольклор».
На снимке: кадр из фильма.

(Газета «Юманите»)

ЧИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СИЛЫ

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ЖАННА Д'АРК

В рамках проходившего на Кубе Фестиваля театра свой новый спектакль — «Святая Иоанна Америк» — показала труппа «Латиноаме-

На снимке: Дад Сфеир.

(Журнал «Боэмия»)

риканского театра» имени Сандино.

«Латиноамериканский театр» возник в Стокгольме два года назад и свою работу начал как драматическая студия латиноамериканских политэмигрантов в Швеции, войдя в состав Ассоциации свободных театров этой страны. Режиссером молодого коллектива стал известный чилийский театровед Игорь Кантильяна; костяк труппы составили чилийские актеры-политэмигранты, хотя в его спектаклях заняты также актеры из Аргентины, Уругвая, Эквадора.

Пьеса Андреса Лисарраги «Святая Иоанна Америк» затрагивает важнейший период истории народов Латинской Америки — период борьбы за независимость от испанской короны. Это — историческая драма. Главная ее героиня Хуана де Асурдуй — латиноамериканская Жанна д'Арк — образ аллегорический: он символизирует приобщение латиноамериканской женщины к освободительной борьбе народа, показывает ее героизм, ее мятежность и в то же время ее лиризм и романтику чувств. Образы Хуаны де Асурдуй и других героев пьесы необыкновенно жизненны, они словно перекликаются с реальными героями наших дней, ведущими борьбу против реакционных диктатур.

Бесспорнейшей удачей спектакля стало участие в нем уругвайской актрисы Дад Сфеир в главной роли.

«Не часто,— отмечает кубинский критик Марио Родригес Алеман,— мы могли за последнее время видеть актрис масштаба Дад Сфеир. Незаурядность дарования, но, главное, яркость ее собственной личности позволяют актрисе властвовать на сцене. Ее способность эмоционально воздействовать на зрителя просто поразительна».

ШВЕЙЦАРИЯ

А. И. ГЕРЦЕН В НОВОМ ПЕРЕВОДЕ

В Лозанне в издательстве «Л'аж д'ом» вышел первый полный перевод книги А. И. Герцена «Былое и думы» на французский язык. Литератор и историк Дариа Оливье работала над переводом и подробным комментарием к этому четырехтомному изданию около семи лет. «То, что этот шедевр Герцена до сих пор не был целиком опубликован на французском языке, являлось непростительным упущением»,— отметила Д. Оливье в интервью корреспонденту бельгийской газеты «Суар».

Д. Оливье с давних пор увлекается историей русского освободительного движения XIX века. В юности на нее огромное впечатление произвела поэма Некрасова «Русские женщины», затем ее увлекло творчество и сам образ Герцена.

«Герцен был не только блестящим публицистом, но и выдающимся прозаиком,— сказала Д. Оливье в ответ на вопрос о том, чем именно привлекли ее внимание «Былое и думы».— Кроме того, перед его глазами прошли самые бурные события европейской истории XIX века. Этот неутомимый путешественник был страстным, неравнодушным мемуаристом».

Д. Оливье подчеркнула, что ее особенно восхищает талант Герцена-портретиста, так ярко проявившийся в четвертом томе «Былого и дум». Здесь Герцен, подобно Веласкесу, пишет блестящие портреты таких гигантов мирового революционного движения, как Гарибальди, Мадзини, Луи Блан, Бланки, Бакунин и многие другие.

Обозреватель «Суар» считает, что работа Д. Оливье намного превосходит по качеству все переводы русской литературы на французский язык, появившиеся за последние пятнадцать лет. Эти переводы по большей части делались второпях, сами переводчики, за немногими исключениями, не были такими прекрасными знатоками русского языка и культуры, как Д. Оливье, и, наконец, они не обладали столь ярким литературным дарованием.

Подробный и интересный комментарий, составленный Д. Оливье к изданию «Былого и дум», дает возможность читателю проникнуть в культурно-исторический контекст эпохи и облегчает восприятие книги.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4.06.82. Подписано в печать 12.07.82. А 00131. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая, 16 п. л. (22,4) усл. п. л., уч-изд. л. 28,18.

Тираж 449 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 2035.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Прачки в Бретани

Портрет художника Андрееску

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394